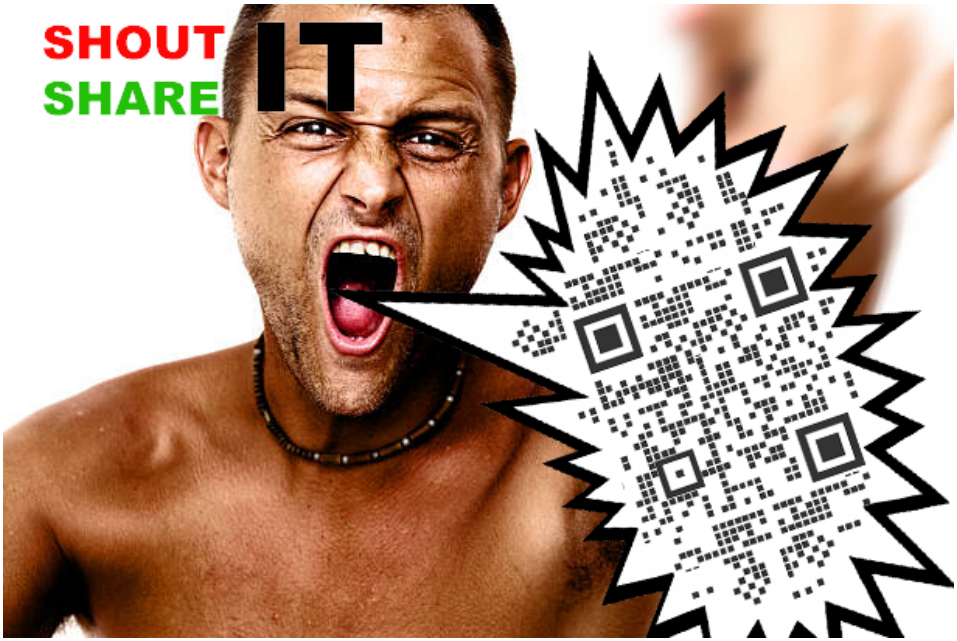
Неизбежность (Дилогия - 2)

Олег Смирнов


SHOUT
SHARE
IT

- Смирнов Олег

Смирнов Олег
Неизбежность (Дилогия - 2)

Олег Павлович Смирнов

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Роман Олега Смирнова "Неизбежность" посвящен финальным событиям второй мировой войны, ее "последним залпам"- разгрому и капитуляции японской армии в 945 году. Стремясь к сознанию широкой панорамы советскояпонской войны, писатель строит сложное, разветвленное повествование, в поле действия которого оказываются и простые солдаты, и военачальники.

В помане "Эшелон" писатель рассказывает о жизни советских воинов в период между завершением войны с фашистской Германией и начадом воины с империалистической Японией.

1

Жарища - градусов сорок. Это если в тени, разумеется. Но поскольку нет и намека на тень - ни деревца, ни кустика, необозримая степь-голыш, чуть прикрытая ковылем, - то термометр, думаю, показывает все шестьдесят. Старшина Колбаковский утешает:

- В июле еще жарчей.

Старожилу монгольских степей как не поверить? Заманчивая перспектива роста. Будем расти. По Цельсию. А если обойтись без Цельсия, то видишь: мои солдатики упрели донельзя, лица красные, распаренные, мокрые, трудовой пот стекает ручейками, носами хлюпают, как насморочные. Ах, ограничилось бы пролитием пота, хоть в сто раз больше готовы пролить, но ведь потребуется и кровушка, война ведь будет. А воевать сподручней посуху, по теплу, летом. Чем не время для войны? Самое распрекрасное время. Да, солдаты упрели, однако настроение бодрое, а у Колбаковского даже приподнятое: старшина словоохотлив, благожелателен и улыбчив. Утеревши лоб рукавом гимнастерки, ефрейтор Свиридов говорит:

- Товарищ старшина, душа ликует, что возвернулпсь в родные места?

Колбаковский отвечает с улыбкой и вместе с тем построжав:

- Ликует. Хотя родина моя, к твоему сведению, Ставропольский край, станция Прохладная...

- Прохладная? Вот бы туда из данного пекла!

- Ас монгольскими краями, Свиридов, я тоже, считай, породнился, сколь оттрубил тут... Да и ты породнишься!

- Трубить придется?

- Не обязательно. Хватит того, что пройдешь по стране своими ножками, увидишь ее своими глазками.

- Ежели к тому же Егорша и с какой монголочкой обзнакомится... - Это мой верный ординарец Миша Драчев.

- У тебя одно на уме, - отмахивается от пего Свиридов.

- А что? Плохо, что я завсегда про то думаю? Ха-ха!

Между станцией Баяп-Тумэнь и городком при ней мы сразу увидели своего рола кладбище списанных танков. В квадрате полтора километра на полтора поржавелые стальные коробки, оружие снято, гусеницы сняты. Старшина Колбаковский объяснил: эти таыкп подбиты на Халхпы-Голе, в тридцать девятом, когда советско-монгольские войска давали отпор японским захватчикам.

"БТ-7", "БТ-5", танк-амфибия, смахивающий по форме на пресспапье, таких танков в пашей армии мало. За шесть минувших лет у нас появились новые, мощные, сверхсовременные танки - ого-го!

Чего стоят, скажем, "Т-34" пли "ПС" - великолепные грозные машины. Я думаю: "Видно, жестокие бои были на Халхин-Голе.

Но с той поры как далеко шагнула наша военная техника!" Та самая, от которой гудит нынче монгольская степь, пропахшая не только полынью, по и порохом...

От Баян-Тумэпп, куда прибыли в полдень, мы шагаем уже часа полтора; станция и городок - смесь деревянных домов и войлочных юрт - остались позади, в знойном мареве; оно встает и впереди, переливается над всхолмленной степью, над тем, что творится в ней. Бог ты мой, что там творится! На своем веку я перевидал скопления людей и техники - особенно накануне крупных наступлений, - но такого, клянусь, не видел! К Баяи-Тумэни - от Борзи сюда вела уже однопутка - подходили эшелон за эшелоном, войска быстренько выгружались, строились и уходили в знойную, с блеклой травой и небом степь, как бы всасываемые ею. Но эшелонов было столько, что, как рассказал мне Федя Трушин, всеведущий замполит батальонный, железная дорога на участках Карымская - Борзя и Борзя Баян-Тумэнь не справлялась, и потому командование решило моторизованные части и артиллерию на механической тяге выгружать на участке Чита Карымская и направлять их своим ходом по грунтовкам. Это значит: 500 - 600 километров до района сборов топай железными ножками. А нас, пехоту, поскольку ножки наши обыкновенные, человеческие, довезли аж до Баян-Тумэни. Благодарим за чуткое отношение. И сейчас мы топаем к дивизионному району сбора за Баян-Тумэпью, за рекой Керулен (Федя Трушин сказал: голубой Керулен, и это прозвучало как голубой Дунай, но мне, не

видавшему Дуная, по видавшему Дон и Волгу, Керулен не показался могучим; впрочем, для этой засушливой, маловодной части Монголии и Керулен и Халхпп-Гол - реки что надо). Я иду во главе роты и посматриваю по сторонам. О, черт возьми, пу и нагнали нашего брата! Пехотные колонны, танковые, артиллерийские, автомобильные, кавалерийские движутся в степи по едва-едва накатанным дорогам и чаще без дорог - по солончакам, по ковылю и полыни, по нпзкорослой, стелющейся к земле колючке - в неоглядной степи, ограниченной по горизонту сопками, стало вроде бы тесно.

Вытягивается танковая колонна: скрежещут гусеницы, гудят двигатели, и в горячий степной воздух врубаются еще более горячие струи, разящие соляркой; вдоль башен - бревна на случай, если машина где-нибудь засядет, танкисты - народец припасливый; на башнях - припудренные пылью номера, орудийные стволы зачехлены. Танки новенькие, известно: получены только что с Урала, а экипажи были переброшены с запада, свои видавшие виды машины оставили в Чехословакии. Отличные машины - танки! Сколько раз выручали пехоту! За их броней мы уверенней шли в атаку, зная: танк расстреляет или раздавит пушку, миномет, пулемет, проутюжит траншею, разгонит автоматчиков, выкурит с чердаков снайперов, и вообще чем больше танков и самоходок, тем успешнее бои. Помню, с какой болью и сочувствием смотрели пехотинцы на подбитые и подожженные танки. В Кенигсберге фаустники зажгли тридцатьчетверку буквально на наших глазах и буквально накануне капитуляции гарнизона: задымила, зачадила, башенного стрелка и механика-водителя, раненых, в дымящихся комбинезонах, мы спасли, а командира, с окровавленной головой, без шлема, вытащили уже мертвого, отнесли всех за угол дома, потому что баки с горючим могли рвануть, пламя лизало броню. И потом рвануло - будь здоров... Конечно, танкя помогали пехоте, а мы танкам, оберегая их от противотанковых мин, противотанковых пушек, ловушковых ям, гранатометчиков, фаустников. Но, пожалуй, лучше нас танкам помогали самоходные установки - били по чужим танкам и самоходкам. Кстати, у немцев великолепная самоходка - "фердинанд": из засады влупит по нашему танку - быть беде! А как танки идут на танки! Танковый бой, танковое сражение! Крупнейшее из них, вероятно, во всей второй мировой сражение под Прохоровкой, в сорок третьем, двенадцатого июля. В этот день сошлось около тысячи двухсот танков и самоходных установок с обеих сторон, у немцев - сверхтяжелые и сверхновые "тигры" и "пантеры". Лоб в лоб! Представляете?

На прохоровских полях несколько дней длилась эта величайшая танковая битва. Победили советские танкисты...

А вот тягачи тащат по монгольской степи осадные орудия, облепленные расчетами. Мы пушкарям не завидуем: не очень-то удобно сидеть, и пылищи глотают похлестче нас. Артиллерия тоже попытанный друг пехоты: крепенько поддерживает огоньком. Помнится: если где-то за нашими траншеями огневые позиции с натянутыми маскировочными сетями над орудиями - душа пехотная ликует: при необходимости артиллеристы обработают передний край обороны, подавят огневые точки, отобьют танки, рассеют скопление пехоты и техники в тылу, а зенитчики врежут по самолетам. Лично трижды был свидетелем, как зенитные батареи сбивали пикировавшие "юнкерсы": под Вязьмой, на Березине и на Немане. Нет, с артиллеристами не пропадешь!

Танковые колонны сменяются кавалерийскими, артиллерийские автомобильными, бронетранспортеры - пехотой, пехота - опять танками. Даже непонятно, чего больше - людей или машин.

Честное слово, столько техники стянуто - поразительно! Что и толковать, к концу второй мировой армия располагает отменной техникой. И в изобилии. А кадры? О, за четыре годочка мы не худо овладели наукой побеждать. Есть ли такая наука? Есть! И на маньчжурских сопках мы ее продемонстрируем...

Пыль над колоннами столбом, и если сверху засечь эту картину, фотоснимок оказался бы находкой для кое-чьей разведслужбы.

Но вражеских самолетов в небе не видно, видны лишь родные, краснозвездные. А вражеские - чьи? Японские? Сохраняя военную тайну, скажем: кое-чьи. Самолеты еще ближе к солнцу, чем мы, и мне кажется, им еще жарче, хотя это вздор: воздух на высоте холодный. Временами тень от самолетов скользит над нами, и хочется как-то придержать ее, мимолетную. И это тоже вздор:

не придержишь. На полевые аэродромы, поближе к театру будущих военных действий, перебазируются и бомбардировщики, и штурмовики, и истребители, и транспортники. Славно, когда в небе тесно от своих, краснозвездных: прикроют, как щитом. Подписываюсь под словами: пехотинцы уважают летчиков не меньше, чем танкистов или артиллеристов. Штурмовики и бомбардировщики такие удары наносят по противнику, расчищая путь наземным войскам, что диву даешься! А "ястребки" не позволяют разгуляться "юнкерсам", "хейнкелям" да "мессерпшиттам"...

Гляди-ка, вот и колонна "катюш" - реактивные установки затянуты брезентом. Ну, это уже чудо военной техники: кто из нас не слыхал потрясающего залпа "катюш" - непередаваемый скрежет, аж сердце заходится, машины окутываются дымом, в воздухе раскаленные стрелы реактивных снарядов, и они беспощадно вонзаются во вражеские укрепления, расплескивая смертоносный огонь. Гитлеровцы до чертиков боялись "катюш". А дивизион гвардейских минометов дал залп - и ходу, чтоб его не засекли, готов стрелять с другой позиции...

Пыль, просвеченная солнечными лучами, золотится, сверкает - очень красиво; оседает на потные лица, похрустывает на зубах - очень противно. Глотка у меня пересохла, и непонятно, как может брызгать слюной хохочущий весельчак-ординарец, в миру - Мишка Драчев. Зверски тянет пить, однако удерживаю себя. Прислушиваясь, как булькает вода во фляге, закаляю волю. Фляжки в роте не у всех, и комбат предупредил: на обильное водопитие не рассчитывайте, вообще до обеда воды не будет. Все это цветочки, первые километры по монгольской степи, ягодки - дальше, когда части сосредоточатся в районе сбора, всей дивизией махнем по степи, степи широкой, на юг, до Тамцак-Булака, расстояние - что-то около четырехсот километров. Так-то вот: четыреста. По солнышку, по безводью и бездорожью, с полной выкладкой. По Европе мы хаживали, по Азии еще не доводилось. Ничего, пройдем и Азию.

Природа не главное для нас испытание. Главное - когда начнут стрелять. Не в Монголии, а южнее, в Маньчжурии. Кто?

Да кое-кто. Военная тайна. Вообще-то говоря, до собственно Маньчжурии надо преодолеть Внутреннюю Монголию, километров двести - триста, не меньше. А Внешняя Монголия - это Монгольская Народная Республика, где мы имеем честь находиться. Так-то, ежели уточнить. Но ежели без уточнении: все, что лежит за границей, - Маньчжурия.

Слышу за спиной:

- Товарищ старшина, а правду говорят, что в Монголии зимой пятьдесят градусов? - Вопросом разражается молчун Рахматуллаев.

То ли узбек забыл, что в эшелоне старшина уже рассказывал про это, то ли сам Колбаковскпй забыл, но тот оживляется:

- Точно, товарищ Рахматуллаев, морозикп жмут и за полсотни.

- Не могёт быть! Я делаю вот такие глаза! - Кулагин подносит к глазам большие и указательные пальцы, образующие внушительных размеров полукольца.

А старшина явно доволен тем, что к нему обратились: он не

без основания считает себя крупным специалистом по Монголии, обо всем к пен относящемся рассуждает с непререкаемостью знатока, и ему не нравится, если о Монголии высказывается кто-нибудь другой.

Когда выгрузились в Баян-Тумэпп, в роту пришел замполит Трушин.

- Хлопцы, вы знаете, кто руководитель Монголии? Маршал Чойбалсан!

- А как же иначе? - тотчас сказал Колбаковскпй. - Маршал Чопбалсап бывал не раз в Семнадцатой армии, я лично зрел. Вот как вас, товарищ гвардии лейтенант...

- И какой же он? - спросил Головастиков.

- Обыкновенный. Обличьем монгол то есть. Большой начальник. Маршал! Вождь! Понял, Головастик?

- Как Сталин у нас?

- Точно! - сказал Колбаковский строго и, вытащив расческу, принялся причесываться - любил то и дело шуровать ею и, кажется, именно от этого поплешивел, повыдергивал волосы.

И вдруг Логачеев сказал:

- Я тож видал маршала Чойбалсапа, пху вождя. - Сплошь, вплоть до задницы, татуированный каспийский рыбак почему-то склоняет местоимение "их", и получается чудовищное: иху, иха и прочее.

Ему не поверили - присвистнули, засмеялись, закидали репликами: "Тю, с фронта в командировку приезжал в Улан-Батор?", "Его Чойбалсан вызвал, соскучился!". "Чаи с ним гонял?", "Какой там чай, они на кумыс да араку налегали!" Логачеев, не смутясь, ответил:

- В Улан-Батор меня не вызывали, чаи не гонял. Водку тож не пил, и называется она не арака - архи... А Чойбалсан с монгольской делегацией приезжал на Западный фронт, а я на этом фронте всю дорогу... Дошло?

Ему опять не поверили. А ведь каспийский рыбак не врал!

- Ребята, - сказал я, - и у пас в полку побывал Чойбалсан.

Делегация сопровождала целый эшелон подарков монгольского народа Западному фронту: скот, полушубки, валенки, сапоги, душегрейки и прочее... Мне выпало пожать руку маршалу!

Внжу, что и мне не верят. А было же: на опушке, посреди смоленских берез, меня выкликнули из строя, маршал Чойбалсан вручил меховую безрукавку (ее я потом отдал замерзавшему раненому, фамилию бойца этого теперь уж и не помню), и мы обменялись рукопожатием, сказали друг другу: я - "Служу Советскому Союзу!" и "Благодарю, товарищ маршал!", он - "Желаю

боевых успехов!", по-русски сказал. Мне везло: с маршалом Чойбалсашш ручкался, с генералом армии Черняховским ручкался. А вы не верите, чертяки! Но никакой досады я не испытываю, о солдатиках думаю с ласковостью, немного снисходительной: вам-то не выпадало этакой чести!

Пора бы и привал, положено. Но привала комбат не объявляет покачивается впереди батальона на копе, палочкой, на которую при ходьбе опирался, оберегая пораненную ногу, подгоняет лохматую малорослую лошаденку, кстати, монголка; этих выносливых, крепких лошадок нам в помощь фронту в изобилии поставляла братская страна, по коей мы вышагиваем в данный момент.

Я иду, жмурясь от солнца, оно бьет по зрачкам будто прямой наводкой; пот стекает со лба, с носа - прямо в рот: горько и солоно, как вода в озерце, которое мы повстречали на пути и к которому сбежались в надежде напиться; отплевывались затем четверть часа, так и не отплевались. Автоматный ремень режет, лямки вещевого мешка режут; спасибо, хоть скатки комбат разрешил везтп на подводах; другие ротные командиры побросали на повозки и своп вещмешки, я ж из принципа тащу: как все в моей роте, так и я. Не принцип, а глупость? Не согласен! Но кто с тобой спорит?

Никто. Сам с собой споришь.

Внезапно возникает мысль: а все-таки окончание железнодорожного путешествия (двадцать пять суток отдан) какой-то труднопереступпмой чертой отрезало .меня от прошлого; это прошлое после выгрузки на станции в Баяп-Тумэпи еще дальше отодвинулось, еще гуще заволоклось дымкой. Не забвение это, а прощание.

Забыть я ничего не забуду, но попрощаться, может быть навечно, надо. И с Эрной попрощаться, и с Ниной - они чаще ы чаще словно совмещаются, сливаясь в образ одной женщины, хотя с первой у меня было все, а со второй нпчегошепыш не было: первую любил, второй только симпатизировал. При мыслях об Эрне и о Нине мне становится грустно, по печаль не гнетет, чистая, она очищает от обыденщины, от прилипчивости бытовых мелочей, заставляет быть придирчивей к тому, что ты думаешь ы совершаешь. Наверное, поэтому на станции, когда на нас радушно глазели жители в дели, то есть в халатах, в островерхих шапках и мои орлы заговаривали с красневшими, смущавшимися мопголочкамп, я был с этими скуластыми, черноволосыми, черноглазыми с прищуром женщинами, по-своему завлекательными, спокойно-вежлив. Опи не про меня, и я не про них. А так что ж - молодые, кровь с молоком. Как говорится,

взамен любви предлагаю дружбу...

Кабы не адова жара, то, закрывши глаза, можно было бы вообразить: идешь в походной колонне где-то под Москвой, или на Смоленщине, или в Белоруссии, Литве, Польше, или в самой Германии. Не вообразишь: надо глядеть под ноги, и от жары не открестишься, она зажаривает тебя до хрустящей корочки. А что будет в июле? Но июль не за горами: спустя четыре денька всего, если не ошибаюсь. Стало быть, двадцать второе июня я прозевал где-то под Иркутском. Как мог прозевать? Никогда раньше такого со мной не было: каждый год двадцать второго июня думал об этом черном дне, кровавом дне. И вот забыл. Что ж, мир расслабляюще на меня действует? Так расслабляться рановато, до полного мира нужно перешагнуть еще через одну войну...

Перед решающим в апреле штурмом Кенигсберга возле какогото городишки, кажется Варгена, мой верный оруженосец Миша Драчсв приволок в землянку подшивку немецких газет. Похвалился:

- Товарищ лейтенант, теперича обеспечу взвод бумагой!

- Для чего?

- Не для сортира, товарищ лейтенант, для курева!

- Где только раскопал, подшивка-то пыльная, старая.

- На чердаке надыбал!

Я раскрыл картонную обложку и ахнул: первым был подшит номер центральной нацистской газеты "Фёлькишер Беобахтер" за 22 июня 41-го года! Рассматривал фотографии, читал к ним подписи, заметки, фронтовой репортаж, речь Йозефа Геббельса и будто воочию видел то утро в Берлине.

Оно было ясное, солнечное; на тротуарах толпы у репродукторов: то вскрикивая, то понижая голос до шепота, Геббельс говорит, что большевики готовили немцам удар в спину, но фюрер решил двинуть войска на Советский Союз и этим спас германскую нацию.

Чуть позже по берлинским тротуарам бежали мальчишки, размахивая экстренными выпусками газет, - на первых страницах напечатаны победоносные сообщения германского командования:

ночью немецкие самолеты бомбили Могилев, Львов, Ровно, Гродно и другие города, сухопутные войска перешли в наступление.

И фронтовые снимки: советские бойцы и командиры - убитые, раненые, эти снимки передо мной...

И в Москве, как и в Берлине, утро 22 июня было ясным и солнечным; воскресные номера газет продавались в киосках обычные, мирные. В шесть часов советские радиостанции начали свои передачи с урока гимнастики, затем "Пионерская зорька",

затем "Последние известия" - о полевых работах, о достижениях передовиков производства. Затем концерт народной музыки, марши и снова народная музыка и марши. Лишь в полдень у микрофона выступил нарком иностранных дел Молотов, зачитавший заявление Советского правительства; он заикался - дефект речи, к которому привыкли, - по всем слушавшим казалось: заикается от того, что зачитывает. "Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления какпхлибо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну..." А уже восемь часов не было мира, была война и западные погранзаставы и гарнизоны приграничья восемь часов истекали кровью...

Вот какой номер "Фёлькншср Беобахтер" разглядывал я под Варгеиом в марте сорок пятого года. Миша Драчев тогда спросил:

- Что с вами, товарищ лейтенант? Вроде аж в личности переменились?

Я показал своим солдатам газету, объяснил, что в ней напечатано о начале войны. Все притихли. Потом загалдели. Я поднял руку.

- Ладно, братцы! Гитлер и его банда получают по заслугам.

Недаром мы у Кенигсберга, да и до Берлина недалеко...

Я листал подшивку, в ней были кроме "Фёлькишер Беобахтер" и другие газеты, кто-то аккуратно, день за днем, подшивал их.

История войны с нацистской точки зрения была представлена здесь. Вплоть до Московского сражения. Похоже, когда немцев разгромили под Москвой, газетки перестали подшивать. Хотя после было еще три года войны. С лишним.

Подробно изучать подшивку было недосуг, к тому же на раскурку требовалась. Я отдал ее добытчику Драчеву, солдаты задымили цигарками вовсю: немецкая бумага, советская махра! И мне казалось: сизоватый дым от сгоревших фашистских планов и надежд. Мы их сожгли!

Об этом вспомнилось тут, в центре Азии, как бы на перегоне между прошедшей войной и будущей.

2

- Прива-ал! - раздается по колонне.

Мы останавливаемся, сходим с дороги, какая там дорога, следы автомашин чуть приметные - вот и вся дорога. Солдаты сбрасывают вещмешки, плюхаются на раскаленную, в трещинах землю, мешки - под головы, под локти. Вытягиваются, блаженствуют, кто курит, кто сует папироску обратно в пачку: душа в жару не принимает. Балагурят:

- Толик, ты б водки выпил счас заместо воды?

- Еще как! И чтоб стакан был налит с опупком, то есть до краев... А ты?

- А я б только шампанское! И чтоб закусывать ананасами!

Это Логачеев и Кулагин. Свиридов тоже настроен шутливо, кн ворит Колбаковскому с кошачьей вкрадчивостью:

- Товарищ старшина, а верно ведь, в Монголии полно монголов, как в Бурятии бурят, а в Италии итальянцев?

Но Колбаковскпй не поддается на вышучивание:

- Перестань балабонить, ты ж какой-никакой, а ефрейтор!

Не ожидавший этого Свиридов в первое мгновение тушуется, но тут же понимающе кивает:

- Правильно! Ефрейтор - это отличный солдат...

- Маэстро ты!

- Почему это я маэстро? - Свиридов явно обиделся.

Колбаковский ему больше не ответствует: отвинтив пробку алюминиевой фляги в суконном чехле, на ремешке - трофейная, голубушка-красавица,- делает несколько маленьких глотков. Его примеру следуют и другие, я в их числе.

К нашей роте подходит замполит Трушин с кипой газет под мышкой, раздав их парторгу Симоненко, комсоргу и агитаторам, примащивается рядом со мной, разворачивает фронтовую газету "На боевом посту".

- Новость так новость! Указом от двадцать шестого июня Сталину присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза!

- Здорово, - говорю. - Суворов тоже был генералиссимус.

Прислушивавшийся к разговору, будто настроивший на нашу волну свои оттопыренные уши-звукоуловители, кисловодский житель Яша Востриков, не познавший бритвы и боев, говорит, деликатно покашливая:

- Товарищ гвардии старший лейтенант, я в журнальчике вычитал, что в настоящее время в живых два генералиссимуса. Чан Кайпш в Китае и Франко в Испании...

И ярославский житель Вадик Нестеров, столь же начитанный юноша, тоже безусый юнец, пришедший в роту уже после овладения Кенигсбергом, не нюхавший пороха и, по-моему, водки, вклинивается:

- Я тоже где-то читал про это.

- Теперь есть и третий, - брякаю я и спохватываюсь: именно брякнул, невпопад, да и Востриков с Нестеровым, начитанные юноши, некстати приплели Чан Кайши и Франко.

Трушин переводит пристальный взгляд с меня на Вострикова с Нестеровым, опять нацеливается на меня, опять на Вострикова с Нестеровым. Произносит с расстановкой:

- Как поворачивается язык называть в одном ряду с этими

именами имя Сталина? Идиотство!

- Форменное идиотство, - соглашаюсь я поспешно, Нестеров буреет от растерянности, а великолепные уши-звукоуловители Вострикова словно вянут и опадают.

- Олухи, где же ваши мозги? - сумрачно говорит Трушин, поднимаясь. Сидеть с вами неохота. Опошлили такую новость!

Прав он, неладно как-то вышло. Все трое допустили ляп. Но то безусые солдаты, а то зрелый офицер, командир роты. Не во всем, видать, зрелый... Хотя ругать меня при подчиненных не стоило бы. И вдруг вспоминаю, как мать Эрны говорила: ваш Сталин лучше нашего Гитлера, как я поправлял ее: их и сравнивать нельзя, - и как бедная фрау Гаршщ оправдывалась, сбиваясь и конфузясь. Там лейтенант Глушков проявил зрелость, здесь не проявил.

Печально. И Федора Трушина как будто кровно обидел. Нехорошо.

До того нехорошо, аж настроение подпортилось. Вот так ляпнешь не подумавши, а после жалеешь... Однако Федор, честно же, зря наскочил: я, как и он, рад, что Иосифу Виссарионовичу присвоили генералиссимуса, Верховный Главнокомандующий заслужил. И я заслужил старшего лейтенанта, комбат упоминал: представление ушло в дивизию. От товарища Сталина к собственной персоне - умеет Петр Глушков перескакивать... А интересно, сошьют Сталину какую-то новую форму, отличную от маршальской? Как она будет выглядеть? То ли дело старший лейтенант: новой формы не нужно, даже погоны прежние, прикрепи только лишнюю звездочку. И на Трушина ушло представление: капитан, тоже добавочную звездочку прикрепит. Растем.

На привалах я люблю и умею расслабляться. Мышцы рук и ног, плеч, шеи, спины теряют напряжение, скованность, делаются мягкими, будто бы безвольными, и неплохо при этом отдыхают.

Но валяться на земле горячо: жжет через обмундирование. И суховей, взбаламучивая пыль, аесок и камешки, дует из чрева степного, обжигает кожу и легкие. Ветер, а приносит не прохладу - зной. Из пустыни Гоби налетает, потому и называется - гобиец, старшина Колбаковский просветил. Переворачиваюсь на другой бок. Лежу со слипающимися глазами, и потому, вероятно, меня словно начинает покачивать. Это покачивание навевает дремоту, а может, наоборот: из-за дремоты кажется, что покачивает. Как бы там ни было, я вдруг ощущаю себя едущим в эшелоне. И будто колеса стучат. И будто теплушка раскачивается, и путь мой обратно, на запад, в Германию, к Эрпе! Рывком поднимаю голову, хлопаю ресницами: задремал и примерещилось, я ж в Монголии,

среди своих солдат, железная дорога оборвалась в Баяп-Тумэни. Наверное, многодневная качка в теплушке нескоро из меня выветрится.

Но привиделось-то: еду назад, к Эрне, не привиделось, что еду дальше, на Тамцак-Булак, по узкоколейке. На Тамцак-Булак мы пойдем пёши, как говорят на Дону. Где он, мой Дон? Далёко. Поблизости - иная река, Керулен. Жаль, что не совсем рядышком:

не испить речной водички. А что было бы, если б снегом на ГОЛОВУ заявился к Эрне? Вообрази, потерзай себя - зачем тебе это? Не совершится такое никогда. Ну, и не растравляйся попусту.

Все-таки импульсивный человек Петр Васильевич Глушков! Судите сами: ни с того ни с сего вспомнил о блокнотике, куда заносил свои гениальные или скромнее - ценные мыслишки. Давненько не мусолил карандаш, а тут, на привале, усталый, измотанный, вытащил из планшета, зачиркал по бумаге: "Думаю о жизни и смерти. Это естественно, ибо они взаимосвязаны. Как война и мир. Так вот: после войны, когда отойдет она в далекое или не очень далекое прошлое, ее участники начнут помаленьку умирать. Сперва умрут нынедшпе маршалы, потом генералы, потом полковники и майоры, а там очередь дойдет и до лейтенантов нынешних. Грустно все-таки будет, когда вымрут ветераны. Разумеется, в почтенном возрасте". Записав эту тираду, подумал: не все мы доживем до Победы и, следовательно, до почтенного возраста, кто-то сложит буйную головушку по ту сторону китайской (в данный момент точнее - японской) границы. Могу сложить и я.

Чем я лучше других?

Тут вопрос: за что умирать? Как за что? Мы будем воевать с агрессором, который разбойничает в Китае, Корее, Вьетнаме, Бирме, Малайе, на Филиппинах и еще в скольких-то странах и который опасен для нашей собственной страны. Эта война - неизбежность. Рассуждаю "в лоб"? Возможно. Так приучен. Но по существу-то верно рассуждаю! Ну, а война есть война. Кому-нибудь не повезет. И его оплачут родные и близкие. Мне тоже может не повезти. Но кто меня оплачет? Эрыа ничего не узнает, отца-матери нет. А однополчане слез не льют, залп над могилой - и точка. Да слезами ведь и не поможешь, и вообще не мужское это занятие - лить слезы. Женщины плачут, дети. А еще клен плачет. На юге, на Дону, татарского клена в достатке. Так вот, с черешков кленовых листьев перед дождем капают "слезы". Дерево за несколько часов до ненастья оповещает о нем человека. Как барометр. Лишь приглядись повнимательней к листочкам у твоего окна...

В монгольской степи не приглядишься. Во-первых, нет и

намека на клен или какое-нибудь иное дерево. Во-вторых, нет и намека на возможность дождей. Сушь, сушь. Между прочим, комбат предупреждает нас, ротных: осторожней со спичками, с непотушенными цигарками, бросишь в высохшую траву - пойдет пал, то есть степной пожар. Я предостерегаю своих солдат, а сам думаю:

пал может пойти и от искры из любой выхлопной трубы, техникито во-оп сколько понагнали - скопище! Степь нашпигована машинами, как сало чесноком. Когда-то мама в Ростов-городе делала такое сало. Невероятно вкусно, и невероятно давно это было...

Вслушался в солдатские голоса. Говорок Яши Вострикова:

- Война нам светит какая? Освободительная!

- Точняк, точняк, - отвечает Кулагин.

- Большого ума не треба, чтоб уразуметь это, - ворчливо вмешался старшина Колбаковскпй.

- Легче идти в бой, ежель сознаешь: за правду, за добро подставляешься под пули, - сказал Свиридов. - Надо, чтоб и тебе хорошо жилось, и всякому другому заграничному человеку. Вон на западе мы поляков освобождали, да и самих немцев, считай, освободили от ихнего Гитлера!

- Иху фюреру бенц. - Это Логачеев.

- И здеся освободим кого положено. - Это Головастиков. - Такой будет регламент: нету поработителей и порабощенных, все равные нации... Законно?

Вадик Нестеров:

- Небольшое дополнение... Чтоб после войны было равенство и внутри каждого народа: ни угнетателей, ни угнетенных!

- А в Советском Союзе разве не так? - спрашивает парторг Симоненко, бывший депутат сельсовета, а ныне командир отделения, сержант.

- Я толкую о прочих государствах... Чтоб по всей земле так было и не иначе!

Кто-то, судя по акценту - Погосян, тихонечко замечает:

- Везде так будет... Лишь бы люди-человекн очистились от всего дурного... Войну переплывешь, выберешься на тот берег очпгцениым, отмытым... Еще немного проплыть...

Мой испытанный ординарец Драчев:

- Свой долг сполнпм... Что мы, не советского роду-племени?

Парторг Симонепко одобрительно:

- Идейно зрело, Миша!

- Я такой. - Драчев кивает, важничая.

Разговор закапчивает старшина Колбаковскип, несколько прозаически:

- А раз долг сполняете, то напоминаю всем и каждому: должны беречь на марше боевое и вещевое имущество! Патрона не потерять, пуговицы не потерять.

Как говорится, старшина подбил бабки...

А пить-то хочется. Несколько глотков не утихомирили жажды.

Напиться бы от пуза из голубого Керулена! Да отдаляемся и отдаляемся от него. Выпил бы я водки вместо воды? Ни за что.

А Толя Кулагин с разномастными глазами выпил бы. Любопытно, как смотрели бы его глаза - правый, серый, и левый, карий, какой нахально и какой виновато? А не отдаляюсь ли я от солдат? Лежу один, молчком, рота сама по себе, непорядок это. Думай не о своей персоне, а о роте. Не отделяйся - не будешь и отдаляться.

Встаю, подхожу к солдатам - они лежат кучно, словно в степи не хватает места. Вижу: Геворк Погосян наматывает портянку неправильно, со складками, при марше натрет ступню. Говорю:

- Перемотай. Чтоб ровненько, гладенько было, иначе обезножеть.

Филипп Головастиков с непокрытой головой, Микола Симонеико пьет из фляги затяжными, как будто без пауз, глотками.

Говорю:

- Пилоток не снимать. Может хватить солнечный удар. Пить не торопясь, мелкими глотками, а перед тем надобно прополаскивать рот...

Мои руководящие советы выполняются охотно, незамедлительно: Погосян перематывает портянку, Головастиков натягивает пилотку до ушей, Симоиенко полощет рот, неспешно глотает воду и завинчивает фляжку.

- А гимнастерки можно расстегнуть, пусть будет вентиляция. - Я улыбаюсь, бойцы улыбаются. Вот и славно!

Меня тронули за локоть. Я обернулся: посыльный от командира батальона. В первую секунду подмывало отчитать его: положено сказать: "Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?" - а не лапать офицера, но посыльный пацан пз семнадцатилетних, большеротый, лопоухий, с цыплячьим пушком над верхней губой, в слинявших обмотках, и я удерживаюсь:

- Что тебе?

- Велено вам до комбата подаваться...

Ах ты, безусая гражданка: велено, подаваться. И вновь удерживаюсь от замечания, хотя, в сущности, и напрасно: молодых положено учить. Однако настрой таков, что замечания предпочтительно попридержать. Настрой мирный, ласковый,

благодушный, сколько он продержится? Не гони его преждевременно, он и сам испарится. Идя за посыльным - худенькие плечи, слабая шея, и что они все такие заморыши, эти семнадцатилетние? - гадаю, для чего понадобился комбату. Потерпи пару минут - узнаешь. А заморенные эти мальчики потому, что четыре года сидели на скуднейшем пайке, лишь в армии стали наедаться, понимать надо.

В Белоруссии, что ли, видел из теплушки: тощая корова впряжена в плуг, однорукий мужик в солдатской гимнастерке тянет за недоуздок, три женщины в обносках копошатся у плуга. А на Смоленщине и того хлестче: в плуг впряжены женщины, и женщины же направляют его - огороды вскапывают под картошку... Вот как война ударила по пароду...

Комбат сказал нам, ротным:

- Припять триста метров правее, там расположится батальон.

До полуночи подойдут части первого эшелона, а в два часа нольноль минут марш. Учтите особенности ночного марша. Чтоб никто не отстал, не потерялся... Перед ужином, в семнадцать часов, митинг, посвященный присвоению товарищу Сталину высшего воинского звания - генералиссимуса. Остальное время свободное, личный состав может отдыхать...

Так, ясненько. Предстоит ночной марш. Без солнца, без жары идти легче. Однако спать ночью, к сожалению, тянет зверски.

Вздремнуть бы солдатам днем, после обеда, но опять же - на солнцепеке разве отдохнешь как следует?

Что еще скажет капитан? Ничего не говорит. Его обожженное в танковом десанте лицо неподвижно, глаза без ресниц, какие-то оголенные, помаргивают, будто дают знать: всё, мол, расходитесь.

И мы расходимся - каждый к своей роте.

Приняли на триста метров правее дороги - те же потрескавшиеся солончаки, перемежаемые ковыльником, никаких ориентиров. Оружие составили в козлы, накинули на козлы шипели и плащ-палатки - хоть малость в тени, хоть башку укроешь. Разделись до нижних рубах и маек - у старшины Колбаковского бесподобная динамовская майка облегает недурственный животик, - разулись, обернули портянки вокруг голенищ; шибануло вонюче, но суховей и солнце моментально высушили портяночки, и благовония не стало. А полынью пахло, хотя и не шибко. Шараф Рахматуллаев пошутил:

- Курорт продолжается. Загорали в вагоне, загораем в степи.

Разговорился молчун. Погоди, будет тебе курорт, когда десятки длиннючих километров лягут под ноги. Ну, а покуда, впрочем, лежи отдыхай, набирайся силенок. Рубай на здоровье: обед приближается. Но, честно говоря, жажда убивает аппетит.

Когда полевые кухни подвезли пшенный супец и перловую кашку - здрасьте, старые знакомцы! - солдаты без всякого энтузиазма ворочали ложками; кое-кто хлебнул перед едой водички, будто водочки, для аппетиту, однако это мало подействовало. Жара, духота, сухость прямо-таки угнетают...

Отобедав, я достал из планшета свой блокнотик. Записываю:

"Человек без совести хуже, чем без разума. Безумный человек совершает поступки, не осознавая, а тот, что без совести, сознательно и этим страшен. Как появляются бессовестные люди?!" Гениальные мыслишки? Пусть не очень, по это для себя. Дневника я не веду, офицерам запрещено, дабы дневник не попал к врагу, однако в блокнотике не дневниковые записи, никаких военных сведений - общие мысли и рассуждения, вряд ли кому нужные, кроме меня.

Писал авторучкой (карандаш запропастился), суховей швырялся песочком, как бы посыпал написанное. В старину специально посыпали песком, чтоб чернила поскорей подсыхали? Вроде бы так. Спросить бы у Вострикова либо Нестерова, книгочеи, может, вычитали где-нибудь и про это? Да неудобно: солдаты знают, офицер не знает, а еще командир роты. И я ни о чем не спросил Вострикова с Нестеровым, лишь осмотрел их, шелестящих газетами. Мальчики сняли и шаровары, остались в трусах. А почему бы и нет, ежели ротный старшина товарищ Колбаковский самолично скинул шаровары и, поскольку трусов он принципиально по признает, остался в кальсонах с тесемочками. Динамовская майка с подштанниками - смешно.

3

Он подсел ко мне и, шевеля пальцами ног с отросшими ногтями, с неодобрением наблюдая за ними, сказал тенористо, врастяжку:

- Товарищ лейтенант, привыкаете к тутошней температурке?

- Сразу не привыкнешь, старшина.

- Не поверите, товарищ лейтенант, вроде я помолодел, переехамши госграницу. И не предполагал, что так воздействует... Отбарабанил я туточки подходяще, в молодые-то годы... Вообще послужил в армии! Можно сказать, полжизни провел обутым, одетым. Одетый сплю хорошо, фуражку на лицо - и порядок. А разутый, раздетый, бывало, не засыпал... Сомневаетесь? Нет? Действительную я зачинал служить в Забайкалье, края сходные с монгольским степом. И там и здесь тарбаганы, ковыли да солончаки...

Степ - он, а не она, так говорят казаки, и я подумал, что Колбаковский-то со Ставропольщины, возможно казачьего роду.

Он продолжал:

- В Забайкалье на разъездах - войска, войска. Нынче там Тридцать шестая армия дислоцируется... Так, значится: отслужил я действительную, заарканили на сверхсрочную. Заарканили - для красного словца, к армейской службе я приклеился. Не отклеишь! Уважаю! В стрелковой дивизии ротным старшиной т япул лямочку, а после в Монголию перевели, в Семнадцатую армию, нынче ее сдвинули вправо... Аккурат под Новый год прибыл в Баяи-Тумэпь. Все как в разлюбезном Забайкалье: землянки, морозы под полсотпю, тумаи-"давун", давит под дых, спасу нет, снега тоже нету и елок праздничных нету, потому как не растут елочкипалочки в степу... Сперва на продскладе кантовался, через полгодика в артполк попал.

"Значит, на продскладе он служил до воины, - подумал я. - А мне кто-то говорил, дескать, всю войну сшивался возле круп да масла. Наврали... Кто? Не помню. Но поверил, теленочек..."

- Служил - не тужил. И тут закипела Великая Отечественная. "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой..." Помните ту песню? Пел со всеми, и ажио мороз по коже: туда бы, на запад! Подал рапорт; добровольцем на фронт... Знаете, мало кого посылали из Монголии на фронт, а мою просьбу уважили. Подвезло! Да не совсем...

- Что так? - прервал я.

- Да так... - протянул Колбаковский, которому приятна моя заинтересованность. - Видите ли, товарищ лейтенант, как оно скособочилось-то... До передовой не доехал, по врагу не выстрелил...

Довезли нас ажник до Тулы чин чпнарем, а туточки налетели стервятники, разбомбили, расстреляли эшелон вдрызг. Мне влепило осколком в плечо, чуток лапы не решился...

- А я и не ведал. Что ж вы раньше не рассказали?

- Не было повода.

Мне почему-то стало неловко, будто из-за моей именно черствости старшина не поделился прежде. Я пробормотал:

- В госпиталь попали?

- Само собой. Потартали меня от Тулы-оружейницы обратно, на восток. В свердловском госпитале проканителился полтора месяца, а оттудова куда, вы думаете? Снова на фронт? Снова в Монголию! Как поется, судьба играет человеком... Уж как я пи рвался, попал на фронт только в январе сорок пятого. И то целая история...

- Какая? - Интерес у меня повышенный, чрезмерный.

- Такая, товарищ лейтенант... Обскажу, слухайте... В феврале - марте сорок второго в армию зачали призывать девиц, едрп твою качалку! И меня угораздило попасть старшиной зенитной

батареи, где один женский пол! Комбат мужик да я, остальные бабье, девицы то есть... Ох и нанервпичался с ними! Чуть что - обиды, слезы, слова резкого не скажи, а бранное позабудь, иначе истерика. И жалел их, и злился... А построения! На вечерней поверке все в наличии, на утреннем осмотре кого-то недосчитаешься... Погуливали иные, мужиков-то вкруг в избытке... Кровь-то молодая, горячая, и голодуха не удержит, и старшина...

"Когда кровь горяча, никто не удержит, - подумал я. - По себе сужу".

- Но бог смилостивился, - сказал старшина и раскрыл в улыбке металлические зубы. - Перевели меня в пехоту, к мужикам. Как положено, занятия, караульная служба, рытье укреплений. Всю Монголию ископали по границе, чтоб японца встренуть, ежли попрет... Вкалывали будь-будь, а харчевались по какой норме? Хоть с осени сорок первого Забайкальский округ превратили во фронт, про то я уже сказывал в эшелоне, питание было тыловое. Триста шестьдесят граммов хлеба в сутки, супец-рататуй, вода, заправленная водичкой, ни картошки, ни капусты не выловишь... И приметьте, товарищ лейтенант: Семнадцатая армия отстреливала для фронта диких коз, были такие охотничьи команды.

Не для Забайкальского фронта, он хоть и прозывался фронтом, да не воевал, а для западу. Все, до грамма, на запад, себе ни кусочка, с этим было ой как строго... Едешь, бывало, по степу, а сопка белая, кажется снег, но то стадо коз, серо-белые козочки, побили их для фронтовиков, побили... Да, сами голодовали нормально. И не всяк выдерживал: пузо сосет, еще и цинга стала цепляться. Всяк рвался на запад, потому патриот, в бой хочет. А также потому: голодуха изводила. Иные рассуждали: в бою убьют, так слава, а тут подохнешь, как собака. Несознательность, конечно.

И сбегали некоторые, лезли в эшелоны, что уходили на запад. Их ловили, отправляли в штрафные роты. Штрафников же направляли - куда? - на запад, в бой! И вот эти - кто? - герои пишут опосля в Монголию: как вы там, тарбаганы, все еще копаетесь в земле, строите доты-дзоты, хлебаете баланду, коптите небо, а я уже побывал в боях, судимость снята, представлен к правительственной награде, чего и вам желаю, бывший ваш товарищ по тыловой норме... Однако же терпение у командования лопнуло, и таких патриотов, таких ловкачей зачали отправлять не в штрафные роты, а в Читинскую тюрьму! Был приказ командующего Забайкальским фронтом генерал-полковника Ковалева, нам зачитывали... Про Забайкальский фронт хохмили:

тыловой фронт. Доложу вам, товарищ лейтенант: тыловой не значит мирный. Воевать не воевали, по Квантунская армия нависала над нами, как гора: глядишь - обвалится войной, у-у, самураи, банзай, император Хпрохито, черти б вас съели! И территорию монгольскую обстреливали ружейно-пулеметным огнем, и у границы крупные части концентрировали, как перед наступлением, - у нас, само собой, боевая тревога, неделями не выходили из траншей. Помотали пас! И мотали тем сильней, чем дальше немец продвигался. Опосля сталинградского разгрома поутихомирились, но гадости свои продолжали...

- Скоро, товарищ старшина, Забайкальский фронт не будет тыловой, сказал ефрейтор Свиридов.

Я-то предполагал, солдаты дремлют. А они, видимо, прислушиваются к рассказу Колбаковского. Что же, пусть послушают, это им не бесполезно.

- Очень может быть, хотя оно и не нашего ума дело, - вежливо и строго, как в былые времена, ответил Колбаковскпй. - Но должен, товарищ Свиридов, сделать тебе внушение: без спросу в разговор старших встревать не положено.

Свиридов крутанул головой, снизу вверх глянул на старшину, промолчал. А Толя Кулагин бойко сказал:

- Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к товарищу старшине? Товарищ старшина, разрешите задать вопрос?

- Задавай, - сказал Колбаковский прежним тоном.

- Вы давеча обещали рассказать целую историю, как на фронт попали, в сорок пятом... Расскажете?

- К тому иду. Экий ты нетерпеливый, товарищ Кулагин.

- Виноват, товарищ ел аршина! Исправлюсь!

Виноват? Глаза у Кулагина - и карий и серый - не виноватые, а, пожалуй, с иахалипкой. Колбаковский пошевелил пальцами и сказал:

- Докладал же: харч не соответствовал, хлеба в обрез, приварку никакою, зелени и в помине... Чтоб нас поддержать, чтоб не кровенились десны, нам выдавали кружку дрожжей да перышко черемши, дикого луку... А десны все одно кровенились, зубы шатались, выпадали. С цингой-то я и угораздился в госпиталь окружной... тьфу ты, фронтовой в Чите. Во, теперь металл в пасти. - Колбаковский разинул рот передо мной, как перед зубным врачом. В Чите опять подвезло: из выздоравливающих формировали команду - и на запад! Даешь Берлин! Меня сподобило на Третий Белорусский, с вами, товарищ лейтенант, вместе, значится...

"Вместе, - подумал я. - Вместе воевал и буду воевать с Колбаковским и со всеми остальными, а как же мало знаю о пих!

Нелюбопытство, черствость?"

- Товарищ старшина, и это вся история? - спросил Кулагин.

- Вся, чего же размазывать, - ответил Колбаковский.

- А говорили: целая история... Тогда снова разрешите спросить, товарищ старшина? Насчет девах-зенитчиц вы обсказывали...

Вас было двое мужиков на батарее, и как же вы от соблазна удерживались? Выбирай любую...

- Глупости спрашиваешь, товарищ Кулагин. Потому глупости, что у настоящего армейца служба превыше всего, на любовные шуры-муры и прочее баловство на фронте времени не было.

И потом прикинь: как бы данная ситуация выглядела, если б мы зачали с подчиненными путаться, то есть жпть? Соображаешь?

Любвями надо заниматься на досуге...

Толя Кулагин - мне показалось, пристыжепно - приумолк, а я вспомнил, как в эшелоне, нежась на раструшенном сенце, старшина Колбаковский поддерживал солдатские вольные беседы на женские темы, как говаривал: "Штурмовать баб не потребуется, сами будут падать к нашим стопам!", и как глазки его маслянисто блестели. Ну, то было в дороге, в безделье, чего тут поминать, нынче предстоит дело. Война предстоит. И коли так, то правильно: служба, подготовка к боям, а лишнее отметай. Разве что в мыслях можешь оставить. Про себя. Для памяти.

Логачеев - шепотком:

- У меня на груди шерсть повытерта от бабьих голов.

- Товарищ лейтенант, - сказал Колбаковский, игнорируя реплику Логачеева, - я так же был бы радый, если б наш эшелон прислали в Забайкалье, в Даурский степ, к валу Чингисхана.

Ведь я ж и там служил молодым-то!

- А что это за вал Чингисхана? - спросил я, и поднявшиеся головы свидетельствовали: другим тоже интересно.

- В Даурском степу обитал повелитель татаро-монгольский Чингисхан, оттуда зачал совершать свои кровавые набеги. Нынчето времена изменились, татары теперь другие, и монголы другие... А от тогдашнего царства Чиигисхапова и остался древний вал. Он земляной, травою порос... По ту сторону вала Чшггисхаиа японцы окопались, по эту мы, родненькая Тридцать шестая армия, да никакой вал, как поется где? - - в народной песне, что? не загородит дорогу молодца. Будет приказ, рванем вперед! Правильно говорю?

- Правильно говорите, - ответил я, и мне захотелось назвать старшину по имени-отчеству. Но я их забыл, потому что крайне редко, а может, и никогда не звал его так. Все старшина да старшина, изредка - товарищ старшина. Я уж было и на этот раз

едва не произнес "товарищ старшина", однако все-таки припомнил:

Кондрат Петрович. Чего ж тут не запомнить? Я сказал:

- Совершенно правильно, Кондрат Петрович.

И Колбаковскпй Кондрат Петрович разулыбался, как некогда в эшелоне мой ординарец Драчев, когда я его назвал Мишей. Но много же людям надо, чтобы они почувствовали твою ласку. Но скупись на нее, Глушков Петр Васильевич! Тем более что в жизни люди эти не столь уж часто ее ощущали, ласку. Впрочем, ты и сам не избалован ею.

Разговор иссяк, и Кондрат Петрович с еще не совсем закрытыми глазами пустил первую руладу, вторую, и уже знаменитый храп гуляет по биваку.

- Задает старшина храповицкого, - проговорил Головастиков и в зевке клацнул зубами.

Глядя на него, зевнул и я. В принципе вздремнуть, точно же, недурно: ночью марш. И солдатики, молодцы, устраиваются поудобнее - для сна, кое-кто свиристит носом. Я сомкнул веки, дышу равномерно, но и намека на сон нету. Наверное, в эшелоне от Йистербурга до Баяп-Тумэии отоспался на месяц вперед.

И жарко, душно, сохнет в носу и глотке. От пота зудит спина.

Почухаться бы о столб, как поросю. Столбов и деревьев не видать, придется потерпеть. И потому раскрой глаза. И смотри на солдат, которые спят и не спят, на выгоревшие от зноя небеса где-то в центре Азии, на дальнюю гряду сопок, на песчаную поземку, сыплющую горстями в глазницы верблюжьего черепа; он у моих ног, а поодаль, на солончаках, вышагивают ведомые монголами три верблюда, величественные, не доступные ничему, кроме смерти.

Как сказал бы Кондрат Петрович: поется - где? - в песне, что? - и вдаль бредет усталый караван. Была такая шикарная пластиночка до войны, до той, до западной.

Перед митингом солдаты затеяли бритье, подшивали чистые подворотнички. Знатный цирюльник Миша Драчев соскоблил свою щетину, потом взялся скоблить у Логачеева, а за тем - уже целая очередь: знатный брадобрей никому не отказывал в золннгеповской бритве. У Кулагина три свежих подворотничка, один пришил себе, остальные отдал Свиридову и Головастикову. Мне по душе солдатская готовность чем-пичем услужить товарищу.

Эта взаимопомощь особенно важна в делах серьезных - на марше, тем паче в бою.

Митинг открыл замполит полка. Он распевно зачитал Указ и заявил, рубя воздух ребром ладони:

- Это наша общая законная радость и гордость, что товарищу Сталину присвоили звание Генералиссимуса Советского Союза. Он величайший полководец всех времен и народов, ура! - Строй отозвался раскатистым "ура". - Товарищи! Сталин - наша слава боевая, Сталин - пашей юности полет! С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет...

Было это из песни, замполит выразительно продекламировал.

Другие говорили уже не в рифму, что радуются и гордятся и, если товарищ Сталин прикажет, пойдут в бой с любым врагом, кое-кто уточнял - с японскими самураями. Я тоже радовался и гордился и тоже готов был идти в бой.

После митинга ко мне подошел Трушин, стрельнул папироску.

- Народ-то как настроен, а, ротный? Рвутся в наступление!

- Настроение боевое, - сказал я, очень довольный, что Федор, вероятно, не сердится больше на меня за бестактность; конечно, бестактность приплести еще каких-то вшивых генералиссимусов. - Скорей бы уж начиналось, коли суждено...

- Суждено, - сказал Трушин. - Но когда - это прерогатива высшего командования, а мы с тобой мелочь пузатая...

Не было желания спорить по поводу самоуничижительной мелочи пузатой, в эшелоне уже спорили, хватит. Пускай каждый считает по-своему. Я был и остаюсь при своем мнении: не только великие, а все люди - личности.

Он стукнул меня по плечу, я его. Закурили. Зной спадал, и жить можно было. Солнце опускалось на западе за гряду сопок, подпрыгивая, как мяч. По небу косо прочертились солнечные лучи, окрашивая облака в багряное, желтое, лимонное и фиолетовое.

Красиво! А главное, жара меркнет, суховей утихает, как будто он решил вернуться восвояси, в пустыню Гоби. Можно не только курить, но и рубать ужин с аппетитом, и дышать в полные легкие, и не потеть так зверски. Жизнь! И вдруг монгольский степ как обрызгало сиропом, патокой, медом: заиграл иа аккордеоне, запел Егорша Свиридов:

Ты стояла молча ночью на вокзале,
На глазах нависла крупная слеза.
Видно, в путь далекий друга провожали
Черные ресницы, черные глаза...

Так, так. Что-то новенькое, вроде танго. Запас этой продукции у Свиридова далеко не исчерпан, я его недооценил. Как обычно, Егор пел с придыханием, выкаблучиванием, выдрючпванием, но клянусь: на глазах у Филиппа Головастикова и впрямь выступили слезы, до того расчувствовался. Вот

благодарный слушатель, не то что я. И солист ГАБТа, заслуженный артист республики Сергей Лемешев, король цыганской эстрады Вадим Козин, народный талант ефрейтор Егор Свиридов выдавал - будь здоров! Поневоле заплачешь... Маэстро...

Я уж было внутренне усмехнулся, но сам себя одернул: что тут смешного? Головастикова ты отпускал по дороге заглянуть в Новосибирск, к жене; неверную, он собирался ее зарезать, слава богу, не зарезал, но сердце у него наверняка кровоточит. Почему же его не может растрогать это танго? Тебя же трогает аналогичное - "Синий платочек" - не танго, правда, а вальс, но цепа им единая. Что-то в этом все-таки, видимо, есть, ежелн под настроение задевает за живое. Многих, знаю, задевают новые военные слова: "Строчи, пулеметчик, за синий платочек, что был на плечах дорогих". Так не насмехайся над Головастиковым, а пойми и пожалей. Понимаю и жалею. И ты, Свиридов, играй, играй, как можешь...

Но кто же ведал, что это была лебединая песня Егорши Свиридова? Когда ночью начали марш и лошади дернули повозку, запеленутый в футляр старшинский аккордеон упал под колеса следующей подводы. Инкрустированное сокровище по имени "Поэма" приказало долго жить: раздавлено, щепочкн-железячки.

Узнавши про то, Свиридов сделался сам не свой. Солдаты бранили повозочных, утешали Свиридова. Активней всех - Колбаков ский:

- Не переживай, Егор! Я и то не переживаю, а моя ж собственность... Пес с ней, с немецкой "Поемой"! В Харбине, Мукдене заимеем японскую "Поему"! В Токио добудем!

Кондрат Петрович так и произносил: "поема", и это звучало отчего-то чрезвычайно убедительно. Однако Егор Свиридов был безутешен. Да и мне, признаться, было жаль аккордеона. И Свиридова тоже...

И вдруг Филипп Головастиков сказал:

- Я вот не прирезал свою курву... Курва она, больше никто, а знаете, как вспоминал про ее, когда слушал Свиридова? На побывке увидал на ей матерчатые тапочки для покойниц... Ну, такие дешевенькие, белые, так она их красила чернилами. Чтоб не шибко было заметно, что покойницкие. Увпдал - и пожалел курву...

М-да, несколько неожиданный монолог...

Марш начался при лупе и звездах. Лупа была высокая, маленькая, яркая, звезды большие и яркие. Гобиец-такп не убрался восвояси, хотя и посвежел, песочко.м мело по следу автомашин, мело-заметало нашу автостраду. Через час тучи

закрыли луну и звезды, стало темно, тревожно и таинственно. Нет, не так: темноты не было, ее рвали фары машин, костры биваков, прожектора противовоздушной обороны. И тишины не было: лязг танковых гусениц, рев надрывающихся моторов, повозочный скрип, топот копыт и сапог. Но тревога и таинственность были: все это скопище людей и техники двигалось на юг, к монголо-маньчжурской границе, за которой залегли японские укрепленные районы, неведомые, загадочные, на господствующих высотах, откуда можно стегануть из орудий и пулеметов - косточек не соберешь. Итак, все же будем воевать с Японией? Он еще спрашивает! Теперь-то как дважды два. Ну, я уже привык к этой мысли, привыкли и мои солдаты.

Я вел ротную колонну, старшие сержанты-усачи - свои взводы. Перед маршем наказал им: не теряйте контроля над бойцами, выходите из колонны, идите рядом, сзади, чтобы пи одного отставшего, в ночной степи, при таком скоплении войск, можно запросто потеряться. И сам останавливался у обочины, пропуская роту, оглядывал ряды и, убедившись, что пока все в порядке, занимал свое место впереди. Идти было нетяжело - зиоя нет, дорога ровная, накатанная, и не собьешься: перед глазами комбат на коне, замполит Трушин на своих двоих. А у тех перед глазами командование полка. Вот ежели полковые собьются, все будем плутать.

И внезапно меня поражает мысль: в общем-то удача, что сюда попал и в дальневосточных операциях буду участвовать, после смогу сказать: и на Западе воевал, и на Востоке. Так что есть свои плюсы в любой ситуации, как любит повторять старшина Колбаковский Кондрат Петрович.

Мы твердо ступали по солончаку, и так же ступали по брусчатке Красной площади участники Парада Победы двадцать четвертого июня. Газеты писали: в этот день сводные полки всех фронтов (и нашего Третьего Белорусского!) прошли перед Мавзолеем Ленина, и вот мне кажется: мы сейчас как бы продолжаем тот парад, что завершился в Москве, мы победно шагаем дальше. Победно? Это еще ладо доказать. И докажем. В боях докажем! На Западе какую войну отгрохали, неужели на Востоке сплохуем?

В пашей армии столько танков, самолетов, пушек - на дворе сорок пятый, не сорок первый, - но в конечном итоге люди решают все. Они и в сорок первом все решали, и нынче. Я уверен в своих людях, хотя это и не былинно-газетные чудо-богатыри, а обыкновенные смертные. Но поправляюсь, себе противореча: необыкновенные и бессмертные! Ибо содеянное ими беспримерно и войдет в историю. А так, в обиходе, человеки как человеки. Вот

разговоры вяжут. На марше не положено разговаривать, однако я не мешаю говорунам: пока это им помогает идти, устанут - прекратят говорильню. Одни голоса узнаю, другие нет и не пытаюсь узнать. Зачем? Любопытно, ни слова о предстоящей войне, все так или иначе связано с довойной. Тоскуют люди по дому.

- Стой! Прива-ал! - Команда незычная, но ее слышат и в хвосте колонны. - Прива-ал!

4

Травянистый дворик, подступающий к веранде; в центре его яблоня, и нападавшие в траву яблоки лежат но окружности кроны: желтое на зеленом; а с краю дворика дуб, и желуди шлепаются в траву, как весомые дождевые кашш...

Я проснулся, сознавая: то, что увидел во сне, было паяву, в Ростове, до войны, до армии, это наш дворик, наша яблоня и дуб.

Здесь, в центре Азии, ни яблонъки, ни дубочка, пи захудалого кусточка даже в рифму. Ковыль есть, полынь есть. Ею пахнет еще острей и тревожней, чем тогда, у раскрытой двери в теплушке эшелона, шедшего от Читы на Карымскую, на Борзю, к монгольской границе. Горчит полынь, горчит. На то она ц полынь.

Каких-нибудь двое суток как отчалили от Читинского вокзала, а будто все в далеком прошлом. Оттого это, наверное, что границу пересекли, Россию покинули. Что-то важное преодолено и в пространстве, и в нас самих. Но как я задремал, когда? Присел, помню. Смотрел на высокое, однако черное небо, слушал солдатский перепляс - так Трушин именует солдатский треи - и бац, клюнул носом. Продрых-то самую малость, потому что речь держал тот же Толя Кулагин:

- Робя, робя, а вы не задумывались? Имеются имена мужеские, имепа бабские. То ись только мужеские и только бабские.

А то ведь имеются, которые носют и мужики, и бабы...

- Навиример: Клавдия и Клавдий, у меня корешок был - Клавдий. - Это Свиридов, грустный-прегрустиый.

- В десятку вмазал, Егорша! А также: Анастасий - Анастасия, Александр Александра, Валентин - Валентина, Евгений - Евгения, Марьян - Марьяиа...

- Павла и Павел, - еще грустнее произнес Свиридов.

- Опять же в десятку, Егорша! Еще: Федор - Федора... Но отчего так, робя, кто берется объяснить?

Никто не брался: треп загасал, как докуренная до ногтя самокрутка. Табачили, сплевывали, кряхтели, поворачиваясь. Зевали. Да как не зевать, ежель разгар ночи, закон природы - ночью снать полагается! А за то, что приснилось, - спасибо. Сны

такие вроде бы приятны. И в то же время растравляют: ушедшее безвозвратно. Раньше (да вовсе недавно!) я торопил жизнь: давай, давай, не задерживай, что там будет завтра, что послезавтра?

А не надо бы торопиться: все придет в свой срок. Ныне даже не прочь попридержать дни и часы. Попридержал бы и эту душноватую все-таки (чем больше идем, тем меньше свежести ощущаем) ночку, марш и малый привал, и разглагольствования Толи Кулагина - автоматчика с разноцветными глазами.

- Эх, робя, робя, набаловался я за путь-дорогу, на нарах, на сенце, под крышей... А тута - солончаки. И уж коли не на пуховой перине поспать воину-победителю, а также и освободителю, так хоть на разостланной шинельке! А разостлать не дадут, потому как и спать не дадут, счас подымут...

Кулагин не унимается. В темноте словно вижу перед собой его помятые, увядшие черты - после плена, после львовского лагеря увянешь. Но не унывай, автоматчик Кулагин: поспишь, когда отвоюемся окончательно. И я посплю на перппе и под одеялом с пододеяльником, и светильник будет в изголовье, и горшок под кро-ватыо. И лекарства на столике - лет через сорок примусь болеть, перед тем как дубаря врезать. На той войне не убили и на этой не убьют. Еще лет сорок проскриплю. А безусые должны иметь в запасе лет пятьдесят, а то и шестьдесят, мне не жалко, я не скупердяй, живите, мальчишки, сколько влезет. Лишь бы вас не скосило в грядущих боях, к которым мы и шагаем с вами этой ночкой.

И вдруг разговор делает крутой поворот, ибо Кулагин произносит каким-то особым топом:

- Робя. а ить мы-то идем на серьезное... И я так раскидываю мозгой: опосля войны должна быть одна правда, для всех, чтоб пикто-нпкто не кривил душой. Чтоб мы жили, как брат с братом!

Немедленно отзывается Сгшонепко:

- Надо очистить землю от заразы и скверны. От фашистов и им подобных.

Отзывается и Свиридов:

- Микола правильно заостряет... Но думаю и так: допустим, я сгибну... Не желаю этого, желаю жить, на войне об твоих желаппях не спрашивают, однако... Так вот. паря: ежели сгибну, то пускай унесу с собой плохое, а хорошее останется людям...

- Нам всем жить нужно, - говорит Логачеев. - Но и Егорша в общем-то прав...

Да-а, не один лейтенант Глушков раздумывает о проблемах бытия. Да еще и в такой неурочный час... Живые - о живом, а оно неохватно. И я думаю: как сложится дальнейшее наше ратное существование? В эшелоне, за Читой уже, раздобыв у

дивизионных газетчиков потрепанный, рваный атлас, я с солдатами рассматривал карту Монголии и Китая, точнее, Маньчжурии, еще точнее, приграничье Монголия - Маньчжурия. И потому у меня перед глазами время от времени встает то, что увидел в атласе:

пустыня, горные отроги. Большой Хипганский хребет, за которым Маньчжурская равнина.

Ну, марш по монгольской степи - ясненько: трудности будут, и немалые, но стрельбы, слава богу, не предвидится. Стрельба будет на границе и за границей, в приграничье. Каких боев можно ожидать? Недооценивать противника преступно: японцы - стойкие солдаты, технически оснащены, наверняка вдоль границы оборонительные укрепления, которые придется пли взламывать, или обходить. Если взламывать, не отрывайся от огневого вала нашей артиллерии (да и авиация обработает перед наступлением), не отрывайся от танковой брони (танки непосредственной поддержки - надежные друзья), ослепляй доты, смело врывайся в траншеи и окопы, рукопашный бой не в новинку. Будут ли бои на Хингане? С ротной колокольни не увидишь, хотя и хочешь.

Но преодолевать двухтысячной высоты хребет - в новинку. Сам по себе штурм хинганскнх круч невероятно труден, выложимся до предела. А на Маньчжурской равнине, видимо, новые бои и новые марши. Во всяком случае, проделав марш в Монголии, мои солдаты окажутся более подготовленными к маршу в Маньчжурии.

Будут ли уличные бои? А почему бы и нет? Тут нам здорово пригодится опыт боев в Борисове, Смоленске, Орше, Минске, Алитусе и особенно в Кенигсберге. Главное, это схватки за дом и в самом доме, когда из-за укрытия метаешь гранату, строчишь из автомата и - бросок вперед, на лестничную площадку, на следующий этаж. И не забывай страховать друг друга! Не то всадят очередь в спину! За ветеранов я спокоен, а вот молодежь не обстреляна...

Сколько же сейчас времени? Чиркаю спичкой: четыре. Господи ты боже мой, дрыхнуть бы под стук вагонных колес! Некогда часики были светящиеся, по теперь стрелки отчего-то перестали светиться, и приходится, если темно, зажигать спичку либо фонарик. С часиками - эпопея. С тех пор как в эшелоне, во время омской баньки, у меня увели трофейные швейцарские подношение Миши Драчева, я как-то обходился без часов, не очень затрудняясь их отсутствием. Но где-то около Карымской ко мне придвинулся Филипп Головастиков и снял с запястья свои часы - трофейные, не швейцарские, а французские, старенькие,

однако идут. Принялся уговаривать:

- Товарищ лейтенант, не сегодня завтра боевые действия, как же вы без точного времени? "Товарищи офицеры, сверим часы..."

А? Прошу: возьмите во временное пользование, кончится регламент возвернете...

При чем тут "регламент", непонятно, но понятно другое: часы мне действительно нужны, и Головастиков в самый раз предложил свои. Я лишь ради приличия спросил:

- А сам-то как?

- У вас буду справляться!

Так я заделался хотя бы временным обладателем новых (точнее, весьма старых, потускневших, побитых, поцарапанных) часов. При этом Головастиков чистосердечно предупредил:

- Товарищ лейтенант, пользуйтесь на здоровье, толечко поправку надотъ делать... Часики-то ходют не так чтобы как часы.

Ошибаются. Бывает, отстанут. Бывает, убегут. А то и вовсе остановятся!

"Подарочек", - подумал я.

Возможно, у Головастикова они шли более-менее прилично:

законный владелец! У меня же и убегали и останавливались, но вдобавок демонстрировали скрытое коварство: незаметно постоятпостоят и пойдут, ты думаешь, все нормально, да не тут-то было!

В часиках ковырялись шилом и ножичком Логачеев, Востриков, у которого родной дядя - часовой мастер, и лично старшина Колбаковский. Помогло это, как мертвому березовый веник. Старший сержант комвзвода-2 дал совет:

- Молотком вдарить!

Старший сержант комвзвода-3, столь же белобрысый, усатый и смешливый, как и его коллега, подтвердил:

- Молотком! А еще здоровше - кувалдой!

Вот сейчас часики показывают четыре. А четыре ли? Может, уже и пять? Нет, в пять, наверное, светало бы вовсю. Лето ведь, канун июля. Но сумрак рассеялся без рассвета: разорвались тучи, проглянули звезды и луна. Этак-то веселей шагать.

- Становись! Становись!

Три моих взвода выстраиваются в колонну; на цифре "три"

все построено: три отделения - взвод, три взвода - рота, три роты батальон, три батальона - полк, три полка - дивизия. Моих три взвода, но когда строй заколыхался, двинулся, забухал сапожищами, мне подумалось: мои и полки, и дивизии, и корпуса, и армии, которые этой ночью идут по степи, десятки тысяч людей.

Я один из них, мало что значащий сам по себе, однако вместе

со всеми значащий многое. А почему на тройке все построено? Бог троицу любит!

А ног - всего пара. Сколько ж ими протопано, горемычными, по Подмосковью, Смоленщине, Белоруссии, Польше, Литве, Восточной Пруссии, сколько еще им предстоит протопать! И рук - всего пара. Сколько ими перелопачено, сердечными, подмосковной, смоленской, белорусской, польской, литовской, немецкой земли, сколько еще им предстоит перекопать! Если б наши землеройные работы да на пользу народному хозяйству - громадная была бы польза. Это представить себе: какое количество котлованов под здания или каналов можно было бы накопать взамен окопов и траншей...

Лупа и звезды были блеклыми, предутренними; блекли они и оттого, что под ними, на земле, темноту не переставало полосовать лучамн фар и прожекторов; и немолчные стояли лязг - поближе, рокот - подальше, степь будто клокотала танковыми и автомобильными моторами; порой и в небе, в соседстве с луной и звездами, возникал гул - моторы авиационные. И по связи с этим, видимо, мне вспомнилось: кроме лошадей монголок, теплой одежды, продовольствия на фронт прибыла танковая колонна "Революционная Монголия", созданная на средства трудящихся Монгольской Народной Республики; впоследствии она стала основой 44-й гвардейской танковой бригады, дошедшей до стен Берлина. Летом сорок четвертого года нашей авиации была передана эскадрилья истребителей "Монгольский арат", также построенная на сбережения монгольских тружеников. "Спасибо, братьямонголы!" - говорили мы тогда и говорю я нынче, вспоминая.

Лязг, рокот и гул не в состоянии заглушить топота пехоты.

Я подумал так: бессмертный топот кирзачей, и мне стало весело.

Оглянулся: ротная колонна слитной массой за мной; звяканье котелков, кашель, хриплое дыхание. И эти звуки ничто не может заглушить. Посмотрел вперед: комбат на коне, Трушина не видпо. Подался, вероятно, в роты. И ко мне, станется, заглянет замполит батальонный, друг ситный Федя Трушин. Давненько мы с ним не чесали языки. Иначе говоря, не решали мировых проблем.

И как там эти мировые проблемы существуют без нашего мнения о них? Наверное, туго им, проблемам! А если всерьез, есть одпа проблемка, в решении коей и мы с Федором Трушиным примем участие - ж не словопрениями, а делами-делишками: погасить очаг второй мировой войны на Дальнем Востоке, завершить вторую мировую. Здорово, когда словеса моздо подкрепить делами, как в данном случае.

Чем дальше мы уходим на юг (хочется сказать: чем ниже спускаемся на юг, хотя будем подыматься - там горные отроги), тем ближе Тамцак-Булакский выступ. Не надо быть выдающимся стратегом, чтобы понять, почему нас направляют туда: этот выступ - как кулак, занесенный над Маньчжурией, с него, с обширного плацдарма, сам бог велел наступать, чтобы окружить, рассечь, разбить Квантунскую армию, - и откроется дорога в глубь Маньчжурии, на 4анчунь, Мукден и далее к побережью Ляодунского залива, к Желтому морю. А хотите, можно идти правее, на Бэйпин, то есть Пекип. Не зря японцы в мае тридцать девятого года вознамерились срезать этот выступ и потом захватить всю Монголию, да не выгорело: в конце августа на ХалхипГоле советские и монгольские войска разгромили их наголову.

Вот такой экскурс в историю...

Я шел, пыхтел, - отвык-таки, видать, за месяц от маршей и бросков, - и в спину дышала моя рота, и словно дыханием этим подталкивало меня, и идти было легче. А чем я ей помогу? Вышел из строя, пропустил взводы отставших нету, прекрасно, скомандовал: "Ребята, не растягиваться! Воду экономить, не пить даром!" - и вернулся на свое законное местечко впереди колонны.

Это помощь? А что обозначает - не пейте даром? Тут зря не пьют, лишь по нужде. Но экономить воду во фляжке, терпеть ц перетерпеть жажду можно и нужно. И я подаю пример - не прикасаюсь к фляге. Хотя превосходный этот пример, дающийся мне не без усилий, не очень различим в сумраке.

Нет, пить никак нельзя: когда будет колодец, неизвестно, и будет ли в нем вода, тоже неизвестно. А ведь после короткого отдыха и сна марш продолжим днем, в самый зной.

Ночь, а мы мокрые, как мышь: пот на лбу, стекает по щекам, за ушами, меж лопатками. Иной раз вытрешься рукавом, иной раз плюнешь: надоест бесконечно утираться. Это с нас сгоняют жирок, которым обросли в эшелоне. За все свои воинские годы я не катил столь продолжительно в теплушке и не совершал столь длительного марша. А между тем армейской колеи придерживаюсь с октября тридцать девятого, кой-какой опыт поднакопился. Видать, еще недостаточный. Надобно обогатить.

Да, а ротный я отныне законный, стопроцентный. Не врид и не врио. Постоянный, затвержденный приказом по дивизии. Надо же: солдаты спят, а служба идет, штабы скрипят перьями, в дороге реляции сочиняют. Когда подъезжали к монгольской границе, вездесущий замполит Федя Трушин шепнул на ушко: "Петро, с тебя причитается: утвержден ротным!" - "Иди ты!" "Голову на отсечение: по моим данным, комдив прпказнк

подписал!"

Я верил - не верил, но в Баян-Тумэни при выгрузке комбат сказал мне вполне официально: "Лейтенант Глушков, есть на тебя приказ из штадива, из отделения кадров. Поздравляю: законный ротный". Обрадовался? Да. Не очень, правда, остро. Больше бы обрадовался, если б комбат сказал: старшего лейтенанта присвоили, готовь третью звездочку. Засиделся я в девках, то есть в лейтенантах.

Пропуская колонну и покрикивая: "Ребята! Подтянись, растянулись как! Подтянись, подтянись!" - я подумал, что догонять и перегонять роту всякий раз накладно, напрягаешься, да что ж попишешь: из головы колонны людей не увидишь, особливо спиной. Пока отстающих нет, хромающих тоже. Если что, товарищи помогут, возьмут часть груза себе, а уж ежели совсем худо кому будет, посажу на повозку; с повозками идет старшина Колбаковский: не доверяет ездовым, еще перепутают скатки да и вообще чтоб не спер кто из соседних рот. ("Старшинские повадки мне знакомые: как недостача, так организуют на стороне, публика дошлая...")

Как бы гляжу на себя сбоку: и лейтенант Глушков утратил стройность, сутулится, ступает отяжелеыно, гребя песок носками.

Гимнастерка под мышками и на спине пропотела, из-под пилотки (фуражечку с лакированным козыречком упрятал до поры до времени в "сидор") стекают капли пота. Сердце бухает, коленки расслабленно дрожат, присесть либо прилечь влечет неодолимо.

Одолимо, разумеется, однако и усталость давит, гнет к земле. Невольная думка: "Привальчик бы!" Командир полка проявил чуткость к моим и нашим мыслям, и по колоннам прокатилось:

- Прива-ал! Прива-ал!

Желанная команда! Все поплюхались мешками, прямо у дороги. Разговоров не слыхать, мало кто курит. Лежать - блаженство. Земля прохладная и подрагивает от танковой поступи. Лязг, рокот и гул. Но сквозь них пробивается свист ветра - будто тарбаганпй свист; мы этих зверьков видели днем: любопытничая, стоят у норок, как столбики, и чуть что - прячутся мгновенно.

Днем увидим тарбаганов, и днем будет пекло. Сколько еще минут привала, вот-вот скомандуют вставать и строиться? Оттянуть бы эту команду! Таким чередованием часов изнурительной ходьбы и минут блаженного отдыха и будут ближайшие несколько суток.

Чую: дадутся нам эти сутки...

- Вста-ать! Стройся!

Команда перекатами идет от головы полковой колонны, доходит до меня - я кричу: "Первая рота, становись!" - своим подчиненным кричат командиры взводов и отделений, затем команда катится дальше, в другие батальоны и роты, до хвоста колонны. В этот момент, когда командиры батальонов, рот, взводов, отделений дважды, а то и трижды подают одну и ту же команду, в подразделениях гвалт, как на персидском базаре. Но встали, построились, и гвалт исчез, будто вода в песке. Вода и песок! Ее здесь скудно, его изобильно. Ее нам будет не хватать, его - сверх нормы...

Колонна вытягивается, колышется, ползет - все быстрей, входя в темп. Сумрак рвется, истаивает. Желтеет край неба. Луна и звезды гаснут. Сперва кажется: вечер. Но небо желтеет сильней, свет становится ярче, хотя само солнце еще скрыто грядой сопок на востоке. И вот уже вовсю светло, и я уже вижу, оборотившись:

лица у моих солдатиков осунувшиеся, серые, землистые. Как и у меня, очевидно. Марш и бессонная ночь не красят.

Рассветная монгольская степь! Усталые и непреклонные шагают по ней сотни колонн, десятки тысяч людей. И я на миг представляю себе, как вся эта лавина, эта мощь перельется через маньчжурскую границу. Девятый вал!

Ноги топают по спекшейся, затвердевшей или же рассыпчатой песочек-земле, и взбитая ими пыль, невидимая ночью, висит в воздухе, поскрипывает на зубах, пудрит лицо, руки, одежду.

Больше всего меня беспокоит, что пыль покрывает оружие: от нее не укроешься, не попортила бы автоматы, винтовки, пулеметы. Без оружия мы никто. Песчаная пыль, вероятно, опасна и для танковых и автомобильных двигателей, и для пушек, и для минометов. А для наших легких песчаная пыль что - горный кислород, кисловодский либо крымский? Причем уточню: танки и автомашины вздымают пылищу еще похлестче, чем матушка-пехота.

И обгоняет с буксованием, с воем и ревом эта чудо-техника, а матушка-пехота, она же царица полей, долго потом отчихивается, вдохнувши отработанных газов вперемешку с едучей пылищей.

Прошли мимо шахтного колодца со свежим срубом, у которого выставлена внушительная комендантская охрана, облизнулись:

вода в колодце выкачана, наберется только четыре часа спустя, а была бы - все одно ни капли нам не выдали б. По маршруту водой нас будут заправлять из следующего колодца. Если не собьемся с маршрута, не примемся плутать в монгольской степи.

Без ориентиров и, в сущности, без дорог - это немудрено.

Дрова наши кухни везут с собой, иначе не на чем сготовить еду: ни палочки, ни щепочки; да и воду кухни везут с собой, иначе и чаю не вскипятишь.

Был марш осенью сорок третьего, за Смоленском: сплошные дожди, тягучие, холодные, поля и леса мокли, озера и реки рябились от дождинок, как от осколков, все хлюпало, чавкало, пропитывалось влагой. А вода нам не нужна была, да и дровишек хватало. Вообще же озер, рек и прудов на Смоленщине, в Белоруссип, Литве, Польше ого-го сколько! И деревьев - мильопы: береза, осина, сосна, ель, дуб, ольха. И дороги там были, хоть и не столь шикарные, как в Восточной Пруссии.

Остановились на отдых, который включал в себя завтрак, сои и туалет на все про все четыре часа. А там снова шагай. Какое ж это наслаждение упасть наземь и не шевелиться. Но шевелиться пришлось: повара подвезли завтрак. Забренчали котелки, к нолевой кухне подстраивалась очередь, среди передовиков - мой ординарец Драчев, жестикулирует, что-то объясняет не слушающим его поварам, в руке по котелку - трофейные, с крышечкой, вот когда эти крышечки пригодились; и отечественные, круглые и открытые, песок сыпал беспрепятственно, и солдаты прикрывали пшенную кашу пилоткой, газетой, полевой сумкой, а то и просто ладонью.

За пшенной кашей - чаепитие. Надувались почти досыта, койкто - из ветеранов, из мпогемудрых - пополнил и фляги. Я предпочел бы сперва испить чаю, а затем уж за пшенку - не лезла посуху, вынужден был отхлебнуть из фляжки, промочить глотку.

Ел, и наваливалась сонливость: в зевке хряскал челюстями, глаза слезились, слипались, я их тер, чтобы не задремать ненароком.

Да и жара размаривала, набиравшая ярую, бесшабашную дурь.

А от ее дури и сам сдуреешь.

Не столь давно я дурел и от водки, и от молодости, и от сознания, что уцелел в четырехлетней войне, - теперь только от жары.

Взрослеть начал? Пора бы. Двадцатичетырехлетппй обалдуй, или, как говаривал старшина Колбаковский, ветродуй. Ветродуй не ветродуй, но пора мужать. Духовно, нравственно. В гражданке это потребно не меньше, чем в армии. А может, и больше. Потому что гражданская, мирная жизнь видится мне сложнее, запутаннее военной, фронтовой. Откуда взял? Ниоткуда, с потолка. Так мне кажется. И, пожалуй, не столько мужай, сколько трезвей, обязательно научись трезво смотреть на жизнь. Этой-то трезвости взгляда тебе и не хватает. А не скучно будет жить? Не знаю. Мне

ц нынешнему не всегда весело. С октября тридцать девятого я в воинском строю. За эти пять с лишним лет окончил бы институт, не будь призыва в армию и войны. Стал бы инженером, и не самым плохим. Для образования, так сказать, для культуркп годы упущены. Что читал, что слышал? Чем занимался? Войной. И любовь была уже после войны. К некой немке по имени Эрна...

Солдаты еще чаевничали, а я с санинструктором - вислоусым и вислоухим, добродушным и тщедушным, каким-то скособоченным дядькой, будто санитарная сумка перекосила его, перевесив в свою сторону, - обошел роту. Санинструктор и я осматривали натруженные солдатские ноги, неразувшпхся заставляли разуться. Но утверждаю, что запашок был излишне приятен, однако прятать нос в батистовый платочек, обрызганный духами "Москва", у меня не было возможности. Потертостей, к счастью, не обнаружилось, исключая два случая, незначительных, - с Нестеровым и Погосяном. Нестеров меня не удивил: юнец, службы понастоящему не нюхал. Но Погосян! Вояка, фронтовик, а портянки замотал кое-как, небрежно. Тем более я уже ему выговаривал...

Пожурив солдат, показал им, как правильно обматывать портянкой ступню. Геворк самолюбиво пыхтел, по кивал. Вадик Нестеров кивал еще благодарней. Лучше бы обращались с портянками как положено. Пустяк, а охромеешь - и выйдешь из строя. Наберется таких, и рота снизит боеспособность. Мы со скособоченным санинструктором переходили от бойца к бойцу, и те, которых миновали, тут же укладывались и заводили храпака. Я сказал санинструктору:

- Отдыхай, свободен.

Он потеребил ремешок сумки с красным крестом, произнес, смущаясь, приглушенно:

- Товарищ командир роты, дозвольте вас осмотреть.

- Что? - изумился я. - Зачем?

- Требовается, товарищ командир роты. На вшивость я вас николп не осматривал, а ножки дозвольте...

Мне стало смешно - и от этих "ножек" (сорок третий размер), и оттого, что санинструктор решил проявить ко мне не то внимательность, не то требовательность. Ответил:

- По-уставному меня надлежит называть товарищ лейтенант, по воинскому званию, а не по должности... Ну, а в принципе ты прав. Осматривай! С условием: и я твои ножки осмотрю.

- Слушаюсь, товарищ лейтенант!

И оба - я смеясь, он улыбаясь - скинули обувку, обнажив для придирчивого осмотра свои нижние конечности. Они оказались у нас в порядке, нижние конечности.

Я еще не улегся, когда увидел: ко мне направляется Трушин.

Обрадовался этому так, будто сто лет не общался с ним. Трушин подошел, содрал с роскошного чуба пилотку, выбил ее о колено, вновь водрузил.

- Законный ротный, примешь под свое крыло? Посплю в твоей роте.

- Милости просим, - сказал я и не успел ничего добавить, как спавший вроде бы мертвецким сном Миша Драчев вскочил, уступая место возле меня.

- А ты куда? - спросил Трушин.

- Найдем, товарищ гвардии старший лейтенант. Ординарцу завсегда почет и уважение, - осклабился Драчев.

- Ну, валяй, - сказал Трушин. - Раз тебе везде почет. Мне бы такую должность...

Закурили. Дымок лениво струился в горячем воздухе, во рту горчило. Курить предпочтительней по холодку! Да где ж его взять, тот холодок? Трушин закинул левую руку под затылок, проговорил задумчиво:

- Кабы знал ты, Петро, кабы ведал: до чего ж не тянет на эту новую войну!

Я аж на локтях привстал: выдает замполит, ортодокс! Ну, со мной он подчас откровенничает, все ж таки давние друзья-приятели. Я сказал:

- И меня не тянет. Но воевать-то надо!

- Надо! - с нажимом сказал Трушин. - И бойцы это понимают, и все мы. Война неизбежна. Неизбежны и потери. О них-то и думаю...

"И я думал", - хотелось признаться, однако не признался.

- Ты, Петро, взвесь: прорывать долговременную оборону по пустой звук. Квантупская армия - противник не картонный.

Поляжет кое-кто из нас. Историческая правда за пами; война эта справедлива, а жертвы наши никогда не приму за справедливость.

Не смирюсь с ними! Конечно, смерть от жизни неотделима. Но должно быть естественно: пожил свое - ложись помирай. А когда насильно лишают жизни, да еще в молодом возрасте, где ж здесь справедливость? Но и заживаться... Был у меня дед, по отцу. До восьмидесяти доскрипел - полуглухой, полуслепой, из ума выжил, песет околесицу, под себя опорожняется... Что за жизнь? Но сердце, легкие, желудок - как у молодого, близкой смерти не предвидится. И живет так, себе и близким в тягость...

Как-то, в минуту просветления, говорит своей бабке: "Анюта, заведи меня в сарай, тюкни поленом по затылку, тебя и себя освобожу" - и плачет. И она, понятно, заливается... Вывод:

вовремя отдать концы - тоже надо уметь...

Я подивился повороту в мыслях Трушина и тоже не ударил в грязь лицом:

- Вообще проблема жизни и смерти, проблема вечного обновления исключительно интересна с философской точки зрения.

Ведь живое существо, появляясь на свет, уже песет в себе зародыш грядущей смерти: рождается, чтобы умереть! Но вечно зелено древо жизни. Материя бессмертна. Как соотнести жизнь и смерть? Как оцепить их взаимосвязь и взаимовлияние? А как ты оцениваешь, Федор?

- По-марксистски...

- А конкретнее?

И тут вместо слов изо рта Трушина вылетел тихий, однако внятный храп. "Умаялся. Спи, марксист. Все мы марксисты", - сказал я мысленно Федору и свернулся калачиком. Уснул сразу и сразу увидел множество лиц, знакомых и незнакомых, одни из них не пропадали из поля зрения, другие заменялись новыми.

И, не пробуждаясь, в беспокойном, неглубоком сие, я все пытался определить, кто же из них живой, кто мертвый.

5

МАЛИНОВСКИЙ

Он опустился на диван-кровать, и купе огласилось жалобным пружинным пением. Подумал: грузнеет. Эдак догонит Федора Ивановича Толбухина, бывшего соседа по фронтам: маршал Толбухин командовал Третьим Украинским, он - Вторым. Где ты, Второй? В прошлом. Да, но полпота у Федора Ивановича рыхлая, болезненная, а у него - здоровая, крепкая. Жесткая полнота?

В этом они и характерами разнятся: Толбухин мягок, он жёсток.

Профессиональный военный, армейская косточка. Следует также учесть: жесткость - это не жестокость, это на пользу делу. За которое каждый из них отвечает...

В чем они схожи с Федором Ивановичем Толбухиным - оба некогда подвизались в штабах, и с тех пор штабная закваска давала о себе знать: разработку фронтовых операций в немалой степени брали на себя, большинство документов писали собственноручно, у других командующих этим занимались начальники штабов. Да. в чем-то схожи, в чем-то различны; да и с другими маршалами он, естественно, в чем-то схож и в чем-то от них отличен.

Поняв, что невольно, будто беспричинно сравнивает себя с другими, Родион Яковлевич с неудовольствием покрутил головой, провел рукой по жестким, зачесанным назад волосам,

поглядел в зеркальце над диваном: нет, он еще не стар. Еще повоюет, еще покажет, на что способен Маршал Советского Союза Малиновский.

Малиновский был в купе один. У него выпадали минуты, когда остро хотелось побыть без людей, минуты, которые сменялись затем столь же острым желанием видеть перед собой собеседника. Да, он один, но ощущение - будто все его многотысячные войска, которыми совсем недавно командовал, и новые его многотысячные войска, которыми будет вскоре командовать, находятся где-то за вагонной стеной, рядом с ним катят по рельсам. Это ощущение, по сути, не было странным: Управление Второго Украинского, Шестая гвардейская танковая армия генерал-полковника Кравченко и Пятьдесят третья армия генерал-полковника Манагарова перебрасываются эшелонами из Чехословакии на Дальний Восток, в Забайкалье, туда же пролегла и его путь-дорожка, маршала Малиновского.

Он иногда так себя называл - маршал Малиновский, потому что был горд и честолюбив, и в этом не было ничего худого, считал: кадровый служака не может не быть честолюбив. Другой разговор, что у военного человека, да еще такого масштаба, честолюбие должно подкрепляться умением воевать, в противном случае - перекос. Он победно командовал Вторым Украинским, победно будет командовать и Забайкальским фронтом. Уверен в этом.

А если подобной уверенности в успехе нет, тогда и не садись на фронт! На армию не садись, "а корпус, дивизию, полк - никуда не садись: дело завалишь, людей погубишь, война не приемлет колеблющихся, сомневающихся, не уверенных в себе. Убежденность в своих решениях, властность, воля, ну и, конечно, полководческий талант - слагаемые победы. Победы войск, которыми командуешь.

Вагон покачивало, но покачивание это не убаюкивало Родиона Яковлевича, наоборот, как-то взбадривало, взвинчивало даже.

Дребезжала ложка в стакане с серебряным подстаканником - ординарец возил их уже давненько, и Родион Яковлевич привык к ним, - дребезжание тоже взвинчивало, но по-своему, раздражающе. Пухлыми и оттого казавшимися коротковатыми пальцами он вынул ложку из стакана, положил на столик, на кремовую накрахмаленную скатерку. Кремовой была и шелковая штора на окне. Он отвел ее пошире, и словно раздвинулись поля, горы, леса, деревушки ближнего плана, и открылись в глубине, в перспективе, те же чешские пейзажи, тронутые, однако, легкой дымкой, с которых и война не смогла стереть печати общей

ухоженности, обжитости, уютности. Возможно, в какой-то степени это впечатление усиливалось беззаботной зеленью трав и листьев, голубизной неба, сверкающим солнечным светом, - стояли серединные июньские денечки.

Малиновский, сощурив и без того узкие глаза, глядел в окно, думал, что этой доброй, ухоженной земле принесли освобождение его армии. А вскоре его армии будут освобождать иные, весьма отдаленные отсюда пределы - вот как бросает воинская судьба.

Предстоит война с Японией. Германия повержена, немецкий фашизм раздавлен. Тот самый фашизм, с которым он еще до Великой Отечественной столкнулся. Будто недавно был тридцать шестой год, гражданская война в Испании, военный советник республиканского правительства полковник Малино. Тогда республиканцы сражались не только против мятежного генерала Франко, но и против германских и итальянских дивизий - против фашизма.

Ы Малиновский вместе с другими советскими военными советниками всеми силами помогал республиканской Испании в этой борьбе. Как и тысячи интернационалистов из разных стран: России, Америки, Франции, Италии, Германии... Так вот: фашисты Гитлера и Муссолини душили республиканскую Испанию, немецкие и итальянские коммунисты спасали ее. Это была, пожалуй, первая схватка с международным фашизмом, схватка, предвещавшая большую войну. И она состоялась, большая война. Но в тридцать шестом верилось: республика победит. А победил Франко...

В сложнейшем переплетении сил, в политическом хаосе повалился Малиновский, как и другие советские военные советники.

Солдаты, они стали и политиками. И еще одно обстоятельство:

помогая республике, они прошли на полях сражений под Мадридом, Гвадалахарой и Уэской неплохую школу. Да, в Испании он, Малиновский, имел псевдоним - Малино, Мерецков - Петрович, Воронов - Вольтер, Батов - Фриц, Родимцев - Павлпто и так далее. В Отечественную они стали маршалами да генералами.

Правда, часть испанцев, вернувшись в Союз, попала под волну арестов. Позже пала Испанская республика. Первую схватку фашизм выиграл...

Много воды и не меньше крови утекло с тех пор. Он, полковник, стал маршалом и направляется на новую, тоже, вероятно, немалую войну. Родион Яковлевич опять подумал о своих будущих войсках, что перебрасываются из Чехословакии и севернее - из-под Кенигсберга, через Польшу и Белоруссию. И

вдруг представил себе внутренность эшелонных теплушек: двухъярусные пары с набросанным сеном, топорно сколоченный столик с котелками, зашарканный пол, обтертый спинами стояк с "летучей мышью"; словно уловил дрогнувшими ноздрями по углам теплушки крутой солдатский запашок. Что ж, некогда езживал он и сам к телячьих вагонах: солдатская доля.

Едва наметившаяся улыбка не изменила волевого, грубоватого, мясистого лица. Действительно, над этим только и можно мимолетно улыбнуться: вернуть бы суровое бытие молодости, ощутить себя двадцатилетним. Впрочем, бытие сурово и нынче, в зрелом возрасте, даром что он раскатывает в шикарном салоне. Судьба солдата - а он солдат, хоть и маршал - всегда была сурова.

Его долг - воевать там, куда пошлют. Отвоевал на Западе, теперь повоюет на Востоке. Если откровенно, фортуна проявила к нему благосклонность: доверили командовать крупнейшим в предстоящей кампании фронтом. Видимо, потому и вспомнились Толбухин и прочие комфронтами. Велик был выбор у Ставки, а его, Малиновского, не обошли: в мае вызвали в Москву, помянули Забайкальский фронт. А теперь приказом Забайкальский фронт - за ним! Первым Дальневосточным будет командовать маршал Мерецков, Вторым Дальневосточным, вспомогательным, - генерал армии Пуркаев. Действия всех трех фронтов координирует Александр Михайлович Василевский, он назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Однако при тамошних расстояниях командующие фронтами обретут значительную самостоятельность - так кажется ему, Малиновскому. Огромно доверие, огромна ответственность...

Он честолюбив? Безусловно. Да какой же полководец лишен этого качества? Только ханжа может отрицать его. Честолюбие...

Разве это дурно - заботиться о своей чести, беречь ее, как говорят в народе, смолоду? Чехов в некрологе о Пржевальском писал:

благородное честолюбие подкрепляется ответственностью за совершаемое тобой... Состояние такое: и легко, радостно ему оттого, что вновь получил фронт, и тяжело - по той же причине: фронт, огромный фронт ложился ему на плечи...

Накануне разгрома Германии у него возникло чувство какого-то тревожного ожидания: что он будет дальше делать, после победы над Германией? А сейчас нет-нет да и мелькнет: а что будет делать после победы над Японией? В этой победе, быстрой, полной и окончательной, он не сомневался. Эх, а все-таки не зазорно еще разок доказать, кто ты таков есть! Докажет, докажет, развернется. Тогдашний разговор в Москве был предварительный,

нынче же он, маршал Малиновский, и его генералы едут уже по делу...

А еще он едет на парад. Это, конечно, тоже дело - парад Победы: по Красной площади, перед Мавзолеем, пройдут торжественным маршем сводные полки фронтов, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона. Сводный полк Второго Украинского фронта возглавит, естественно, он. Давненько не маршировал, все больше машинами раскатывал, придется тряхнуть стариной и пропечатать строевым. Постараемся...

Парад Победы как бы венчает то, что уже сделано, что отвоевано за четыре года. Это торжество, праздник, за которым последуют будни, будни повой войны. Сколько они продлятся?

И в поезде, и на Киевском вокзале, и в гостинице Родион Яковлевич был сосредоточен и одновременно рассеян. В вагонном коридоре затеялась беседа его генералов - кто будет иметь впоследствии право писать воспоминания о событиях и людях Великой Отечественной. Малиновский подумал: "Я имею право, однако написал бы не мемуары, а роман - о себе под вымышленным именем", - и забыл эту мысль. На перроне вокзала очередь к газировщице, рядом девчушка лет шестнадцати уплетала хлеб, запивая его газировкой, улыбаясь своему дружку, он в ковбойке и кепочке, тоже лет шестнадцати: "Колька, ну как тебе студенческий завтрак образца сорок пятого года?" Колька поставил большой палец торчком: "Мирово! Но в сорок шестом будем бифштексы рубать". Малиновский подумал: "Вы оба не попали на войну, точнее, под войну, и теперь она уже не раздавит вас", - и забыл эту мысль. В гостинице горничная почтительно поклонилась ему, сгорбленная годами и, вероятно, горем. Малиновский подумал: "Она кого-то потеряла на войне, ныне почти нет семей, где бы не было убитых", - -и не забыл эту мысль. Не мог забыть, потому что она цепляла, волочила за собой другие мысли, такие:

может быть, ее муж, или сын, пли брат погибли на моих фронтах, выполняя мою волю в наступлении или обороне, веря, что мои приказы ведут его к победе, славе, жизни; победа и слава - за нами, но жизнь - без него; а вот маршал Малиновский живет и готовится снова воевать; маршал Малиновский, воюй же так, чтобы как можно меньше пало твоих солдат на поле боя...

В кабинете Василевского шелестели вентиляторы, но было душновато. Немудрено: июнь, пекло, воздух спертый, размягченный асфальт, будто снег, сохраняет отпечатки обуви. Когда ехали с Киевского, Малиновский видел: дымят заводы и фабрики, реконструируются здания, катят легковушки, грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи, торгуют магазины, на улицах,

площадях, бульварах толпы людей, и что-то было в их облике, в их поведении, свидетельствующее: все стало, как до июня сорок первого.

Приспущенные шторы во все окно, кремовые, как в поезде, ловили в складки яркое солнце, за шторами, за окнами шумел-гудел Великий город, в который так любил приезжать Родион Яковлевич и в котором мечтал когда-нибудь осесть навсегда. А сейчас у него в Москве как бы пересадка с войны на войну.

Александр Михайлович Василевский размеренно, спокойно, интеллигентно, почти по-профессорски говорил:

- Несколько слов предыстории, я бы сказал, политической предыстории... Советское правительство сознает всю важность ликвидации очага войны на Дальнем Востоке, упрочения наших границ и видит свой долг в том, чтобы помочь народам Восточной ц Юго-Восточной Азии в освободительной борьбе против японского ига. Мы верны союзническим обязательствам. Еще на Тегеранской конференции товарищ Сталин дал Рузвельту и Черчиллю принципиальное согласие на помощь в войне с Японией. На Ялтинской конференции опо было конкретизировано, и ровно через три месяца после девятого мая, следовательно, девятого августа, Советский Союз вступит в войну. Это союзники тянули с открытием второго фронта в Европе два года, мы начнем боевые действия против Квантуиской армии, как записано в Ялте.

Василевский, слегка сутулясь - отчасти возраст, все-таки пятьдесят, отчасти следствие многолетней штабной, сидячей работы, - то останавливался у письменного стола, то подходил к карте; в тишине поскрипывали его сапоги, шум за окнами будто исчез - настолько все были поглощены тем, что он говорил. А он говорил далее - в голосе пробилась командирская хрипотца:

- Генштабисты первоначальные расчеты сосредоточения наших войск на Дальнем Востоке сделали еще осенью сорок четвертого года. Тогда же прикинули размеры необходимых материальных ресурсов. Но до Ялтинской конференции, сами понимаете, никакой детализации плана войны против империалистической Японии не проводилось. А после Ялты машина заработала. - Василевский скупо, понуждая себя, улыбнулся. - Хочу, товарищи, подчеркнуть: в стратегическом отношении Маньчжурская операция вряд ли имеет равных себе в военной истории...

Малиновский внутренне напряжен, но в спинку стула вжался прочно, устойчиво, на массивном лице не дрогнет ни один мускул.

- Против Квантунской армии мы развертываем три фронта:

Первый Дальневосточный под командованием маршала Мерецкова, Второй Дальневосточный под командованием генерала армии Пуркаева и Забайкальский под командованием маршала Малиновского.

Указка Василевского скользнула по карте Северо-Восточного Китая. Карта крупная, все видно: на востоке, от Японского моря до станции Губерево, исходные рубежи Первого Дальневосточного фронта, нацеленного на Муданьцзян, Гирин; севернее и северозападнее рубежи Второго Дальневосточного фронта, его основные удары направлены вдоль северного берега Сунгари на Харбин; на западе рубежи Забайкальского фронта, главные его силы должны сосредоточиться на Тамцак-Булакском выступе, откуда и наносится удар в общем направлении на Чанчунь, Мукден.

Малиновский не пропустил ни слова из того, что говорилось о дальневосточных фронтах, но с удвоенной обостренностью слушал касающееся его, Забайкальского, фронта. Василевский сказал:

- На правом фланге Забайкальского фронта будет наступать Конно-механизированная группа советско-монгольских войск под командованием генерал-полковника Плиева... Его заместителем по монгольским войскам назначен генерал-лейтенант Лхагвасурэн, а политическое руководство ими возложено на генерал-лейтенанта Цеденбала, Генсека ЦК Монгольской народно-революционной партии.

Родион Яковлевич искоса взглянул на Плиева - тот буквально впился в карту - и тоже вновь проследил за указкой. Вот районы сосредоточения Кошго-механизированной группы - юго-западнее главных сил Забайкальского фронта. Красные стрелы ударов КМГ пропарывали пустыню и вонзались в города Долошюр и Калган. Что за противник перед Плиевым? Внутри синего овала надпись: "До шести кавалерийских дивизий и трех пехотных бригад войск Внутренней Монголии князя Дэ Вана и императора Маньчжурии Пу И". В оперативной глубине тоже синим цветом отмечались японские соединения, и Малиновский подумал: "Этито японские соединения и представляют наибольшую опасность для моего правого фланга. Перед Плиевым серьезная задача..."

Прокашлявшись скрипуче - будто проскрипели его сапоги, - Василевский опустил указку, и она возникла у плеча, как штык:

- Товарищи, общая протяженность всех трех фронтов - более пяти тысяч километров...

Цепкая на цифры память Малиновского сработала мгновенно:

общая протяженность всех европейских фронтов второй мировой войны советско-германского, западного и итальянского -

не превышала, скажем, в январе сорок пятого года трех с половиной тысяч километров!

- Задача фронтов по глубине - шестьсот - восемьсот километров. Для достижения целей операции - окружение, расчленение и полный разгром всех сил Квантунской армии - отводится крайне ограниченное время: не более двадцати - двадцати трех суток...

Малиновский вставил:

- Вот это размах! Современные Канны...

- Пожалуй, пограндиознее, Родион Яковлевич, - деликатно уточнил Василевский. - Даже на советско-германском фронте не было ничего подобного... Предстоит разбить войска четырех японских фронтов и одной отдельной армии, а также армию МаньчжоуГо, войска правителя Внутренней Монголии Дэ Вана и Суйюаньскую армейскую группу...

В иных бы обстоятельствах, с иным поводом свою реплику Малиновский бы посчитал непростительной невыдержанностью, но сейчас понимал: она извинительна, и не только извинительна - она необходима, ибо высветлила: Маньчжурская операция явится непревзойденной, войдет в историю. И его предназначение - содействовать всем, на что способен, ее успеху! И чем больше он слушал Александра Михайловича Василевского, тем сильнее росло ощущение военно-исторической значимости предстоящего...

- Еще несколько цифр, товарищи, - говорил Василевский. - К августу на Дальнем Востоке должно быть сосредоточено одиннадцать общевойсковых армий и одна танковая, которая будет действовать в составе Забайкальского фронта... В этой группировке - более полутора миллиона человек. Почти тридцать тысяч орудий и минометов, более пяти тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, более пяти тысяч боевых самолетов! Разумеется, сюда приплюсованы и силы Военно-Морского Флота. Результат переброски: численность советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье возрастет вдвое. Цифры я, разумеется, округляю... Но суть не в одной численности. Суть и в том, что при относительно незначительном превосходстве в количестве людей советские войска значительно превзойдут противника в боевой технике, и это явится важным условием быстротечного прорыва японских пограничных укреплений и стремительного наступления советских войск в глубь Маньчжурии...

Опять подмывало высказаться вслух, но Малиновский этого не сделал, лишь подумал: "Во всем размах! И основной удар - моего фронта!" Взамен Малиновского высказался Кирилл Афанасьевич Мерецков - с осторожной шутливостью:

- Великое переселение народов...

- Поистине великое, - отозвался на шутку Василевский, снимая несколько общее напряжение. - Вот вам еще цифры, вникните в них. В течение мая июля в поездах, под погрузкой и разгрузкой, на маршах в районы развертывания будет находиться до миллиона человек, будут перевезены и выгружены десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, продовольствия. За эти три месяца на Дальний Восток и в Забайкалье поступит с запада, с расстояния от девяти до двенадцати тысяч километров, приблизительно сто тридцать шесть тысяч железнодорожных вагонов с войсками и грузами. И такого не бывало в истории войн...

"А разве такое бывало - подобный замысел? - подумал Малиновский. Замысел-то каков! План-то каков!"

Как военачальник Родион Яковлевич отдавал должное тем, кто разработал этот план поистине молниеносного разгрома противостоящего врага. Итак, наносятся два основных встречных удара:

с восточного выступа Монгольской Народной Республики силами четырех общевойсковых, одной танковой армии и Конно-механпзированной группы, - это Забайкальский фронт, другой удар - со стороны Приморья силами трех общевойсковых армий и механизированного корпуса - это Первый Дальневосточный. Наступление двух этих фронтов, поддержанное войсками Второго Дальневосточного и Монгольской народно-революционной армии, обеспечивает окружение, расчленение и разгром в сжатые сроки главных сил Кваптунской армии на огромнейшей территории. Вот "котел" так "котел"! Соединившись в районе Чанчунь - Гнрпн, войска Забайкальского и Первого Дальневосточного фронтов в дальнейшем резко меняют направление действий и развивают стремительное наступление на Ляодунский полуостров и Северную Корею, чтобы завершить разгром вражеских войск и освободить эти территории. И плюс к этому операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов - подключится и Тихоокеанский флот, Амурская флотилия тоже будет действовать...

Непосредственное руководство моряками возложено Ставкой на главкома Военно-Морских Сил адмирала флота Кузнецова...

Василевского, командующих фронтами и членов Военных советов фронтов принял Сталин. Родион Яковлевич вслед за другими вошел в знакомый кабинет. Ничего в кабинете не изменилось, а вот сам Сталин в чем-то изменился. Внешне: поседел, сутулится, ходит без прежней легкости. Внутренне: будто не столь суров, чаще улыбается, чаще шутит. Или у него

просто сегодня доброе расположение духа? Как бы там ни было, Малиновский держался строго, собранно, контролируя себя в самых мелочах - как вошел, как остановился; при встречах или даже при телефонных разговорах с Верховным Главнокомандующим надо быть начеку, надо мгновенно и точно реагировать на вопрос или указание Сталина. Малиновский и в личном общении и при разговорах по В Ч чувствовал, как токи всесильной власти исходят от этого негромкого, сипловатого голоса, от характерного акцента; в той власти все, включая маршала Малиновского.

Но как ни собран был Родион Яковлевич, как ни нацелен на сугубо деловой, официальный лад, он позволил себе подумать о том, что всю Отечественную, с июня сорок первого, Сталин не сдавал, не старел, а в последнее полугодие войны, когда Победа была уже бесспорно близкой, и почему-то особенно после Победы в волосы Сталина полезла седина, спина стала горбиться, ноги тяжелеть. Такое примерно было со многими: нервное напряжение военных лет не позволяло расслабляться, напряжение ушло здоровье отступило перед возрастом, перед пережитым, перед болезнями. Да, после Победы начали одолевать болячки...

Когда они переступили порог кабинета, Сталин медлительно вышел на середину комнаты и, молча кивнув, повел рукою по направлению к столу для заседаний: прошу, мол, садиться. Но никто не сел, и Сталин не повторил приглашения. Все остались стоять, Сталин прошелся по кабинету. Спросил:

- Ну, как поживают товарищи маршалы?

Осторожный Мерецков промолчал, только бодро улыбнулся; Пуркаев, блеснув стекляшками пенсне, промолчал, вероятно оттого, что не был маршалом; ответили двое, почти одновременно.

Малиновский сказал:

- Мы в боевой форме, товарищ Сталин.

Василевский сказал:

- Товарищ Сталин, мы готовы выполнить ваши предначертания...

- Ну, предначертания... - Улыбка застряла у Сталина в усах. - Так, указания... Всего лишь указания общего порядка...

Не буду вдаваться в детали предстоящего. Товарищ Василевский, вы уже объяснили все, не так ли?

- Так точно, товарищ Сталин!

- Это хорошо, хорошо, - сказал Сталин и умолк.

Он походил по ковру от письменного стола к окну, от окна к дверп, затем вдоль длинного стола, у которого стояли военачальники; они поворачивали головы вослед ему, видя то

рыжеватый ус, помеченную оспой щеку, то грузноватую спину, жесткий седеющий затылок. Походив, Сталин погрозил кому-то в пространство мундштуком, как пальцем, и сказал:

- Наступает час расплаты... Я человек старшего поколения, сорок лет мы, ждали, когда смоют с России это пятно... позор поражения в войне с Японией... Надеюсь, меня не обвинят в шовинизме... - Сталин говорил тихо, растягивая слова и фразы. - У нас к Японии за сорок лет накопились и другие счета... А счета надо оплачивать... Нынешняя война против Японии будет иметь глубокие последствия... Мы не только поможем союзникам, не только поможем порабощенным народам Азии, но и упрочим своп границы, свою безопасность... Угроза немецкого нашествия на Западе устранена. Теперь устраняется угроза японского нашествия на Востоке... Не так ли?

За всех ответил Василевский:

- Так точно, товарищ Сталин!

- У меня, товарищи, созрела идея: обратиться к советскому народу по случаю победы над Японией... Ведь наступит всеобщий мир, товарищи!.. Я уже сейчас думаю над этим обращением...

Ну, а вы подведете под него, так сказать, реальную базу...

Сталин улыбнулся - улыбнулись и военачальники. Сталин будто упрятал улыбку в усы - перестали улыбаться и военачальники. Малиновский подумал: в словах, в тоне Верховного - железная уверенность в победном исходе Маньчжурской кампании.

Сталин не сомневается в исходе: небывалая мощь стягивается на Дальний Восток, преимущество в технике будет подавляющим, войска опытные, закаленные, и командуют ими испытанные полководцы. Полководцы! И ты персонально отвечаешь за исход, с тебя полный и безоговорочный спрос. И Родион Яковлевич скова ощутил масштабы операции и масштабы своей ответственности.

Он вдруг заметил: сутулится. Выпрямился...

Между тем Сталин достал пз картонной коробкп папиросу и сел во главе длинного стола. Это было непривычно: прежде он неизменно курил трубку, иногда ломая папиросы, крошил пз них табак, набивал трубку, ЕЮ чтоб держать между пальцами дымяпгуюся папироску... И вот он рядом, близкий и далекий, недоступный, редко кому подающий руку. Лишь раз Малиновский был свидетелем, как целует Сталин: не в губы, не в щеку, а в плечо, на грузинский манер, - это было с видным западным дипломатом, дружественно настроенным к Советскому Союзу...

Неожиданно Верховный Главнокомандующий заговорил о том, о чем, видимо, сначала не собирался вести речь, ибо все было недавно обговорено у Василевского. Он уточнял сроки

передислокации, состав войск, характер наступления всех трех фронтов.

легко оперировал датами, цифрами, фамилиями, географическими названиями, и Родион Яковлевич, не обижавшийся на собственную память, подивился исключительной его памятливости. Во время военной части разговора Сталин был серьезен, строг.

На его вопросы коротко, по ясно отвечали и Василевский, и командующие фронтами. Когда очередь доходила до Малиновского, он докладывал четко, свободно, однако ценой колоссального внутреннего напряжения, заставлявшего кровь стучать в висках.

В заключение беседы Верховный опять шевельнул в улыбке усами, сказал шутливо:

- Надеюсь, товарищи маршалы поторопятся с подготовкой операции, дабы мне не ударить лицом в грязь перед Трумэном и Черчиллем... Вы воюйте, а товарищ Сталин займется мирными, трудовыми проблемами страны, он уже наполовину штатскип...

"А я навечно останусь военным", - подумал Малиновский, когда все отулыбались, подумал с неугасающей озабоченностью, с жаждой действовать во весь разворот...

И в последующие несколько суток, что отдаляли его от Москвы и близили к Чите, эта озабоченность, эта тревога не проходили. Специальный скорый поезд, обгоняя воинские эшелоны, пассажирские и товарные составы, шел среди полей и лесов, равнин и гор, нырял в тоннели, - тогда в салоне зажигались лампочки, освещая Малиновского и его генералов и делая их чуть моложе, чем они были; выныривал из тоннелей на волю, в дневном свете виделись и седины и морщины - меты войны, как и раны.

Собравшиеся на перроне читинского вокзала генералы в белых кителях солнцепек, жара, асфальт плавится - томились неизвестностью. Стоявший в центре группы, широко расставив ноги, коренастый генерал-полковник черные усы подчеркивали белоснежность кителя - говорил соседу:

- Ума не приложу, что это за генерал-полковник Морозов?

Чем знаменит?

- Я тоже такого не знаю.

- Узнаешь! Мне из Москвы по телефону передали приказ:

встретить на вокзале. А затем... затем передать ему командование фронтом.

- М-мда...

- И я буду у него, у этого Морозова, заместителем... Сработаемся ли?

- С начальством надлежит срабатываться! Если что, так убирают подчиненного...

- Это ты верно... Ну да ладно, поглядим на генерала Морозова. Спецпоезд вот-вот подойдет.

Подошел спецпоезд. И у генералов в белых кителях глаза округлились от изумления: из вагона выходил в форме генералполковника не кто иной, как Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский! Точно, он! А погоны генерал-полковничьи! И не Малиновский он, а Морозов.

Уже перед легковой машиной, обернувшись к сопровождающим, Малиновский сказал:

- Меня не понизили в звании, и я не отрекся от отцовской фамилии... А если по-серьезному: где возможно, там необходимо всячески соблюдать скрытность прибытия на Дальний Восток и войск, и определенных лиц. В этих целях я пока побуду генералполковником Морозовым, маршал Мерецков генерал-полковником Максимовым, а маршал Василевский - генерал-полковником Васильевым. Так и документы будем подписывать...

- Ясно, товарищ маршал... виноват, товарищ генерал-полковник... проще выразиться: ясно, товарищ командующий! - сказал бывший командующий войсками фронта, ныне заместитель, и нашел в себе силы на юмор: Генерал-полковник тоже неплохое звание.

- Вполне, - сказал Малиновский; адъютант распахнул дверцу, и Родион Яковлевич опустился на сиденье рядом с шофером. - Поехали!

- На квартиру? - спросил сзади заместитель. - Сначала в штаб.

Машина поднималась по привокзальной улице. Малиновский всматривался в город - обычный областной центр, ничем не напоминавший прифронтовой город, хотя в нем и размещен штаб Забайкальского фронта. До зуда в пальцах захотелось взяться за штабные документы, за карты - это было нетерпеливое желание дела, такое желание бывает у каждого человека, любящего и умеющего вершить труд.

Одним из первых этих дел был визит в Улан-Батор. Душным июльским вечером с читинского аэродрома поднялся самолет, развернулся над городом, набрал высоту. В соседних креслах - маршал Малиновский и генерал Плиев. Малиновский, ворочаясь, вдавливаясь в кресло, говорил:

- До Улан-Батора долетим за час. Увидимся с Цеденбалом...

Какой же он все-таки молодой! Двадцать девять лет всего!

- С Юмжагийном Цеденбалом я не раз встречался, когда служил в Монголии советником, - вставил Плиев.

- Тем лучше! Не мне вам говорить, а все-таки скажу: надо,

чтобы монгольские товарищи постоянно чувствовали в нас, советских военных, своих душевных, искренних друзей. От вас как командующего Группой многое будет зависеть. Крепкая дружба.

согласованность, взаимопонимание между нами и монгольскими товарищами на всех, скажем так, этажах, от командующего до бойца, облегчат вашу работу. И сцементируют Конно-механпзированную группу...

- Я понимаю, товарищ командующий, - ответил Плиев. - Монголы говорят: "С друзьями ты широк, как степь, без друзей узок, как ладонь".

- Хорошо говорят, Исса Александрович!

На улан-баторском аэродроме вышедших пз самолета Малиновского и Плиева встретили маршал Чойбалсан, генералы Цеденбал, Лхагвасурэн, другие военные; в первый момент все они показались Малиновскому на одно лицо, с той лишь разницей, что кто-то постарше, кто-то помоложе. Цеденбал был самый молодой, несомненно.

Потом Малиновского и Плиева подвели к группе монгольских генералов и полковников, стоявших чуть поодаль от высшего руководства. Плиев воскликнул:

- По крайней мере с тремя я уже знаком!

Два генерал-майора и полковник радостно закивали, пожимая Плиеву руку. Тот сказал:

- Они учились в Объединенном военном училище в бытность мою там инструктором. Я их багши, что значит учитель. Полковник Цырендорж был даже моим любимцем, каюсь в давнем грехе!

Все засмеялись, а Лхагвасурэн улыбнулся:

- Ну, что ж, багши Исса Александрович, теперь ваши любимчики командуют дивизиями и бригадами, которые входят в Конно-механизированную группу!

- Я рад, - тихо сказал Плиев.

На машинах онп проехали в центр столицы, ко двору, обсаженному тополями. Слева во дворе был дом европейского типа, справа юрта. Чойбалсан сказал:

- Мы, кочевники, по старой памяти иногда проводим совещания в этой юрте. Но сегодня будем совещаться в русском доме, как мы его называем...

В "русском доме" вокруг застланного сукном стола расселись Малиновский, Плиев - на кителе отливала золотом Звезда Героя Советского Союза, Чойбалсан, Цеденбал, Лхагвасурэн; перед каждым топографическая карта, раскрытый блокнот, карандаши.

Малиновский, не вставая, сказал:

- Позвольте, товарищи, доложить о том, как и когда войска выдвигаются к границе с Маньчжурией... По соображениям секретности записей вести не будем, - добавил он, откашлявшись и косясь на раскрытые блокноты и заточенные карандаши.

И покуда он откашливался, косился на стол, покуда удобнее усаживался на стуле и вертел головой - воротник кителя был тесноват, - именно в эти секунды в сознании окончательно выкристаллизовалась идея. Которая столько вынашивалась! Пустить впереди наступающих войск Забайкальского фронта не пехоту, как это бывало на Западе, а передовые подвижные отряды, в основе которых - танки, у него целая танковая армия. Не вводить ее в прорыв после пехоты, а сразу бросить вперед! Пренебрежение фронтовым опытом? Не пренебрежение - творческое использование с учетом местной специфики. Фронтовой опыт, в частности, учит: избегай шаблона. По данным разведки, на границе у японцев не сплошная оборона, а лишь войска прикрытия, главные же силы дислоцируются по ту сторону Хингана, следовательно, кто первым подойдет к хребту - мы или квантунцы, - тот и захватит горные проходы, не даст другому выйти на оперативный простор. Рискованно пускать танки, по существу, в отрыве от стрелковых дивизий? А что за война без риска? Но и взвешено все. Протаранить танками оборону приграничья, перевалить Большой Хинган и рвануться на Чанчунь, в глубь Маньчжурии!

Танковую лавину трудно будет остановить. В общем, эту идею он кладет в основу своего решения на наступление Забайкальского фронта и надеется: Ставка одобрит его. Но это - в свой черед.

Сейчас же - о сосредоточении советских и монгольских войск.

6

Мне снилось: я в нижней рубахе и кальсонах, чистых, наглаженных, и Трушин в таком же белье и все другие, кого не узнаю, - идем в исподнем, идем походным строем. Беззвучно, невесомо. Как будто бесплотные. И вне времени, вне пространства.

Потом, когда проснулся и с тяжелой, дурной головой зашагал во главе ротной колонны, не покидало неприятное ощущение, оставался какой-то неприятный осадок: неладное нечто, не сулящее добра нечто привиделось во сне. Еще в детстве мама растолковывала: еслн приснится, что ты в белом, к болезни. Что ж, выходит, все они заболеют - Глушков, Трушин и прочие? И весьма странно, что приснилось: одетые в белоснежное исподнее, они идут в походном строю. Нехороший все-таки сон...

Но солнце пекло, но жара давила и гнула, но жажда душила -

словно чьи-то горячие беспощадные пальцы стискивали горло, - и постепенно сон отходил, мерк, как бы заволакивался степным маревом. Голова была по-прежнему дурная, однако уже не с короткого, неосвежающего спанья, а от жары; мысли, хоть и вялые, тягучие, были уже далеки от приснившегося: что там нереальное чистехонькое, разглаженное бельишко, когда натуральное вот оно, просолилось, провоняло потищем! Кажется отчего-то, что и солдатские слова солоны от пота, пахнут потом. Долетают обрывки разговоров:

- Земли тут бедные. Да и поливать чем? Воды нет. Бахчи не будет, виноградника не будет. - Это Геворк Погосян, садовод, виноградарь, житель благословенной Араратской долины.

Прав он, почвы не шибко богатые: то суглинок, то песок, и везде камни и камешки. Чуть ветер - мельчайшие из них поднимаются в воздух, летят вместе с желто-серой пылью. Береги глаза, это Глушков уяснил с первых часов пребывания на монгольской земле. Сам уяснил и солдатам вдалбливал. Окосеешь, как целиться будешь? Кстати, и оружие береги.

- Землица, скажем прямо, не то что у товарища лейтенанта на Дону. Или где-нибудь на Кубани. - Голос Толи Кулагина, тоже специалист по сельскому хозяйству, полевод, звепьевой, шишка на ровном месте. - Ее, землицу-то, удобрять надоть. Минеральными удобрениями, а также, извиняюсь, дерьмом. Гляньте, сколь в степях засохших коровьих блинов да конских яблок. Зазря удобрения пропадают...

- У нас в Сибири на сильном морозе бывает: лошадь только что выбросила из себя яблоки, так они сразу подскакивают. Как резиновые, как живые! С морозу! - Свиридов.

- Конского и коровьего дерьма везде очень много, Кулагин правильно говорит. Сколько б кизяка можно изготовить! Целую зиму топить, две зимы, три зимы топить! - Это Рахматуллаев Шараф.

Головастиков говорит:

- А какие землячки за кордопом? То есть в Китае?

Ответствует всезнайка Вадик Нестеров:

- Богатейшие! Плодороднейшие! Особенно в речных долинах...

- А живут китайцы бедно, прямо-таки нищенски, - говорит другой энциклопедист, Яша Востриков. - Феодализм, помещики, кулаки, иностранные капиталисты... Десятилетиями грабят трудовой люд... А японские захватчики? Они зверствуют, как немецкие фашисты! Жгут, расстреливают, насилуют...

- Вах, шайтаны! - От гнева у Рахматуллаева краснеют лицо, шея, хрящеватые, без мочек уши. - Эксплуататоры! Агрессоры! Сосут соки из парода. Издеваются!

- Вы мне скажите, - говорит Свиридов, - мы освободим Китай? Освободим. А не придет ли кто заместо японцев? Какой другой оккупант. Когда мы уйдем...

- Иль так-то не обернется - власть получат не трудящиеся массы, а буржуазные паразиты? - Это Драчев.

- Не должно быть! - авторитетно заявляет Микола Симоненко. - Для чего ж мы идем туда?

Погосяы покачивает массивной, львиной головой:

- Конечно... Да все же...

- И не сомневайся, Геворк! - Симоненко непререкаемо рубит воздух ладонью. - Освободим Китай, Корею и прочие

порабощенные государства, а уж народ там разберется, что к чему!

- Не околпачили бы народ...

- Не околпачат!

Я посмотрел на часы. Что за чертовщина! Стрелки показывают одиннадцать, а ведь уже топаем не меньше часа, значит, должно быть что-то около двенадцати: марш начался ровно в одиннадцать.

Выходит, стояли? Поднес к уху. Тикают. Или только что затикали, а до этого стояли? Ох, дареные французские! До чего коварные, канальи! Подведут когда-нибудь крепко. Спасибо, подошел Трушин. Я справился у него о времени. Он глянул на свои:

- Двенадцать ноль-ноль.

Не говоря худого слова, я перевел стрелки на своих французских. Зашагали молча, плечом к плечу. Солнце шпарит все круче.

Пыль, жажда. Колодцев не видать, но где-то ж они имеются. Пыль залепляет глаза, рот, нос, хотя мы видим, как по-пному идут теперь машины: не растянуты, а близко друг к другу, не в линию, а уступами - так, чтоб едущие на задних машинах не глотали пылюку, поднятую передними. Все это распрекрасно, но мы-то покуда не в кузовах, мы-то на грешной земле, вымериваем ее своими ножками. Скорей бы и нам на колеса, ведь обещали же подбросить на сколько-то километров. Люди идут, понурившись, редко кто разговаривает, говоруны выдохлись. А моторы гудят и ревут неумолчно, земля дрожит от железного топота. Великий покой этой великой полупустыни нарушен. Война не любит, чтоб был покой...

- Раздолбаем Японию - клянусь, настрогаю кучу ребятишек, - сказал вдруг Трушин.

Я посмотрел на него. Что увидел? Да обычного Федю Трушина, лицо как лицо. Шутит, всерьез? Не поймешь. Иногда напускает на себя манеру так вот говорить, что не разберешь: шуткует ли, серьезно ли? Да и к перескокам в разговоре можно бы попривыкнуть: то об одном, а глядь, уже про другое заворачивает. Я и сам, признаться, перескакиваю...

- Штук пять ребятишек сработаю, как минимум! - продолжал он. - Даром, что ль, такие войны прошел.

- Гони уж до десятка. Жена будет мать-героиня, а ты отецгерой. Жми, Федюня.

Впервые назвал его Федюней - показалось: несуразно, коряво, обидно для Трушина, и вообще произнес нечто плоское про отца-героя, но Трушин засмеялся. Смех его был, однако, какой-то

ненатуральный, будто Федор понуждал себя смеяться, будто нехотя обнаруживал щербатинку. И странный был смех - начинается мощно: хэ-хэ, а кончается слабо, тоненько: хе-хе.

- Даешь, Петюня! - Он плотно сжал губы.

А вот лицо не как лицо - явно обиженное: нижнюю губу отвесил, скривился, во взоре мировая скорбь. А-а, понятно: сержант Черкасов, командир отделения в третьем взводе. Причина его обиды: не сделали помкомвзвода, другого отделенного утвердили, - предложил комвзвода-3. Уважительная причина у Черкасова? Не усмехайся, Глушков: когда тебя не утверждали ротным, ты так же переживал, заспал, что ли, свои обиды? Не заспал, но после понял: не стоит переживать. В гуще солдатских тел раздалось, как вытолкнутое из этой гущи: "Ах ты, дешевка!" - "А ты дерьмо в траве!" - и сержант Черкасов, еще более скривившись, сказал с тоскливой строгостью:

- Отставить руготню!

Вот ведь как ранило человека! Казалось бы, что такое помкомвзвода? Да такой же отделенный, в сущности, права те же самые.

А Черкасов переживает, задето самолюбие. Отделенный он нормальный, не хуже и не лучше прочих. Я согласился бы и с его кандидатурой, но взводному видней. Своим взводным, толковым, надежным хлопцам, я доверяю, на офицерских должностях они смотрятся. Ни опытом, ни знаниями не уступают лейтенантам, которых иногда присылали на взводы. С этими лейтенантами беда форменная! Пришлют (старших сержантов, естественно, возвращают на отделения), а вскорости кого ранит или убьет, кто просто заболеет - и старшие сержанты сызнова становятся взводными. Непотопляемые сержанты, а прибывающим лейтенантам, ну, не везло. Короче: так до сих пор старшие сержанты и заправляют у меня взводами, и я ими доволен. А сержант Черкасов в роте после штурма Кенигсберга, точней - после госпиталя. Им я тоже доволен. Только зря переживает: пройдет война, воротится на гражданку, не вечно же сержантом быть. Говорю об этом Трушину. Он отвечает:

- С Черкасовым сложно. У пего в Красноярске на вокзале встречка была... нервишки могут и не выдержать.

- Что за встреча?

- Тише ты! Ротный, а не в курсе.

- Расскажи!

- Потом. А к Черкасову будь повнимательней. После Красноярска он сильно переживает...

После Красноярска? Да что ж там была за встреча? А я-то думал: переживает из-за того, что не назначили помощником

командира взвода. Хотя, наверное, и это есть.

Вскоре Трушин до конца просветил меня. Мы шли рядом, и, хотя говорить было трудновато, Федор все-таки рассказывал - прямо в ухо. В его изложении это выглядело приблизительно так (некоторые детали я дорисовал в своем богатом воображении).

Красноярск! Владислав Черкасов с дружками на перроне, недалеко от своей теплушки. Побледневший от волнения, он всматривается в разношерстную толпу, ждет кого-то, дружок спрашивает:

- Телеграммки-то, сержант, вовремя отстукал?

- Из Омска телеграфировал, - рассеянно отвечает Черкасов. - Когда уж стало ясно, что Красноярска не минуем.

- Адреса не напутал?

- Да как же я могу напутать? Не кто-нибудь - мать и невеста...

- Понятно! Тут загвоздка в другом. Точного часа, даже дня прибытия они же не знают, это ж не пассажирский поезд... Смотри, сержант, зорчей!

Тот не отвечает, идет вперед, возвращается, снова спешит куда-то, снова возвращается. Шарит глазами, зачем-то размахивает руками. За спиной шепоток дружков:

- Надо было пересесть где-нибудь, ну в Новосибирске, на пассажирский, обогнать нас. Выиграл бы времечко, навестил бы своих в домашней обстановке. После бы в Красноярске к нам сел либо опять же догнал на скором. Некоторые военные так проделывают, у которых дом по пути... Головастиков, например...

- Славка себе не позволит. Шибко гордый, просить не будет...

Да и лейтенант навряд ли отпустил бы.

- Кому же охота подставлять шею, ежели человек отстанет, а то и затеряется? Некоторые военные, однако, ухитрялись...

И в этот момент Черкасов рванулся вперед, будто его удерживали за плечи, а он вырвался наконец. Он бежал, нелепо размахивая руками, навстречу ему семенила пожилая женщина - не по сезону теплый, суконный жакет, - рядом, поддерживая ее под локоть, высокая, ладная, под стать Черкасову, девушка в босоножках и ситцевом платье. Девушка поспешала молча, исступленно, а мать, задыхаясь, вскрикнула в голос: "Славик! Живой!" От этого вскрика мороз продрал по коже... За два шага до Черкасова мать рванулась, опередив девушку, и упала ему на грудь.

- Ну что ты, мама, успокойся! Не плачь так, успокойся, прошу тебя... И смотрел поверх материного плеча на невесту, которая чуть в сторонке ждала своего череда.

Черкасов вытер рукавом глаза. Еще раз поцеловал мать и невесту, сказал им:

- А это мои фронтовые друзья. - Он называл их поименно, онп здоровались за руку с матерью и девушкой, кланялись, чинно отходили, чтобы не мешать. Отходивший последним сказал:

- Со счастливой встречей! Гляди только, Славка, не прозевай отправления...

- Не прозеваю. До отправления, наверное, не меньше часа...

Они еще постояли на перроне, втроем обнявшись, а затем пошли в пристанционный скверик, уселись на скамейку, и Черкасов опять их обнял, а они с двух сторон прильнули к нему: одна поматерински, вторая по-женски.

- Ты знаешь, Славочка, - говорит девушка, - мы когда с мамой получили телеграммы "Буду проездом", то каждый день прпезжали на вокзал. И в ночь приезжали. Дежурили: пока одна на работе, другая на вокзале, встречает эшелоны.

- Да, да! А вчера Ирочка круглые сутки продежурила, я была занята на заводе... А сегодня вместе с ней, и какое счастье - тебя увидели, сынок! Мать спохватывается: - Я тебе бутылку самогона раздобыла на черном рынке, вот в сумочке. Может, выпьешь?

- Спасибо, мама. Лучше возьму, товарищей угощу.

- И то верно, сынок.

- А вы, я вижу, действительно дружно живете. До моих проводов разлад был...

- Я виновата. Мать - вот и ревновала тебя к твоей девушке.

К невесте твоей.

- Война пас сдружила, - говорит Ира. - Четыре года ждали!

- Получила телеграмму, - говорит мать, - и не сразу сообразила, что ты мимо проедешь, хотя в ней и было слово "проездом".

Славик едет с войны, демобилизован! А после разобралась, и как обухом по голове...

- Снова на войну? - спрашивает Ира.

- В точности не известно. Но не исключено.

- Да что там, Славочка, не известно, если такая махина прет на Восток. Для чего? Люди говорят: с Японией будет война.

- Откуда люди знают? - вяло отбивается Черкасов. - Домыслы. Слухи - они и есть слухи.

Он взглядывает на часы. Мать подпимается.

- Пойду мороженого куплю. Я мигом обернусь.

И уходит. Ира говорит:

- Это она нас вдвоем оставила...

- Спасибо ей!

И они, не стесняясь вокзального многолюдия, целуются, Ира шепчет:

- Наконец-то я с тобой! Чувствую тебя всего! Господи, через

полчаса, через четверть часа ты уедешь... Почему? Куда? Я ждала четыре года и не хочу тебя отпускать! Я хочу всегда быть с тобой!

- Мы будем вместе!

- Когда? Еще четыре года ждать?

- Ну что ты... Не может так долго продлиться эта война.

Если она будет...

- А то не будет? Не надо обманывать себя!

- Ну, потерпи еще немного, милая...

- Нету моего терпения, Славочка, дорогой! Четыре года без тебя... И зачем я тогда, в сорок первом, согласилась отложить свадьбу... До твоего возвращения! Вот оно, возвращение...

- Мама настояла...

- А нам не надо было слушаться... Да ладно, да пусть без загса стать бы мне твоей... Ребенок был бы у меня. Твой ребенок!

- С ним на руках? Легко ль в военное время, Ирочка?

- Да уж легче, чем без него. Ты как бы со мной был...

И внезапно подается к нему, снова целует, обнимает, шепчет:

- Хочешь взять меня?

Он вздыхает:

- Как же я повезу тебя с собой, куда?

- Дурачок, не об этом я...

И Черкасов понял. Покраснел, испуганно оглянулся вокруг.

Ира сказала:

- Не пугайся, дурачок. Это я так. Это же невозможно. И когда станет возможно?

Появляется мать с тремя порциями мороженого. Черкасов опять приоткрывает запястье, взглядывает на часовые стрелки.

Вот какое воображение у лейтенанта Глушкова, Петра Васильевича. Черт-те что напридумывает. Сочинитель! А может, так оно и было? Или похожее было? Почему бы и нет? Черкасова надо щадить, прав Трушин. Я дремуче нечуток к подчиненным. Как подумал о Черкасове, бревно я бесчувственное, просто-напросто чурбак. Чурбак - потому что своей опрометчивости, невнимательности раньше стыдился больше. Ныне поспокойней реагирую. Со временем будет: как с гуся вода? Не дай бог! А можно сказать: как с гуся пот? Ведь птицы-то тоже, наверное, как-то потеют? А может, нет? А может, лейтенант Глушков, перестанешь глупостями заниматься? Одно извинение марш трудный, многоверстный, жара, пыль, жажда, ну и голова, конечно, несвежая.

Топай и старайся не отвлекаться. Уж если приспичило умствовать, то думай: как благополучно довести своих солдат и самому дойти до конечного пункта марша? Да ладно, дойдем как-нибудь. Европу прошли, пройдем и Монголию. Ах, Монголия!

Раскаленная земля, раскаленное небо. Воздух обжигает легкие. Дышать невмоготу. Металл обжигает пальцы, если невзначай дотронешься до автомата. Кажется: сквозь подошвы песок и галька жгут. И еще кажется: чем дальше пройдешь по этому пеклу, тем скорей доберешься до более прохладных мест. Это вряд ли светит - прохлада, но после марша будет какая-то передышка, клянусь... клянусь здоровьем дочери - так говаривала фрау Гарниц.

Как она там, в своей Германии, фрау Гарниц, как там ее Эрна?

Опять отвлекаешься? Вот уж поистине отвлекся от реальности.

Реальность - это четырехсоткилометровый марш, а немка, с которой любился, и ее мамаша - словно мираж в монгольской степи.

А вот это не мираж: танки, пушки, автомашины, повозки, пехотные колонны. Степь уже пахнет не полынью - бензином и соляркой. Бурая пыль взвешена в воздухе, она покрывает все, что можно покрыть, занавешивает отдаленные голубоватые сопки, а еще подале сквозь пыльную кисею проглядывают синеющие вершины - не Хипган ли? Его предгорья? Таинственное слово - Хинган. Таинственное и угрожающее. Там все будет решаться...

Солдатский разговор:

- От мы отмытаримся, отмучимся... Отвоюемся! За-ради наших деток... Чтоб в мире жили, в благополучии...

- Дети, браток, это... это... Даже высказаться не могу, слов нету... Чудо они заморское, дети! Скажешь, не так?

- Я тебе вот что скажу... У меня сынок от первой жены, скончалась в тифе... От второй - дочка... Сын и дочка! Есть они на свете, и мне ничегошеньки не страшно. За них в огонь-воду пойду!

- Мой пацаненок, Димка его зовут... так он обписывался по ночам. Переживал он, бедняжка, аж плачет... А мне мальца до того жалко, что у самого слезы наворачиваются. Лечили Димкуто, перестал писаться в кровати...

- А у меня сестренка, младшенькая, за два года до войны народилась... Ну девка! Ну крикуха! Орет - не подходи! А я подойду, поцелую в пятки, и Надюха успокоится... Никуда не позволяли целовать, окромя пяток. Пухленькие, розовенькие, пахнут вкусно...

- У моего сорванца, у Жорки, завсегда "путанки" на голове.

Ну, это когда волосы сваляются, запутаются клубочком, не расчешешь. Выдирать "путанки" больно... Жорка матери не дозволял, исключительно мне, я осторожненько выдирал... Ну, а

волос у сорванца густой-густой и с чего-то с рыжеватинкой...

А я подумал: "путанки" бывают не только в детских волосах, но и во взрослой жизни.

От воспоминаний отрешиться не могу. Они всплывают со дна памяти и будто клубятся надо мной. Может быть, из-за жажды вспомнилась река, которую переплывал, драная от немцев. Это был еще сорок первый.

Так вот, на исходе августа, кажется, в какой уже раз попали в окружение. Тыкались туда-сюда, везде немцы. Утром они прижали нас к берегу. До полудня мы отбивались. Но немцы кое-где просочились к реке. Надо было отступать, то есть кидаться в воду и плыть, если умеешь, на ту сторону, а не умеешь - плыви на доске, еще как. Я завернул в плащ-палатку оружие и обмундпрование и ступил в холодную воду. Переплыл. А чего же? Это ни Доп, это поменьше. Но много наших утонуло - кто по умел плавать, кто от пули или осколка.

Ну, уцелевшие выбрались на восточный берег и побежали к ближайшему лесу. Картина была: по лугу чешут на третьей скорости мужики, - кто в подштанниках, в трусах, кто в чем мать родила. В подлеске я начал одеваться, оглядываясь: группа человек в двадцать. Некоторые с переляку или, может, от бесстыдства даже срам свой не прикрывают. И это меня обозлило. Натягивая гимнастерку, гаркпул:

- А ну, все ко мне! Быстрей, быстрей! Слушай мою команду:

достать оружие и одеться!

Команду восприняли послушно, кроме одного красавчика; он взпеленился:

- Сержант, прошу не приказывать и не орать! Я старший лейтенант!

Злость совсем захлестнула меня:

- У вас на пузе не написано, что вы лейтенант. Лейтенанты имеют знаки различия. А ну бегом, выполняйте приказ!

В руках у меня очутилась винтовка, и старший лейтенант пе стал продолжать дискуссию. Оружие нашли довольно легко, кругом валялись винтовки. С одеждой - похуже, так и остался коекто покуда в подштанниках. Но затем мы набрели на брошенный обоз, ребята оделись в невообразимую рвань (видимо, обмундирование было списанное): голые колени, продранные локти.

То же проклятое лето. Отступаем, а люди подают заявления в партию. Помню: в перерыве между боямп на опушке партсобрание, кучка коммунистов тех, что уцелели, а в сторонке мы, комсомольцы и беспартийные. Мне слышно, как парторг зачитывает заявление Саньки Аносова, рекомендации. И тут снова

бой.

Потом - снова собрание. Выясняется: один из рекомендующих убит. Комиссар полка подсказывает: считать рекомендацию действительной. Не успевают и на этот раз принять решение: немцы полезли, бой. И Санька Аносов геройски гибнет - с гранатами под танк. И комиссар опять подсказывает: считать Аносова коммунистом посмертно...

Санька был из кадровых сержантов, лет двадцати трех. Молодой, а с чего-то оплешивел, зато на груди и спине - заросли шерсти. На руках наколки, на щеке - родимое пятно, как несмытая грязь. Обыкновенный мужик. И необыкновенный...

7

Машинами автобата мы все-таки попользовались. Правда, немного и не сразу. Уже начали терять надежду... То ли они не освобождались, то ли другой какой стрелковый полк перевозили. Сперва всё ждали - вот-вот нас подбросят, потом стали ворчать, потом смирились. Знать, не судьба. Хотя подвезти малость - с полсотни километров - можно было бы. Нам бы это не помешало никоим образом. Но не выходил номер. Планида не та. Ножкамк, ножками!

Завидущими глазами провожали мы грузовики, в которых сидела пехота, бывают же счастливчики! Везет некоторым военным! Эти некоторые военные сверху вниз посматривают на пас, посмеиваются. И вдруг - машины автобата! Нет, есть правда на земле, а на пебе бог! Смилостивился! Мы разглядывали полуторки и "студебеккеры" - такие запыленные и такие прекрасные, - потому что они были пустые! Для нас предназначенные! Раздалась команда: "По машинам!"

Ее подхватили с редким единодушием, солдатики, смакуя, повторялп громко и негромко: "По машинам, по машинам!", кто-то проверещал: "По коням!" - и все с завидной шустростью, мешая друг другу, полезли через борта. Толкаясь, давясь, рассаживались на скамейках, на дне кузова. Теснотища, как в довоенной пивной.

Да что там пивная, раки и "Жигулевское"! Ерунда, сущие пустяки. Тем более до войны было. А тут, в настоящий момент, - сказки венского леса, дивный сон! Действительно, только в расчудесном сне пехотинец восседает в автомашине, сверху вниз посматривает на мир божий. Но отчего бы и не смотреть сверху вниз, если автомобиль везет тебя, уважительно встряхивая, а твои ножки гудут, отдыхаючи. И километр за километром накручиваются на колеса, а ножки твои отдыхают и отдыхают. Ах, здорово!

И не во сне это, ей-богу, наяву!

Я - как начальство - сидел в кабине. Шофер, узкоглазый с

плоским, приплюснутым носом бурят, крутил баранку, невозмутимо глядел на дорогу. Я тоже глядел в лобовое стекло: степь, степь и дальние отроги. Проселок был забит войсками и машинами. Да, здорово все-таки насытили армию техникой за четыре годочка. Есть немало мотострелковых частей, где пехота вообще посажена на колеса. А сколько мотоциклов, бронетранспортеров, самоходных установок, танков легких, средних и тяжелых!

Нашу колонну остановил регулировщик с красным флажком:

пропускали танковую. "Тридцатьчетверки" одна за другой прогрохотали мимо. Сила, папор, красота! Федя Трушин уверяет, что "Т-34" - лучший танк второй мировой войны. Вполне возможно.

Говорят, что и штурмовик "ИЛ" - непревзойденный самолет.

Проходят, проходят танки, и гром их неудержим...

Этим грозным боевым машинам еще предстоят испытания, впрочем, как и нам, - заключительные испытания второй мировой.

Не хочу, чтоб какая-то "тридцатьчетверка" горела, как горели они в Кенигсберге, подожженные фаустпатронами. При штурме Кенигсберга пехота их охраняла от фаустников, да, видать, не всегда надежно. В грядущих боях на маньчжурской земле постараемся охранять надежней. Фронтовой опыт кое-чему учит...

Танки прошли, и колонна автобата вновь тронулась. Сквозь ветровое стекло нажаривало солнце, боковые - опущены, в кабине - дуновение сухого, горячего воздуха, будто настоянного на пыльной полыни. Наш "студебеккер" вползал на пологие склоны сопок, спускался в распадки; мягко покачивало, убаюкивало. И я, привалившись к мускулистому, литому плечу шофера, грешным делом начал подремывать. Пробуждался, вскидывался, отклоняясь от чужого плеча, а через минуту снова дрема одолевала.

Но еще десяток километров - и нас высадили. Я пожал шоферу шершавую, обветренную руку и толкнул плечом дверцу, шофер сказал вслед:

- Будь здоров, лейтенант.

Буду. Правда, фамильярничать с офицером ефрейтору негоже.

Но ефрейтор - из всемогущего водительского племени, коему многое дозволяется. Не скажу, что солдаты слезали с машин с восторгом, однако и уныния не наблюдалось. Коль высаживают, значит, так надо. Приказы в армии выполняются, а не обсуждаются. Рота, становись! Шагом марш! Все по закону. Провезли нас километров сорок или пятьдесят, один переход. Не

так уж плохо, спасибо и за это. Быть может, и еще подвезут. А покамест вновь шагай-вышагивай. Передохнули, идем как положено. Окрест шелестит синий ковыль, сапоги наши стучат. Бессмертный топот кирзачей.

Мы топали, и постепенно те несколько дней марша, что-то около недели, которые лишь предстояли вначале, действительно были прожиты нами. В основном - на ногах, меньше - во сне, на привалах, а то и без привала; иные солдатики засыпали на ходу, падали, пробуждались, снова шагали. А поездка на "студебеккере" вспоминалась как прекрасное и, увы, далекое прошлое.

Старшина Колбаковский Кондрат Петрович с полным основанием считается крупнейшим авторитетом по Монголии: как он и предсказывал, июль месяц обрушился еще большим зноем. Удивительно, что до сих пор мы не изжарились заживо. Но почернели, словно обугленные, усохли, ни намека на жирок, на гладкость.

Лица заострились, носы, как рули, торчат. Маршевые дни и ночи слились во что-то непрерывное, неделимое на сутки. Идти ночью было не так жарко, но одолевала сонливость, впрочем, она и днем одолевала. Вообще сонливость словно поселилась внутри нас - от зноя, от усталости, от недосыпа.

Да что марш! Ну. намолачивали в сутки километров по тридцать - сорок, а то и более. Ну, натрудили ноги, охромевших подбрасывали до привала на подводах. Ну, воды не хватало, жажда мучила. Ну, терялись некоторые в темени, блукали по степи, потом находили свою колонну. Ну, у кого-то случался тепловой удар, отправляли в санчасть. Что еще? Да вроде ничего, словом, дошли до места. А вот когда дошли - попадали как подрубленные и сутки, наверное, отсыпались, отлеживались, приходили в себя. Просыпались только чтоб поесть, и снова - храпака, и солнце не помеха. Под вечер очухались, стали оглядываться, где мы и что мы. Я пришел в норму раньше своих солдат - просто обязан был: ротный. И тут за моей персоной явился посыльный, поволок к комбату. Я плелся, стараясь держать осанку, подавляя зевоту. У палатки - в полном сборе батальонное командованне и командиры рот, я заявился последним.

- Опаздываешь, Глушков, - сказал комбат; тон ворчливый, а что за настроение - не понять: лицо без ресниц и бровей, стянутое рубцами от ожогов, - как розово-лиловая маска; улыбается ли капитан, хмурится ли никогда не определишь, прислушивайся лишь к голосу.

- Извиняюсь, товарищ капитан, - сказал я. - Как только пришел посыльный, я сразу сюда... Видимо, он проплутал.

- Ладно тебе оправдываться, - отмахнулся комбат. - Опоздал, так устраивайся побыстрей... Попрошу внимания, товарищи офицеры!

Мы сидели на земле, комбат стоял, возвышаясь над нами своей фигурой-рюмочкой, опираясь на палку. Нам приходилось задирать головы, и это было не очень удобно, уставала шея. Опустить же голову было нельзя, ибо комбат, говоря, искал наши взгляды - он любил смотреть в глаза слушающим. Мы ему внимали, скрывая зевки, - недобрали сна, хотя дрыхли едва ли не сутки. Нет, марш дался не так-то уж легко, чего уж тут бодриться. Но он позади, можно и взбодриться!

Капитан говорил отрывисто, с напором, иногда взмахивал свободной рукой, и на груди звякали ордена и медали.

На фронте с погибших, перед тем как захоронить, снимали правительственные награды. Запомнилось: польский городишко, на улице лежат в ряд и будто по ранжиру пехотинцы, убитые, ротный старшина наклоняется над каждым, отцепляет ордена да медали - в этих местах гимнастерка не так выцвела, как везде.

- Такова задача батальона, - подытожил капитан. - Втемяшилось, товарищи офицеры? Вопросы ко мне есть?

Вопросов к комбату не было, ибо всё, употребляя его любимое словцо, втемяшилось, и нас отпустили с миром. Но перед этим замполит Трушин встал и громогласно объявил:

- Сегодня после ужина общебатальонная беседа. Тема - "Что мы знаем о Монгольской Народной Республике". Проводит старшина товарищ Колбаковский.

- Он не будет проводить, - сказал я Трушину. - Он боится этих публичных бесед, как черт ладана!

- Не волнуйся, ротный, - усмехнулся щербато Трушин. - Я с ним договорился.

Солнце опускалось за западные сопки - оттуда мы приехалп в Монгольскую Народную Республику, о которой нас будет просвещать старшина товарищ Колбаковский. Послушаем. Кондрат Петрович имеет что сказать по данному вопросу.

Старшина откровенно дрейфил, в неофициальной, так сказать, обстановке он изъясняется свободно, раскованно и уверенно, но когда ты стоишь посреди рассевшихся на земле взводов, ловишь на себе десятки оценивающих взглядов, когда замполит, строгий и важный, осознающий всю значимость момента, передает тебе слово и отходит в сторону, а ты остаешься один на один с целым батальоном, - тут иной расклад, и бедняга Кондрат Петрович, побледневший, затеребил пуговицу на гимнастерке, без нужды поправил ремень, откашлялся трижды. И трижды открывал и закрывал рот, прежде чем заговорить. Но

заговорил, и голос его был хриплым, напряженным, срывающимся.

- Товарищи солдаты и сержанты... а также, извините, товарищи офицеры! На сегодняшний день мне... это самое... поручено провесть беседу... То есть побеседовать про Монгольскую Народную Республику, где мы с вами в данный момент находимся, товарищи офицеры... а также, извините, товарищи солдаты и сержанты...

Я сидел, по-турецки скрестив ноги, и мысленно подбадривал оратора: "Давай, давай, не робей, старшина" - несколько покровительственно, потому что в центре батальонного круга был он, а не я. Кстати, окажись я на его месте, тоже, по-видимому, не отличился бы бойкостью. Было немного жаль, что старшина поддался Федииым уговорам и теперь вот мается, сердечный. Но с другой стороны взглянуть: представитель нашей роты проводит столь ответственную беседу. Давай, давай, Кондрат Петрович, не робей, дуй до горы!

Пока что он тянет волынку:

- Побеседовать оно, конечно, можно... Коль командование доверило... Как говорится, постараюсь оправдать доверие, хоть я специально и не готовился...

Лукавит Колбаковский: держит перед собой бумажку, на которой записан план беседы, сделаны какие-то выписки, и плюс книжечку в желтом переплете. Ближе к делу, Кондрат Петрович!

Наконец, спотыкаясь, он начал читать по книжечке - про расположение Монгольской Народной Республики, ее границы и размеры, население, политическую структуру. Облизал пересохшие губы и прочитал далее о полезных ископаемых, о промышленности, о культуре. Может, еще про что-нибудь прочел бы, да сумерки сгустились, в книжечке ничего не разобрать, а о своих личных впечатлениях старшина почему-то не говорил.

Замполит Трушин спросил: "Товарищи, вопросы есть?" Несколько голосов бодро проорало: "Нету!" Колбаковский с облегчением выдохнул, вытер пот со лба. Трушин сказал: "Тогда поблагодарим товарища Колбаковского", - и раздались аплодисменты, которые и не снились певцу-солисту ефрейтору Егорше Свиридову. А вообще-то действительно полезно узнать подробней о Монголии, хотя это была, собственно, и не беседа, а громкая ч и тк а. Наш ведь союзник и друг, вторая после нас социалистическая страна...

Роты расходились по своим местам. До построения солдаты торопливо дымили махорочными самокрутками и папиросами-патрончиками. Ветерок посвистывал, как тарбаган. Сухо, словно царапаясь былинкой о былинку, шуршали травы. Взошедшая луна

была разделена пополам тучевой полоской, быстро сужаясь, полоска стала похожа на тонкий кавказский ремешок, будто луна подпоясана на манер ростовских армян, - они любили такие ремешки да еще с серебряным набором. А женщины-армянки в Росстове любили носить темные шелковые шали. Мама тоже носила, хотя была русская. Приехавшая в Ростов из Москвы в тридцать восьмом году вместе с сыном, нареченным Петр. Был такой архаровец Петр Глушков, он же отличник учебы. Старшина повел роту, а я направился к Тру шипу: тот о чем-то разговаривал с командиром минометной роты.

Я сказал:

- Аида к нам спать, Федор! А?

- Не возражаю. Только вопрос: не надоем роте лейтенанта Глушкова?

- Не надоешь.

- Будь по-твоему... За жизнь поговорим?

Я кивнул. Можно и поговорить, мы давненько не философствовали как следует. Но главное - просто побыть с Федором. Это же мой фронтовой друг. Цапались с ним? Бывало. Да забылось нынче. А помнит ли он? Думаю: нет.

Мы присели на нашу не очень чтобы взбитую пышную постель, во всяком случае, мослами расчудесно ощущаешь твердь земного шара. Сапоги долой, гимнастерки и штаны долой! Правда, ночью может пробрать свежестью пустыни или полупустыни, о которых столь выразительно читал давеча старшина Колбаковский. Трушин повернулся ко мне спиной - нижняя рубаха измята, словно в рубцах от нагайки. По-видимому, и у меня такая же, хотя нагайками пас никто не стегал. Жизнь, верно, иногда охаживала, но больше по голове и не плеткой - обушком. Да ладно, что об этом? Кто считает твои синяки и шишки, а также раны? Сам считай, не передоверяй другим.

- Подымим, Федюня?

Пошучивая, я ожидал, что в ответ Трушин обзовет меня Петюней, он же сказал:

- Подымим, ветродуй!

Вот это да! Так меня обзывал в Восточной Пруссии старшина Колбаковский, когда я пребывал взводным. Нынче я - подымай выше - ротный, а вот с чего Трушин употребил это обижавшее меня словцо? Или острит? Я шучу, и он шутит? Странноватая шуточка, товарищ гвардии старший лейтенант. Я подрастерялся.

И не то что обиделся, но как-то неприятно заныло сердце, хотя и чуть-чуть. Федор этого не заметил, сказал ворчливо-добродушно:

- Ну, вытаскивай. Твоих закурим.

Протянул ему пачку.

- А чьи они?

- Мои.

- Да не про то я! Трофейные пли наши, советские?

- Наши. Дрянь вонючая.

- Как у тебя язык поворачивается! Говорить о советских папиросах дрянь!

В сумраке при затяжке огонек чуть освещает лицо Трушина, но выражения не разобрать. Зато интонацию разбираю, не шутейная, раздраженная.

- Ты что, Федор, очумел?

- Не я - ты очумел! Мы патриоты или нет?

- Я патриот. Не меньше, чем ты. А папиросы все-таки неважные...

- Неважные - куда ни шло. А то загнул - дрянь. Как будто немецкие эрзац-папиросы лучше! А вообще-то иногда и промолчать небесполезно, если тебе что-нибудь не нравится из нашего, советского.

Хочется сказать, что это демагогия, что он чурбак, и вообще недурно бы врезать ему промеж глаз! Но я же люблю своих товарищей, своих однополчан, обязан любить их: они пойдут со мной в бой, на смерть. Пересиль себя, люби Федю Трушина, как брата своего. Толстовец ты, что ли, лейтенант Глушков? При чем тут толстовство? Все проще: глупый ты и зеленый, ты мальчишка, хоть за спиной четыре года войны. И Трушин мальчишка, хоть у него за спиной те же годы. И опять вдалбливаю себе: помягче будь с людьми. Если что - уступи товарищу. Вполне миролюбиво я сказал:

- Давай-ка спать.

- Давай, - ответил Трушин менее миролюбиво.

И вместо философского, вдобавок душевного разговора мы молчком улеглись затылком к затылку, как повздорившие супруги. Первым вырубился Трушин, пустив доброго храпака. Подложив кулак под щеку, уснул и я.

8

Никогда бы не подумал, что смогу так спать, и где спать - в окопе, на войне.

О летних, начальных боях сорок первого помнится: жаркий, пыльный день, лейтенант куда-то нас ведет - то лесом, то окрайком ржаного поля; лесочком идем в полный рост, ржичкой - пугливо пригибаясь, и конца этому хождению не видать. За день намаялись, ног под собой не чуем. К вечерку на опушке стали окапываться. Лопатками шуровали неплохо, потому что ужин был неплохой, разжились кое-чем на колхозной ферме, подрубали

крепенько. И потому также, что опыт, хоть и малый, подсказывал:

зароешься в землю - спасешься.

Оказалось: спать в окопе очень даже удобно. Вместо подушки - каска, дно устлано стеблями неспелой ржи, ветерок набегает, после знойного дня обдает свежестью изнуренное, потное тело.

Где-то сзади и впереди разрывы снарядов, настолько методичные, что убаюкивают. Засыпаешь. Но время от времени пробуждаешься. Глянешь на полную луну, на звезды, на фигуры часовых, маячащие за нашими окопами, успокоение засыпаешь, чтобы досмотреть сладкие мирные сны.

Утро летом наступает слишком рано. Не успеешь отдохнуть, набраться сил. Утром - война, она не хочет ждать. Едва за нашими спинами небо посветлело и звезды начали гаснуть, обстрел усилился, превратился в настоящую артподготовку. Это уже не одиночные взрывы где-то в стороне, а сплошной огонь, смерч огня здесь, среди наших окопов.

Но вот уже и пули засвистели. До войны я, дуралей, был уверен: писатели ради красоты, ради интересности присочинили насчет свиста. На стрельбище не мог услышать его, только на войне услышал. На стрельбище ты посылал пули в безответную мишень, на войне пули посылают в тебя самого - потому и слышишь свист: пуля та уже не опасна, пролетела мимо. Своей же пули не услышишь, она вопьется в тебя бесшумно. Пули свистят так: вначале высоко, потом, под конец, понижая звук. И как же их много, пуль, и все они летят в тебя. Мать-земля, прикрой!

Вдруг раздается еще один свист - пронзительный, переливчатый. Это лейтенант дует в свою свистелку - сигнал к наступлению, мы его знаем, сигнал. Приподнимаю голову, оглядываюсь.

Никто не встает. Будто глухие, не слышат. Да кому ж охота вставать под пули и осколки? Еще сильней прижимаюсь к земле.

- Вста-ать! Я приказываю! - Лейтенант надрывается позади, но самого не видно, тоже, возможно, лежит. По-прежнему никто не встает. - Вперед, я приказываю! Вста-ать! Стрелять буду, так вашу и разэтак...

Яростный мат заставляет подумать: надо вставать. Но почему я должен быть первым? Почему?

- Сержанты, встать! А то стрелять буду, так и разэтак...

Сержанты - это уже касается меня персонально. Сержант Глушков, надо вставать. Страшно! Но встаю, вижу лейтенанта.

вместе с ним принимаюсь орать, сдабривая команду матерщиной, - раньше я вроде никогда не ругался. И чудо: бойцы словно ждали именно этого, вскакивают и бегут вперед. Цепь бежит - куда, точно неизвестно. Быстрей, быстрей! Сзади слышны

команды лейтенанта: "Правей, правей!" или: "Левей, левей!" Некоторые красноармейцы падают и остаются лежать, мы топочем дальше. Пули свищут. Жарко. Сбрасываю сумку с противогазом, шинельную скатку. Справа и слева бегут красноармейцы, нас много, и это успокаивает. Нутром чувствую: добежать нужно вон до того леска, там немцы, хотя их покуда не видать. Добегаем до пнистой опушки, лейтенант орет: "Ложись!" Падаем, стреляем наугад, по кустам. Немецкие снаряды задевают стволы деревьев, высекают слепящие искры, это средь бела-то дня! Гром, грохот, вой, свист - оглушают.

- Вперед, в штыки! Ура!

Бежим в атаку, достигаем другой кромки леса и видим впервые убегающих от нас немцев. Да они, выходит, умеют весьма резво улепетывать! Мы спрыгиваем в чужую траншею, готовимся к немецкой контратаке...

Неорганизованный бой, бестолковый? Так мне тогда померещилось, позже, однако, уразумел: нашу атаку поддерживали с флангов станковые пулеметы, и полковая артиллерия основательно поработала перед нашим наступлением немецкая оборона в воронках, трупы гитлеровцев, покореженное оружие...

Еще воспоминание о той войне. Шагаем по Польше, победители-освободители, и ласковое солнце ранней осени, и золотистая пыль шляха, поднятая фурой, - колеса на резиновом ходу, и целующаяся почти у нас на глазах молоденькая польская парочка, тяготеющая к кусточкам, и ломящая зубы вода из колодца, и старая полька, угощающая моих солдат этой водичкой и говорящая нам вслед: "Не католики, но люди хорошие". Я потом эту фразу в наш адрес не раз слыхал от поляков. И улавливал в ней сокровенный смысл: хорошие потому, что вызволяют из гитлеровского рабства, даруют свободу и независимость. Ну, не даруют - слово можно употребить и попроще. А главное - шагаем уже Польшей, и до Победы недалеко.

С утра до вечера, как кроты, копаемся в земле, на головах пилотки либо нательные рубахи и вафельные полотенца наподобие чалмы. Или с вечера до утра - смотря в какую смену выпадают роте саперные работы. Ископали все окрест - окопы, щели, укрытия для машин. Затем стали ковыряться поближе к границе - траншеи, хода сообщения. Вкалываем - будь здоров!

Толя Кулагин спросил меня:

- Товарищ лейтенант, на кой, извините, хрен роем укрепления, ежели собираемся наступать, а не обороняться?

- Начальству видней, - ответил я.

Во-первых, так оно и есть: начальству видней, во-вторых,

официально о наступлении нам еще не объявили, а в-третьих, не буду же разъяснять, что оборонительные работы могут вестись для дезинформации противника. Вот тут замполит Трушин прав: полезно подчас и перемолчать, военное дело не терпит излишней разговорчивости.

- Ну, а все-таки, товарищ лейтенант? - не унимался Кулагин.

Его оборвал сержант Черкасов, морщась и кривясь:

- Анатолий, не задавай ненужных вопросов!

- Как то есть ненужных?

- А так! - вступил в разговор старшина Колбаковский. - Командир роты тебе ответил, и точка.

- Точка с запятой, - сказал Кулагин. - Начальству-то видно, но и мне охота знать...

Мало ли кому чего охота. Лейтенанту Глушкову, например, охота, чтоб хоть на часик рядом очутилась его Эрна, его женщина, и чтоб он обнял ее за плечи и повел в степь, подальше от постороннего взора; степь нашпигована войсками, и все же он сыскал бы укромный уголок. Ах ты, Эрна, Эрна! Пусть твой образ не сливается с другим образом - Нины, которая живет в городе Чите, существуйте в моем воображении каждая сама по себе.

Вот ведь какая штука: маршем и саперными работами в монгольской степи измотан предельно, а стоит вспомнить об Эрне, о том, что было некогда, - и словно нету усталости в помине, и все тебе по силам. Потому - молодость. Ей же надо как-то себя тратить. Сжигать, если хотите. Самосжигаться на костре любви, сказал бы я, если б не боялся красивостей. Кончится война, и буду любить. Кого? Где? Кого-нибудь и где-нибудь, а к Эрне мне пути заказаны...

Мы долбили землю ломами, копали не только малыми саперными лопатками, по и большими саперными: пальцы сжимают черенок, подошвой сапога налегаешь на лезвие - сухой скрежет железа о камешки, отваливаешь пылящий, рассыпающийся прахом пласт. Разгибаешься и снова сгибаешься, и так до упаду. Потом чувствуешь: будто кол всадили в поясницу.

Получается: перед тем как выдержать испытание войной, нам надобно пройти испытание трудом. Сотни километров марша и саперные работы - пота пролито вдосталь.

А через недельку после начала саперных работ комбат объявил: завтра возобновляются занятия по боевой и политической подготовке, особое внимание - тактике. Значит, попотеем и на тактических учениях. Мда! Порой кажется: неизвестно, где трудней, на войне или на учениях. Правда, на учениях не убивают.

Народ, в общем-то, не унывает. Вот если б еще солнце не так

накаляло воздух и землю, если б какой-нибудь тенечек был. К вечеру уже можно жить, но днем...

- Товарищ парторг, газетки не подвезли? - спросил Свиридов.

- Молодец, ефрейтор, - сказал Симоненко. - Не о воде, не о жрачке думку имеешь. Про духовную пищу думаешь!

- Да уж я таковский. Политику уважаю... Так есть свежие газетки?

- Это ему для курева, - не без ехидства вклинился в разговор Логачеев. - Цигарки вертеть!

- Карамба! - Свиридов высокомерно вскинул брови. - На самокрутки сгодятся и старые газеты. А я прошу у парторга свежих. Для чтения, понял или нет, элемент ты несознательный, фрукт ты недозрелый!

- Политически недозрелый, - уточнил Симоненко. - А ефрейтор Свиридов приохотился к газетам, потому как его сознательность выросла. И я радый, что воспитал у него данную тягу к советской печати, так же, товарищ Свиридов?

- Не совсем так, товарищ парторг. Конечно, вы воспитывали...

Но еще раньше меня воспитывала одна особа женского роду-племени, учителка в Братске...

Симоненко с неудовольствием посмотрел на бывшего аккордеониста, звезду эстрады Егоршу Свиридова, спросил пристрастно:

- Что за учителка?

- Да была одна... По имени Анфиса. Молодая, красивая деваха, жаль только, очки носила. И политикой шибко увлекалась...

Не, с ее дисциплиной это не было связано, она преподавала естествознание, проще сказать - про флору и фауну, еще проще - про цветочки и животных. Но, как потом прояснилось, душа у Фисы лежала к политике. - Как любой мало-мальски опытный рассказчик, Свиридов выдержал паузу и лишь затем продолжил: - Фиса снимала комнатку у соседки, так что мы познакомились. И она мне приглянулась, и я стал назначать ей свиданки...

Стратегию улавливаете?

- Улавливаем, - сказал Головастиков.

- Тогда идем дальше... Для полного проясненья стратегии:

мне шел восемнадцатый, Фисе - двадцать четвертый, вот как товарищу лейтенанту... Взамуж брать не рассчитывал: шибко старше, да и вряд ли за меня пойдет. Потому соцположение у нас не совпадало: она учителка, интеллигенция, институт в Иркутске кончала, у меня - шесть классов с грехом пополам, трудяга на лесосплаве, черная кость. Не пара! Но приударить и кое-чего добиться хотелось, не буду врать. Потому, повторяю, нравилась...

Ну, встречаемся. Раз, другой, третий. Я намеками про свои симпатии, вздыхаю со значением, она будто не замечает и сводит на политику. Я же в политике в те годы ни бум-бум. И получалась чехарда... Навпример, говорю: "Фисочка, не пойтить ли нам в черемушник, соловьев послушать?" А она: "Как вы, Егор, думаете, Чемберлен выдающийся политик?" В гробу б я видал этого Чемберлена, только после прознал, что за деятель... Я ей говорю: "Фисочка, какие у вас золотистые волосы", - а она: "Волосы как волосы... Но что вы думаете о Лиге наций?" Ничего не думал, потому не знал ничего про эту Лигу. Не читал, не слышал. Ну, а Фиса уйму книг и брошюрок прочитала - и все политическое, из газеток статейки соответственные вырезала. Подкованная по данной части! Дальше как складывалось? Так: я хочу обнять ее, она отводит мои лапы, говорит, что очень обеспокоена позицией Америки, также и Японии, или что-то такое. И очками сверкает - как режет! Короче, отчалил от нее. А жалко, деваха была красивая...

Польза: через Фису в газетках стал читать не одни фельетоны да "Из зала суда", но и про внешнюю политику... Теперь газетки читаю от корки до корки. Роль бабы в нашей жизнедеятельности, конечно, выдающая... Эх, да что там говорить! Был бы сейчас аккордеончик, рванул бы я "Брызги шампанского" или "Аргентинское танго"! Сердце горит, вспоминаючи!

- Ты здорово играл, а пел-то как, Егорша! - с чувством сказал Головастиков. - У меня слеза выжималась!

Обрел дар речи старшина Колбаковский:

- Как гласит русское присловье: близок локоть, да не укусишь. Еще недавно был жив аккордеон. Под названием "Поема".

- Присловье не к месту, - буркнул Свиридов, явно осердившийся. - Отчего?

- Как это не к месту? - Колбаковский не рассердился, но тенорок у него затвердел. - Хорошая пословица, да поговорка завсегда к месту. Вот! Монгольские припомнил. Некоторые... "Гость что добрый конь". Плохо разве? Ведь для монгола конь все. "Болтун работает языком, труженик - руками". Тоже неплохо. Или так:

"Руки до седла не достают, а он их до неба протягивает". Ого!

А вот: "Змея ядовита, толстая она или тонкая". А?

- Метко говорят монголы, - сказал я.

- Еще как метко! - Колбаковский обрадован моей поддержкой. - Гляньте, как они называют коров, овец, коз. Называют:

скот коротких ног. А скот длинных ног - это лошади и верблюды.

- Это так, - сказал я, подумавши: "На батальонной беседе Кондрат Петрович шпарил по брошюрке, а сколько б интересного, истинно своего мог бы он рассказать о Монголии"... И еще подумал: "В эшелоне Егор Свиридов одергивал моего ординарца, когда тот пересаливал насчет женщин. А теперь сам жует о бабах. Да, трудно молодым мужикам обходиться без прекрасного пола..."

В роту прибыло пополнение - десяток юнцов вроде Вадика Нестерова да Яши Вострикова и два лейтенанта, на взводы - из резерва Забайкальского фронта. Бойцы - худые, заморенные, в поношенном обмундировании, в сбитых ботинках и линялых обмотках. В таких же обмотках - неслыханно для нас, фронтовиков, - и лейтенанты. Офицеры в обмотках, черт-те что, непотребство! И гимнастерочки и пилоточки на них плохонькие-плохонькие. На груди, конечно, ни единой медали. Да откуда же ей быть, если всю войну простояли в Забайкалье, в Монголии? Западники вновь прибывших встретили гостеприимно, но несколько покровительственно, даже Нестеров да Востриков, сами не нюхавшие пороху, однако приехавшие с Запада. Исключение составил старшина Колбаковский. С ходу вызнав, что лейтенанты до резерва служили в Семнадцатой армии, Колбаковский аж засветился. Будто родичей повстречал. Заявил решительно:

- Товарищи лейтенанты, у вас какие размеры ног? Сорок второй и сорок третий? Та-ак... Попытаю организовать сапоги!

Лейтенанты - одного фамилия Иванов, другого Петров - замялись, засмущались благодарно. Старшина ободрил их добродушным взглядом. Восточники робели перед нами. Ну, еще бы! Мы такое на Западе отгрохали, ордена и медали позвякивают, нам сам черт не брат. Но у них, проживших эти четыре года в Забайкалье, в Монголии, есть важное преимущество перед нами: они хорошо знают здешние края - будущий театр военных действий.

Знакомясь с лейтенантами (кстати, мои ровесники), я им так и сказал:

- Мы поделимся с вамп опытом западной войны, а вы с памп поделитесь знанием местных условий. Договорились?

Они поспешно кивнули. Ребята вроде бы неплохие. Похожи друг на друга не внешностью, а чем-то иным, сразу не определишь чем. Не распространенностью же своих фамилий? А схожих портретно старших сержантов - большелобых, большеротых, белобрысых, курносых, с фасонистыми усиками придется сызнова снимать со взводов. Вот так на Западе: только поменяют, а присланных лейтенантов - глядь! - уже убило или поранпло.

Хочу, чтоб все оставались на своих местах. Но это же невозможно на войне...

Третьего офицера на взвод покуда не прислали, и я решил:

буду продолжать командовать этим взводом, есть толковый номкомвзвода. А я к тому же варился в этом котле сколько! Имеется опыт, имеется. И помкомвзвода был, и отделенным, и рядовым бойцом. Школа, необходимая и маршалу. Ладно, маршал Глугаков, отломишь новую войну - и на гражданку, учиться, устраивать мирную жизнь, в армии же ты не останешься? Не останусь.

Тогда и звание маршала не получишь. Ну, что же поделаешь, уйду в запас старшим лейтенантом, если присвоят, если представление не застряло в канцелярских дебрях.

С Ивановым и Петровым я жил в одной палатке. Землянок в батальоне было мало, в основном палатки, драные-передраные, откуда выкопали, с какого склада, давно бы пора списать. Но тут - рваные, в дырках - пригодились, и еще как. Худо ли бедно укрывали от зноя, от пыльных бурь хоть на время отдыха. От дождей не укрывали, потому что их не было, дождей. Что ни говори, крыша над головой - великое благо. Еще с нами в палатке обитал старшина Колбаковский, как-никак ротное начальство. Ну и, конечно, мой ординарец Драчев, тоже с какого-то боку имеющий касательство к ротному начальству. Так вот, старшина Колбаковский и раздобыл бутылочку "Московской", приволок в палатку перед ужином:

- Товарищ лейтенант, дозвольте?

Вопрос был обращен ко мне. Я медлил не столько с разрешением, сколько решал, выпивать ли мне. Дал же зарок завязать.

Иль по махонькой, контролируя себя, можно?

- Не сомневайтесь, товарищ лейтенант! На четверых сущая пустяковина...

Мишу Драчева не принимают в расчет, и правильно, пожалуй.

Меня также не стоит принимать, я выпью скорей символически.

- А Иванов и Петров употребляют?

Оказалось, употребляют, но чуток смущаются при этом. Кондрат Петрович объяснил:

- Повод есть, товарищ лейтенант! Нынче день рождения у меня...

- Сколько же стукнуло, Кондрат Петрович?

- Военная тайна! А то скажете: дюже старый Колбаковский, в кадрах нельзя оставлять!

- Это бабы скрывают свой возраст, - сумрачно сказал Миша

Драчев, очевидно, уязвленный тем, что его отстранили от участия в выпивоне; как я заметил, ординарцы иногда отождествляют себя с теми, при ком состоят, и требуют .соответствующего обращения. Не надо так, Мишенька!

Старшина игнорировал драчевскую шпильку, стал разливать по кружкам. Я прикрыл свою ладонью, взял бутылку, плеснул себе на донышко, вернул бутылку. Взводные скромно помалкивали, а Колбаковский пустился увещевать меня:

- Да что вы, да как же? Ну, еще маленько подолью...

- Ша! - сказал я, и Колбаковский угомонился.

- Стальной вы человек, товарищ лейтенант, - сказал Драчев и проглотил слюну.

- Это уж точно, - ответил я, посмеиваясь и над ординарцем и над собой. Ведь действительно втайне горжусь своей алкогольной выдержкой, весь вопрос - надолго ли ее хватит.

Не глядя на Драчева, старшина безошибочными, выверенными дозами разлил водку по трем кружкам, выдал нам по очищенной луковице и ломтику черного хлеба, круто присоленному, объяснил :

- Бутерброды.

- Ну, будьте здоровы, Кондрат Петрович, - сказал я. - Чтоб вам еще долго жилось на белом свете...

- Среди хороших людей! - Влез он в мой тост, извинился: - Перебил вас, товарищ лейтенант.

- Да нет, ничего... За вас, Кондрат Петрович!

Я деликатненько, чуть-чуть отхлебнул, все больше гордясь:

могу управлять собою, не пасую перед водкой! Присматривавшиеся ко мне Петров, Иванов и Колбаковский ополовинили своп порции, хотя было очевидно: с удовольствием бы высосали до победного конца. Мы понюхали, отгрызли лук, отведали бутербродов по-колбаковски. Ребятам было хорошо. Я ласково глядел на новорожденного, на Иванова и Петрова и даже на ординарца, демонстративно гремевшего котелками в углу. Снова и снова ощущал кровную близость к этим и к другим, вне палатки, людям, с которыми свела военная судьба и с которыми идти до финала - сквозь новые сражения. И снова и снова подумалось: накануне того, через что нам надо продраться живыми или мертвыми, как же странна вся эта обыденщина - надутость Драчева, выверенность старшинской руки, разливающей по чаркам, вспыхнувший между Ивановым и Петровым пустопорожний спор: одно ли это или нет, именины и день рождения, слезы от злого лука и все такое прочее.

Мне бы всплакнуть не от репчатого лука, а от любви к ближним, но, увы, подобных, натуральных слез нет.

Подогреваюсь, взбадриваюсь? Отнюдь! Я действительно люблю своих товарищей, хотя порой и обижаю их. Как и они меня. Это тоже из области обыденного, которое паутиной налипает на нас. Понимаю: обыденность, бытовщипа, неотрывность, что ли, от истоптанной земли неизбежны, даже когда совершаются подвиги. И от сознания этого становится грустно. И грусть не светлая, а какая-то смутная, тревожная. Очень просто: хочется и людей и себя видеть чище, чем есть на самом деле. И другое просто: принимай людей и себя такими, какие есть в натуре. Сколько уж твердил: к людям будь помягче, к себе построже, люби людей, а не себя. Что я и стараюсь делать. Не всегда, впрочем, последовательно. А делать это не обязательно со слезой во взоре... Я встряхнулся и сказал:

- Ребята, мы отвлеклись... Позвольте завершить ваш диспут:

прав Иванов, день рождения и именины - разные вещи, именины - это день ангела, день святого, имя которого дают новорожденному... - Про себя усмехнулся: крупный теолог, авторитетно решаю религиозный диспут. Давайте вернемся к новорожденному, к Кондрату Петровичу...

Новорожденный - с брюшком, с мясистыми складками на щеках, с залысинами и плешиной - обнажил в металлической улыбке вставные зубы:

- Та что там Кондрат Петрович та Кондрат Петрович? Я человек маленький. Хотя не зазря жую казенную пайку и протираю казенные штаны... Извиняйте, товарищ лейтенант, сызнова вас перебил...

- Предлагаю осушить до дна не за маленького человека старшину Колбаковского, а за личность, за че-ло-ве-ка! Все мы человеки, если и не с большой буквы, то и не с малой! И еще чтоб все мы, и новорожденный, конечно, воротились с этой войны до дому!

Добре крякнули, понюхали луковицы, доели старшинские бутерброды. Я велел Драчеву подавать котелки с ужином. Подостывшая каша с кусочком колбасы показалась необычайно вкусной. Застучали ложки. Взводные, изголодавшиеся на тыловом собственно пайке, рубали вовсю, опережая прочих, даже Мишу Драчева с его недюжинным аппетитом. Потом пили чай, дымили папиросами. Старшина Колбаковский говорил вдохновенно:

- Я, товарищи офицеры, не сообразую, пли, проще сказать, не укладывается в моем воображении: как это так, чтоб лейтенант ходил в обмотках? Расшибусь в лепешку, а кирзачи вам раздобуду, у меня кой-какой блат на вещевом складе!

- Отблагодарим, старшина, - сказал Иванов.

- За нами не пропадет, - сказал Петров.

- Я, товарищи офицеры, не люблю трепаться, или, что проще сказать, зазря бросать слов на ветер! Пообещал - выполни, так же?

- Точно, - сказал Иванов.

- Никак не иначе, - сказал Петров.

Я рассматривал лейтенантов, мне с ними придется съесть если не пуд, то уж фунт соли наверняка. У них примечательные, будто бы отменяемые одно другим лица: у Иванова - широкий лоб и узкий подбородок, у Петрова - узкий лоб и широкий подбородок, словно груши в разном положении ("Груши наоборот", - веселюсь я, хотя мне совсем не весело). Иванов блондин, Петров брюнет. У Иванова косой пробор направо, у Петрова налево, у Иванова усики короткие, у Петрова - длинные, закрученные книзу ("Усачи, под гвардию работают", - продолжаю веселить себя); правда, оба высокие, костистые, какие-то одинаково неуклюжие, и после выпивки оба разрумянились. Ребята, видимо, неплохие, хотя малость подзатурканные безрадостной тыловой службой и полуголодной житухой.

Иванов и Петров захмелели чуток, я - совсем ничего, зато старшина Колбаковский непонятно как окосел: сто пятьдесят для фронтовика - тьфу!

Иванов и Петров вдруг затеяли разговор о своих матерях, об отцах. Иванов сказал:

- Отец пропал без вести в сорок первом, последние письма от него были из-под Вязьмы. Он был кадровым командиром, полком заворачивал, майор... Мать в эвакуации, в Свердловске, по сю пору убивается, хотя верит: жив. Может, в партизанах, может, в плену? Меня уж в особый отдел не раз таскали. Пусть таскают, лишь бы живой был отец! Мать его очень любит, не меньше, чем меня. Она замечательная красавица. По мне этого не видать - в отца обличьем... И добрая изумительно! Три года не виделись...

- И у меня мама добрая, - сказал Петров. - Она под Нижним Тагилом, на Урале, земляки и соседи мы с Колей Ивановым...

Доярка, а сколько книг прочла - не перечислишь! Семья большая, детей семь штук, я старший, да бабки с дедами, отец бригадирствовал, медаль с Сельхозвыставки в Москве имел! Закладывал, верно, крепенько, семья на маме держалась... Тоже три года не видел...

А отец погиб под Сталинградом, в сорок втором. Как она тянет там все, ума не приложу, но весточки шлет бодрые...

Отцов у них нету, так есть матери - вести шлют. А у меня ни кола ни двора, отец умер, когда я был совсем маленький, отчим исчез в тридцать седьмом, мама расстреляна гестаповцами в Ростове. Один как перст. Эрна и та далеко-далеко. В Европе аж!

А тут - Азия. И хоть вокруг скопище людей, иногда

одиночество леденяще дышит мне в лицо, как многодневная вьюга.

9

Еще получили пополнение - двадцать пять гавриков, в основном те же безусые, и теперь рота более или менее полнокровна. Хотя штатного состава не достигла. Да и не достигнет никогда. Не упомню за четыре года, чтоб стрелковые подразделения и части были полностью укомплектованы. Не берусь судить об артиллерии, авиации пли танковых войсках, а вот пехота она и есть пехота: в боях ее выбивало так, что не управлялись возмещать потери. Сколько же выбьет этих семнадцати-восемнадцатилетних и постарше?

Мне надо запомнить новеньких в лицо и пофамильно. Успею ли до войны? Может, она завтра начнется. А может, через месяц?

Об этом высшее командование не докладывает взводным и даже ротным командирам. Не тот, как говорится, уровень. Вообще-то о дне и часе, когда начнутся боевые действия, знают, наверное, лишь в самых верхах. Там, в верхах, все расписано, там предопределена и паша судьба. Вглядываюсь в ребят. Они бодрые, неунывающие, веселые. Взводные, осчастливленные Колбаковскпм, в кирзачах, которые не устают ваксить, тереть бархоткой при здешней-то пылюке, и сам старшина дышали у меня за спиной, словно дыханием своим поторапливая: пора, пора, товарищ командир роты, распустить строй. Я скомандовал:

- Разойдись!

До этого мы распределили пополнение по взводам, стараясь, чтоб друзья-товарищи не разлучались, а попадали вместе. Недовольных как будто не было. Галдя, толкаясь, новички гуртовались вокруг Иванова и Петрова, зачисленные в первый взвод жались на отшибе, словно боясь подойти. Я сказал им: "Давай сюда, хлопцы!" - и приглашающе взмахнул рукой. И в который раз ощутил себя отцом этих семнадцатилетних и восемиадцатилетнпх и постарше. Да что там семнадцатилетние! Отеческие чувства я испытывал даже к пятидесятилетним стариканам, которые демобилизовались еще весной в Восточной Пруссии. К Абрамкину Фролу Михайловичу, например. Тогда, на станции, перед посадкой демобилизованных в эшелон я перецеловался и переобнимался со старичками из своей роты (их было семь душ, а по полку около сотпи). Фрол Михайлович плакал у меня на плече, утирался платочком, и я подарил ему свои часы...

Ах, если б кто-нибудь испытывал ко мне отцовские чувства!

Скажем, командир дивизии или полка, да хоть батальона, - потому как, кроме отцов-командиров, некому. Мне так сейчас не

хватает отца, как не хватало его, впрочем, и всю жизнь. Безотцовщина - худо, братцы.

Я тряхнул головой и сказал новичкам:

- Хлопцы, пойдемте к палатке, вы расскажете о себе - откуда родом, где служили, как служили... И я вам немного о себе расскажу... Познакомимся поближе!

И у офицерской палатки, тщетно прячась от солнца, солдаты смущенно, с неохотой рассказывали о себе. Никак не мог сразу запомнить имена и фамилии новичков. Раньше за мной этого не водилось. Память, что ли, слабеет? Или отвлекаюсь на постороннее? Вот гляжу на их кисти и думаю: старые руки у молодых людей. Натруженные, в ссадинах, в морщинах. Постаревшие на суровой воинской службе. И у меня такие. Руки что, не постареть бы преждевременно душой. Война с этим недурно справляется - умеет старить. А ведь надо пройти еще одну войну.

Солнечные лучи падали отвесно, как дождевая стена, но дождь несет прохладу, а солнце - зной и духоту. Никакой тени в полдень от палатки нет, в ней самой духотища непрошибаемая.

Дождей по-прежнему ни капельки, солнца хоть отбавляй. Изредка появляются облачка и тут же испуганно откочевывают за горизонт, и снова монгольское небо - ясное, чистое, как глаза у ординарца Драчева, когда он хочет соврать. Именно такими глазками глядел верный ординарец, отпрашиваясь в санчасть.

- Не сачкуешь? - спросил я без дипломатии.

- Что вы, товарищ лейтенант! Нога болит - спасу нету, ходить невозможно. Батальонный фельдшер подсказывает: покажись в санроте... Видать, растянул я сухожилия на занятиях, когда спрыгнул в траншею...

В занятиях-то, кажется, и загвоздка. Не отлынивает ли от них Драчев? Хромает, точно. Но не придуряется ли, выражаясь культурней, не симулирует ли? Не отпускать Драчева в санчасть у меня не было, однако, прямых оснований. Отпустил. И, к моему удивлению, Драчев приволок справку: на трое суток освобождается от всех занятий. Правильно, правильно: как раз на ближайшие три дня и намечены тактические учения: марш-бросок, прорыв долговременной вражеской обороны, сооружение своей обороны и прочие прелести полковых учений. Справка подписана командиром медсанроты. Сейчас там командиром - капитаыша, молодая и стройная, с полураскрытым в постоянной улыбке алым ртом и добрая-добрая, вокруг которой увивается все полковое начальство. Добрая, потому и подмахнула справку: жалобы есть пожалуйста, получай освобождение. Чует сердце, смухлевал тут мой верный ординарец.

Давно подмечено: ординарцы, писаря, повара, парикмахеры и тому подобная публика со временем портятся, можно сказать, загнивают на корню, избалованные, хоть и маленьким, но в условиях армейского бытия ощутимым преимуществом своего положения в подразделении. Заедаются и малость теряют совесть. Есть, конечно, приятные исключения, однако опасаюсь, что Миша Драчев в их число не попадает. Подмечено также: для исправления заевшихся на своих теплых местечках субчиков полезно вернуть в строй, чтоб поорудовали винтовкой либо автоматом, а не черпаком, авторучкой, ножницами! Но, увы, вряд ли у меня поднимется рука на ординарское благополучие Драчева: жалко. Да и второй мировой скоро амба! Демобилизуемся, разъедемся в разные концы, что ж напоследок ломать друг другу судьбу? Потом, ежели разобраться, какое уж там теплое местечко! Ведь ординарец со мной в боях, передок его родной дом. А далеко ль от переднего края те же повара, писаря, парикмахеры либо сапожники? Да нет, рядышком, разве что в атаку не ходят. Впрочем, и в атаку ходят - когда большие потери и комдив подчищает резервы, всех, кто может держать оружие, - в строй! Так что, как говорится, все на свете относительно...

А с освобождением Драчева вышла накладка. В ту минуту, когда я с глубокомысленным, а в действительности недовольным видом вертел справку, подошел замполит батальона, гвардии старший лейтенант разлюбезный Федя Трушин, и с ходу:

- Что за бумаженция? Освобождение? Так, так, любопытно...

Даи-ка сюда!

И цоп у меня из рук. Столь же глубокомысленно и недовольно рассматривал справку, а затем к ординарцу:

- Рядовой Драчев!

- Я, товарищ гвардии старший лейтенант!

- Рядовой Драчев, слушай мою команду. - И рявкнул: - Бегом марш!

- Куда бежать, товарищ гвардии старший лейтенант? - ошалело спросил ординарец.

- Вперед! - еще оглушительней рявкнул Трушин. - Бегом!

Ординарец сорвался и - я не поверил - побежал резво, нисколько не хромая. Но метров через пятнадцать, словно опомнившись, перешел на шаг, захромал. Трушин одарил меня красноречивым взором и крикнул:

- Рядовой Драчев, ко мне!

Ковыляя, приблизился ординарец. Сперва его глазки ускользали от нас, но вскоре стали чистыми, ясными и безбоязненными.

Трушин сказал:

- Драчев, чего же ты сразу не захромал? Рванул как - любодорого!

- С перепугу, товарищ гвардии старший лейтенант! Опосли же испуг прошел, боль-то и взыграла...

- Брешешь!

- Никак нет, товарищ гвардии старший лейтенант!

- Брешет? - Трушин повернулся ко мне. - Чего в рот волы набрал, ротный?

Я молча пожал плечами. Конечно, у меня тоже подозрение, что Драчев словчил. С другой стороны, справка, официальный документ: по состоянию здоровья нуждается... Трушин сложил бумажку вдвое, сунул в планшет.

- Не терплю, когда ты вот этак неопределенно пожимаешь плечами. Как прикажешь тебя понимать? Уходишь от ответа...

Либеральничаешь! Либерал ты закоренелый! Черт с тобой, пусть этот симулянт валяется в палатке, пока полк будет вкалывать на учениях. Если ему не стыдно... А справочку заберу с собой.

Надо разобраться, почему в батальоне столько освобожденных.

А? Что?

Я молчу, но понимаю, откуда изобилие освобожденных - сердобольность полковой врачихи, очаровательной женщины с капитанскими погонами. И возникает беспокойство за нее. Чтобы рассеять его, говорю Трушину:

- Медицина! Она разумеет, что к чему, ей надо доверять...

- А кто будет проверять? Политработник! Он должен разбираться в медицине не хуже, чем врач!

- Загибаешь, Федор!

- Не я загибаю, Петро, а ты недопонимаешь!

Тут только обнаруживаем, что рядовой Драчев стоит, как столб, слушает наше собеседование. Трушин хмурится.

- Топай, топай, Драчев, - говорю я, и ординарец, сильно припадая на ногу, чуть не падая, удаляется.

- Ловкач, комбинатор, симулянт, - произносит сердито Трушин. - А ты сызнова роту распускаешь?

- Бог с тобой.

- Сама распускается?

- Никто не распускается! Что ж ты из единичного случая делаешь столь далеко идущие выводы? Да ведь и не доказано, что Драчев симулянт, налицо же официальная справка...

- Липовая, - обрывает Трушин. - С этой липой мы еще разберемся... А тебе совет: держи вожжи в руках, события близятся.

Чуешь, чем пахнет воздух?

- Чую, Федор.

Это было и так и не так. Конечно, я немало думал о грядущей войне, но удивительная штука: учеба, уч"еба до одури, до изнеможения, - и тревожные предчувствия как-то глохли, а то и вовсе забывались за повседневной маетой. И я переставал чувствовать, чем пахнет воздух, - разве что прокаленной пылью, привядипш полынком и едким солдатским потом. А ведь он еще пах и войной!

Дивизионная, армейская и фронтовая газеты пестрели шапками: "Тяжело в ученье - легко в бою!" и "Больше пота в ученье - меньше крови в бою!". Учиться, конечно, надо. Но как бы ни тяжело было в учениях, в бою будет еще тяжелей, и, сколько б пота ты ни проливал, крови тоже достаточно прольется. И еще:

все то, что мы отрабатывали, давным-давно изучено и, так сказать, неоднократно опробовано ветеранами на практике. Молоденьких, свежего призыва солдат полезно погонять, поучить умуразуму, но гонять прошедших Отечественную Голсвастикова, Кулагина, Логачеева, Свиридова, Черкасова, Симонепко и прочих зубров? Однако я из них пот выжимаю, как и изо всех, как и из себя. Не люблю что-либо делать для блезиру. Если уж взялся, так делай с полной отдачей. Если проводить занятия, так на совесть.

Мои взводные, Иванов и Петров, тоже не щадят живота своего на занятиях. О старшине Колбаковском и говорить нечего: старый армейский конь тянет ротную телегу, как коренник.

От ветеранов я еще требую: передавайте свой опыт, свое умение молодым солдатам. Занимаемся с утра и дотемна: тактическая подготовка, огневая, строевая, занятия по матчасти, по противохимической защите и так далее и так далее. Наитяжкое - тактические учения то в масштабе батальона, то в масштабе полка, а предстоят еще, сулит нам комбат, дивизионные учения. На учениях схема одна: марш по степи, потом копаем окопы и траншей (будто их не накопала до нас Семнадцатая армия, пользуйся готовенькими, по нельзя: будет упрощение, а боевые действия надо усложнять, приближая к реальным), занимаем оборону, потом идем в наступление, прорываем оборону, потом идем в наступление, прорываем оборону другого батальона или полка, отбиваем контратаки, продвигаемся в глубь укрепрайона, и опять марш по степи. Иногда наш батальон выступает в роли обороняющейся стороны.

Трехдневные учения дались тяжко потому, очевидно, что солнце окончательно взбесилось и пекло, как никогда. А к тому же спали мало; ночами были марш-броски. Скатки через плечо натирают шею, противогазы оттягивают бок; снова нам их

выдали:

команда "Газы!", и мы натягиваем на потные грязные рожи резиновые маски; и так дышать нечем, а тут еще душишься в противогазе. Команд хватает: "Воздух!", "Танки справа!", "Танки слева!", "Конница с тыла!" мы рассредоточиваемся, залегаем в цепи, изготовившись к отражению атаки самолетов, танков или кавалерии. "Огонь, залпом, пли!" - хлопают холостые патроны, вместо ручных гранат летят взрывпакеты, грохает вполне натурально. Вижу: фронтовикам эти игрушки осточертели, новенькие, молоденькие, прилежны, восточники во главе с Ивановым и Петровым столь же прилежны: привыкли за тыловые годы ко всяким учениям, составлявшим смысл их существования. Но надо действовать по правилам, и я требую от всего личного состава серьезности, всамделишности, попутно внушая себе: так нужно! И захлебываюсь сухим, прокаленным воздухом и горьким потом...

Полуживые воротились с учений, и первым, кого я увидел в расположении, был ординарец Драчев. Он нисколько не хромал, шел нормальной, шустрой походкой. Я еле вымолвил:

- Прошла нога?

- Так точно, товарищ лейтенант. Потому как учения и освобождение кончились. - И ощеряется, плут.

А между прочим, на учениях ординарец ой как был потребен, пришлось временно назначить молоденького Яшу Вострикова, расторопного и услужливого. У меня нет ни сил, ни желания выяснять что-то у Драчева, совестить, читать мораль. Молча прошел к палатке.

10

Я шагал в штаб полка на офицерское совещание и услышал, как чернявый, смуглый, цыганистый - лишь серьги не хватало в ухе - чужой солдатик нажаривал на аккордеоне. Проходя мимо, машинально взглянул на планки. "Поэма"! Именно на таком аккордеончике нажаривал свои бесконечные танго Егорша Свиридов, мир праху безвременно погибшего инкрустированного сокровища - личной собственности старшины Колбаковского. Другие трофейные аккордеоны живы! И на них гуляют, как говорят на Дону.

А на совещание вызвали, чтобы внушить: командирам подразделений надо усилить напряженность в боевой подготовке. Честно говоря, что это значит усилить напряженность - я не совсем понимал. Если под этим подразумевается, что нужно гонять на учениях еще сильней, - то сие невозможно: мы гоняем и нас гоняют как Сидоровых коз. Как говорится, на пределе. Вот-вот рухнем.

И уже хочется, чтоб быстрей началась война. Противоестественное желание, но понять нас можно: вымотаны до чертиков. Припоминаю: в тылу, на полуголодной норме, думалось, как бы скорей на фронт, на первую норму, чтоб наедаться. По-человечески это объяснимо.

Думая о войне, вспоминаю стихи Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь, только очень жди...". Эти строки фронтовики цитировали в письмах матерям, женам и невестам бессчетно. На фотокарточках, отсылаемых домой, то же писали. Появилась тогда и у меня фотокарточка - лейтенант Глушков во всей своей красе на фоне полусгоревшего сарая. Щелкнул забредший на передок старший сержант, нештатный корреспондент дивизионной газеты, после отпечатал в единственном экземпляре и вручил, не обманул. И я его не обманул: вручил флягу водки. Это было узаконено фронтовым бытом: тебе фотокарточку, ты - пол-литра водки. Но дарить фотографию было некому. Таскал, таскал в вещмешке, покуда не подмокла, не истрескалась, не пожелтела, и выбросил. А сфотографироваться б заново, в Ипстербурге, да подарить Эрне - на память! И от нее заполучить какую-нпкакую фотографию. Чтоб тоже помнил, хотя и так не забываю. Однако взглянуть на ее черты здорово бы, хотя и так не стираются в памяти. Зря того не сделал, как-то не подумал. И Эрна не подумала...

А совещание в полку меня несколько озадачило. Потому что кроме накачки мы получили и взбучку - за разговоры о предстоящей войне! Комполка так и рубанул: прекратить всякую болтовню о том, что мы якобы готовимся воевать против Квантунской армии, прекратить - под личную ответственность командиров подразделений! Болтовня? Но ведь уже вроде бы никто не скрывает этого? Словно опровергая мои мысли, комполка сказал:

- Лпчному составу надо разъяснять, что советские войска укрепляют оборону, про возможность наступления - ни звука.

Оборона, оборона и оборона! Ничего больше!

Как-то странно получалось: на учениях прорываем долговременную, сильно укрепленную оборону, на политзанятиях нам рассказывают о японском милитаризме и Квантунской армии, в беседах агитаторов - о преступлениях самураев. И вдруг - начали усиленно копать окопы и траншеи, возводить дзоты и землянки поближе к границе и заготавливать сено, опять-такн вблизи границы.

Может быть, для того чтобы японцы видели: мы укрепляем оборону, собираемся зимовать? Не дезинформация ли это противинка? Тогда нет ничего странного в указаниях командира

полка насчет болтовни. Указания же и приказания в армии, между прочим, не обсуждаются, а выполняются, кто-кто, а командир роты лейтенант Глушков это усвоил твердо... Значит, надо в частных разговорах помалкивать о предстоящем наступлении. Чтобы не было утечки информации. Вот и армейская печать пестрит заметками не о наступлении, а об обороне. Понятно: газетка может попасть к японскому разведчику. Видимо, так. Ну, и умный же ты. лейтенант Глушков. Как говорят, ума палата...

Дни волочплись нудные, приевшиеся, а где-то, помимо них, что ли, стремительно приближалась война, точнее - мы стремительно приближались к войне. Болтать о ней, конечно, не будем, но чутье фронтовика тебя не обманывает: вот-вот грохнет она над головой. Каким будет начало войны? Во всяком случае, не таким, каким было начало западной. А как кончится восточная война? Как закончилась война на Западе - известно, в подробностях и деталях. Описано было, рассказано было очевидцами и свидетелями. И вот оказывается: столько еще можно узнавать и узнавать!

Я подумал так после выступления в батальоне офицера из штаба армии. О, это вам не беседчик на уровне старшины Колбаковского, это беседчпк, как говорят солдаты, - "я т-те дам!", то есть высший класс. Подполковник был из особого отдела, какой-то скромный, незаметный, только взгляд цепкий. Сначала он подробно, повторяясь, говорил о том, что надо соблюдать бдительность, не писать и не разговаривать о неположенном, а потом сказал:

- Хочу вам. братцы, рассказать о событии, в котором участвовал недавно. К теме нашего разговора прямого отношения не имеет. Но все-таки... Про такое не грех рассказать и не грех послушать. Потому что поучительно... Так вот, нашей группе офицеров-контрразведчиков, я тогда был на Первом Белорусском, доверили особо важное задание. Суть его - обеспечить охрану представителей высшего командования вермахта, прибывающих в Берлин. А было восьмое мая сорок пятого... Ну, не буду темнить - скажу: они прибывали, чтобы подписать акт о безоговорочной капитуляции! Представляете? Фашистская Германия капитулирует, и эти господа должны будут своими подписями скрепить исторический документ. Задача нашей группы - пресечь возможности побега, похищения или отравления высокопоставленных немцев. Хотя, честно говоря, по ним давно веревка плачет... Ну, да вы это знаете не хуже меня...

Подполковник говорил доверительно, негромко, иногда вовсе умолкал, покусывал подчерненные солнцем губы, иногда

едваедва улыбался каким-то своим мыслям, вероятно вызванным воспоминаниями. Но из слушателей никто не улыбался. Приглушенный голос особиста был слышен всему батальону.

- Не буду, братцы, описывать, как встречали на берлинском аэродроме Темпельхоф самолеты с представителями союзников, а это главный маршал авиации Теддер, генерал Спаатс, адмирал Бэрроу и другие. Все было на уровне! От советского командования гостей приветствовал генерал армии Соколовский, здесь же находился и комендант Берлина генерал-полковник Берзарин...

И в этой радостной, торжественной суматохе мало кто обратил внимание: на бетонное поле сел еще один самолет. Но нашей группе нужен был именно он, ибо в дверцах появились немцы. Первым спустился генерал-фельдмаршал Кейтель, я сразу узнал его по фотографиям. Усохлый, на землистом лице коричневые пятна, спина прямая, как доска, в глазу - монокль, знаменитый монокль.

Как у Гитлера запомнилась челка на лбу, так у Кейтеля монокль... Так вот, этот монокль выпал из глаза, Кейтель не пофельдмаршальски суетливо подхватил его и водрузил на место.

Зато вполне по-фельдмаршальски выгибал грудь, вскидывал подбородок и проделывал непонятные движения инкрустированной палочкой, зажатой в левой руке, позднее меня просветили: это маршальский жезл, которым и положено так манипулировать...

Вслед за Кейтелем, выдерживая дистанцию, вышагивали генералполковник авиации Штумпф и генерал-адмирал Фридебург. Первый - низенький и пухлый, второй - высоченный, как столб.

Кто-то из наших генералов направился к немцам. Кейтель любезно улыбнулся, кланяясь и расшаркиваясь, но генерал, по-моему, не глянув на них, приказал нам: "Берите в машины и везите..."

Кейтель остолбенел от унижения, и впоследствии это выражение, смесь высокомерия с приниженностью, не оставляло его, сколько я ни наблюдал за фельдмаршалом. Но к машинам они пошли организованно, строем, отбивая "прусский шаг". И любопытно было, и смешно, и противно... Ладно, лирику в сторону, слушайте, что и как было дальше. Все расселись по машинам, советское командование с союзниками - впереди, машины с немцами - в хвосте.

И надо было видеть, как фельдмаршал и прочие прилипли к стеклам, когда ехали по разрушенному, сожженному Берлину. Можно сказать, пожирали глазами. На них тоже смотрели,

узнавали - цивильные на улицах и военнопленные, которых колонной вели по мостовой. Цивильные равнодушно отворачивались, им было не до Кейтеля, у них свои жптейские заботы. А пленные, вы не поверите, грозили бывшим начальникам кулаками, выкрикивали ругательства. Кейтель и прочие подоставали носовые платки. Не для того чтобы высморкаться, а чтобы спрятать лицо!

Тишина была необычайная: солдаты и офицеры сидели на земле не двигаясь и, казалось, не дыша. Лишь тенорок подполковника звучал. Я на секунду отвлекся и посмотрел на свою роту: глаза и - ей-богу! - даже рты раскрыты. Вот слушают так слушают!

Да ведь есть что послушать!

- Привезли мы Кейтеля с компанией в Карлсхорст, это берлинский пригород, в садах весь, в парках, много особняков. И поселили в отдельном домпке. Говорим: "Ваша резиденция. Располагайтесь". А Кейтель о другом говорит: он, мол, потрясен видом берлинских развалин, И видно, что не врет: нервничает. Кто-то из нас не сдержался, спросил: а не потрясали его руины советских городов? Побледнев, Кейтель молча пожал плечами. Да что он мог сказать? Так и молчал он потом все время. Опустился в кресло и пе вставал, но подбородок задирать не забывал и моноклем сверкал отменно. Был накрыт хороший стол, немецкие генералы и офицеры рубали с аппетитом, а господин генерал-фельдмаршал почти не ел: ковырнет вилкой разок-другой будто одолжение делает. Да не хочешь - не ешь, черт с тобой, у нас дела есть поважнее, чем следить за твоим аппетитом! Потому что следить надо было, чтоб никто не притронулся к еде, которой потчевали немцев, чтоб никто не подобрался к их резиденции. Наступил вечер, и мы еще усиленней проверяли караульные посты, выставленные у особняка. Час шел за часом, а немцев не вызывали. Кто из них дремал, кто по-прежнему подкреплялся впрок, что ли.

Кейтель восседал в своем кресле. А в это время зал в столовой военно-инженерного училища в Карлсхорсте был набит битком, особенно много было корреспондентов. Ближе к полуночи нам приказали провести немцев к этому залу. Приводим, следим, конечно, в оба, служба такая. Только в полночь в зал вошел маршал Жуков, с ним - главы союзных делегаций. Он скомандовал: пригласить Кейтеля с другими, их вместе с адъютантами было человек пятнадцать. Мы ввели немцев, ввели голубчиков...

Подполковник щелкнул пальцами, тряхнул головой и не улыбнулся, а рассмеялся, смешок, правда, был негромкий.

Рассмеялся и сказал:

- Я, конечно, смотрел и на Жукова и на союзников, но нашими подопечными были немцы, прежде всего Кейтель, на него-то я, как говорится, и положил глаз... Ну, как происходило подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии, вы, наверное, читали в газетах... Словом, мы, чекисты, свою задачу выполнили:

целые и невредимые, немцы подписали акт. Целые и невредимые, хотя по кому из них плачет петля, по кому тюремная камера... Ну, закончилась эта историческая церемония в сорок три минуты первого, наступило девятое мая... А что такое девятое мая, вы знаете не хуже меня... Вопросы, братцы, есть?

Рассказ настолько оглушил, что вопросов не было, кроме одного: невзрачный, с впалой грудью солдатик из пульвзвода спросил:

- Товарищ подполковник, а как будут подписывать акт о безоговорочной капитуляции Японии?

Особист перестал улыбаться, строго сказал:

- Не будем гадать. Его, конечно, подпишут, если будет война с Японией. Но мы же с вами условились: ни о какой подготовке к войне с Японией мы не говорим и не пишем. Мы готовимся к обороне. Так или не так?

Никто не отозвался, даже пулеметчик с впалой грудью, задавший вопрос о капитуляции японцев. Подполковник кивнул комбату:

- Личный состав больше не задерживаю.

Раздумывая о рассказе подполковника-особиста, которого прорвало с личными, пожалуй, сокровенными воспоминаниями, я тоже кое-что припомнил относительно Победы.

Девятое мая: мой взвод шагает во всю улицу немецкого городка, притихшего, будто вымершего, я во главе. Смеемся, поем и плачем. Смеется молодой солдат Погосян: "После Победы сто лет буду жить! Дети пойдут! У детей свои дети, сто внуков будет!"

Плачет пожилой солдат Абрамкин: "Дожили, братушки, дожили..." Погосян ему: "Так чего ж ты слезишь, папаша? Радоваться надо!" Абрамкин - ему: "Оплакиваю сына-старшака, друзей, товарищей, которые не дожили... Да и с радости тоже плачут..." Толя Кулагин выкрикивает: "На радостях петь будем!

И пить! За великую Победу!" И вдруг голос сержанта Симоненко, парторга: "Ребята, кладбище, братские могилы!" - шум утихает.

Солдаты гуськом заходят за ограду, останавливаются у фанерных обелисков с пятиконечной латунной звездой, снимают пилотки; ветер шевелит русые, черные, каштановые, рыжеватые,

седые волосы на склоненных, понурившихся головах; кое-где просвечивает и плешина. Первым поднимаю голову:

- Хлопцы! Это мы прощаемся с однополчанами. Мы скоро уедем отсюда, а им вечно лежать в немецкой земле. За ее освобождение они отдали свою жизнь. Мы, живые, никогда не забудем мертвых...

- Гад будет тот, у кого память дырявая, - говорит Логачеев.

Я командую:

- Драчев, разлей водку!

- Слушаюсь, товарищ лейтенант! - Из вещевого мешка ординарец достает фляжки и бутылки, плескает в подставляемые и стучащие друг о друга алюминиевые кружки.

Молча пьем горькое вино Победы. Вытаскиваю из кобуры пистолет "ТТ", вскидываю руку и стреляю вверх; слабый хлопок - одиночный выстрел. Дую в канал ствола, заглядываю туда, прячу пистолет в кобуру. Говорю, позвякивая орденами и медалями:

- Хлопцы, это был мой последний выстрел!

- Точно, товарищ лейтенант! Чтоб нам всем больше не стрелять боевыми! Это Филипп Головастиков, и у него на гимнастерке позвякивают ордена и медали.

Вот такое воспоминание. Выстрелить еще придется, и не раз.

И не холостыми. Воспоминанием своим я ни с кем не делюсь.

Воздержимся от разговоров насчет стрельбы боевыми. Будем говорить не о наступлении, а об обороне. Правильно, товарищ подполковник? Вам здорово повезло, вы теперь в своем роде и сами историческая личность: присутствовали при подписании акта о капитуляции Германии.

Говорили про позиционную оборону, а на полевых учениях наступали и наступали, прорывая глубоко эшелонированную оборону врага. Особо налегали на рукопашный бой. Раньше, когда основным оружием пехотинца была винтовка с трехгранным штыком, занятия назывались - по штыковому бою. Как боец довоенпого призыва, точнее, 1939 года, подтверждаю: на этих занятиях под городом Лида чучел мы искололи своими штыками бессчетно.

Потом пришел автомат, с середины войны их было все больше, - с автоматом воевать, известно, веселее. Хотя известно также:

пуля - дура, штык - молодец. Изречение приписывается Суворову, по, уважая генералиссимуса Суворова, все-таки не могу согласиться с ним: пули, вылетающие из автомата очередями, отнюдь не дуры, они знают, куда им попадать. А штыков теперь мало, потому что и винтовок меньше: автомат потеснпл. Жаль, в начале войны их не было, автоматов. Говорят, лишь на

погранзаставы по автомату выдали. Да, кое-чего у нас перед войной не было в изобилии.

Имею в виду не только материальные категории, но и моральные. Не было, например, ненависти к врагу, какой она должна быть, в полный накал, ежели этот враг не сегодня завтра нападет на гебя. Любовь к Родине была, а ненависти к врагу не было.

Впоследствии с войной появилась. Японцы ведь тоже собирались ударить пас ножом в спину - всю войну продержали на границе Квантунскую армию, - а ненависти в полный накал я к японцам, увы, не чувствую. Хотя разумом понимаю: самураи не лучше гитлеровцев. Может, когда дойдет до дела, ненависть вспыхнет, как сухой хворост от высеченной кресалом искры?

Возвращались с полевых занятий - шесть часов под монгольским солнцепеком, среди накаленного песка и гальки, - надо было поспешать в расположение к обеду. Но то ли аппетит у солдат был неважнецкий (жарища адова), то ли устали от переползаний, перебежек, окапываний, воплей "ура", - батальонная колонна растянулась, местами, я бы сказал, порвалась. Как ни намотался я сам, а углядел на холмике: нам навстречу спускаются несколько "виллисов". Это неспроста, подумал я, "виллисы" в таком количестве зря не ездят, и дал команду, чтоб рота подтянулась, заправилась, словом, привела себя в божеский вид. Чутье меня не подвело. Когда "виллисы" поравнялись с головой колонны, они остановились, комбат поковылял докладывать. А колонна шла дальше, и моя рота - и я, естественно, - приблизилась к "виллисам" вплотную. Матерь божья, матка боска, елки-моталки, в ОДЕОМ "виллисе" сидел маршал Василевский, в другом - маршал Малиновский. Кто ж их не знает! По фотографиям, конечно.

А тут я воочию увидел двух прославленных полководцев. Оба они были в комбинезонах, но фуражечки, фуражечки выдавали высокое, высочайшее начальство! Нюх не подвел! Коленки у меня враз ослабели, пот потек еще пуще, однако я бы как-нибудь протопал мимо, если б не окликнул маршал Василевский:

- Лейтенант, подойдите!

Я замер, затравленно озираясь. Василевский повторил:

- Подойдите, лейтенант!

Наконец я обрел дар речи, сказал, заикаясь:

- Вы мне, товарищ Маршал Советского Союза?

- Вам, вам.

Неверным, качающимся шагом подошел к "виллису", вскинул пятерню к виску:

- Товарищ Маршал Советского Союза! Лейтенант Глушков по

вашему...

Он не дал договорить:

- Товарищ Глушков, вы кто по должности?

И тут у меня от волнения язык как заклинило. Пытаюсь ответить, и ни бе ни ме. Губами шлепаю да таращусь. Вмешивается комбат:

- Лейтенант Глушков - командир первой роты вверенного мне батальона...

- Понятно. - Василевский говорит тихо, комнатно. - Рота идет хорошим строем. В отличие от других, товарищ капитан.

Комбат лепечет:

- Виноват, товарищ Маршал Советского Союза...

- Александр Михайлович, - вмешивается в разговор маршал Малиновский, мне кажется, лейтенант Глушков дрейфит перед начальством. А, Глушков?

Я непроизвольно киваю. Малиновский ободряюще смеется.

Василевский говорит:

- Не надо тушеваться, товарищ Глушков... А за порядок в роте благодарю.

У меня прорезается голосочек:

- Служу Советскому Союзу...

- О том, что нас встретили, не нужно распространяться, ясно? Малиновский обращается и к комбату и ко мне. Комбат отвечает по-уставному: "Слушаюсь!" - я киваю, что тоже означает - слушаюсь.

Усмехнувшись, Василевский кивает нам, водителю говорит:

- Поехали.

"Виллисы", газанув и напылив, укатили. Мы с комбатом некоторое время постояли, будто приходя в себя. Капитан сказал сердито:

- Чего ж ты, Глушков, не мог как следует доложить... и вообще разговаривать?

- Робею перед генералами. А тут - маршалы...

- Где не надо, ты смелый... Просто-таки подвел...

- Да чем же я подвел, товарищ капитан? Мне вон даже спасибо сказали...

- А мне втык сделан. И кем? Маршалом Василевским! Позор...

- Да ничего страшного, товарищ капитан. Ну, маленько растянулся батальон, что за грех...

- Тебе не страшно, ты смелый. - Комбат сильно раздосадован. - Ладно, нагоняем строй...

Он прихрамывает, но обходится уже без палочки, шагает широко, я еле поспеваю. Семеню и думаю: "Ну и встреча! Маршалы - как снег на голову! Так бы до конца жизни не увидел,

а тут подвезло!" Потом думаю, что невольно подвел комбата, что и моя рота растянулась, плелась кое-как, да вовремя углядел "виллисы", сориентировался. В упреке комбату, в благодарности моей персоне есть нечто несправедливое, и в этой несправедливости повинен я сам. Одним словом, нескладно получилось. И еще стыжусь своей робости. До коих же пор можно трепетать перед высоким начальством? Уважай его, цени, но и блюди свое достоинство, ты же офицер-фронтовик, вся грудь в орденах и медалях!

Буду блюсти. Но что прославленных полководцев повстречал - здорово! Разумею, что встреча случайная и разговор не существенный - маршалы вообще могли проследовать мимо, - и все-таки здорово! Менаду прочим, под командованием маршала Василевского наш 3-й Белорусский штурмом брал город-крепость Кенигсберг. В начале апреля это было, сейчас начало августа.

А в качестве кого здесь маршал Василевский и маршал Малиновский? Припомнил, как штурмовали Кенигсберг и чего это нам стоило, и почувствовал тревогу. И уверенность: коль Василевский здесь, война скоро. Так прочерчивалась прямая от Кенигсберга до маньчжурской границы. Да, война вот-вот...

Иногда тревожно задумываюсь: как оценят нас и свершенное нами последующие поколения, те, что народятся после войны?

Поймут ли пас, разделят ли наши радости и печали, веру и муку?

Скажут ли: "Они поступали так, как поступили бы и мы"? Скажут ли?

Какой-нибудь потомок примется распутывать мою жизнь, копаться в фактах, обстоятельствах, подробностях. Примется ли он ковыряться в том, что накопится после двадцати четырех, я не уверен: вероятно, это для него будет менее интересно. Потому что в послевоенные годы мы станем все больше и больше отличаться друг от друга, разные станем. А сейчас похожи друг на друга, и в этом смысле я типичен, выражаю свое время. Путаное рассуждение? Ведь и разнолпкость тоже характеризует эпоху.

Как потомок оценит, к примеру, тот факт, что я нечасто вспоминаю о самом близком мне человеке, о маме, расстрелянной гестаповцами в Ростове? Как оценит мою отчужденность от отчима, неплохого человека, невинно арестованного и канувшего в безвестность? Мое раздвоенное, невозвышенное, что ни на есть земное чувство к Эрне, к немке? Прямолинейность, категоричность, горячность, взбалмошность? Преувеличенное представление о собственной персоне?

И многое другое как оценит потомок? Предвижу: без знака плюс. Есть, конечно, во мне и кое-что положительное, о чем я,

кстати, не прочь лишний раз подумать. Я склонен к крайностям?

Увы, и это бросит на весы грядущий судия...

На эту тему при случае (а вернее, без случая, в наинеподходящей обстановке, на привале после продолжительного перехода)

мы обменялись мнениями с Трушиным. Я сказал:

- Знаешь, Федор, я иногда думаю...

Трушин перебил, усмехаясь щербато:

- Думать надо всегда, милый друг!

- Да погоди, я серьезно...

- О, серьезно? Ну, давай...

- Знаешь, я вот задумываюсь... Мы, то есть наши современники, наши поколения, идем по колено в крови... К Победе идем, к мирной, лучше, чем до войны, жизни... Завоюем эту жизнь, может, не столько для себя, сколько для будущих поколений... Так вот, думаю: как отнесутся те поколения к нам, с какой меркой подойдут, по справедливости ли оценят пережитое нами и что это будет за оценка...

- А мне плевать на ту оценку, - сказал Трушин, и показалось, что он и впрямь хочет сплюнуть. - Мне важней, как мы сами оценим совершенное нашими руками! Важно также, как меня, понимаешь, меня оценят мои, понимаешь, мои товарищи по строю!

- Это, конечно, важно, - сказал я. - Однако связь поколений не прерывается...

- Надо, чтоб не прервалась! - Трушин свел к переносице брови - лицо словно потемнело, развел - лицо словно осветилось. - Тут я малость погорячился, подчас загибаю вроде тебя, милый друг... Понятно, мне не наплевать на суждения потомков...

Надеюсь, это будет суждение, а не осуждение... И все-таки гораздо важней, как мы сами себя оценим!

- Возможно, - сказал я. - Лишь бы оценить без предвзятости, без субъективизма...

- Да! Хотя живущим трудно быть объективными...

- Видишь...

- Вижу! Но с другой стороны, кто ближе знаком с нами, чем мы с тобой? А самокритичности у нас в достатке! Чего-чего, а данного порока время в нас напихало! - Он улыбнулся, я кивнул.

Внезапно Трушин понизил голос, чтобы не услышал ни Симоненко, ни кто другой.

- Знаешь, еще в эшелоне припомнил одну давнюю историю и после уже несколько раз вспоминалась... История сорок второго года...

Я приподнялся. Трушин перешел на свистящий шепот:

- Отчего припомнилось-то? Так, с бухты-барахты... Но слушай! Было это летом сорок второго, у переправы через Донец.

Наш полк три дня и три ночи удерживал ее, дал возможность остальным частям переправиться за реку. Потом и мы покатились к Донцу, кого догоняли немецкие танки - давили, даже не стреляли из пулеметов, на гусеницах человечье мясо... Бойцы бросались в воду, кто плыл саженками, кто держался за конский хвост, кто на доске, на бочке, кто как. Я был на пару с землячком Васей Анчишкиным, надежный хлопец... В лозняке видим: двое красноармейцев дерутся из-за бочки. Который повыше ростом оттолкнул другого, скатил бочку в воду и поплыл. А тот, маленький, вдруг повернул от реки, побежал к кустам, в сторону немцев. Вася Апчишкпи кричит: "Федор, он же улепетывает, подлец, в плен!" И меня как ожгло: точно, перебегает к немцам! Вскидываю автомат, очередь вдогонку... Упал тот боец, а мы с Анчишкиным бросились вплавь, еле выбрались: танки и самоходки лупили с берега прямой наводкой. Прошло сколь времени, и вот теперь вспомнил того маленького бойца, который упал после моей очереди, и думаю, не ошибся ли я? В плен ли он бежал сдаваться?

Может, что другое? Обстановка тогда была тяжелая, сумасшедшая, в горячке я срубил парня, а имел ли право на это? Уверяю себя: имел, но в душе что-то царапает...

Я молчал, и Трушин произнес погромче:

- Молчишь? Это хорошо, никаких твоих слов мне не надо.

Сам разберусь с этим воспоминанием...

А я думал о том, что на фронте всякое бывало - и своих расстреливали в горячке и без горячки, по приговору трибунала, всякое случалось, жестокое, необратимое, неизбежное или же поспешно-ошибочное. Сама война своей крайней жестокостью обусловливала эту жестокость.

У меня осталось воспоминание от сорок первого - я не люблю, когда оно приходит. Сейчас пришло, вызванное рассказом Феди Трушина. Распроклятое лето того распроклятого года.

Жара, пыль. Остатки нашего стрелкового полка бредут по дороге, измученные, голодные, на плечах - части разобранных станковых пулеметов. Малый прпвал подле лесочка. Валимся, как скошенные пулеметной очередью. Лежу и вдруг замечаю: на опушке, на фоне зеленой листвы что-то красное, какое-то большое красное пятно. Необъяснимая тревога заставляет меня, полуживого от усталости и голода, встать и подойти поближе. Зачем понесло - до сих пор не прощу себе. Оказывается, заседание военного трибунала, красное - это скатерть на столе. За стол.ом - полковник и два майора; неподалеку вымоина, в ней три бойца,

запыленных, грязных, как и мы, но без поясов. Они глядят на небо, на деревья, на полевые цветы, и меня ударяет догадка: прощаются с белым светом! Вымоину окружили пограничники: в руках винтовки с примкнутыми штыками, направлены на арестованных.

К столу подходит паренек лет двадцати. Трибунальцы спрашивают у него фамилию, год рождения и прочие анкетные данные. А потом спрашивают: "Где тебя задержали"? Парень отвечает: "На дороге". - "Один был?" - "Да". "Почему?" - "Я был шофером. Машину разбили, сгорела". - "Куда шел?" "Хотел пристать к какой-нибудь части, да не получилось". - "А у других получается!" Трибунальцы переглядываются, перешептываются и зачитывают приговор: трусость, дезертирство, расстрел. Три минуты потрачены, чтобы определить - расстрел. Так же быстро осуждены и двое других.

Остатки нашего полка двигаются дальше. Я иду и думаю:

"Жестокость? Да. Оправданная? Не знаю. Хочется верить: оправданная, ведь отступаем, надо как-то остановить, полковник с майорами ведают, что творят". Но думаю также: какой же нам прок

от убитых красноармейцев? Если даже они струсили, надо было вернуть их в строй, чтобы они дрались, искупали кровью свою вину, на поле боя искупали.

Мои мысли перебил Федин голос, и я охотно вернулся к действительности: прошлое есть прошлое, тем более такое, о каком лучше бы забыть.

- После войны настрогаю кучу ребятпшек, - сказал Труншп.

Это я уже от него слышал. Повторяется, забывши? Или чтобы сменить тему? Взгляд у Феди отсутствующий, потусторонний. Не нравится мне этот взгляд.

11

ХАЛХИН-ГОЛ

Инспектируя войска, они проехали порядочно - на восток, на восток, прежде чем остановились в степи перекусить, попить чайку. Можно было завернуть в какую-нибудь часть - окрест по сопкам землянки и палатки, да и сопровождавший их командарм то робко, то настойчиво приглашал отведать его кухни, но Василевский решил: здесь, на воле, в укромном травянистом распадке.

Машины свернули, притормозили. Пока маршалы разминались и мыли руки, был водружен большой, как бы пляжный, тент, под ним - походный столик, брезентовые стульчики. Маршалы сняли фуражки: лоб вверху - не тронутый солнцем, внизу - загорелый, как и у любого, кто находился в эти

дни в монгольских степях.

Василевский с недоверием покосился на маленький, будто дачный, стул, а Малиновский сказал:

- Александр Михайлович, не сомневайтесь: выдержит.

Василевский осторожно сел, придвинулся к столу: бутерброды с колбасой, вареная курица, сыр, помндоры, огурцы, сдобные булочки. Запивали крепким горячим чаем - пар над кружками исчезал мгновенно - и неторопливо разговаривали.

Вытирая выступившую на лбу нспарину, Василевский говорил:

- Наши с вами рекогносцировки, Родион Яковлевич, ознакомление с войсками, обсуждение обстановки с командованием армий, корпусов и дивизий вашего фронта подтверждают: необходимо внести изменения в ранее принятые решения и сократить сроки выполнения основных задач, предусмотренных директивой Ставки... И ваше мнение таково?

- Так точно... - ответил Малиновский и подумал: за эти дни пребывания в войсках сколько лиц прошло перед ними - командиры разных степеней на всевозможных совещаниях, на командноштабиых и войсковых учениях нескончаемая череда лиц. Пехотинцы, танкисты, артиллеристы, минометчики, саперы, связисты, авиаторы - и с каждым родом войск знакомились детально, выясняли, насколько онп готовы к наступлению, какие меры надо принять, чтобы повысить боеготовность, и прпнпмалп эти меры незамедлительно. Особое внимание уделяли уточнению ближайшей и последующих задач. Голова буквально пухла от забот!

- Мне думается, форсирование Большого Хипгана танковой армией Кравченко возможно не на десятый день операции, как планировалось, а не позднее пятого дня. Не позднее!

- Я согласен, Александр Михайлович...

- Можно и нужно в значительной степени сократить срокп выхода общевойсковых армий на Маньчжурскую равнину... Овладеть Хайларским укрепрайоном войсками 36-й армии реально не на двенадцатый, а на десятый день операции... Думаю, на пять дней сократим сроки и для войск, действующих на правом фланге, в частности для 17-й армии... Неплохо бы ужать и срок выхода Конно-механизированной группы Плиева в районы Калгана и Долоннора...

- Ужмем! Объективные данные за это...

- Именно объективные! Субъективизмом, волевыми решениями тут не должно и пахнуть... Дальневосточные фронты тоже повысят темпы наступления... Взвесим все основательно и доложим в Ставку... Надеюсь, она утвердит наши предложения...

"Никогда не скажет - "мои", - подумал Малиновский,

промокая носовым платком лицо и шею: чай утолял жажду, но незамедлительно выходил потом.

Режущий свет солнца. Неподвижная духота, редкостный час почти безветрия. Каменистые и песчаные сопки. Барханы, бархапы - кое-где в полыни и ковыле, кое-где голые, сыпучие. Песок - словно застывшие волны. Ковыль при ветре тоже ходит волнами. Как на море...

Василевский сказал:

- Это заботы, так сказать, сухопутные... Но нам же, Родион Яковлевич, предстоят и морские операции. Как известно, после начала Дальневосточной кампании планируем высадку десантов в Корее, на Южном Сахалине, на Курильских островах... Морской театр составит - с севера на юг - четыре тысячи миль! Представляете?

- Представляю, Александр Михайлович! - ответил Малиновский и подумал: "А моему фронту наступать в полосе шириною в две тысячи триста километров! Тоже что-то значит!"

- Мне и за флот отвечать перед Ставкой. За псход всей кампании - на суше, на море и в воздухе...

"Перед Сталиным отвечать... А там, где отвечать, всегда говорит о себе", - подумал Малиновский, напряженно слушая Василевского.

Тот налил из термоса еще чайку, отхлебнул, задумался. Потом сказал с той же задумчивостью:

- Флотским тяжеленько придется... Сложность в том, что морской театр разделен на зоны действий советского военно-морского флота и американского. Зоны определены так, что в Японском море разграничительная линия проходит всего в ста - ста двадцати милях от нашего берега, а в Беринговом проливе коегде даже в пятнадцати - двадцати милях! Это исключало действия нашего флота на всю оперативную глубину противника, существенно затрудняло ведение морской оперативной разведки...

Заметьте: ограничение действий Тихоокеанского флота позволяло японским кораблям появляться у советских берегов, угрожая и флоту и сухопутным войскам на приморских направлениях...

- Как же мы согласились на такое разделение морского театра войны?

- Учитывая заверение правительства США, что их военноморские силы, а они мощны, развернут активные действия на море и тем самым будут способствовать наступательным операциям советских войск... Но лично я, между нами говоря, не очень верю этим обещаниям...

- Почему, Александр Михайлович?

- Мне кажется, со вступлением в войну Советского Союза американское правительство будет стремиться как можно скорее перебросить свои войска для оккупации собственно Японии. Все помыслы и средства нацелят на это... Да и вообще, как известно, американцы не отличаются обязательностью - как союзники...

Вот вам свежий пример, опять-таки дальневосточный... Американцы выставили минные заграждения, в том числе и у корейского побережья, - это наша операционная зона. Нам сейчас надо знать, где выставлены мины, чтобы не напороться. Запросили американцев. И что же, как вы думаете, они ответили? Ответило морское министерство: да, у Сейсина и Расина в различное время выставлено свыше пятисот донных магнитных и акустических мин, однако координаты этих заграждений сообщить не можем, так как мины выставлены не флотом, а американской авиацией... Ответик?

- Да, излишней обязательностью наши союзники не обременены, - сказал Малиновский. - Меня крайне возмутило: во Владивостокский порт из Америки были доставлены грузовики в разобранном виде, наши шоферы и ремонтники стали их собирать, и тут-то чепе: при вскрытии упаковки выявилась недостача нескольких тысяч кузовов!

- Мне докладывали...

- Что это?

- Воровство. Или хуже...

- Наверное, хуже, Александр Михайлович... Пришлось срочно изготовлять кузова. Забайкальский фронт для этих работ выделил десять тысяч человек.

- Да и другие фронты не поскупились...

Они помолчали. Допили чай. Был убран столик. Но маршалы продолжали сидеть на хилых брезентовых стульчиках. Малиновский барабанил пальцами по подлокотникам, посматривал на Василевского: еще что-нибудь скажет? Он был признателен за то, что сдержанный, суховатый, порой и замкнутый главком разговорился, и тон его был доверительный, товарищеский.

И Родион Яковлевич вдруг почувствовал: не касающиеся будто впрямую его, командующего Забайкальским фронтом, заботы далеких моряков-тихоокеанцев как бы высветили и его собственные, сугубо сухопутные заботы и помогли лишний раз понять:

Забайкальский фронт - часть грандиозной военной машины, другие ее части - Дальневосточные фронты, флот и флотилии, воздушные армии и корпуса. И чтобы эта машина сработала на

полную мощность, все ее части должны быть отлажены, и, конечно, важнейшая - Забайкальский фронт... Показалось, Василевский задремал: веки опустил, утопил себя в брезентовом стульчике, не шевелится. Устал. Да и он, Малиновский, притомился: какой день по войскам да по войскам. Но Александр Михайлович тут же открыл глаза и ясным голосом признес:

- Родион Яковлевич! Находясь поблизости от Халхин-Гола, грешно было бы не навестить места, памятные по тридцать девятому году.

- Грешно, - согласился Малиновский. - Предлагаю поехать, не откладывая. Километров около ста всего-то...

"Виллисы" заурчали, выбираясь из распадка. Ветровые стекла сверкнули отсветом, песчаная пыль потянулась хвостом за машинами. На кочках, на вымоинах встряхивало, и Малиновский хватался за скобу. Похватаешься! Ежели тебя так вот швыряет туда-сюда. За эти дни намотали на колеса сотни километров, и ушибленные бока ныли, и поясница ныла от многочасового сидения в "виллисе".

Да, так-то вот раскатывает он в машинах. А тогда, двадцать четвертого июня, печатал строевым по брусчатке Красной площади, стараясь легко нести свое огрузневшее, затянутое в парадный мундир тело. Парад Победы запомнится навечно, и его кульминация: прославленные воины, шеренга за шеренгой, бросают к подножию Мавзолея креповые знамена со свастикой знамена непобедимого некогда вермахта. И, наверное, для тех, кто ехал на войну с Японией, этот момент имел особый смысл...

К местному пейзажу попривык. Безлесные сопки и барханы, затопленные солнцем степи. Пески, солончаки, соленые озерца.

Полынь, ковыль, в низменностях - камыш. Населения мало, зато комаров в изобилии. И чем ближе к реке, тем их больше и больше, тучей на ходу атакуют машину, кусаются, собаки. Держась правой рукой за скобу, левой Родион Яковлевич шлепал себя по лицу, по шее, обмахивался платком. Водитель сочувственно проворчал:

- Злые, ровно самураи...

- А ты откуда знаешь, какие самураи?

- Догадываюсь, товарищ командующий!

Твои догадки, шофер, подумал Малиновский, - недалеки от истины. А со злым противником и воевать надо зло, я бы сказал - воевать надо с веселой злостью. Побывал в войсках и убедился:

боевой дух повсюду высокий, личный состав готов к наступлению. Будем наступать! Наши козыри - внезапность удара и стремительность подвижных передовых отрядов, не боящихся оторваться от главных сил, от тылов. И еще обстоятельство:

впереди общевойсковых соединений пойдет не только Гвардейская танковая армия Кравченко, но и другие танковые соединения и части фронта. Чтобы как можно быстрее достичь Большого Хингана, форсировать его и выйти на Маньчжурскую равнину. Тем самым упредим японцев. Вот достоверные данные, включая данные агентурной разведки: две трети Квантунской армии за Хпнганом, треть - между государственной границей Маньчжоу-Го и Хинганом, войска прикрытия. Разгромить эти войска и рвануться к перевалам Большого Хингана, - кстати, хребет примерно равно удален и от границы и от главных сил Квантунской армии. Расчет японского командования: войска прикрытия изматывают наступающие войска и задерживают их продвижение в глубь Маньчжурии, главные же силы Квантунской армии, маневрируя, наносят контрудары в нужных направлениях, вынуждают нас к обороне, а затем, пополненные стратегическими резервами, переходят в контрнаступление, вторгаясь в пределы советского Забайкалья и Дальнего Востока. Это не расчет, а скорее просчет. Ибо у японского командования явно ошибочные - в сторону занижения - сведения о советских войсках на Дальнем Востоке и в Забайкалье, об их численности, оснащенности техникой и боевой выучке. Вдобавок японцы ошибочно полагают, что наступление Красной Армии может начаться не ранее сентября - октября, когда в Маньчжурии заканчивается сезон дождей. Нет, господа, мы не будем ждать сентября октября...

Потом Малиновский подумал: Александр Михайлович назвал места боев на Халхин-Голе памятными не потому, что они ему лично памятны, в тридцать девятом его там не было, нашей армейской группой командовал Жуков, а потому, очевидно, что опыт тех боев пригодился Красной Армии, хотя и был локален. Это был инцидент, не переросший в войну. Великая Отечественная затмила здешние события тридцать девятого, и если сейчас сравнить то, что было на Халхин-Голе, с тем, что будет в Маньчжурии, масштабы окажутся несоизмеримыми, лишь противник тот же - квантунцы, лучшие в японской армии войска...

Чем ближе к Халхин-Голу, тем обильней пески; машипы иногда буксовали, взбираясь на бугры, поднявшийся ветер переметал укатанную колею бродячими песками, а вот комаров ничто не брало - ни ветер, ни папиросный дым, ни мазь, что же будет в речной пойме! Сожрут, окаянные! Родион Яковлевич переменил руки: левой взялся за скобу, правой шлепал комарье. Водителю говорил:

- Ты кури, кури, не стесняйся...

Когда солнце стало алеть и опускаться, на скрещении проселков у высохшего озерка их встретил комдив, усатый

бравый генерал-майор, рапортовавший столь зычно, что Малиновский поморщился. Василевский же как ни в чем не бывало пожал руку генералу, а затем полковникам и майорам, а затем и солдату, стоявшему возле машины комдива, - шофер или связист. Солдат покраснел, как маков цвет, растерянно затоптался. Все переглянулись, а Малиновский неприметно улыбнулся: знал, что маршал Василевский при встрече здоровается за руку со всеми, кто оказался рядом, и это было не показным, а естественным для Александра Михайловича с его воспитанностью, тактом, демократизмом, уважительным отношением к людям. Недаром бытует армейская молва: ни при каких ситуациях не накричит, не оскорбит, не унизит человеческого достоинства. Настойчив, последователен, однако не резок. А я, маршал Малиновский, в крайних ситуациях бывал резок, не отпираюсь. Деликатность Александра Михайловича, разумеется, не означает, что он добряк и тихоня. О, характер есть, и очень волевой! Я бы сказал - волевой, но не шумливый. И еще одно обстоятельство: исключительно объективно, непредвзято относится к окружающим. Мне этой объективности, может быть, не хватает подчас...

Надели накомарники, фуражки сменили на пилотки - все-таки будут близко от границы, нехитрая, да маскировка, - Василевский вполголоса сказал Малиновскому:

- Кирилл Афанасьевич Мерецков ездил в Приморье на рекогносцировку на нашу погранзаставу, так надевал форму рядового пограничника... С превеликой натугой влез в шаровары и гимнастерку! Влезем ли мы, Родион Яковлевич?

- Нам не придется этого проделывать, поскольку погранзаставы здесь монгольские, - улыбнулся Малиновский.

Слышавший это комдив тоже улыбнулся - чинно, осторожно.

Долина Халхин-Гола широка и местами заболочена, в щетине осоки и метелок камыша. Река - ширина от пятидесяти до ста с лишним метров сильным течением ворочает на перекатах гальку, в омутах крутит воронки. Вода желто-коричневая и, как говорит комдив, холодная. Бравый усатый генерал был определен в гады - поскольку его части тут дислоцировались, показывал и рассказывал, стараясь приглушить свою зычность.

Маршалы осмотрели западный берег Халхин-Гола, задержались у центральной переправы, где когда-то погиб знаменитый комбриг Яковлев, переехали на восточный, осмотрели полуобваленные окопы, траншеи, ходы сообщения, командные пункты - в песке попадались патроны, гранаты, каски, пилотки, широкополые панамы: в летнюю жару тридцать девятого в войсках были и такие вот панамы с дырочками. Посетили сопки

Песчаную, Палец, Зеленую, Безымянную, Ремизовскую, где были наиболее ожесточенные бон.

- Командир танковой бригады Яковлев и командир стрелкового полка Ремизов сражались, как герои, и погибли геройски, - сказал комдив с нотками торжественности.

- Командиры хорошие и сражались храбро. Но погибли... - Малиновский выдержал паузу. - Георгий Константинович Жуков засвидетельствует: погибли по неосторожности... Майор Ремизов расположил НП на простреливаемой местности, и, когда говорил по телефопу, пуля угодила ему в ухо... И комбриг Яковлев был толковый командир и смелый, а погиб как-то нелепо... В район центральной переправы прорвалось около трехсот японцев. Яковлеву было приказано разгромить эту группу. Он стал собирать бойцов для атаки, забрался на танк, оттуда командовал. Снайпер снял...

- Не удивляйтесь, генерал, - мягко произнес Василевский. - Так оно и было. Мы с маршалом Малиновским не участвовали в халхин-гольских событиях, однако военную историю изучали...

Из прошлого надо выводить кое-что для дел нынешних... Надо, например, иметь в виду: наблюдательные пункты устраивать разумно, без излишнего риска и вообще в бою офицерам особенно не высовываться, памятуя о снайперах. В Квантунской армии снайперам, стрелкам из летучих отрядов отводится видная роль...

В приграничье Василевский и Малиновский понаблюдали в стереотрубу за японской территорией - безлюдно, никакого движения, - потом провели на командном пункте дивизии совещание накоротке и уж после этого - на монгольскую погранзаставу. На полпути между КП и заставой наткнулись на солдат стрелкового взвода, что-то выкапывавших из песчаного откоса.

Командир взвода, щуплый, востроносый младший лейтенант, встал по стойке "смирно" и, прижав лопату к бедру, отрапортовал: обнаружены останки бойцов, по-видимому участников сражения в тридцать девятом году.

- Сколько их? - спросил Малиновский.

- Трое.

- Безымянная могила? - спросил Василевский.

- Могилы как таковой не было. Даже бугорка не было. Мы случайно увидали: торчит рукав гимнастерки. Вот, взялись за лопаты...

- Документы при них есть? Письма?

- Никак нет... Рядышком с останками газету нашли. Называется "Героическая красноармейская".

- Выходила в дни боев на Халхин-Голе, - сказал Малиновский.

- Перехороните с воинскими почестями, - сказал Василевский, обращаясь к комдиву. - Поставьте обелиск со звездой, как положено...

- Слушаюсь! - отчеканил комдив.

- И митинг проведите. Они заслуживают, чтоб их помянули добрым словом...

- Слушаюсь!

Глядя на останки красноармейцев, Малиновский подумал:

шесть лет назад сражались мы с квантунцами на Халхпп-Голе, годом раньше, летом тридцать восьмого, - на озере Хасап, и вот теперь опять на дворе июль...

На пограничной заставе представились: "Геперал-полковник Васильев... Генерал-полковник Морозов..." Начальник заставы, пе по-монгольски рослый капитан, в лицо их не знал, хотя многие монгольские генералы и офицеры узнавали Василевского и Малиновского по газетным фотографиям, по кадрам кинохроники. Не говоря уже о советских генералах, офицерах и даже солдатах: при личном общении засекретить себя было сложно. Но тут, как говорится, сработало.

Капитан, сносно владевший русским, рассказал о численности и вооружении заставы, о протяженности участка, о характере службы, о нарушениях границы. С его слов: нарушителей в июне - июле стало больше, японская агентура - это и японцы, и маньчжуры, и баргуты, и китайцы - пытаются проникнуть сюда и разведать обстановку. Капитан скромно подчеркнул: безнаказанных нарушений нет. Это значило: все пробравшиеся из-за кордона схвачены и обезврежены.

- Молодцы пограничники, - сказал Малиновский.

Василевский поинтересовался:

- Каковы виды пограничных нарядов?

Капитан перечислил: конные и пешие парные дозоры, часовые границы, по два-три человека - секреты, засады, заслоны, то есть наряды те же, что и на советских заставах. Василевский еще спросил:

- Служба по восемь - десять часов... Как выдерживают, учитывая еще и комаров?

- Монголы привычны, товарищ генерал-полковник. Терпеливы, выносливы... Будет приказ, так и сутки просидят в плавнях!

- Это верно, - сказал Малиновский. - Судя по всему, монголы - отличные солдаты, на Халхин-Голе себя показали... Кстати, я сам убедился: нашим современным оружием и техникой овладевают быстро и основательно, хотя грамотешка хромает...

- То ли еще было, товарищ генерал-полковник! - сказал капитан. - Сейчас читать умеют, многие пишут... А во время боев на Халхин-Голе, мой предшественник рассказывал, сплошь неграмотные были. И что удивительного? В Монголии в тридцатых годах три процента детей посещали школу, а то и меньше... Да, в свободный от службы час пограничники-новобранцы и учились грамоте... Клали на землю доску, смазанную разведенной в масле сажей. Начальник заставы чертил на ней палкой буквы, бойцы повторяли... Потом был бой с японцами... И понимаете, имена павших товарищей были первыми словами, которые вывели оставшиеся в живых...

Застава была расположена на крутом скате, да еще залезли на десятиметровую вышку - обзор что надо, но поднятая ветром песчаная кисея ухудшала видимость; песок заносило и сюда, на вышку, он сухо шуршал о доски. Малиновский сказал:

- Монгольские дожди.

Начальник заставы живо откликнулся:

- Товарищ генерал-полковник, дожди еще будут! Самые настоящие, проливные!

- Не сомневаюсь, что будут...

Река текла внизу, под обрывом, на правом фланге, граница проходила по фарватеру. Маршалы в бинокли разглядывали сопредельный берег, капитан пояснял:

- В последние дни японцы отселяют вглубь местное население, разрушают мосты, дороги...

- Тактика выжженной земли. Как у гитлеровцев, - сказал Малиновский и подумал, что скоро его войска будут уже по ту сторону границы.

А Василевский подумал: "Японцы хотят создать нам дополнительные трудности. Для нас дороги, особенно железные, - вопрос вопросов... Нельзя допустить - и опыт войны на Западе этому учит, - чтобы в Маньчжурии противник разрушал железнодорожные пути, тоннели, мосты. Так было, например, в Белоруссии летом сорок четвертого. Немцам удалось тогда вывести из строя железные дороги, это вызвало серьезные трудности с нашими перевозками... Чтобы воспретить противнику разрушить прп отходе железные дороги, здесь, на Дальнем Востоке, все фронты должны выделить специальные самолеты и подвижные части для борьбы с диверсионными отрядами..."

Заночевать решили на командном пункте армии - тем паче, что командарм к концу дня утратил робость и был целеустремленно напористым:

- У меня сможете отдохнуть! Банька имеется!

Смыть с себя пот и грязь было привлекательно, и

Василевский сказал:

- Если комариков поменьше, чем здесь, поедем.

- И если квас будет, - сказал Малиновский.

Командарм поспешно заверил: так точно, комарья меньше, а квас отменный! Тут же бросился звонить на КН. Сияя, доложил Василевскому, что в бане их ждут через полчаса.

- Но мы еще не меньше часа здесь проработаем. Плюс дорога, - сказал Василевский. - А люди будут ждать...

- Подождут, товарищ маршал!

- Нет, неудобно... Позвоните и извинитесь за задержку...

- Слушаюсь!

Смущенный генерал побурел, а Малиновский усмехнулся:

усердие командарма и обязательность главкома как бы столкну-, лись...

Завершив работу, поехали к командарму. Банька была недурна, квасок холодный, вкусный. Маршалы сидели в палатке с марлевым пологом, потягивали из немецких пивных кружек и вспоминали Халхин-Гол.

- Что на Халхин-Голе было необычайным, так это крупнейшие воздушные бои. Я, Александр Михайлович, и на фронтах Великой Отечественной, пожалуй, таких не видывал... До двухсот самолетов сходились в трехъярусной карусели!

- И я такое не часто видел, Родион Яковлевич...

- Всего японцы потеряли в тех сражениях свыше шестисот самолетов! Это и понятно: летчики-истребители у нас были первоклассные, имевшие опыт боев в небе Китая, Испании... На Халхин-Голе, между прочим, воевал кое-кто из моих знакомых летчпков-"испанцев".

- Японцы тоже стянули сюда своих лучших асов.

- Да! По с нашими тягаться они не могли. Хотя не отрицаю:

храбры, тактически подготовлены, техникой владеют...

- А японский пехотинец? Он стоек, вынослив, дисциплинирован, умрет, но приказ выполнит. Это нам надо помнить... Думаю, по воинским качествам японцы заметно превосходят американцев. Ход сражений на Филиппинах, в Бирме, вообще на Тихом океане веско подтверждает это...

- Да! Американцы значительно превосходят японцев и по численности, и по оснащению техникой, но каждое укрепление, город, остров даются им большой кровью. И как они медленно, я бы сказал, мучительно медленно подбираются к метрополии...

- Родион Яковлевич, нам-то доподлинно известно, что американское командование планирует лишь на ноябрь вторжение на Кюсю, а на март сорок шестого - на Хонсю...

- Несомненно, наша операция в Маньчжурии ускорит

события, Александр Михайлович!

- Думаю, ускорит, и еще как...

- Что же касается халхин-гольских событий, то Баин-Цаганское побоище произвело в те времена впечатление! Жуков наголову разгромил две императорские дивизии...

- Ну, дивизия у них - это приблизительно наш стрелковый корпус: двадцать одна тысяча штыков, сильная артиллерия. Да еще отдельные полки, охранные и железнодорожные отряды. Словом, можно говорить об уничтожении целой армии. Итог халхингольских событий не только военный, а и политический. В тридцать девятом японцы убедились, во-первых, в том, что Советский Союз выполняет свои обязательства, в данном случае перед Монголией, а во-вторых, - в силе Красной Армии.

- А каково тогда будет военно-политическое значение разгрома всей Квантунской армии! Тут не пятьдесят тысяч человек - миллион!

- Если быть точным, нам на Дальнем Востоке противостоит около миллиона двухсот тысяч. Последствия разгрома будут далеко идущие, долговременные. И в первую очередь для самой Японии. И если она сумеет посмотреть вперед, а не назад...

- Поможем! - то ли шутливо, то ли серьезно сказал Малиновский. - Не назад, а вперед надо поглядеть и Америке, и Китаю, и всей Юго-Восточной Азии!

- Надеемся, так оно и будет. История - авторитетнейший учитель. Были бы ученики прилежные... Да, еще о халхин-гольских событиях... Они показали: японцы любят ночной бой.

- До сих пор эта любовь не угасла!

- Верно. Но рукоаашпой нынче избегают. После ХалхинГола психология изменилась, считают: погибнешь от русского штыка - не попадешь в ран... Это нам следует учесть. Учтем также: командование Квантунской армии рассчитывает применить бактериологическое оружие.

- Готовим войска к противохимической и противобактериологпческой защите, Александр Михайлович.

- От японцев можно ожидать чего угодно, Родион Яковлевич. А чтобы сорвать их замыслы, мы должны нанести сокрушительный удар, спутать их расчеты, посеять дезорганизацию и панику. Чем выше будут темпы наступления, тем успешней выполним свои задачи! Темпы, темпы - опять к этому приходишь...

В штабе главкома войск Дальнего Востока раздался телефонный звонок. Издалека, из Потсдама, с конференции глав союзных держав, звонил Сталин. Слышимость сверхпохвальная, и через тысячи азиатских и европейских километров до

Василевского донесло знакомый, глуховатый и тихий голос:

- Как идет подготовка операции, товарищ Василевский?

Нельзя ли ускорить ее начало дней на десять?

Александр Михайлович . доложил, что темпы сосредоточения войск и подвоза всего самого необходимого не позволяют сделать этого, и попросил:

- Оставьте, пожалуйста, прежний срок, товарищ Сталин...

Верховный покашлял и ответил совсем тихо:

- Хорошо, оставим старый срок...

И тогда Василевский, не зная причины, по какой Сталин хотел ускорить начало Маньчжурской операции, но радуясь, что Верховный не стал на этом настаивать, доложил ему: срок проведения самой операции предполагается сократить.

- Хорошо, хорошо, высылайте свои соображения, - сказал Сталин. - До свидания, товарищ Василевский.

- До свидания, товарищ Сталин, - И Василевский услыхал, как Верховный положил трубку.

12

Вдруг прекратились занятия по тактике: начальство посчитало, что мы уже в совершенстве овладели искусством прорывать долговременные, сильно укрепленные позиции противника? Или тут что-то другое? Не лукавь, лейтенант Глушков: конечно, другое. Во-первых, нет предела совершенству, и гоняли бы нас до скончания века, если позволяло бы время. Но. вероятно, время-то ч не позволяло, надо делать иное: проверять исправность оружия, получать боевые патроны и гранаты, - как говорится, полный боекомплект, приводить в порядок снаряжение, наконец, просто давали людям отдохнуть хотя бы физически.

Был и еще признак - вернейший, что события не за горами:

из санчасти выписали всех, кто там кантовался. По западному опыту знаю: перед наступлением хватит болеть, собирай шмуткп и дуй в свои подразделения. Ко мне в роту тоже вернулись два гаврика из санчасти, попавшие туда с расстройством желудка.

Не только по тактике - все занятия по боевой подготовке уже не проводились. Зато что ни день - политзанятия, политинсрормации, беседы, собрания и митинги. На разные темы. Поминали и Японию, самураев, ясно было: чтобы восстановить справедливость и мир, нужно воевать.

Говорили и о возрождении разрушенного хозяйства. С задутыми на Украине домнами Толя Кулагин крупно промазал. Когда ротный парторг Микола Симоненко закончил политинформацию о текущих событиях в стране, Толя Кулагин спросил:

- Товарищ сержант, а на кой же хрен задувать домны в этом самом Запорожье?

- То есть? - Симоненко с недоумением воззрился на Кулагина.

- Их надо восстанавливать, а не задувать!

Симоненко раскрыл рот, но его опередил обычно не очень расторопный Филипп Головастиков:

- Тю на тебя, Толька! Деревня! Задули домну - значит пустили ее. Восстановили!

Симоненко подтвердил, что Головастиков прав, и первым бурно захохотал. И вся рота грянула. Кулагин несколько смутился:

серый глаз смотрел нагло, но карий - виновато. Порывался чтото сказать, однако хохот глушил его. Когда чуток стихло, он произнес вроде бы застенчиво:

- Это я пошутковал. Что я, не понимаю: задуть - это не то что потушить...

Результат был обратный тому, которого ожидал Кулагин: захохотали пуще прежнего, потому было очевидно - врет. Кулагин больше не стал объясняться с обществом, но оба глаза у него сделались нахальными. Я посмеялся вместе с солдатами, хотя было в общем-то не до смеха. Чем ближе надвигалось неотвратимое, грозное, тем тяжелей становилось на сердце. Я понимаю: мне это не положено - переживать. В этаком-то духе. Тяжело? На душе?

Я же солдат, я же командир, я обязан знать одно: вперед, за Родину, за Сталина! Без раздумий и тем более переживаний. Нет, правда: они здорово осложняют жизнь и мешают воевать. Но, черт возьми, живой и есть живой! Без раздумий и переживаний живому человеку нельзя, пусть он солдат, пусть он накануне войны.

Солдаты отхохотались не сразу. Еще вспыхивали, будто цигарки в темноте, смешки, потому что реплики были веселые, с перчинкой. В трепе на вольные темы принял участие и неунывающий Толя Кулагин. Правда, сказал он не столько смешное, сколько бесшабашное и чуточку горчащее:

- Кончится война - буду куролесить! Год, два, три буду гулять, наверстывать упущенную молодость, робя! Опосля остепенюсь - и под венец!

Я для себя комментирую тезис: куролесить после войны. Стану ли я куролесить, хотя и у меня четыре года молодости отняты войной? Вероятно, нет. Вероятно, стану жить нормально, памятуя, что у миллионов отнята не молодость - сама жизнь.

Седьмого августа проводили полковой митинг: нашему однополчанину, командиру орудия Геннадию Базыкову присвоено звание Героя Советского Союза. Здорово! Еще утром нам

привезли "дивизионку" - вся первая полоса была посвящена этому событию: напечатаны Указ Президиума Верховного Совета СССР, передовая статья, разные заметки о его подвигах, фотография, и я сразу узнал старшего сержанта! Шелестя газетой, припомнил:

после форсирования Шешупе (мы реку называли "Шешупа", на русский лад), на восточно-прусской уже земле, орудие Базыкова сопровождало наш наступающий батальон. Артиллеристы были, как говорится, на должной высоте: неотступно следовали за стрелками, расчищая нам путь. Если не ошибаюсь, расчет Базыкова подавил одну за другой пять огневых точек. А потом из лесу на полной скорости выскочили девять немецких танков! Сколько б ты ни натерпелся на войне всякого, как бы она тебя ни закаляла, при виде мчащихся на батальон бронированных махин мурашки ползут по спине. Пехота залегла, приготовила противотанковые гранаты, противотанковые ружья. Но артиллеристы, черти, молодцы, герои, опередили нас. Они подожгли головной танк, остальные струсили, повернули назад.

В Восточной же Пруссии, поближе к Кенигсбергу, расчет Базыкова сопровождал другой стрелковый батальон. И опять - танковая контратака немцев. Базыковцы выкатили орудие на прямую наводку, заварилась дуэль: танки с ходу били по орудию, орудие било по танкам. Итог: все три танка были подбиты и подожжены, орудие уцелело, в расчете - двое раненых, и то не покинули поле боя, а батальон пошел вперед. Сам все это видел.

Из газетки вычитал и кое-что другое... Вместе с Базыковым у нас теперь в дивизии двенадцать Героев, кто за что, есть и посмертно.

Геннадий Базыков, к счастью, живой...

На митинге выступил и я, хотя публичность дается мне не легче, чем старшпне Колбаковскому: краснею и бледнею, разве что не заикаюсь.

- Сегодня мы приветствуем старшего сержанта Базыкова, вступившего в семью Героев Советского Союза. Базыков свою звездочку заработал честно, в самом пекле. Порадуемся за него и пожелаем: будь, Гена, здоров и счастлив, а главное - будь жив!

Митинг закончился, и я подошел к Базыкову, стоявшему тут же, - крепыш, голубоглаз, русоволос, пожал руку, сказал без особой веселости:

- Геннадий, поздравляю еще раз! Обмыть надо!

- Непьющий я, - грустно ответил Базыков.

- Да ты и впрямь герой, - сказал и повторил свое: - Будь жив!

Та, западная, война продолжала догонять пас и здесь, на востоке, накануне новой войны. По-разному догоняла, Геннадия Базыкова настиг Указ о присвоении звания Героя. Геворка

Погосяпа настигло сообщение: в ташкентском госпитале от фронтовых ранений скончался старший брат Арташес. Молчаливый, сдержанный Геворк ушел в степь и плакал там. Воротился с покрасневшими глазами, пряча взгляд. Я ничего не сказал ему, легонько обнял за плечи и тут же отпустил. И та война и эта, восточная, навечно засядут в нас так или иначе - чаще горем, чем радостью.

И та война и эта война сплавятся в одну Войну. Мы - клейменные Войной. Навсегда клейменные.

У себя в палатке при свете "летучей мыши" я досмотрел "дпвизионку". Газета была лишь двухполосная. На второй странице - заметки о партийной и комсомольской работе, союзная информация, фотография дважды Героя Советского Союза майора Владимира Лавриненкова, лично сбившего тридцать пять немецких самолетов и одиннадцать - в группе. Вот ас так ас! И улыбается славно, широко, по-русски. А половина страницы отдана под раздел "На досуге": кроссворды, чайнворды, шарады и - знаете ли вы, что первые оперы, "Дафна" и "Эвридика", написаны композитором Пери и поэтом Ринуччипи, что свои первые статьи Писарев напечатал в "журнале для взрослых девиц" "Рассвет", издававшемся в Петербурге, Писареву в это время было 18 лет, что в жарких странах встречаются деревья из семейства пальмовых, на которых растет плод, похожий на капусту, - очень вкусный, полезный и питательный. Ну и так далее.

Кроссворды и шарады, наверное, занятные, и про первые оперы знать небесполезно, только вот времени для досуга у нас практически нет: за день так намотаешься, что скорей бы завалиться на боковую. Разве что в последние денечки дышим повольготнее, да и то хватает забот. Так что не сердитесь, синьор Ринуччини, если я не знал о вас до сих пор. Извините заодно, если я вас забуду назавтра: другим занята голова... Отдав "дивизионку" ординарцу Драчеву - на раскур, - я надумал разуваться. Не стянул сапога, как услыхал из угла, где Драчев передвигал котелки (обожает погреметь своим хозяйством):

- Оно конечно, звездочка Базыкову потребственна не так сейчас, как опосля, когда мирная житуха затвердится прочно, без заднего хода. Почет будет и продвижение по работе, по службе, кем он там будет...

Я бы мог сказать ординарцу что-нибудь резкое. Но говорю спокойно:

- При чем здесь поблажки и выгоды? Награды свои мы зарабатывали не ради выгод...

- Э, товарищ лейтенант, красивые слова! В гражданке на

доть пробиваться. А у кого на грудях звезды-ордена, тем,

понятно, будет ловчей...

И опять я сдерживаюсь, говорю мягко, убеждающе:

- Ты не прав, Миша! Никому не надо будет пробиваться.

Фронтовиков и так не оставят без внимания.

Драчев не поддерживает дискуссии, но котелками гремит.

Я тоже умолкаю, кряхтя, стаскиваю второй сапог. В то, что я сказал, верю. Нас не оставят без ласки. Не оставят...

В дискуссию о значении в послевоенной, без заднего хода, жизни фронтовых наград ни Петров, ни Иванов, ни Колбаковский не встряли. Возможно, оттого, что у лейтенантов никаких правительственных наград нет, а у старшины - единственная медаль "За отвагу". Нет, все-таки Драчев вдвойне не прав: о фронтовиках позаботятся - это так, а во-вторых, у нас не принято жить лишь прошлыми заслугами, эти свои награды мы можем и обязаны будем подтвердить на мирном поприще! Мысль представляется мне убедительной, и я засыпаю з хорошем настроении.

Уже сквозь дрему слышу, как Иванов говорит:

- Отсидели четыре года в дзотах и траншеях, поползали на пузе по даурским степям... Забайкальская военная академия!

- Закончим ее, сдавши экзамены. А экзамены те - война с Японией. отвечает Петров.

А сутки спустя, вечером восьмого августа, снова был митинг.

Множество собраний, совещаний, заседаний, бесед и митингов изведал я за свой недолгий век, но такого митинга не было и не будет! Митинг, на котором нам объявили о начале войны с Японией... Я смотрел на тех, кто выходил на середину полкового построения, слушал выступавших с речами и почти пугался обыденности происходящего и своей обыкновенности, то есть того, как ординарны мои мысли и чувства, как привычно, по-земному воспринимаю я события. Будто ничего из ряда вон выходящего! А должны были заблистать молнии, ударить гром, разверзнуться хляби небесные... не знаю, что еще должно было б быть Но наплыла уверенность: все как надо, и ты будь собой.

Командир полка произнес речь: пробил долгожданный час, Советское правительство заявило о состоянии войны с Японией с девятого августа, командование отдало приказ о переходе границы, мы с честью и достоинством выполним этот приказ, разгромим ненавистного врага, да здравствует Родина, вперед, орлыоршанцы! Потом выступали разные люди, от нашего батальона аж двое - замполит Федя Трушин и, гляди-ка, мой взводный Петров Сева; оба держались уверенно, будто только тем и занимались всю жизнь, что толкали речи на широкой публике. Ну, с Трушиным ясно: политработник, речи ему не в диковинку.

Но Сева Петров, еще вчера сидевший на тыловой норме в "Забайкальской академии", так смущенный моим фронтовым и франтоватым видом?

Федя Трушин нажимал на политику: мы верпы интернациональному долгу, освобождая Китай, способствуем освобождению всей Азии от японского империализма, к тому же содействуем и союзникам в боевых действиях на Тихом океане, иначе они еще пропурхаются. Сева Петров, не мудрствуя лукаво, повторил то, о чем говорилось вчера в палатке: воины, прошедшие "Забайкальскую военную академию", выдержат боевой экзамен, не отстанут от славных фронтовиков, покажут, на что способны забайкальцы, будут сражаться, не щадя живота своего. И все выступавшие, конечно, изъявляли радость, что настал наконец срок рассчитаться с подлыми агрессорами, разгромить кровожадных и коварных самураев, погасить очаг войны на Востоке и обеспечить всеобщий мир на земле. После каждого выступления над строем перекатывалось "ура", столь громоподобное, что, казалось, его услышат и по ту сторону границы.

Расходились с митинга взволнованные, взбудораженные. Но возбужденнее всех был, однако, я. По крайней мере так мне казалось. Думал: не зря меня корили за излишнюю впечатлительность, точно, точно - при такой эмоциональности толковый командир-вояка из лейтенанта Глушкова не вылепится, в комбаты, например, не пробиться.

Только-только воротились к своим землянкам и палаткам, как за мной явился посыльный: срочно к комбату, собираются командиры рот. По привычке поворчав: "Что ж сразу не собрали, все же были на месте", - шагнул за посыльным. И на ходу отметил: ворчу, следовательно, вхожу в норму. Да, действительно, с чего психовать-то? Живи нормально, лейтенант Глушков! Слушаюсь!

У комбата мы получили последние ЦУ - ценные указания:

порядок следования, маршрут, меры безопасности. Офицеры батальона были взбудоражены и в то же время деловиты, молчаливы. Ни комбат, ни его замы, ни адъютант старший, ни ротные не скажут лишнего словечка. Почудилось: Трушин хочет что-то сказать мне, но и он ничего никому не сказал. Я и сам молчаливым сделался. И когда возвратился в роту, там тоже не было лишних разговоров - только о том, что связано с выступлением, с походом; слово, два - и молчок. Солдаты убирали палатки, выдергивали колышки, скатывали шинели, переобувались, проверяли подгонку снаряжения, утрамбовывали вещмешки, куда добавился сухой паек. Ни шуток, ни смеха. Как

перед наступлением. Но перед наступлением не бывало такой молчаливости, даже замкнутости, и помнится - тогда письма писали домой. Нынче писем никто не писал. И это подчеркивало: не наступление, пусть и большое, - целая война.

Умолкли. Покашливание. Кое-где цигарки - как светляки.

Ухожу и возвращаюсь, запыхавшись: получил приказание поднимать роту. Свершается! В темноте возникают фигуры, растворяются, вновь возникают. Ночь на редкость непроглядная. Где земля, где небо - не разберешь, они сливаются, свариваются без шва. Но наши глаза натренированы, и в степи кое-что мы, конечно, различаем: контуры людей, повозок, пушек, автомашин, танков, и человеческие силуэты, и распахнутые настежь двери покинутых землянок. Раздаются негромкие и отчего-то сплошь хриплые команды взводных и отделенных. Рота выстраивается; в темноте, наверное, свое место в строю ребята как бы нащупывают плечами: плечо ищет привычное плечо соседа. Вывожу роту на проселок. Комбат нас останавливает. Поджидаем, когда подойдут остальные подразделения. Подошли. Батальонная колонна двинулась за капитаном.

Нужна осторожность, чтобы не наступить на ноги впереди идущего, не споткнуться, не упасть. Упадешь, задние поднапрут, беда будет - ни черта же не видно. За фронтовиков, за ветеранов-забайкальцев я спокоен, народец опытный, ночных маршей посовершали - будь здоров! Тревожусь о юнцах, о зеленых. Если б мог, с каждым рядышком пошел бы!

Л пехоты - пропасть: топот по всей степи. Изредка команды, изредка увесистый матюк. Скрипят колеса подвод, ржут лошади.

Где-то недалеко заводят моторы, где-то подальше моторы уже гудят - и танковые, и автомобильные. Воняет соляркой. В разных концах степи взлетают сигнальные ракеты, зеленые и красные.

И гаснут. Становится еще темнее. А мы шагаем, шагаем, и что удивительно - в этакой-то темени шагаем в добром темпе. Как будто застоялись и теперь наверстываем упущенное. Почему торопимся, не совсем понятно. Но темп даже возрастает, испарина мигом облепила. Невидимая в темноте пыль похрустывает на зубах, кажется: она черная, как ночь. Граница все ближе и ближе.

Вон там, впереди, средь ковыля, полыни, солончаков, каменных россыпей там! Как-то она встретит нас? В глубоком японском тылу, за грядой сопок, зарницы взрывов, смягченный расстоянием и будто присыпанный каменной осыпью и песком грохот, - видимо, наши обстреливают дальнобойными укрепрайон. У нас в тылу, на огневых позициях тяжелой артиллерии, вспышки орудийных залпов, дальних-дальних, и

звука не слыхать. А вообще, как нам объяснили, наступать будем без артиллерийской и авиационной подготовки, чтоб достигнуть внезапности при переходе границы.

Пошаркав ногами, подошел Федя Трушин.

- Лейтенант, принимаешь к себе?

- Товарищ гвардии старший лейтенант, мы батальонное начальство уважаем!

- Политсостав распределили по ротам: парторг и комсорг - во вторую и третью, ну а я к тебе, - словно оправдываясь, сказал Трушин.

- Федор, ты же знаешь: я и впрямь тебе всегда рад.

- Знаю, Петро. Буду с тобой при переходе границы.

И в дальнейшем... Теперь тебе не страшно?

- С тобой-то? Да хоть на Токио пойду!

Этот неожиданно шутливый разговор немножко встряхнул меня. И если без шуток: с Трушиным я спокойней, уверенней, даже если и зубатимся, то есть грызем ся, то есть ругаемся. Но не из одной же ругани состоит наше общение! Федя - мужик головастый, вояка смелый и стреляный-обстреляный, в случае чего и подскажет дельное. А в иночасье и для души с ним можно покалякать.

Команда: "Стой!" Останавливаемся. Слышу два звука - стук сердца и зудение комаров, облепляющих похлестче испарины. Затем слышу звуки моторов - один приближается, угрожающе рыча, и мимо с включенными фарами - чтоб не раздавить кого - пролязгала тридцатьчетверка. У сопки - за ней Маньчжурия, за ней японцы - затормозила и выстрелила из пушки. Один танковый выстрел, послуживший сигналом. Степь взревела сотнями моторов, озарилась сотнями фар. Ослепительный огонь волнами заколыхался над степью. Я взглянул на часы, французские, знаменитые, коварные нравом: ровно час. Спросил у Трушина:

- На твоих сколь?

- Час.

Значит, не врут Драчевские, французские, обманные!

Трушин сказал:

- Запомни это число, Петро: девятое августа.

- Запомню! Сегодня начали закапывать вторую мировую в землю. Чтоб не встала больше.

За сопками - взрывы. Похоже, разведгруппы и передовые отряды ударили по японским кордонам. Пора бы и нам! Гром и скрежет танков, гудение автомашин, стук конских копыт. Колопна за колонной проходят к границе. В лучах фар - поднятая колесами и гусеницами песчаная пыль. Окрест - словно в тумане.

Настает и черед пехоты.

- Шагом арш!

Озноб охватывает меня - волнуюсь, да и в степи свежо, - и, будто бы для того чтобы согреться, кричу во всю мочь:

- Рота, за мной, шагом марш!

Орать, точно, надо в полные легкие: рев моторов слева и справа. Команду мою слышат лишь в первых рядах, но они трогаются, а за ними и остальные: тут не зевай, следи за передними, иначе оторвешься, отстанешь. Держа автоматы на изготовку, идем широким шагом. Словно не желаем отстать от танков. Куда там!

Они прорычали, пролязгали, навоняли выхлопными газами и растворились в мороке, за сопками. И нам туда. В темени, на обратном скате сопки и в распадке, трещат пулеметные и автоматные очереди и тут же смолкают. Что там произошло? Нам ничего по командуют.

Вперед! Вперед! Быстрей, быстрей! Танков уже не слыхать.

Нельзя отрываться от передовых отрядов. По бокам от моей роты идет вторая рота нашего батальона и рота другого полка, вклинивается и минометная рота. Так и перемешаться недолго. Вот эти сопки, где граница? Или это другие? Они здесь как близнецы, не отличишь.

13

СОЛДАТ ГРАНИЦЫ

Алексей и Костя снаряжали диски к автоматам, и Алексей чувствовал, как у него подрагивают пальцы. Взглянул на Костю - и у того руки дрожали. Да и как не волноваться, когда только что, на боевом расчете, им объявили: они входят в состав штурмовой группы. На боевом расчете не дашь воли чувствам, хотя все написано на лицах, зато после команды начальника заставы: "Разойдись!" - шумок поднялся немалый. А как тут промолчать, если одним посчастливилось, другие же "баранку" получили! "Баранку", ноль, заработали те, кто останется на заставе, ребят можно пожалеть: не пофартило. Счастливчики будут штурмовать японский кордон, среди них он, Алексей Маслов, и его дружок Костя Рощупкин, ура! Расходясь с боевого расчета, счастливчики "ура", конечно, не кричали, но хлопали друг друга по плечу, поддавали кулаком в бок: "Повоюем!" А получившие "баранку" чертыхались или пасмурно роняли: "Чем мы хуже?" - но расчет произведен, кто куда обозначено. Все понимают это, однако шумок утих не сразу, хотя начальник заставы быстренько ушел в канцелярию, - возможно, чтобы не слышать обиженных.

Да, пограничник - что-нибудь значит! Чтоб потом можно было сказать: "Я тоже повоевал в Великую Отечественную". А то

что же выходило? Иные отбухали на фронте четыре годочка, а пограничники Забайкалья и Дальнего Востока? Немногие из них уехали на запад, когда в сорок втором формировались дивизии из пограничников. Понятно, на японской границе нас держали не зря, и все-таки точило: на фронт не пускают, так хоть когда-нибудь тут отыграться. Дождались...

- Костик, послушай! Сколько охраняли границу, а нынче сами перейдем ее, - сказал Алексей. - Надо за все рассчитаться с самураями...

- Будь спокоен, рассчитаемся, - отозвался Костя. - Ведь они у меня брата убили на Халхин-Голе. Как вспомню, сколько они зла причинили нам, аж сердце закипает... Да и не только нам...

А китайцам? А другим народам, которых поработили?

- Скорей бы уж начиналось!

- Теперь скоро...

- Письмо бы успеть написать матери...

- После напишешь, Алеша. Когда на той стороне побываем.

Интересней письмо будет!

- Это верно!

Но все же он начал писать письмо в Ленинской комнате. На листке из ученической тетради вывел бледно-лиловыми, будто выцветшими, едва просохли, чернилами: "Дорогая мама!" - и задумался. Окна в Ленинской комнате были приотворены: в одно наносило речную свежесть, во второе теплый смолистый дух леса; смешиваясь, онп рождали тепло-холодные сквознячки.

Доносило и голоса: дежурного, повара, связиста, остающихся на заставе, и тех, кто пойдет ночью на маньчжурский берег, - они дымили в курилке, возле конюшни, там и милый друг Костя Рощушлш. А некурящий Алеша Маслов уединился в Ленинской комнате. "Дорогая мама..." Ну, о чем написать? О своих мыслях и чувствах перед, вероятно, решающим событием в его жизни? Не напишешь, военная цензура не пропустит.

Голоса остающихся на заставе и уходящих на операцию, точнее сказать, в бой, смешивались, как прохладно-теплые сквознячки, и Алексею стало как-то тревожно. Именно эта тревожность и заставила его написать еще две фразы: "Прежде всего сообщаю тебе, что у меня все по-прежнему. То есть все в порядке".

Маслов вздохнул и еще дописал: "Жизнь моя идет нормально.

Надеюсь, что и у тебя все хорошо и благополучно..." Волосок попал в перо, последнее слово смазалось. Алексей вытащил волосинку и положил ручку рядом с письмом. Он сидел, втянув голову в худые плечи - левое было выше, - вскинув брови, словно удивившись, - и левая была выше, - взъерошивал вьющиеся

волосы, коротко подстриженные, поглаживал мягкий раздвоенный подбородок. Может, и действительно удивлялся: сколько ждали этого срока, и вот он наступил. Сейчас пока еще мирные, предвоенные часы. А потом штурм, потом бой, потом война. Как только пограничники снимут погранполицейские посты и расчистят путь, на тот берег начнут переправляться полевые войска. Силища, скопившаяся в окрестных лесах и перелесках. Тайги тут нет, она севернее, а здесь, на участке Даурского отряда, леса скудны, к югу же вообще голые ковыльные сопки, знаменитые даурские степи. Как поется: "По диким степям Забайкалья..." Людей и технику кое-как замаскировали в перелесках, распадках, на скатах сопок.

Смеркалось, но еще было видно. И Алексей добавил в письме:

"Служба идет как положено, жаловаться не на что. После разгрома Гитлера дышится вольготней. Скоро заживем на славу. Отслужу на границе и приеду к тебе, дорогая моя мама..." Он опять отложил ручку, посидел-посидел и встал, спрятав письмо в нагрудный карман. Точно, после допишет. "Пойду-ка к ребятам, - подумал он, - как там они, да и веселей вместе. Вместе и тревога погаснет". В чем же штука? Он не боится риска и опасности попривык к ним на границе, - так почему сердце сжимается? А потому, наверное, что выпадает нарушить государственную границу. Столько лет берегли ее нерушимость, отбивали японцев и их агентуру и сами ни на метр не переступали заветной черты.

И вот теперь...

В курилке - железная бочка, врытая в землю, лавочки вокруг - было оживленно, шумно, вспыхивал и затухал и вновь вспыхивал смешок. Подойдя ближе, Алексей определил: смеются анекдотам Тихона Плавилыцикова, разудалый Тиша помнит их бессчетное количество. Ну, конечно: муж в командировке, а жена... тыща первый вариант этого анекдота.

Не курильщик и не любитель скоромного, Алексей тем не менее затоптался в курилке, прикидывая, где бы примоститься. Костя Рощупкин сдвинул соседа, сам подвинулся:

- Приземляйся, Алеша.

Маслов приземлился, и его сдавили плечи Рощупкина и Плавилыцикова. Не вырвешься, только сами могут тебя вытолкать, как пробку. Обкуривают здорово. В горле першит от махорочного дыма.

В мутной воде плавают размокшие, "до ногтя" сожженные самокрутки, окурки прилипают к стенкам бочки. И он, Алексей Маслов, как бы прилип к лавочке.

- Об чем мыслишь, Леша?

Спрашивает Плавильщиков. Что, он уже перестал травить

анекдоты?

- Понимаешь, Тихон... О разном думается. Как границу перейдем, например...

- Точно, хлопцы, - сказал Рощупкин строго. - Нам доверили задание - аж дух захватывает! Не осрамимся! Точно, хлопцы?

Кто сказал: "Точно!" - кто кивнул, а потом все умолкли.

И долгое это молчание о многом сказало Алексею. И о том, между прочим, что ребята, как и он, переживают предстоящее.

Анекдотики и смех - скорей для облегчения души, на которой неспокойно.

Спать уже не ложились - и те, кто уходил за границу, и те, кто уходил на границу. Шуток и смеха больше не было, короткие, отрывистые разговоры по делу, молчаливое потрескивание цигарок, их огоньки будто протыкали темноту. За старицей, за рукавом пошумливала на перекатах Аргунь, придавленная беззвездным небом. Терлись будыльями, шелестели травы. Отчего-то развылись овчарки в питомнике. Чуяли что-нибудь, чуяли, что кто-то сегодня будет на сопредельном берегу? Да, уже сегодня: перевалило за полночь. А сопредельный берег скрыт мраком, ни огонька. Но где-то за Аргунью тоже выли собаки - сельские, домашние. Эти-то с чего развылись?

Временами Алексей поглядывал в сторону Аргуни, как и остальные из штурмовой группы; впрочем, поглядывали и остающиеся. Невидимый, китайский берег ничем не отличался от нашего: покатый спуск, отмели, у кромки талыгак, подальше, на сопках, пни, мшистые валуны, редколесье. От речки полз клочковатый туман, уплотняясь и поднимаясь, - по щиколотку, по колено, по грудь. Так, омываемая седоватым туманом, штурмовая группа и попрощалась с остающимися - обнимаясь, тиская друг друга. Так, в тумане, и спускались с заставы цепочкой вслед за капитаном к речному урезу. Как и все в штурмовой группе, Алексей Маслов пригибался, ступал осторожно, стараясь не звякнуть оружием и снаряжением, не потревожить подошвами сучка и гальки; впереди шел Костя Рощупкин, позади - Тиша Плавильщиков, и это соседство придавало уверенность. Минутами казалось: спустятся к урезу и залягут втроем - усиленный наряд - в кусточках, за валуном, но разумел: лежать в секрете не придется - и старался не отставать от Кости. Пограничная тропа, по которой хожепо-перехожено, вывела нх распадком к Аргупп, в темпе.те поблескивающей, будто дышащей, - текучая эта темнота и притягивала и отпугивала.

В прибрежных тальниках и камышах - надувные лодки на плаву. Без всяких команд ребята расселись, как было оговорено за; апее, расселись с удивительной деловитостью, с рабочим

спокойствием, поставив между колен автоматы. Кто-то шепотом сказал: "Пошел!" - лодка качнулась, поплыла, сносимая течением.

Всплескивали весла, журчала вода у борта. Слева, метрах в десяти, плыла такая же лодка, но левое плечо Мае лова холодила пустота, правое упиралось в плечо Кости Рощупкина, Плавильщиков дышал в затылок - словно вдыхал в тебя уверенность. Эх, побольше бы этой уверенности!

Август, девятое число, а звезд почему-то пет. Рано, что ль?

Попозже будут, в середине месяца? Ведь в августе звездопады.

Знобко! От воды потягивало сыростью, вообще воздух над рекой холодноватый. Алексей всматривался в маньчжурский берег: ои приближался, покуда еще плохо различимый, по за службу изученный до мелочи; там ни огонька, пи звука, дворняги и те перестали выть. Наверное, лодка была на середине реки, пересекала границу, потому что Алексой обернулся и будто сквозь Нлавильщикова, сквозь сидевших сзади пограничников увидел свой, советский берег, тоже знакомый до мелочен. И родимый до болп сердечной. Забайкальская казачья сторонка!

Чужой берег возник как-то внезапно, выступом, словно пропоров туман, лодка ткнулась в валуны: течение разворачивало ее, шлепало о каменные бока. Пограничники выпрыгивали на валуны, на гальку и в своих широких плащ-накидках растворялись во мраке. "Вот и все, - подумал Алексей. Возврата пет". Не отставая, он побежал по распадку. Шагах в сорока от реки капитан остановился, оглядел штурмовую группу и взмахнул рукой: вперед! Сперва они двигались по одному распадку, затем свернули в другой, который и вывел иа ровпую сравнительно, в чахлых кустиках, местность. Капитан опять махнул рукой, и все легли. Снизу, с земли, на фоне неба слева виднелись сельские домики и фанзы, справа - здания погранполицейского поста. Капитап прошептал-прохрипел:

- К кордону по-пластунски - за мной!

Они проделывали то, что в последние дни много крат отрабатывали на занятиях, так и называвшихся - "снятие кордона".

Извиваясь, обдирая локти, подползли к проволочному заграждению, саперпыми ножницами "выстригли" проход, не звякнув, развели концы: поползли дальше, за "колючку", окружая пост:

казарму, доты, наблюдательные пункты. Их долго не замечал часовой, мурлыкавший песенку о веселых гейшах, - эту песенку иногда доносило из-за Аргуни с попутным ветром, когда японцы перебирали сакэ - рисовой водки, становясь необузданно-дикими.

Знакомый мотивчик, и каково было слышать его так вот - вблизи...

Часовой не успел или не смог крикнуть - спазмы сдавили горло, - когда около него выросли тени. Он дернулся всем телом и, падая с ножом в спине, нажал на спусковой крючок карабина.

"Выстрелил-таки", - подумал Маслов. И затем подумал, что рука у Плавильщикова, видать, не дрогнула, всадил финку по рукоять, ну и парень.

Выстрел часового поднял на кордоне суматоху. Японцы - кто одетый, кто в одних трусах - выскакивали из казармы и блиндажа и бежали к траншеям. Трещали автоматные и пулеметные очереди, рвались ручные гранаты. Покрывая все, ахнули противотанковые гранаты: пограничники подорвали дот. Алексей, державшийся Кости Рощупкина, делал, что и остальные пограничники: стрелял из автомата, швырял гранаты, и почему-то не оставляла мысль: "Как ладно, что с поста эвакуировались семьи офицеров! Каково было бы женщинам и детям? Ладно, что неделю назад уехали..."

Японцы, хоть и застигнутые врасплох, сопротивлялись жестоко. Если бы не выстрел часового, их можно было б сломить быстрей. У блиндажа, у окопов, за казармой, за дзотом вспыхивала перестрелка, гремел гранатный бой, кое-где доходило и до рукопашной. Пограничники действуют молча, японцы что-то кричат:

то ли командуют, то ли подбадривают друг друга. Да чего ж там подбадривать: минут через сорок или, может, через час кордон был спят. Он пылал, пособляя близкому рассвету доконать ночную темь. При свете пожаров было видно: часть гарнизона перебита - трупы валяются, часть взята в плен - стоят с поднятыми руками, оружие брошено под ноги; нескольким японцам вроде бы удалось удрать, уйти в тыл по косогору. Но при свете пожаров Алексей увидел также в траве у наблюдательного пункта - Тихон Плавильщиков, навзничь, неподвижный, в окровавленной, излохмаченной плащ-накидке; над ним склонился капитан. Алексей подошел поближе и отшатнулся от мертвого, пустого взгляда Плавильщикова. Убит. Прощай, Тиша...

Над кордоном взлетела серия ракет - сигнал, что путь расчищен. И на рассвете через Аргунь стали переправляться стрелковые батальоны Тридцать шестой армии. Навстречу им, к нашему берегу, поплыли понтоны с пленными японцами и убитым Плавильщиковым - Тихон опять пересечет государственную границу, вернется на заставу. Мертвым. Ну, а штурмовая группа пойдет дальше, преследуя отходящих с границы японцев.

Солнце вставало над маньчжурскими сопками и падями, над равниной; где-то значительно правее кордона город Маньчжурия, сильно укрепленный японцами, против него - наш поселок Отпор, тоже укрепленный нехудо, но здесь, где двигалась эта штурмовая группа, были только китайские деревни и казачьи, белоэмигрантские станицы. Капитан посмотрел по карте: к одной такой станице, Рождественской, и отступали японцы. Пока снаряжали магазины, получали у старшины гранаты, перевязывали раненых - их было трое, Костя Рощупкин средь них, и никто не покинул строя, - капитан выслал разведку во главе с сержантом. Разведчики доложили: остатки разгромленных погранполицейских постов стягиваются в Рождественскую, по всем проселкам бегут-топают, на подступах к станице спешно роют окопы.

- Та-ак, - сказал капитан. - К тому же в Рождественке дислоцируется японская рота. Надо атаковать с ходу, покамест не очухались...

Подоспела штурмовая группа с соседней заставы, снявшая свой кордон, и ее командир, румяный, пухлогубый лейтенант с перебинтованной кистью, сказал, улыбаясь, капитану:

- Вливаюсь в вашу группу.

- Замётано.

Солнце било в глаза, они слезились от дыма пожаров, от взбктой желтой пыли. И, конечно, недосып - сегодня глаз не сомкнули. Было душно, жарко, пот стекал со лба по щекам и за ушами:

шли ускоренным маршем. По чужой, порабощенной земле. Чтоб освободить ее. Потому и торопились. Шире шаг, Алексей Маслов!

Ты идешь не дозорной тропой, а заграничной дорогой! Ну и ну!

Рождественская угадывалась по купам деревьев, по златоглавой церкви. Станица на косогоре, перед ней равнина: просовое, койгде изрезанное балками поле. Далеко за Рождественской ухали тяжкие взрывы, может быть, бомбежка.

Атака с ходу не удалась. Боевое охранение было обстреляно еще на подходе к Рождественской. Капитан приказал залечь, рассредоточиться. Алексей по-пластунски отполз в сторону; видел:

пограничники ползут по просовому полю, разворачиваются в цепь. А над головой жалят воздух одиночные пули из карабинов и очереди из "гочкисов": два пулемета, дергаясь стволами взадвперед, бьют с обопх флангов. Алексей начал шуровать саперной лопаткой, набрасывая перед собой бруствер. Но

окопчика хотя бы "лежа" отрыть не поспел, потому что старшина и Костя Рощупкин - раненый же, чертяка, - умолотили пулеметы гранатами.

А заставский "максим" славно чесал по японским окопам, да и автоматы наши не молчали. Стрелял из ППШ, переведя на одиночные выстрелы, и Маслов: до японцев метров сто, не больше.

"Надо на что-то решаться", - подумал он о капитане. И капитан решился:

- Приготовиться к атаке! Вперед по-пластунски! По моему свистку подымаемся!

Поползли. По просу, по вытоптанным уже до них пятачкам, по незасеянным прогалинам. Не было времени вытереть заливавший глаза пот, Алексей лишь отплевывался, отфыркивался, дышал запаленно. Японские карабины почти умолкли. Ну, и не стреляйте: меньше пуль - меньше шансов быть убитым. Как Тиша Плавильщиков. Наверное, его уж перевезли на заставу, роют могилу. Похоронят без них, воюющих на чужом берегу?

И когда они отвоюются? Ведь потом решающее слово за полевыми войсками...

Околица Рождественской совсем близко: видать снующих по окопам японцев, слыхать их гортанные выкрики. Заверещал капитанов свисток. Маслов вскочил, побежал к окопам, опоясывавшим станицу. Он бежал в цепи, крича "ура", и стрелял из ППШ короткими, захлебывающимися очередями. Когда до японской обороны оставалось метров тридцать, из засады ударил "гочкис", третий, стало быть. Огонь был кинжальный, кто из пограничников упал, срезанный очередью, кто залег в просе. А Маслов в горячке, в азарте не смог остановиться, пробежал еще с десяток шагов, исступленно вопя "ура" и подхлестывая себя этой исступленностью. Оглянувшись, увидел: остался одни. И, не успев ни о чем подумать, рухнул в просо: очередь из "гочкиса" ударила ниже колен.

Очнулся Алексей от прикосновения чего-то холодного ко лбу:

кто-то прикладывал мокрое полотенце. Он приподнял опухшие веки, но перед глазами зарябили круги. Рядом заговорили не порусски, но на каком языке, не понимал: сознание меркло. Ему открыли рот, влили что-то обжигающее, и сознание прояснилось.

Подумал: "Спирт влили. Или сакэ". А говорят по-японски. Он окончательно открыл глаза. Лежит на траве, в тени, под навесом сарая, без оружия. Как попал сюда? Он приподнялся на локтях и заметил неподалеку трех японских офицеров. Тщедушные, в

очках, с черными усиками. А рядом с ним солдат, улыбается. Или скалится?

От ужаса Алексею захотелось зажмуриться. Но он не зажмурился, только сполз с локтей на спину. И это отдалось ноющей болью в перебитых ногах. Что с ним сейчас? Что с ним будет? Ужаснее смерти - японцы уволокли его к себе. Плен. Он в плену. Офицеры подошли поближе, майор, видимо старший, сказал:

- Нам приятно, цто вы оцнурись...

Двое других кивнули. Алексей застонал. Не от боли стонал - от своего бессилия, от ужаса перед случившимся. Хотя и ноги мозжат, горят огнем. Беспомощен, как младенец. Даже приподняться не может. Майор нагнулся.

- Вы быри без сознания, мы позаботирись и о васей ране. Перевязари... За это вы сказете кое-цто.

Алексей молчал, прерывисто дыша. Майор присел на корточки.

- Сказете - поручите зизпь, свободу, много рубрей... Отвецяйте: кто вы, какая цасть, кто командир? Цпсленность цасти?

Ее задаци? Ну, ну быстрей... Нам некогда... Да не бойтесь, о васих показаниях никто не узнает: зитери спрятарись, сидят в подварах, а мы... мы сейцас уйдем...

Алексей не отвечал, глядя мимо японца. Тот начал терять терпение, уже не был учтив:

- Сообразайте знвей... Ну, я срусаю... - Оп встал, присмотрелся к пограничнику. - Не хоцесь отвецять? Тогда будет прохо... Ну?

Майор что-то резко крикнул по-японски. Два других офицера и солдат подскочили к Маслову, связали ему за спиной рукп и стали избивать. Били палками, прикладами, сапогами. Били по лицу, по голове, по животу. Сам майор несколько раз ударил носком по раненым йогам. Алексей потерял сознание. Ему плеснули в лицо водой. Майор сказал:

- Как дера? Ты мне хоцесь цто-то сказать? Скази! Не хоцесь? Тогда будет прохо...

Он снова скомандовал по-японски. Офицеры и солдат подхватили Алексея, поволокли в глубь двора к сухому кедру. Поставили спиной к дереву и привязали крест-накрест веревками. Голова Алексея падала на грудь, он старался приподнять ее. Майор закурил сигарету, выпустил из носа дымок.

- Посредний раз предрагаю: ири зизнь, ири... Прохо будет...

Били палками, резали тесаками, жгли горящими сигаретами, сорвали бинты, помочились на раны. Пахло кровью,

подпаленными волосами, мочой. Алексей, бледный, в ледяном поту, в изодранной, окровавленной одежде, обессилев, висел на веревках, голова безжизненно поникла. Когда он был в сознании только мычал.

А когда терял сознание - стонал, плакал, выкрикивал в бреду бессвязные фразы. Японцы, вытянув шеи, вслушивались: "Мама, родная..." Майор давал знак, пограничника приводили в чувство, и пытки продолжались. Наконец, майор вытащил носовой платок, вытер лоб и шею, вместе с офицерами ушел в дом. Возле Алексея остался часовой. Забросив на плечо винтовку с широким пожевым штыком, он ходил лениво, вперевалку. Солнце припекало, горячий воздух был недвижим. Жужжали золотистые жирные мухи. Часовой тупо наблюдал за их роем.

Неподалеку, на просовом поле, послышались стрельба, гранатные взрывы. Часовой замер. Алексей приподнял голову, открыл глаза. И сквозь мутную пленку словно увидел Костю Рощупкина, капитана, Тишу Плавилыцикова, старшину и других пограничников, и словно все они, живые-невредимые, спешат ему на выручку. Поспешайте, милые, я покуда жив, хотя изранен, изувечен.

Я не хочу умирать, я еще поживу! Сквозь пленку, застилавшую глаза, он разглядел невидимую, скрытую отрогом Хингана Аргунь, заставу. Ленинскую комнату, свое фото на стене: отличник службы и учебы ефрейтор Алексей Маслов.

В небе зарокотали моторы. Маслов по звуку узнал свои, советские самолеты. А есть и наши танки, наши орудия, наша пехота!

Кровоточащие, бесформенные губы раздвинулись - это была улыбка.

Шестерка штурмовиков, развернувшись, принялась бомбить и обстреливать станицу. Стрельба на просовом поле усилилась, там кричали "ура". Бомба разорвалась на дороге, вблизи двора, где висел на дереве Алексей. Японцы, выскочив из дома, побежали огородами из станицы. Часовой посмотрел им вслед, приловчившись, трижды ударил штыком в грудь пограничника там, где сердце, и, пыля, затрусил за ними.

14

Свершилось! Прощай, Монголия! Здравствуй, Маньчжурия!

Слева горят какие-то постройки - не японский ли кордон? Больше нечему. Да и по времени мы уже должны были пересечь монголо-китайскую границу. Посвечиваю фонариком на свои французские, чудные: час ноль-ноль! Следовательно, головастиковские часшш остановили свой ход в тот самый исторический момент, когда танк выстрелил у границы. М-да, с

подобными часиками действительно влипнешь в историю. Подведут когда-нибудь крупно. Но других покуда нет. Встряхиваю рукой - затикали.

Темп мы поубавили: дышим умученно, носки заплетаются, пот в три ручья. А привала не предвидится. До привалов ли? Вперед!

Туда, куда умчались танки, где дрожит зарево неблизких пожаров. Тапки и передовые отряды размолачивают японцев. А мы, пехота? Что, на пашу долю не достанется? Еще как достанется.

В свое время. И все-таки странно: границу перешли без боя. Я-то думал: кровавые будут схватки, самураи будут яростно сопротивляться. На занятиях, беседах и сборах нам втолковывали: Квантунская армия - противник серьезный, японские солдаты и офицеры фанатичны и жестоки, воспитаны в самурайском духе, дерутся до последнего патрона, предпочитая плену самоубийство во славу императора - харакири, вспарывают себе живот. Наверное, оно так и есть. Но против наших солдат и офицеров вряд ли устоят, да и перед пашей техникой трудно устоять даже отборной Кваптунскоп армии. Я в этом уверен. Еще испытаем свою силенку, придет срок, придет. Приграничные кордоны разгромлены разведгруппами и передовыми отрядами. А полевые войска японцев, возможно, подальше от грапицы, в глубине обороны? Я спросил об этом Трушина, и он ответил, отхаркиваясь:

- Мое мнение: полевые войска японское командование могло спешно, а то и загодя отвести к укрепрайопу. Чтобы там дать нам сражение.

Конечно, и это не исключается. Пока здесь тихо. И только я так подумал, как метрах в ста пятидесяти, на правом фланге, забил огнистыми вспышками пулемет, разорвалась граната. Японцы стреляют или наши? Я подал команду, чтоб рота развернулась в цепь. Развернулись, залегли в траве. И поползли к пулемету.

Явно японский: очереди проносились над нашими головами, и, когда полз, подумал: не напоремся ли на мины, нет ли минных полей? На мины не напоролись, а пулемет замолк, как поперхнулся очередью: командир соседней, справа, роты дал мне зпать, что его бойцы сняли пулеметчика. Возможно, из уцелевших при разгроме кордодов. И на сей раз нам повоевать не пришлось... Вперед!

- Суетишься, ротный, - сказал Трушин.

В былые времена я бы послал его куда подальше, а сейчас сказал:

- На войне иногда и посуетишься,

- Для нас войны покамест нету.

Нет, но будет. Посветлело - бледный, немощный месяц будто вскарабкался на гребень сопки. Стало видно: колонны и колопны, пыль над степью, хотя на травах роса, наши сапоги мокрые, грязные; пылюка лежит толстым слоем, никакая роса не прошьет ее насквозь. Дождя бы доброго, да мы уж подзабыли, что это за явление природы. С бездорожья свернули на нечто вроде проселка, перепаханного гусеницами. Месяц померк. В степи светлело поиному: из-за сопок переплескивалась утренняя заря. Сумрак истончался, рассеивался, словно испарялся под лучами солнца. Оно как бы притушено желтой пылью, висящей над степью. Видимость приличная. Озираемся: те же сопки и распадки, что и в Монголии, те же ковыли, полынь, солончаки, каменные осыпп, пылюка, но уже Маньчжурия! Нас обгоняют автомашины, грузовые и легковые, мотоциклы-трещотки, самоходные установки, бронетранспортеры, танки "ИС" и "Т-34". А я-то предполагал: танки впереди. Оказывается, далеко не все. Пролетают и самолеты, и бомбардировщики, и штурмовики, "ИЛы", прозванные немцами "летающей смертью", - для японцев тоже подойдет это прозвище.

Давайте газуйте, с техникой пехота не чувствует себя сиротинкой!

Сколько идем? На французские не гляжу. Трушина Федю не спрашиваю: прикидываю про себя: часа три или четыре. Усталость прошла, явилось второе дыхание. Определенно четырехсоткилометровый марш по монгольскому степу закалил нас, Трушин прав, пригодилось. Всматриваюсь в него, в своих взводных, отделенных, рядовых. И, клянусь, ни одного унылого, сплошь выражение радостное, приподнятое. А интересно, испытывают ли они то, что испытываю я: маньчжурская земля была неласковой, чужой, враждебной, теперь же там, откуда японцы нами изгнаны, близкая, как своя.

Солнце начинает пригревать, а затем и припекать. Солдаты прикладываются к флягам. Памятуя опыт, приказываю: воду экономить. Неизвестно, когда попадутся колодцы, речки или пресные озера. Также неизвестно, подвезут ли воду в цистернах-водовозках. Пока что пас нагоняют цистерны с горючим для танков и автомашин. Мы обогнули кумирню - разглядывать было некогда - у пересохшей безымянной речушки, по ее руслу машины шли, как по дороге. За пересохшей речонкой нас обогнал бензовоз и следом - "виллис". В "виллисе" - я признал пх сразу - сидели подполковник, заместитель начальника политотдела дивизии, и майор, редактор "дивизионки". Бензовоз газанул - аж камешки

изпод колес, а "виллис" притормозил. Мы поравнялись с ним, и толстый очкастый редактор позвал:

- Лейтенант Глушков!

Я подошел, козырнул. Подполковник с розовым шрамом на лбу кивнул незряче: не узнал либо притворяется? Либо забыл, как сотворял мне втык в Восточной Пруссии за Эрну? На парткомиссию грозился выволочь. Не извольте сомневаться, товарищ подполковник: на сегодняшний день связи с немкой не поддерживаю. Майор сидя козырнул и, поблескивая очками, добродушно сказал:

- Давненько не виделись, товарищ Глушков.

- Не получалось как-то, товарищ майор.

- Редактор, не разводи... Покороче! - Замначподива выбивал пыль из фуражки.

- Позволит обстановка, поговорим, товарищ Глушков... Спешу! Вот для роты спецвыпуск нашей газеты. С важным документом! - Он сунул мне пачку, перевязанную шпагатом. - До встречи в Чанчуне!

- До встречи в Порт-Артуре! - Я отдал честь рванувшей машине. Да-а, а шофер "виллиса", кажись, тот самый, при котором замначподива учинял мне разнос за Эрну. Милая, далеко же ты от меня, и оправдываться не надо...

Федя Трушин как будто ревниво сказал:

- Редактор - твой дружок?

- Что ты! Майор, пожилой человек... Мне ближе редакционная молодежь, хотя и среди них приятелей нет. Так, добрые знакомЦы...

- Оправдался. Но замечу в скобках: редактору надлежало б вручить газеты политработнику, мне то есть.

- Это ему скажи. Я-то при чем?

- Оправдался. Давай сюда пачку.

Я отдал. Он развязал шпагат, экземпляр протянул мне, остальные принялся раздавать в роте, приговаривая:

- Читайте "Советский патриот", спецвыпуск! Читайте важный документ! Читайте и делайте ьыводы!

А сам документ не прочел, только краем глаза схватил заголовок: "Заявление Советского Правительства Правительству Японии". Действительно, очень важно! Стараясь не оступиться, поглядывая и под ноги, я держал перед собой половинку газетпой полосы, словно положил на пюпитр. Вот что прочел:

"8 августа Народный Комиссар Иностранных дел СССР В. М. Молотов принял японского посла г-на Сато и сделал ему от имени Советского Правительства следующее заявление для передачи Правительству Японии:

"После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной военной державой, которая все еще стоит за продолжение войны.

Требование трех держав - Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией.

Тем самым предложение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву. Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в воину против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года.

Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, т. е. с 9-го августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

8-го августа 1945 года".

В. М. Молотов заявил также г-ну Сато, что одновременно с этим советский посол в Токио Я. А. Малик передаст Японскому Правительству настоящее заявление Советского Правительства.

Посол Японии г-н Сато обещал довести до сведения Японского Правительства заявление Советского Правительства".

Довольно-таки неосмотрительно на марше отвлекаться от своих обязанностей. Но какой документ! Конечно, я не вчитывался в каждое слово, пробежал глазами текст, уловил суть. И будто неким светом озарилось происходящее, все стало яснее и понятнее. Тем не менее лучше бы отложить раздачу и читку газеты до привала, по когда он будет, привал? Не утерпев, я прочел и напечатанное под этим заявлением "Заявление В. М. Молотова Послам Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Китая":

"8 августа В. М. Молотов принял Посла Великобритании сэра

Арчибальда К. Керра, Посла Соединенных Штатов Америки г-на В. А. Гарримана и Посла Китая г-на Фу Бпн-чана и информировал их о состоявшемся решении Советского Правительства объявить с 9-го августа состояние войны между Советским Союзом и Японией.

Послы выразили удовлетворение заявлением Советского Правительства".

Еще более, чем иностранные дипломаты, удовлетворены мы, советские солдаты. Наша нота японцам справедливая, честная и неизбежная. Когда ее вручали господину Сато, мы проводили митинг или сосредоточивались у границы? Представляю, что за лицо было у господина Сато. Нарком Молотов вручал ноту, а маршалы Василевский и Малиновский, так сказать, претворяют ее в жизнь.

И мы, рядовые второй мировой, тоже претворяем.

Колонна сбавляет темп, а жара набирает: солнце печет, как и в Монголии, загорай - не хочу. А чего ж удивляться: здесь тоже пока Монголия, только Внутренняя. Собственно Маньчжурия будет подальше. Гимнастерки темнеют от пота. Фляжки, увы, облегчаются. Экономь не экономь, а пить охота. Ни озер, пи речонок не попадается. Зной, зной. От него свежая краска "Советского патриота" вроде бы тает и смазывается. Молодчаги все ж таки дивизионные журналисты: видимо, по радио приняли текст заявления, срочно в набор, тиснули, развезли по подразделениям. Оперативно! На газете пометка "Специальный выпуск". И неизменное в рамке "Из части не выносить". Да куда ж ее вынесешь, родную красноармейскую газетку, из части? В город, что ли, в увольнение? Где мы, там и часть, в данном случае на марше: несем, но не вынесем!

Поясница поет, ноги дрожат ("Поджилки трясутся" - так говаривают солдаты). Пот солонит во рту, разъедает царапинки и ссадиики, какие у тебя есть; от пота же зудят на твоем бренном теле места, где прививки: незадолго до боевых действий нам вкатили прививки от чумы и прочей холеры. Полковая врачиха-красавица простодушно объясняла: миленькие, на территории Северо-Восточного Китая распространены инфекционные заболевания.

А среди солдат - слушок: колют еще и потому, что японцы будут специально заражать бактериями чумы и прочей холеры воду и пищу, чтоб вызвать эпидемии в наших войсках. Мои взводные, Иванов и Петров, и уважаемый старшина Колбаковский эти слухи не опровергли. Напротив, сказали: в годы войны пограничники, чекисты, армейские подразделения выловили в Забайкалье изрядное количество японских диверсантов, которых забрасывали отравлять водоемы бактериями чумы, холеры,

сибирской язвы, были у них с собой пробпрочки. А что, может быть, самураи в Маньчжурии и поведут своеобразную войну, бактериологическую.

После того, на что насмотрелся на Западе, и здесь можешь столкнуться с нечеловеческой жестокостью и коварством. Собственно, они мало отличаются, германские агрессоры и японские агрессоры, по существу, и те и другие фашисты. Ну поживем - увидим.

Я шагал, посматривал на батальонное начальство - пет лп каких сигналов от капитана, их не было, оглядывался на роту, не разбредаются лп, не отстает лп кто. С благодарностью отметил:

замполит Трушин в задних рядах, не дает отстать. Притомились, тащатся, по марку держат, не жалуются. Хотя, очевидно, фляжкп пусты. Слава богу, и охромевших не видать. И вдруг чую: сам хромаю! Когда захромал, не засек. Однако сейчас в левом сапоге непорядок, что-то мешает, трет подошву. Присаживаюсь сбочь проселка, стаскиваю сапог, и - о позор! - портянка сбилась, потому намотана была наспех, неаккуратно. Кожа покраснела, припухла. Это, к счастью, не потертость. Это ее предвестник. Как же так? Поучал Гсворка Погосяпа, не говоря уже о молодых кадрах, а сам намотал портянку неровно, со складками? Виноват, исправлюсь. Переобувшись, догоняю роту. Вижу: Федя Трушин берет у низкорослого щуплого юнца винтовку, вешает себе на шею, как автомат. Юнец - фамилия его, если не ошибаюсь, Астапов не противится, но бормочет смущенно и бессвязно:

- Да что вы, товарищ старший лейтенант... Да что я, товарищ старший лейтенант...

Трушин дает ему выговориться, а после спрашивает:

- Тебя как зовут?

- Астапов, товарищ старший лейтенант!

- Я про имя...

- Георгий.

- Ты родом из Сибири, да?

- Из Иркутска, однако.

- А мать тебя как звала?

- Готя...

- Готя? Так ведь у сибиряков Георгия кличут Гошей. Ласково если...

- Кличут. Но и Готей тоже...

- Ну так вот, Готя: трехлинеечку твою поднесу. Приободришься - верну. Договорились?

- Договорились, товарищ старший лейтенант... Спасибочки...

Трушин постукивает ногтем по своему гвардейскому значку,

и Астапов поправляется:

- Спасибочки, товарищ гвардии старший лейтенант...

С десяток шагов идут молча, и внезапно Готя Астапов, как будто его прорвало, выпаливает:

- Товарищ гвардии старший лейтенант! Я всю войну рвался на фронт, с Востока на Запад, значится. Чтобы отомстить немцам за отца и братуху, сгибли оба... В военкомате не брали, однако:

малые твои годы, трудись с женщинами в цеху. На трудовом фронте помогай Родине... Я помогал, но дожидался: призовут же когда-нибудь. И призвали, да война кончилась. Кому ж теперь мстить? Японцам? Я думаю: отца с братухой они ж не губили, однако мстить обязан. Потому как хоть счета личного у меня к ним нету, есть народный... Так же, товарищ гвардии старший лейтенант?

- За твоих родных, Готя, отомстили. Те, кто воевал на Западе. Но, видишь ли, соль-то не в одной мести. Мы же воевали за свою землю, за свободу России, Европы и всего человечества.

И нынче воюем за Родину и все человечество! Самураи - враги, которых надобно разгромить. И ты здесь прав: счет у нас к ним общенародный. Великое зло причиняли они нашему народу.

И еще могут причинить, если их не сокрушить... Нашли общий язык?

- Нашли, товарищ гвардии старший лейтенант! - воскликнул Астапов, воспрянувший и духом и плотью, когда винтовочку нагрузил на себя Трушин. Солдатик даже улыбается, обнаруживая - нет переднего зуба. Щербат, как и Трушин!

А Федор, по-моему, ответил бойцу неглупо, тактично. Искренне ответил. Не случайно же он политработник. Но, оказалось, я недодал Трушину похвал, ибо его ответ породил совершенно не предвиденную мною активность утомленных, измочаленных солдат. В задних рядах, где слышали разговор Астапова и замполита, раздались реплики:

- Разобьем самурайских гадов - и войне амбец! А что они гады - точпяк: завсегда зарились на наш Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь ажник до Урала!

- У меня родичи по отцу - красные партизаны. Двое погибли в боях, третий попал, пораненный, в плен. Пытали, мучили, пальцы на руках отрубили, глаза выкололи, после стрёлили.

А дочку его японцы снасильничали...

- Они Сергея Лазо в паровозной топке сожгли. И других жгли, убивали. В Приморье, в Забайкалье...

- А русско-японская война, тот же "Варяг"? А понешпие времена, Хасан, Халхин-Гол?

- В Отечественную провокации устраивали. Через границу

перли армейскими подразделениями!

- У меня брат-старшак на Халхин-Голе лишился ног. Инвалидом всю жизнь мается...

- Ежели б мы не раскокали Гитлера под Москвой и Сталинградом, Квантунская армия вдарила бы нам в спину. Как пить дать!

Федор, дав бойцам высказаться, говорит сильным и мягким, щедрым на интонации голосом:

- Итожим, хлопцы. Трудности стерпим, в бою не дрогнем, славу русского оружия возвеличим! И давайте подтянемся, а то отстаем от роты...

Обгоняя их, слышу, как Готя Астапов просит:

- Товарищ гвардии старший лейтенант, отдайте винтовку...

- Поднесу и отдам. Не суетись, Готя!

- Мне неловко, товарищ гвардии старший лейтенант...

И еще слышу, чей голос, не разберу:

- Назревают крупные события!

- Что за события? - спрашивают.

- Привал, холодная вода и горячий обед! Хотя заместо водички предпочитаю остуженное пивко...

Шутник, видать. В спину мне тычется его голосок:

- За войну столь оттопал верст, что верняком прошел десяток разов до дома. Дом у меня на Тамбовщине...

Тон у шутника, однако, не очень веселый, скорее грустный.

Поражают и его тон, и его слова. Точно ведь: мы многократно оттопали расстояние до наших родимых домов, а попасть туда никак не можем. Но есть ли пристанище лично у тебя, лейтенант Глушков? Никак нет!

А привала не объявляют. Сколько ж прошагали от границы?

Километров двадцать? Тридцать? Колонны смещаются на юго-запад, как я понимаю, в обход Халун-Аршанского укрепленного района: канонада там становится глуше. Воздух звенит, кажется, от зноя. Небо безоблачно: парит одинокий орел, словно выслеживает, куда мы идем. Потом в небе объявился самолет, вылетел изза двугорбой сопки, как из засады, понесся пад степью. Опознавательные знаки - круги, символизирующие солнце! Японец!

Я проорал:

- Воздух!

Попадали на спину, стали палить по самолету. Он дал несколько очередей и, будто испугавшись собственной дерзости, развернулся - и деру за ту же сопку. Бойцы вставали, отряхивались, проверяли оружие; кто-то, шибко занудный, ворчал:

- Принесла нелегкая самурая... Теперича чисть канал ствола...

Почистишь. Не отвалятся ручки. На войне да чтоб не стрелять? Я скомандовал:

- Поставить курки на предохранитель!

Неприцельная, суматошная стрельба с самолета вреда не причинила. И чего он прилетал? Как с цепи сорвался, затем драпанул. Нет, ей-богу, странная война. Обстрел "гочкисом" и авиапулеметом - детский лепет по сравнению с западными баталиями.

Т?м была война так война, страшней не придумаешь.

Орел по-прежнему парил, забирая вместе с нами юго-западнее, к хпнганским отрогам. Мнится, отроги близки. Но до них пилять и пилять. Как и в монгольской степи, белели верблюжьи черепа с глазницами, забитыми песком; вроде бы слепые, а пялятся. Грызуны попрятались в норах. Попрятались и комары, зато докучает какая-то мошка, которой и солнце не помеха. Предвещает болотистую местность? Неужто могут появиться болота взамен солончаков, сыпучих песков, каменных осыпей и пыли, пыли? Неужто будут и настоящие бои? Они уже разворачиваются там, где передовые подвижные отряды? Иль там так же спокойно, как и у нас?

А в укрепрайонах? В Халун-Аршанском канонадит. Но мы его, по всей вероятности, обойдем.

На привале личный состав поплюхался наземь, а ротных командиров комбат собрал, разложил карту, и мы гамузом принялись искать на ней пресное озерцо. Нашли! Но в натуре ничего подобного! Было углубление, были берега, не было пустяка - воды. Проще пареной репы: озеро давно высохло. Как офицеры ликовали, когда им вручали карты местности, на которой предстояло действовать! Карты новенькие и одновременно устаревшие, такое бывает. Словом, пресного озера, как изволил пошутить замполит Трушин, - петути. Комбат, помаргивая веками без ресниц, приказал:

- Товарищи офицеры! Выделите по пять-шесть человек от роты. Пускай выроют хоть неглубокие колодцы на дне озера.

А ну появится вода?

Колодцы выкопали на глубину большой саперной лопаты - сухо. Шуровать лопатьем после многочасового марша - занятие не из приятных, требующее характера, выносливости и сноровки. На это я бросил свою западную гвардию: Логачеева, Кулагина, Свиридова, Головастикова, Погосяна, Черкасова. Они шуровали, умываясь потом; комки иссушенной затвердевшей глинистой земли стукались, как камни. Рыли молча, если кто-нибудь пускал матюка, сержант Черкасов тут же обрывал:

- Отставить матерщину!

Толя Кулагин возразил было:

- С матом полегче трудяжить, товарищ сержант!

- Сквернословие еще никому и ни в чем не помогало...

Хлопцы, то так: матюганы не украшают, - сказал Микола Симоненко.

И потому, когда стало очевидным, что в колодцах ни капли влаги, никто из землекопов не матюкнулся. Я бы предпочел другое: пусть ругаются семиэтажно, лишь бы вода засочилась. Какое там засочилась - сушь, сушь.

Комбат сказал:

- По маршруту километров через пятнадцать еще озеро.

- На карте? Или на местности? - спросил Федя Трушин.

- Будем надеяться, и на местности есть, - невозмутимо ответил капитан.

Теперь и землекопы валялись, подложив под головы скатки.

Со скатками история. Я разрешил старшине Колбаковскому везти их (как и в других рогах) на повозках хозвзвода, но, на беду, нагрянул командир полка, вздрючил:

- Умники! Кони надрываются! Разобрать скатки!

Разобрали. Люди выносливее лошадей, это верно. Да и нагружены повозки сверх меры, в том числе ящиками с патронами и гранатами. Ну лежим, нежимся: разбалакались - разделись, разулись. Зной, жажда и голод: нет-нет да и засосет под ложечкой. Ни воды, ни завтрака, пи обеда, однако, не подвозят. Возможно, потому что время завтрака прошло, а время обеда не наступило: на моих французских полдень. Трушин сумрачно подтверждает:

- Двенадцать ноль-ноль.

Сумрачен, переживает, что бойцы без воды. И я переживаю, да перетерпим как-нибудь. Кое-кто сосет сухарик. Кое-кто, насилуя себя, курит. Дымок лениво вьется кверху. Безветрие. Оттого еще жарче. Солнце напекает башку так, что в висках кровь стучит по-дурному. Зной и безводье - наши основные враги. Кроме, разумеется, японцев. Наблюдаю сцену: Слава Черкасов взбалтывает флягу, сует одному из тех, что с цыплячьей шеей:

- Отпей. Глоток.

Тот глотает. Черкасов сует фляжку другому такому же:

- Глоток.

И тот пьет. И вдруг - с невероятным испугом:

- Товарищ сержант! Кажись, хлебанул до донышка. Вам не оставил... Извиняйте!

Черкасов опрокидывает фляжку, ему на ладонь скатывается несколько капель, он слизывает их языком. Говорит:

- Пустое, Павлик. Скоро у нас вода будет...

Завинчивает пробку, флягу цепляет к поясу, ложится, вытягивая длиннющие ноги. Точно, ноги у него длинные, стройные, и вообще он стройный, лицо чистое, не шелушится, будто не обгорело, как у других, волосы из-под пилотки колечками. Справный парубок! Недаром на Красноярском вокзале невеста на нем повисла...

Да, все буквально растянулись на земле кто как может, чтоб мышцы расслабить. А я, вместо того чтобы лежать, встаю и принимаюсь разглядывать лежащих. У каспийского рыбака Логачеева рукава закатаны по локти: русалки, якоря, спасательные круги, татуировка и на груди, в распахнутом вороте рулевое колесо.

У Егорши Свиридова нос вздернут и брови вздернуты, будто выдающийся певец-аккордеонист собирается изречь надменно: "Карамба!" Разномастные глаза Толи Кулагина прикрыты, и не определить, какой виноватый, какой с нахалпнкой, а может, оба грустные, и так случается с Толей. Филипп Головастиков кряхтит, ерзает, никак не устроится повольготней, мясистые, угреватые щеки в резких складках выбриты - это редкость, Головастиков бреется по принуждению пли по торжественным причинам, нынешняя - начало войны. Темноволосые и темноглазые, тяготеющие друг к другу Погосян и Рахматуллаев и сейчас рядом, оба, запрокинувшись, следят за орлиным полетом. Оба сильней товарищей тоскуют по дому. Юный Готя Астапов читает спецвыпуск "Советского патриота", шевелит припухлыми губами, временами раздвигая их в простодушной улыбке, и тогда видна трушинская щербатинка. Вадик Нестеров и Яша Востриков, неиспорченные, благородные мальчики, книгочеи и всезнайки, тоже про себя читают заявление, многозначительно цокают. Читаки отменные: на марше в вещмешках таскают претолстые книжки тут надо здорово любить изящную словесность! Парторг же Микола Симоненко, собрав вокруг в основном юнцов, послушных и внимательных, оглашает спецвыпуск на всю степь с выражением и поднимая торчком указательный палец, вкрапляя в официальный текст личные комментарии: "Ось так, хлопцы!", "Выкуси, герр самурай!"

или: "Не замай нас, не чепляйся!" Сержанты-близнецы, бывшие командиры взводов, и Петров с Ивановым, сегодняшние взводные, с газеткой ознакомились и нежатся, как на пляже, широко раскинув ноги-руки.

Я и в эшелоне и после эдак иногда разглядывал своих подчиненных, схватывая внешние приметы, случайные, а хотелось схватить и другое. Проникнуть бы в их суть, в глубину характера,

в нравственную сердцевину! Каждый же из них - личность своеобразная, неповторимая. По-видимому, сложная, противоречивая.

По-моему, плоских, одномерных характеров нет. Так или иначе не один Петр Васильевич Глушков - думающая и чувствующая натура. Все люди! И как же хочется, чтобы они остались живы, эти брюнеты и блондины, зрелые и зеленые, женатые и холостые, с орденами и без!

Запыхавшись, подкатил малость сбросивший животик старшина Колбаковский - не брюнет и не блондин, скорей плешивый, - доложил: ротное имущество в сохранности, сам доглядает. И ему я пожелал мысленно: Кондрат Петрович, оставайся живым! К немому удивлению Колбаковского полуобнял его за разгоряченное рыхловатое плечо:

- Доглядаете? Ну, спасибо, Кондрат Петрович...

15

От комбата команда:

- Приготовиться к построению!

Я рявкнул:

- Первая рота, подготовиться к построению!

Солдаты подхватились: наматывали портянки, обувались, заправляли гимнастерки, как в хомут, влезали в скатки, поудобнее закидывали ремень автомата или винтовки на плечо; и конечно же на горбе неизменный "сидор" вещевой мешок. А тут уж последующие команды, словно одна наступает на пятки другой:

- Встать!

- Стройся!

- Равняйсь!

- Шагом марш!

- Шире шаг!

В небе орла нет, только солнце, его прямые лучи прожигают.

Зной. Безводье. Жажда. Она, как клещ, впилась в глотку и сосет, сосет, ненасытная. Горло пересохло, рот пересох, губы склеиваются, сплюнуть нечем. И откуда пот берется в три ручья? Выпить бы водпчкп, самую малость!

Но на нет и суда нет. Надеемся: водовозы подъедут, самолетами канистры доставят. И еще надежда: десяток километров - и пресное озеро. Держимся. И будем держаться. Наше будущее таилось за сопками, чередой тянувшимися перед нами, растворялось в переливчатом знойном мареве. Это - ближнее будущее.

А дальнее? Э, нашел о чем загадывать. Кто загадывает на войне?

Двигай ножками. И следи, чтоб солдаты твои двигали ножками.

Мы двигали, и сопки, а за ними и отроги Хппгана двигали нам навстречу. По крайней мере хотелось бы этого. Тогда быстрей достигнешь цели. Облака пыли вставали там и сям, кочевали за колоннами, взбираясь на сопки и опускаясь в пади. Подчас облака сшибались, смешивались и, уже не расцепляясь, плыли единым фронтом. В степи стало как будто просторнее. Да так оно и есть: часть колонн ушла вперед, часть в сторону, часть осталась сзади, у каждой свой маршрут. И все равно скопище людей и техники. Думаю, никаких колодцев и озерков не хватит, все выдуют!

Как будто подстегиваемая жаждой и стремлением поскорей добраться до обещанного комбатом озера, колонна наша после привала взяла недурственный темп. Не такой, как при переходе границы, но дюже добрый. Задавало его, конечно, полковое начальство - верхи, на монголках. На монголку сел и комбат, - видать, раненая нога не позволяла топать наравне со всеми. Да и зачем пёши, ежели лошадка положена? На всех нас лошадок не хватит, а комбат пускай едет. И полковое командование пускай покачивается в седлах: положено. А кому положено раскатывать на "эмках" и "виллисах" - пускай раскатывает. А пам топать! Дослужимся до соответствующего чина, не будем передвигаться поили. Покуда ж шире шаг! Повторяю эту команду:

"Шире шаг!" - но чаще повторяю другую: "Не отставай, подтянись!"

Команды командами, а ротная колонна растягивается, хотя взводные покрикивают не хуже меня. Отмечаю: отстают преимущественно безусые и западники. Восточники, не год жарившиеся в здешних пустынях и полупустынях, попривыкшие к забайкальским и монгольским марш-броскам, выносливей. И это при том, что они еще не отошли от тыловой некогда нормы довольствия.

Фронтовики изведали немыслимые бои, а вот немыслимые марши даются со скрипом. Кажется, по этой причине и сапоги скрипят въедливо, и песок на зубах, и даже колеса армейских повозок. Кстати, повозки так же успешно застревают в песке, как и автомашины. Приходится время от времени подталкивать плечами и те и другие. У .мученные солдаты без понуждения пособляют рвущим постромки лошадям и нехотя - рвущим моторы, стреляющим бензиновыми выхлопами автомашинам.

Кое-кто из западников проявляет здоровую инициативу: снимает кирзачи, связывает их за ушки, перекидывает через плечо.

Душой понимаю их, ступпп сопрели, портянки хоть выжимай,

трут-натирают. Разумом отвергаю: что за вид у воинов-освободнтелей босиком, сапоги на плече? После краткой, но изнурительной борьбы души и разума побеждает душа: черт с вами, босякп, сверкайте пятками, только топайте, не отставайте. Однако босяки недолго продержались: острые камешки, жесткие стебли какой-то пезиакомой травы: поднимали ноги, как цапли, а там и вовсе стали обуваться. Не вышел помер! Теперь нагоняйте, инициаторы.

- Не отставай, подтянись!

Выкрикивать мучительно: язык приклеивается к нёбу, сами слова приклеиваются, не вытолкать, - высушенные, как вобла, царапающие. А вобла хороша под пиво, в сороковом в городе Лида вкусил "Жигулевского"! Не хочу воблы, хочу пива! Согласен и на обыкновенную водопроводную влагу!

Дай слиться воде из крапа, чтоб была свеженькой, прохладпенькой. Выпьешь в летнюю жарынь кружечку, другую - ах, благодать! Московская водица славится повсеместно, да и в Ростове-на-Дону водица я-те дам! Жаль, мало испил, надо было нажимать, надуваться впрок.

На подмосковной даче, куда ездили с мамой и отчимом, уважал-обожал покачаться в гамаке, развешенном между березой и липой, поваляться на травке в лесочке. В Ростове-городе - с дружками-приятелями поваляться на пляже, возле донской волны.

Благодать!

Полк то держался проселка, то сворачивал на бездорожье, на целину, кружили и петляли, снова выбирались на проселок - прежний либо новый? Возникала мысль: не плутаем ли. не сбились ли с маршрута? В бескрайней пустыне это несложно - сбиться. Но полковое начальство не спросишь: не путаете ли, уважаемые, туда ли ведете? Уважаемые и без тебя зпают, что и как делать.

Вздрагиваю от истошного вопля:

- Глядп!

Гляжу вместе со всеми: впереди, перед сопочкой, переливается, рябит озеро - холодное, чистое! - и берег его недалеко, вотвот подойдем. Как я раньше не заметил?

- Вода! - Этот крик, многократно повторенный, подхваченный и мною, сорвал людей с проселка, кинул к сопочке.

Я бежал, опережая иных. Бежал, пока озеро не исчезло! Остолбенел, протер глаза. Что было у меня на физиономии, можно определить, глядя на подчиненных: растерянность, досада, злость.

Определяю: марево, потоки струящегося знойного воздуха,

его игра и породила мираж. Ах эти игрушки...

- Елки-моталки! Уж лучше б не привиделось, а то растравило... Напиться бы, ребятки!

- Хочь не от пуза, хочь малость, хочь полфлягп...

- Обман трудящихся! Я считаю, обман!

- Гадство, да и только...

- А похоже, славяне! Как настоящее...

- Когти рвали, как угорелые! Идиоты, обормоты...

- Будто кто нарочно подстроил: поманил - и фигу показал!

- Да уж дуля солидная!

- Чтоб тебе ни дна ни покрышки...

Кому - тебе? Мареву, миражу? Собственным глазам? Но эта ругань деликатная, заворачивают и покруче.

- Прекратить! И шагом марш на дорогу! - обрываю я.

А сам плетусь, как побитая собака. Да и все как побитые. Но ругаться бессмысленно: жажду снимет, что ли? Заученно командую:

- Не отставай, подтянись!

На мои слова реагируют не очень энергично; усталость цапает людей за ноги, как утопающий, мертвой хваткой. Но ладно: через пять-шесть километров - озеро, запланированное комбатом. Обозначенное на карте! Это вам не мираж! Знаю, что на войне планы - рпскованная штуковина, однако упрямо думаю:

"Коль запланировало - будет!" В предвкушении воды, привала, обеда и прочих райских радостей Трушин, я, взводные и отделенные берем у ослабевших солдатиков скатку, оружие или противогаз, - с "сидором", вместилищем солдатских сокровищ, не расстаются. Бойцы и сами помогают друг другу. Может быть, пример командиров действует.

Как дорожные столбики, стоят тарбаганы. Увы, обозначают они не дорогу, которая подчас теряется, словно уходит в песок.

Просто любопытны. И вообще пообвыклись, наше воинство их не распугивает. Солнце высоко. Жара густеет. Вдали, над Хинганским хребтом, закучились пепельные облака. Но к нам не пошли, зависли над отрогами. Будто затаились в засаде, как японские войска в глубине обороны. Смотрю на облака и думаю: не раз так вот возникали они и, не обронив ни капли, откочевывали в Маньчжурию. Теперь мы сами в Маньчжурии. Где-нибудь и сойдемся...

Часом позже вновь возникает озеро. Оно несколько меньше того, привидевшегося, по полноводное, в бликах и в зыби и так же маняще-холодно и чисто, без камышей. Опять вопль:

- Гляди! Озерочек!

На вопль отзываются не так, как в первый раз:

- Сызнова метится?

- Ах ты, елки-моталки! И когда кончится обман трудящихся?

- Точняком, это обман зрения! Нечего тут глядеть!

Это, однако, не оптический обман! Озеро настоящее, всамделишное! Живое озеро! Не веря себе, чешем к берегу. Зачерпываем котелками, кружками, флягами, пилотками. Пьем. И как же искривляются лица от разочарования и отвращения! Логачеев орет благим матом:

- Что за вода? Горько-соленая!

Филипп Головастиков выплескивает из фляги, бубнит:

- С нее пронесет, как с английской соли...

- Фу, пакость! - Егорша Свиридов зол, как задержанный в самоволке солдат. - Но у Толькп Кулагина запоры, ему пользительно.

- Пить нельзя, - стонет Кулагин, не внимая Свиридову. - Пить нельзя! И тут обман трудящихся масс!

Мы с Трушиным обмениваемся взглядом, как бы укоряя друг друга: "Что ж ты, браток? А я-то понадеялся на тебя". Или что-то в этом духе. Сержант Черкасов невозмутимо произносит:

- Не везет нам. Будем терпеть.

Не глядя на Трушина, говорю:

- Будем терпеть, хлопчики! Воду автомашины подбросят.

- Либо самолеты, - говорит Федор, в свою очередь не глядя на меня. Тылы отстали... Но не дадут же пропасть нашей доблестной дивизии!

Он сводит к шутке, которую не приемлют. Угрюмые, насупленные солдаты отходят от берега, без команды строятся в походную колонну. Доносится речитатив комбата:

- На карте оно пресное! Вероятно, засолонилось...

"Врут карты", - думаю огорченно. Но без питья и впрямь загнемся! Жажда нас докопает! Однако шагать надо. И мы шагаем.

Борясь с жаждой, усталостью и сонливостью. Где японцы, когда будут бои?

- Есть присловье: все врут календари. А тут карты врут, - говорю я и смотрю на Трушина. - На них обозначены полевые дороги, а здесь - одни караванные тропы: верблюжьи копыта выбили. И куда ведут эти тропы, аллах ведает. Заведут не туда, куда нужно, доказывай потом, что ты не верблюд!

И Трушин смотрит на меня, и Трушин многословен:

- Карты приблизительные, да... Мы должны больше полагаться на собственную интуицию, чем на топографические карты.

И озера на них помечены питьевые, а их в помине нет. И поселений, отмеченных на карте, в действительности - тю-тю...

Мы как будто извиняемся друг перед другом.

А поселение, обозначенное картографами, нам попалось на очередном десятке километров. Называлось оно Улан-Усу. Усу - вода, утверждает Федя Трушин, значит, в поселке должны быть колодцы! Если их только японцы не отравили. Недвижно стояла в раскаленном воздухе пыль, поднятая колесами и ногами, и кажется, она никогда не осядет. И вот сквозь пылевую пелену слева замаячили глинобитные мазанки и фанзы. В колонне оживление, говор, выделяется фраза:

- Населенный пункт! Побачим, как живут за границей...

Я прикидываю: головная походная застава прошла этот маленький поселок не пункт, а пунктик, - стрельбы не было.

Проходим: покосившиеся, полуразваленные, в пересекающихся трещинах мазапки и фанзы, задичавшие, захлестнутые бурым бурьяном дворики. Ни единой живой души. Ни человека, ни животных, ни птиц. Лишь у колодцев с полусгнившими срубами или обложенных серыми плоскими камнями табунились славяне, дзенькали пустые ведра. Мы с Трушиным, Иванов и Петров свернули к колодцам. Слышим:

- Нету воды?

- Была, да сплыла!

- Сухой-сухой. Как у тебя глотка!

- Вода куда-то ушла...

- Потому и жителей пет. Ушли, видать, как только ушла вода...

Вполне возможно. Судя по обветшалости жилищ и запущенности двориков, поселок давненько необитаем. А вообще-то, предчувствуя войну, японцы отселяли местных жителей за Хингап, в глубь Маньчжурии. Ну что ж, пошли дальше. Оставляем за собой лачуги, пристраиваемся к колонне. Где же вы, водоемы, где же вы, полные до краев термосы и канистры? А когда освободителям подвезут обед? Тылы отстали? Мало вас гонял комдив, товарищи интенданты! Вообще на интендантов принято все шишки валить. На кого же еще?

В километре за населенным пунктом при дороге валялись два трупа. Японцы. Рассматривать было некогда, но каждый взглянул. Взглянул и я: одежда цвета хаки, на ногах то ли обмотки, то ли гетры, с обоих не слетели фуражки. Японцы лежали на своих карабинах, ничком, подломив руку или йогу, в неудобной даже для мертвого позе. Подумал так: неудобная даже для мертвого поза - и нахмурился: под японцами подзасохли лужи крови. Трупьт были напоминанием, знаком того, что при стрельбе иногда убивают.

Еще подумал: эти двое нам уже не страшны... В некоем романтическом писании (не в "дивизионке" ль?) вычитал о погибшем бойце: дескать, он и мертвый был страшен врагам! Выспренность и неправда: страшны живые, и мы, живые, страшны для врагов. Так же. как и они для пас. Мои мысли об убитых японцах не были жестокостью. Это просто фронтовая жизнь. А вот на солпцегреве трупы раздует, засмердят, по никто их не собирается закапывать: не отставай, подтянись, шире шаг! И это тоже фронтовая жизнь. Закопают позже...

Когда отошли, Трушин спросил:

- Видал, Петро?

Чего спрашивать? Что я, зажмуривался, что ли? Но ответил без раздражения:

- Видал. И еще навидаюсь...

- Да уж, на смерть насмотримся. И в нашем обличье, и в японском...

Говорим негромко, чтоб солдаты не слышали. Не для них эти рассуждения и этот тон. И тут нагоняют полевые кухни! Ура!

Сладостная команда:

- Прива-а-ал!

Ее повторяю с удовольствием, с наслаждением и дольше, чем нужно. Колонна сворачивает, роты обособляются: кучками рассаживаются, освобождаясь от ноши, разуваясь. Ядреный запашок от портянок улетучивается не сразу. Меж солдатами снует вислоусый и вислоухий санинструктор, будто скособоченный санитарной сумкой, начальственно покрикивает:

- Признавайсь, у кого потертости?

Не признаются, а кое-кто посылает помощника смерти туда-то.

Игнорируя несознательность, санинструктор наклоняется, осматривает ступни, строптивым выговаривает:

- Охромеешь - хрен тебе цена!

Есть ли потертости, нет ли, а топать надо. Но и ножки беречь, конечно, надо. Вдруг вспоминаю об убитых японцах. Мы ушли, они остались лежать на карабинах, на пыльно-кровавой ржавчине. Подзасохшая. ржавая кровь - это знакомо. Будем обедать невдалеке от этих трупов. На западе такое соседство бывало и поближе. Под Оршей, под Осинстроем, например. В январе сорок четвертого, когда было наше наступление неудачное, захлебнувшееся. Сколько ни поднимались в атаку, немцы укладывали страшенным огнем. Нигде после я подобных потерь не видывал: труп на трупе. И обед мы хлебали из котелков, поставленных на закаменевшие, занесенные снегом трупы, которыми были забиты "нейтралка", окопы и траншеи. На этом наступлении, говорят, погорел наш командующий фронтом: перевели на другой фронт, начальником штаба. Уж слишком велики были потери... Здесь, на привале, обед мы получили, как под Оршей, первое и второе, суп и каша - вместе. Проще сказать: густой суп. Плюс тонюсенький ломтик консервированной колбасы, повертев который верный ординарец Драчев изрек:

- Через него видно матку боску!

Ну да, в Польше подцепил. Когда ломтик сыра или колбасы сверхтонкий, поляки говорят с неодобрением: через него видно матку боску, по-нашему матерь божью.

Воды нам не привезли, но одна исходная кухня была с чаем, и каждому досталось по кружке. Матка боска, разве ж напьешься? Мы сперва выпили чай (выпили! Мазнули по губам - вот что это!), затем захлебалп супец. А ломтик колбаски с хлебом как бутерброд - на второе. На третье фига с маслом. Обычно на третье был чаек, сейчас он пошел на закуску. Закуска, десерт... да ну вас к черту, водички бы, чайку бы от пуза! Трушин уверяет, будто командир полка сказал, что вот-вот будут самолеты с водой.

Дай бог! Котелки мыть было нечем, и солдаты выскребали их ложками, протирали кусочками хлеба. Старшина Колбаковсшш поучал:

- Хоть вылизывайте! Но чтоб были чистые стенки. Иначе пристанет песок...

Солдаты отдыхают, а офицеры колготятся - это закон. Вскоре и за мной явился посыльный, увел к батальонному начальству.

Капитан информировал ротных: командир полка требует повышения бдительности, ибо японское командование оставляет у нас в тылу летучие отряды, рассредоточенные на мелкие группы; их задачи - шпионаж, диверсии, нападение на наши коммуникации, на отдельные гарнизоны и подразделения; эти летучие отряды - иногда численностью до четырех тысяч человек сформированы из ярых самураев, отлично вооружены, имеют заранее подготовленные военно-продовольственные базы в глухой местности. Об этом командира полка информировал комдив, комдива - комкор, комкора командарм. По этой же лесенке вниз было спущено и другое предупреждение: остерегайтесь смертников из частей спецназначения, их основная задача уничтожение командного состава и боевой техники советских войск; действуя мелкими группами или в одиночку, смертники уничтожают офицеров и генералов холодным оружием из-за угла, тапки подрывают, бросаясь под них со связками гранат или с минами, часть смертников специально подготовлена для взрыва мостов на путях наступления наших войск.

Командир батальона чеканит: бдительность и бдительность! - и распускает ротных. Теперь я должен проинформировать взводных, а те - отделенных, а те - солдат. Нет, перешагнем несколько ступенек служебной лестницы: насчет летучих отрядов, смертников и бдительности говорю сразу всему личному составу роты.

Солдаты слушают с достаточной серьезностью. Вполне серьезен и я: наши враги не только жара, жажда и расстояния.

- Подготовиться к построению!

Выполнять команду солдаты, однако, не торопятся. Старшина Колбаковский в таких случаях говорит: "Не чухаются".

- Подготовиться к построению!

Полеживают, посматривают друг на друга: кто первый поднимется? На меня забывают посмотреть. Я рывком поднимаюсь и рявкаю:

- Вста-ать!

Подействовало. С позевыванием, кряхтением, ворчанием начали наматывать портянки, натягивать сапоги и ботинки, скатывать шинели, разбирать оружие. Ворчливей всех Егорша Свиридов;

- Построиться завсегда можно. Но ты спервоначалу напои по норме...

О норме запел! Сержант Черкасов - внушительно:

- Свиридов, кончай шаманить!

Словцо новое в нашем обиходе, солдаты заинтересованно поворачиваются к Черкасову, сам Свиридов на секунду замирает. А затем - с достоинством:

- Чего мне шаманить, сержант? Я не шаман...

- Кончай, кончай! Становись в строй!

Так или иначе выраженьице полюбилось враз. Через четверть часа на марше и я уже сказанул повздорившим - кто-то кого-то толкнул - бойцам:

- Кончайте шаманить!

Когда я спросил Трушина, где же обещанные самолеты с водой, он ответил:

- Кончай шаманить, Петро!

Ну, коль политработник употребляет это словечко, - узаконено!

- Воздух, воздух!

Задрали головы, но укрываться не бросились. Поскольку самолет наш. Здравствуй, долго жданный! Не кружи, не тарахти, садись. Посадочных площадок сколько угодно. Выбирай по вкусу и садись. А самолет, милый "У-2", разлюбезный "кукурузник", оттарахтев, опустился на равнинке, и от роты потребовали трех бойцов с термосами. Устали, измучены, но добровольцев - хоть отбавляй. Разумеют, хитрецы: там, где воду будут разливать по термосам, можно попользоваться на дармовщинку, на халяву. Короче - урвать сверх положенного!

Колбаковский выбрал настырных - Кулагина, Логачеева и Свиридова. Резвой трусцой они двинули к самолетику, словно боясь опоздать, словно воду раздадут и нашей роте не достанется. Вероятно, того же остерегались и полномочные представители других подразделений: не шли, а трусили рысцой.

Возвратились посланцы с термосами за спиной, мужественноскорбные: во-первых, как выяснилось, урвать сверх

нормы не удалось, жмоты попались, а во-вторых, термосы были налиты лишь до половины - "кукурузник" привез мало воды. Подсчитали: по полкружки на брата. И за то спасибо, хозяева неба.

Воду выдавал Колбаковский. Выверенность его руки была поразительна: зачерпывает кружкой - ровно половина. Получай!

Следующий! Первую кружку Кондрат Петрович подал Трушину.

- Прошу, товарищ гвардии старший лейтенант!

Федор неспешно выпил, обтер губы. Колбаковский зачерпнул мне:

- Пейте на здоровье, товарищ лейтенант!

- Благодарю, Кондрат Петрович...

Я перелил воду в свою кружку, поднес ко рту. Тепловатая и солоноватая, вода показалась холодной и сладкой, как из родника. Стараясь не жадничать, выпил до капельки. И неожиданно крякнул. Старшина рассмеялся:

- Дюже понравилось? Добавки дать? Вторую порцию?

- Ты не шутишь, старшина? - спросил Трушин.

- Никак нет! Командиру роты и вам положено еще... И Петрову с Ивановым, так как лейтенанты... Офицерам положено!

И он протянул мне кружку. Я отстранил ее, сказал:

- Кондрат Петрович, оставь! Нормы действуют для всех, без исключения!

- Кончай шаманить, старшина! - резко сказал Трушин, и Колбаковский покраснел: бурая от солнца кожа еще сильней побурела. Он открыл рот, но ничего не ответил, махнул рукой, отвернулся.

Мне было нехорошо и от резкости Трушина, и от услужливости и обидчивости Колбаковского, и от собственной растерянности.

Чтобы преодолеть ее, сказал:

- Кондрат Петрович, если останется лишняя вода, наполните несколько фляжек. Ротный энзэ... Будем выдавать наиболее ослабевшим...

- Слушаюсь, - буркнул старшина.

- Продолжайте раздачу воды. Чтоб всем хватило!

- Слушаюсь...

После заминки, вызванной раздачей воды, шагать пришлось ходко. Обязаны поспешать: вкуспли водички. Хотя, если по-честоому, полкружки не притушили жажды, скорей разожгли ее. Ничего, когда-нибудь напьемся всласть. Степь, полупустыня, сопки и пади - на все четыре стороны. Чем дальше на юго-запад, тем круче сопки и глубже пади - в расщелинах темнее. Где-нибудь

там могут скрываться группы из летучих отрядов, смертники из спецчастей? А почему бы и нет? Днем вряд ли рискнут высунуться, ночью - вполне. До ночи не так уж далеко.

На сопке опять кумирня, такую уже видели в Маньчжурии и такие видели в Монголии, одну - возле станции Баян-Тумэнь, от которой мы порядочно оттопали! Небо голубоватое, умиротворенное, самолетов никаких нет. Машин в степи стало поменьше. Впечатление: одна пехота остается, да и она вроде бы рассасывается, втягиваясь в распадки. Зной спал, дышится раскрепощенней, и потеем не столь обильно. Но усталость наваливается, пеленает руки-ноги. До привала, до ночевки доковыляем. "Ползем" и "ковыляем" - для красного словца. Идем мы нормально. Как положено, если за плечами километров сорок, а то и пятьдесят. А?

Приличный отрезочек? И откуда выносливость, прямо-таки фантастическая?

В сгущавшихся сумерках добрались до места ночевки у подножия безымянной сопки. Ужина не было, и чая не было. С батальонной кухни нам дали немного воды, к ней я приплюсовал те несколько фляжек, что давеча наполнил Колбаковский. Воду делили под мопм непосредственным наблюдением: ослабевшим - поболе, крепким - помене, офицеры и старшина Колбаковский отнесены ко вторым. Пососав сухарик и запив водичкой, солдаты раскатывали шинели - и мертвецки засыпали. Воздух посвежел, и потное тело быстренько остывало. Ночью, пожалуй, просифонит. И мы с Трушиным, как бывало на фронте, улеглись спиной к спине: одну шинель под себя, второю укрылись. Да-а, прохладно... А что за жарплка была днем! Я сказал: как бывало на фронте. А сейчас разве не фронт? Называется: Забайкальский...

Шуршала трава, словно в ней ползли, на сопках в низкорослых кустиках посвистывал ветер, словно кто-то кому-то давал условный знак. На фоне неба - силуэты часовых: посты усилены, указания командира полка материализуются. Я подтянул ноги, налитые тяжестью; ею, однако, налито все тело, каждая клеточка. Не скрою: и на душе не было особой легкости.

Повертевшись и повздыхав, Трушин сказал:

- Спокойной ночи, Петро.

- Спокойной ночи, Федор, - ответил я и почти сразу уснул.

Временами что-то отрывочно, размазашю спилось: незнакомые

женщины, незнакомые дети, знакомый пушкарь Гена Базыков, отхвативший Героя, лязгающая гусеницами тридцатьчетверка, пехотные колонны, пустая фляга, редактор с пачкой "дивизионки), соленое озеро, обиженный старшина Колбаковский,

убитые японцы, скрип повозочных колес, стрельба из "гочкиса", из "максима", из танковой пушки.

16

Стрельба-то и разбудила. Вернее, я проснулся и от стрельбы, и оттого, что Трушин тряс меня, как грушу:

- Петро, тревога!

Вскочив, я схватил автомат. Огляделся. Труптип стоял уже с автоматом на груди. А стреляли часовые - то ли вверх, то ли куда-то в темную степь. Подумалось: своих бы не перестрелять.

Солдаты занимали круговую оборону. Мы с Трушиным залегли в цепи, на влажной от росы траве. Со спа прохватывало ознобом.

И от некоторого волнения: что стряслось? Надо подать голос, скомандовать, чтоб учуяли: командир здесь, командир знает, что к чему. Не знаю, но кричу зычно:

- Внимание! Без моей команды не стрелять!

Между тем часовые прекратили пальбу, вверх пошла серия осветитсльпых ракет: в белесом колеблющемся свете трава, наша цепь, в степи вроде бы, кроме нас, никого. Ракеты прогорели, стало темней, чем прежде. И эта темнота подбавляла неразберихи, нервозности. Пробежал комбат, пробежал адъютант старший, ни Трушину, ни мне ничего не сказали. Опять серия ракет. Опять непроглядная тьма.

- Чертовщина! - шепчет Трушин. - Тревога, а непопятно отчего... Ты оставайся в цепи, будьте начеку, я разыщу комбата, разузнаю...

- Понял, - говорю. - Мне дай знать.

- Ворочусь в роту.

- Понял...

Трушин растворился во мраке. Где-то переговаривались - голос комбата и чей-то еще. Слов не разобрать. Я застегнул ворот гимнастерки, поплотней надел пилотку и уразумел: проделываю это, чтобы унять волнение. А оно росло, ибо была неопределенность, была неизвестность: что же произошло? Не перевариваю неизвестности, по мне пусть будет хуже, по зато определенность - ты соответственно соображаешь, как поступить. А тут и соображать нечего: лежи и жди распоряжений от комбата. И распоряжение пришло: отставить тревогу. А потом заявился и друг любезный Федя Трушин, объяснил:

- То ль часовому помстилось, то ль в реальности: якобы к расположению подбирались. Мелькнули тени, и он выстрелил вверх. Тревогу подняли и другие часовые, хотя они ни черта не видели. Просто поддержали первый выстрел...

Поддержали? А может, нервишки не выдержали?

Наслышались гаврики про смертников, летучие отряды, вот и пуляли посередь ночи. Егор Свиридов сострил:

- Сами не спят и людям не дают!

Это он о часовых. Не очень остроумно, по бойцы засмеялись, и напряжение спало. Сноровисто улеглись на шинельки добирать сна. И то дело - мы с Трушиным тоже улеглись. До подъема на рассвете продрыхли без происшествий, и после побудки, сладко потягиваясь, певец-солист и остряк-самоучка Егорша Свиридов сказал:

- Я сегодня нежился с одной особой.

- С какой? - наивно спросил Филипп Головастиков.

- С особой женского полу, Головастик! Во сие! - И захохотал, вынуждая и Головастикова изобразить улыбку.

- Егоршу смертники пужанули, он к бабе и кинулся под подол! - вклинился Толя Кулагин.

И начался перепляс, то есть треп в лучших традициях - с шуткой, с подначкой, с соленым словцом. О ночном происшествии отзывались, в общем, иронично: сослепу, с переляку часовые учинили пальбу, устроили шухер, утром небось стыдно было глядеть на товарищей, коих взбулгачили своими выстрелами.

Рассвет едва брезжил, когда колонны стали вытягиваться на караванную тропу. Поспали мы часов шесть-семь, вполне прилично. Но не отдохнули: мышцы болели, поясница ныла, голова несвежая, дурманная и пересохшая еще во сие глотка. Жажда сразу точит, как червь. День обещает быть жарким и ветреным. Закат вчера не был багровым, сулящим ветер, однако вопреки приметам задувало, несло песок. И, кажется, ветер усиливается. Значит, великая пустыня Гоби не дремлет, посылает сюда свои гостинцы - обжигающие суховеи. Степь ожила: гудят машины, поскрипывают повозки, топочет пехота; в отдалении - гул наших бомбардировщиков: две эскадрильи. В отдалении же артиллерийская стрельба. Вторые сутки войны раскручиваются...

На марше нас и настигла весть, от которой я похолодел, хотя уже пригревало добре. По колонне прокатилась команда:

- Командиры батальонов и рот, в голову колонны! Срочно к командиру полка!

Я догнал комбата, и мы вышли из строя. Подождали, пока подойдут остальные ротные. Вместе нагнали голову полковой колонны. Капитан доложил командиру полка: по вашему приказанию явились... Не слезая с коня, командир полка кивнул. Он ехал, мы шли, он не глядел на нас, мы на него поглядывали. Что-то мне не понравилось в его облике: брови насуплены, рот сомкнут, катаются желваки, а плечи опущены, будто сгорбился

под ношей, которой у него нет. Командир полка славился подтянутостью, выправкой, а тут - сутулится... Когда подошли офицеры из других батальонов, он спешился, отдал поводья коноводу и сказал нам:

- Отойдем на обочину.

Перед нами проходили солдаты, смотрели на нас с любопытством. А комполка говорил, едва разжимая губы:

- Ночью японцы вырезали батарею. Только что по рации сообщил комкор... Сняли часовых, набросились на спящих. И ножами... Мало кто уцелел... Генерал требует пресечения малейшей беспечности. Всемерно повысить бдительность! Пусть этот трагический урок послужит всем нам... Того же требую и я!

Вопросы есть?

- Какие-нибудь подробности известны? - спросил комбат-3.

- Подробностей нет. Кроме одной: батарея ночевала невдалеке от нашего полка, - сказал начальник полкового штаба.

- Вот именно, - сказал командир полка. - Делайте выводы...

Нам с комбатом пришлось нагонять свою колонну, офицеры из второго батальона с обочины шагнули прямо к подчиненным - те как раз проходили рядом, а офицеры третьего батальона остались поджидать подразделения. Я подумал об этом, чтобы не думать о другом: может быть, они подбирались ночью к нашему расположению, но их отогнали? Возможно и это. Не исключено, однако, что подбиралась и не эта группа. Сколько их в летучих отрядах?

Вот она - японская армия. Пощады от самураев не будет. Но пускай и от нас не ждут пощады. Отомстим!

Наверно, впервые не я узнал новость от Трушина, а он от меня. Не сообщать бы об этом! Трудно говорить. Но надо. Федор даже застонал:

- Бедные ребята... - Взял себя в руки, сказав по-деловому: - Нужно провести беседы агитаторов об этом злодеянии, озадачить личный состав, нацелить на повышение бдительности.

Озадачить, нацелить - канцелярские слова, не приложимые к трагедии на батарее, но я сказал:

- Беседы проведем, коль надо... И отомстить надо!

- В бою отомстим, Петро!

- Рассчитаемся...

Марш продолжался, а над нами словно витали тени погибших артиллеристов.

Пески сменяются кремнистой почвой, та - солончаками, солончаки - снова песками. "Студебеккеры" буксуют, шоферы бросают под колеса доски, тут же перемалываемые в щепки. Солдаты подходят к машине, секунду стоят в ее тени, после

толкают под грузчицкое: "Раз, два - взяли! Еще раз - взяли!" Набредаем на заброшенный, но не сухой, а с грязью колодец. Командира полка осеняет: почерпаем, может, доберемся до воды. Объявляется малый привал, и саперы, обвязавшись веревками, спускаются в колодец, поднимают ведра с разжиженным грунтом. Содержимое вываливается на землю, а ведра снова черпают грязюку. Командир полка смотрит-смотрит на потеки грязи и говорит командиру саперного взвода:

- Лейтенант! Пропустите эту грязь через песчаный фильтр.

Можем получить воду...

Лейтенат, тоже сообразительный, приказывает саперам:

- Продырявить дно в двух ведрах. Чтоб как сито...

В эти ведра насыпали песок. В первое ведро вылили вынутую из колодца жижу. Выцеженную из первого ведра мутную жидкость пропустили потом сквозь второе. Потекла почти чистая вода! Командир полка зачерпнул и выпил:

- Годится!

После этого разрешил спять пробу полковой врачихе-красавице. Она оттопырила мизинчик, обмакнула губы-бантики, пропела:

- Водичку разрешаю употреблять...

Командир полка и врачиха пробовали, а мы ворочали, казалось, распухшими языками и мучительно сглатывали вязкую слюну. Это называется: слюнки текут. И как будто не было только что скорбных мыслей о погибших артиллеристах. Мысли были иные: достанется ли и нам хлебнуть этой выцеженной из грязи и песка водицы, наверное, она вкусная-вкусная? Так вот переплетаются трагедия и быт...

А ветер швырял песок сперва горстями, затем словно лопатой, затем не разберешь как - навалом. И уже крик:

- Песчаная буря идет!

Солнце потускнело, и вроде от него исходил порывистый, раскаленный ветер. Командир полка поспешно приказал:

- Укрыть оружие, технику! Люди - под плащ-палатки!

Ветер уже шквалистый. Округу заволокло песчаной тучей. Не продохнуть! На капоты машин, на орудийные стволы натянуты чехлы из брезента, офпцеры и солдаты на корточках, прикрытые плащ-палатками и накидками, прижимают к себе автоматы и винтовки. Я спжу, согнувшись в три погибели, изредка высовываясь на свет божий: что там? Все седое от песка и пыли. И опять думаю о зарезанных артиллеристах. Это десятки человек. Некоторых знал в лицо, некоторых - лишь пофамильно, большинство - незнакомо. Моя слабинка богатое воображение. Представляю, как лежат трупы: нпчком, навзничь, перерезанное

горло, проколотая на сппне или груди гимнастерка - и спереди и сзади достанешь до сердца, - закатившиеся глаза, искривленный предсмертным стоном рот, пропитавшаяся кровью одежда. Не хочется видеть кровавых подробностей, а вижу. Я их стараюсь отодвинуть подальше, в туман, в морок, в песчаную пелену, а они проступают. Не надо мне подробностей! Вместительная братская могила - и все. Над такой и фанерный обелиск и жестяная звезда побольше...

Артиллерийские расчеты убиты, и орудия осиротели. Орудиясироты. А ведь у кого-то из артиллеристов были дети. И дети стали сиротами. Что же с ними станется? Что станется с тысячами и тысячами осиротппенных войной мальчишек и девчонок, с тем беспризорником, что верещал частушки на минском вокзале?

Не уходит он из моей памяти. А что станется с симпатичным чертенком Гошкой, у которого есть мать - Нина, но которого бросил отец? Тоже наполовину сирота... Я и сам сирота. Великовозрастный, правда. О погибших артиллеристах поплачут родные, обо мне - некому, если убьют. Друзья-фронтовики обходятся без слез, плачут лишь близкие женщины и родия. И сирот после меня не останется. Возможно, это и хорошо, что у меня нет своей семьи, нет детей. Да что же о себе толковать, куда свернули мысли?

Высунувшись из-под плащ-палатки, определил: окрест попрежнему песчаные тучи, но метет не столь сильно. Толчки ветра уже не напоминают удары. Все-таки еще с полчаса просидели в укрытии, в итоге набралось два часа сидения! Два часа потеряно для марша, за это время куда можно было утопать! И к тому же не отдохнули: скрючившись, изнывали от духоты, от недостатка кислорода. Сомневаюсь, чтоб кто-нибудь даже из бывалых, из умудряющихся спать на ходу, в этих условиях мог задремать.

Мы вылезали, как из нор, из-под засыпанных песком плащпалаток, отряхивались, отфыркивались, отплевывались, выбивали пилотки. И здесь сюрприз: наш колодец завалило песком так, что и не видать. Командир полка сказал:

- До вечера прокопаемся. Придется бросить...

- Так точно! - сказал лейтенант-сапер.

Так точно: наша вола накрылась. А ведь была уже, чистенькая, питьевая. Надо ж было нагрянуть песчаной буре. Стихийное явление, против которого не попрешь. Как и против войны. И потому - шире шаг. Так точно, шире шаг! Постепенно ветер стих.

Накаленный воздух; суслики - и те попрятались в норы: эти

норы и порки - как оспнпы на лице пустыни. Ну и жарынь - шибче, чем вчера. Караванную тропу нашу засыпало песком. Топаем будто целиком, увязаем по щиколотку, и впрямь похожие на бредущий кара-ван. Идем, идем, с каждым шагом, из которых складываются версты, и мысли и чувства приглушаются, словно присыпанные толстым слоем песка. Мы тупеем от зноя, жажды, усталости. Ощущение: постепенно глохнем и слепнем. Какое преодолели расстояние, трудно сказать, сколько времени без привала, тоже не скажу, ибо не смотрю на часы, которые вовсе закапризничали: преимущественно стоят. Они стоят, я иду, и Федя Трушин с презрением говорит о них:

- Барахло!

И к нему с вопросом: "Который час?" - обращаться уже неловко. Головастиковские часики, конечно, барахло, однако иных нету. А эти бы надо просто-напросто закинуть. Через плечо и подальше. Жаль, они не мои. Вернуть Головастикову также как-то неловко. И об этом думаю отупело, сонно.

Но отупелость и сонливость живо пропадают, когда наш батальон выводят из полковой колонны и командир полка объявляет: мы поступаем во временное распоряжение командира мотострелкового батальона. Я таращился на комполка, и до сознания доходило: наконец-то будет настоящий бой! За этой обшей мыслью приходили детали: передовые отряды рванули далеко, не задерживаясь, не ввязываясь в бои с остающимися у них в тылу японцами. Добивать такие подразделения и части - задача идущих во втором эшелоне наступления. Мотострелковая дивизия и наша во втором. Мотострелки окружили монастырь, где засели японцы, и атакуют, но до сих пор безуспешно. Поскольку остальные подразделения мотострелковой дивизии ушли вперед, комкор приказал нашей дивизии выделить батальон на подмогу, и выделили наш, непромокаемый, непотопляемый, геройский.

- Задача ясна? - Командир полка пристально глядит кй комбата.

- Так точно, ясна... Разрешите выполнять?

- Выполняйте! И быстрей нагнать полк! Батальон обрито подбросят на машинах... Желаю успехов!

- Спасибо... Батальон, слушай мою команду!

Мы слушали команду: "Правое плечо вперед, шагом марш!" - и только сейчас вроде бы услышали слабенькое эхо стрельбы. Где стреляют? Вон на топ сопке, что ли? На ней нечто громадное, белое, словно парящее в знойном воздухе. Мираж? Да это ж монастырь! Туда нам и надо. Да это прикрытие монастырь, командир полка уточнил, что там разведывательно-диверсионный

центр.

Ну. этих запросто не выковырнешь, потому и поспешаем ш" подмогу соседям-мотострелкам. Слышу, как капитан объясняется с Трушиным:

- Почему я должен подчиняться комбату мотострелковому, а не он мне?

- Самолюбие взыграло? Брось...

- Пурхаются там, а мне отдуваться.

- Брось! Должности у вас равные, но он по звыпю манор.

- Майор, а пурхается...

Капитан ворчит. И Трушин, это очевидно, ворчит: недоволен комбатом. И чешет ему на "ты". А вот я "тыкнуть" комбату уже не могу. Спрошу его на "вы" - мысленно: "Товарищ капитан, разве в этом соль - кто кому подчиняется? Разбить бы противника и минимум потерь - вот наша забота. А на данном, как говорится, этапе поскорей добраться бы до места назначения". Оно сравнительно близко, но команда "Шире шаг!" подталкивает и подталкивает нас. Люди выматываются, хрипло дыша и пошатываясь. У Яши Вострикова кровь носом. Санинструктор смачивает его носовой платок, прикладывает к носу. Постояв с запрокинутой головой, Вострпков догоняет роту. Направляющие, шире шаг!

Кровь из носа идет и еще кое у кого. Они запрокидывают головы, зажимают носы пальцами пли носовыми платками и снова шагают.

Дацан - монастырь - ближе и ближе, и стрельба слышнее.

На взлобке, перед монастырем, виден каменный Будда. Разглядывать его особенно некогда, а вот вслушаться надо: из чего стреляют и где стрельба сильней. Различаю пулеметные и автоматные очереди, винтовочные выстрелы, разрывы мин, наиболее интенсивная стрельба на левом от пас фланге, где русло давно пересохшей реки - трава и даже кустарник.

Не доходя до русла, капитан приказал рассредоточиться и залечь, а сам направился к майору, на КП мотострелкового батальона. Мы попадали наземь. Отдыхали. Прислушивались. Проверяли оружие. Я посматривал на солдат, они посматривали на меня, и этот обмен взглядами обещал близость боя. Наступают решающие минуты, когда со своимп солдатами пойду в огонь - для многпх это будет впервые, - и надо, чтоб они были уверены во мне. Как и я в них. И еще надо, чтобы судьба оказалась к нам не слишком суровой. Чтобы мои люди остались живы. И не покалечены.

Да, и лупоглазый Будда смотрел на пас. Мы смотрели на пего.

Но обмен взглядами, пожалуй, ничего и никому не обещал. Истукан останется на месте, а мы пойдем дальше, к Хпнгану. Только сначала нужно разделаться с самураями в монастыре и в окопах вокруг монастыря. Эти окопчики отсюда просматриваются неплохо. Капитан вернется, и пробьет наш час. До этого необходимо что-то сказать солдатам. Тогда прервется тягостное, выматывающее молчание, тогда они приободрятся, воспрянут духом.

Таких слов я не находил. Федя Трушин сказал:

- Ребята! Этот дацан окружен. Устроим самураям маленький Сталинград!

И бойцы оживились, кто-то улыбнулся, кто-то произнес:

"Сталинград? Здорово!" Оказывается, и японцы нас недурно видели, постреливали из окопов. Прошедшая в сантиметре от виска пуля предупредила: стреляют - могут и убить. Я приказал роте:

- Не высовываться! Беречь головы!

- Точпяк, - сказал Логачеев. - Эту продырявят - замену старшина Колбаковскпй не выдаст.

Через взводных передаю новую команду:

- Фронтовикам в бою опекать молодых, при необходимости немедля приходить на выручку!

П только тут, задним числом, поеживаюсь: сантиметр - это очень близко. Собственно, до боя могло укокать. Ты, Глушков, тоже побереги голову, замены не будет. Взамен - фанерная пирамидка, жестяная звездочка, не спеши с этим. Конечно, со временем их сменит мраморное надгробие с золочеными буквами.

И все-таки не спеши.

Комбат повел нас балкой - мы охватывали дацан с северозапада. А мотострелковый батальон сместился на юго-восток. Перегруппировка позволила создать большую плотность ружейнопулеметпого огня. Да и минометов прибавилось. Кстати, решено было перед атакой произвести интенсивный огневой налет из всех наличных минометов. По данным разведки, которую проводил мотострелковый батальон, монастырь обороняют двести - двести пятьдесят японцев - из разведывательно-диверсионного центра и в основном остатки разбитых подразделений, стекавшиеся к монастырю; вооружение пулеметы, винтовки, карабины, гранаты.

Взмыла красная ракета, и ударили минометы, ротные и батальонные. Мины рвались то слабей, то мощней, по с одинаковым лопающимся звуком. По всей японской обороне вокруг дацана и во дворе тучи пыли и дыма, сносимые на нас, Это

неплохо:

как будто поставлена дымовая завеса, прикроет в атаке. Минут десять спустя вторая красная ракета, и я кричу:

- Рота, в атаку, за мной!

Мне не обязательно идти в первых рядах, по я подымаюсь с цепью, бегу, призывно размахивая автоматом. Это больше для безусых, необстрелянных: ротный с ними! Бегу и успеваю заметить: рота, не мешкая, бежит за мной, Иванов и Петров догоняют, а сержант Черкасов вырывается вперед. На ходу стреляем из автоматов, ручных пулеметов; с флангов нас поддерживают станковые пулеметы; за монастырем слышна такая же стрельба, да еще и треск мотоциклов: мотострелкп атакуют в пешем строю и ломятся на своих трещотках. Японцы огрызаются: стегают очереди "гочкисов", беспрерывны выстрелы карабинов.

Слева, как хлыстом, рассекает воздух пулеметная очередь.

Цепь залегает. Я - в середине ее - командую:

- Перебежками вперед! По-пластупски вперед!

Кто ползет, обдирая локти и колени о камни, кто вскакивает, пригнувшись, пробегает несколько метров, падает, отползает в сторонку. Вести огонь не прекращаем нп на минуту. Не прекращают и японцы. Я перебегаю, даю очередь, осматриваюсь. Отставших вроде бы нет, рота продвигается. Продвигаются ы другие "юты.

Нот заливает глаза, руки и ноги дрожат от напряжения, жажда склеивает губы, в висках стучит кровь: впе-ред, впе-ред. Понимаешь: потеть и надрываться на марше совсем не то, что в атаке.

Очередь взбивает пыльные фонтанчики перед носом, я вжимаюсь в землю и на какой-то миг теряю представление, где я и что я.

На миг мерещится: в разгар лета атакуем смоленскую деревню.

Немецкий крупнокалиберный пулемет чешет кинжальным огнем с кот"кольни. Вторая очередь возле физиономии возвращает к действительности. По-пластунски отползаю с простреливаемого пятачка. Доносятся команды Иванова и Петрова:

- Второй взвод, броском вперед!

- Третий взвод, вперед! Вперед!

Издалека доносится и голос Трушина - он где-то в третьей роте, на стыке:

- За Родину, за Сталина!

Опять перебегаю, падаю, оглядываюсь. Слава богу, потерь как будто нет. Добираемся до окрайка кустарничка - рубеж атаки.

Приказываю:

- Дозарядить оружие! Вставить запалы!

Меняю магазин в автомате, вставляю запал в гранату. Стерегу ракету комбата. Клочья дыма плывут над кустарником, над травой, над нами, распластанными. Думаю: "Наступает решающий момент". Ветер горячими волнами проходит, взметая песок.

Пропарывает дым ракета, зависает световой каплей.

- Рота, в атаку! Ура!

Мой вопль подхватывают десятки глоток:

- Ура! Ура-а!

Теперь языки дыма лижут нам лица, забивают легкие, дышать все трудней. Там и сям мелькают фигуры. Стрельба, Взрывы гранат. Мы спрыгиваем в окопы, в траншею. Головастиков орет:

- Хенде хох!

Словно поправляя его, орет Кулагин:

- Руки вверх!

Крикнуть бы по-японски. Японским мы не владеем. Но хорошо владеем автоматом, гранатой, саперной лопаткой, финским ножом. Рукопашная, однако, длится недолго: вижу японцев с поднятыми руками, с белыми полотенцами на палках, на штыках. Наши бойцы дулами автоматов подталкивают их к выходу из траншеи, из окопов наверх, на поляну перед монастырем. Роты перемешались, и какой-то дядя, не из моих ветеранов, поводя автоматом, сплевывает залихватски:

- Мы, восточники, тоже не лыком шитые!

Да, да, восточники воюют не хуже западников. Пытаюсь собрать свою роту ж веду ее во двор, внутрь монастыря. Капитан останавливает:

- Не надо. Там уже мотострелки. Принимай у пленных оружие.

- Слушаюсь!

Капитан подкопчен дымом, в потных потеках - как и другие, впрочем. Включая меня. Японцы не такие потные и грязные. Ну, чистенькие, сдавайте оружие! Кое-где крики и стоны. Кое-где одиночные выстрелы. Тошнотно воняет горелым тряпьем. Я показал японцам рукой: стройтесь, мол, в затылок и по одному подходите. И, представьте, поняли! Низкорослые, кривоногие, скуластые, зубы выпирают, торчат, будто их больше чем тридцать два, немало в очках, молодые в основном, молча бросают карабин или винтовку, кланяются, отходят к нашим бойцам, которые берут их под охрану. Гора оружия растет. Несколько удивляет спокойствие, даже покорность японцев. Их не трогают и трупы товарищей, валяющиеся вокруг, среди минных воронок, на

брустверах окопов. Харакири не делают, кишок не выпускают. Ни офицеры, ни тем более солдаты. И смертников в белом не видать. Нам объясняли: смертники - в белых рубашках и штанах. Самурайский обычай?

Стукается приклад о приклад, ствол о ствол, японцы шаркают, крпволапят, сутулятся, под фуражечки, под кепи засовывают полотенца, полотенцем обматывают и шеи - от жары. А я вспоминаю сон, когда привиделось: идем на марше в одном исподнем, чистом, белом-белом. У нас обычай надевать чистое белье перед боем или перед смертью. Мама говорила: видеть во сне белый цвет - к болезни.

До плеча дотрагивается Филипп Головастиков:

- Товарищ лейтенант, дозвольте обратиться?

- Ну?

- Дозвольте вручить. Подарок. Трофей, - На раскрытой ладони, мозолистой и широкой, как лопата, часы на ремешке. - Ручные, товарищ лейтенант! Японские!

Я колеблюсь. Головастиков горячо убеждает:

- Вроде ходют справно. Командиру нельзя без часиков. А те, французские, давайте сюда...

- Ну, спасибо.

Беру у него новые, отдаю старые часы. Головастиков размахивается и далеко-далеко зашвыривает их. Усмехается:

- Брехунцы!

Часть солдат принимала оружие у японцев - на пулеметы, винтовки падают пистолеты, гранаты, ножи, мечи, - часть охраняла уже обезоруженных, часть благодушествовала, развалясь под кустами, на травке. Я с ординарцем Драчевым пошел в монастырь - нанести визит вежливости. В монастыре обыск. Мигают, чадят свечки. Пахнет затхлостью, плавящимся воском, застарелым салом, потом. Узнаю: обнаружены изрядные запасы оружия, радиостанции, фотоаппараты, топографические карты, склянки с ядамп, деньги - японские, китайские, монгольские, советские. В подземелье вещевые склады: в одном формепная одежда японских офицеров и солдат, во втором - халаты лам. Эти ламы, бритоголовые, гладкие, ухоженные, попадаются на каждом шагу. Их собирают в отдельном домике. Есть подозрение, что ламы - офицеры разведывательно-диверсионного центра. А что удивительного: вполпе могли работать под монахов. С этим разберутся уполномоченные Смерша, их хлеб. Важно, чтоб ламы не разбежались. Но ребята-особисты кладут на них глаз, а сами уполномоченные при содействии переводчиков уже допрашивают поручика, низко кланяющегося, с хлюпом втягивающего сквозь зубы воздух, - как

говорят, в знак почтения. Ну, давай, давай, втягивай. А у нас свои заботы, свой маршрут, расписанный по часам, и надо спешить в полк. Пленных отконвоируют без нас, а оружие примет трофейная команда.

- Устроили самураям маленький Сталинград! - говорит Трушин, но на этот раз бойцы не отзываются: напряжение боя ушло, расслаблены, молчаливы; бывает и по-другому: после боя появляется говорливость, возбужденность, на Западе это частенько наблюдалось. Замполиту отзывается лишь комбат:

- С каждой богадельней будем пурхаться, когда ж до Чанчуня и Мукдепа доберемся?

- Доберемся, дорогой комбат! Не унывай! Втемяшилось?

Услышав свое любимое слово из посторонних уст, капитан замирает, а потом улыбается одними глазами, похрустывает суставами пальцев. Молоденькие бойцы избегают смотреть на комбата: лицо стянуто рубцамп от ожогов, ресниц и бровей нет; я же попривык, не отворачиваюсь. Капитан приказывает провести перекличку личного состава и о потерях доложить ему. Рота выстраивается. Перекличка. Взводные докладывают мне. Но я и до их докладов знаю: потерь в роте нет, раненый один - ефрейтор Свиридов, ранение легкое. Какой-никакой бой, а потерь нет! Отлично!

Замечательно! Прекрасно! Подхожу к Егору Свиридову:

- В левую руку ранен?

- В левую, товарищ лейтенант! Да пустяк... Копчик пальца отшибло...

- Пустяк? Перевязку аккуратно сделали?

- Санинструктор индпакетом перебинтовал.

- Следи, чтоб повязка не слетела. Не загрязнить бы рапу...

А там в санчасть отправим...

- Нп в коем разе, товарищ лейтенант! Ни в какую санчасть не пойду! Оттуль переправят в госпиталь... Подумаешь, рала,..

Заживет... Меня одно заботит: как на аккордеоне играть буду?

- Нынче не до игрушек, заживет - будешь наяривать! - говорю я, всматриваясь в побледневшее лицо Свиридова.

Иду вдоль строя, вглядываясь в солдат, прежде всего в молодых, необстрелянных. Шалишь, теперь обстреляны. И - жпвы!

Мои солдаты целы! Мне известно: в батальоне есть убитые и тяжело раненные. Но горечь глушится радостью: мои, мои живы.

Щадящая пока война. По крайней мере первую роту пока гцадпт. Ну, а воевали мои солдатики недурно. Нормально воевали.

Не струсили и юнцы. Может быть, и потому, что рядышком были ветераны, которых вряд ли чем испугаешь...

Комбаты по рациям докладывают своим начальникам о взятии монастыря. Подвозят обед мотострелкам. Его по-братски делят на оба батальона: хоть немного, да попили чайку и перекусили. Теперь и поваляться в самый раз, поджидаючп "студебеккеры".

Первыми увозят раненых. Их бережно подсаживают пли вносят на носилках в санитарные "летучки". Ребята поранены, но жить будут. Хотя некоторые станут инвалидами. Да-а, не очень весела ты. жизнь инвалидная. Если добавить, что безрукому либо безногому стукнуло всего-то восемнадцать.

Потом машины приходят за мотострелкамп. Они сноровисто рассаживаются по кузовам, трещат мотоциклы. Комбаты обнимаются - прямо-таки сдружились, хлопают друг друга по спинам. Майор залезает в кабину, машет фуражкой. Мотострелки увозят с собой и своих убитых. А мы увозим своих. К нам в кузов кладут два завернутых в плащ-палатки тела. Они у моих ног, и, когда машину встряхивает на вымоинах, я поддерживаю тела, чтобы не скатывались. "Чтоб им было покойно", - думаю я, а под пальцами человеческая плоть, совсем недавно бывшая живою. Взводные, Иванов и Петров, едут в кабинах, я уступил свое место возле шофера Егору Свиридову. Уступил? Заставил: Егорша артачился, взмахивал забинтованной кистью. Героя изображал.

Я прицыкнул, и он полез на подножку.

Наверное, так оно должно - чтоб я ехал вместе с погибшими.

Кто они, знакомы ли мне? Скорей всего незнакомы: свою бы роту юлком запомнить. Лица же лежащих у ног я не запомню и теперь: не решаюсь отвернуть край плащ-палатки. Нет, война щадит не всех. Война уже показывает себя. И еще покажет. Как мечталось проехать на машине, дав отпуск натруженным ногам!

А сейчас словно не замечал, что не иду - еду. Покачивало, встряхивало, пыль клубилась по бортам и сзади; "студебеккеры" шли уступом, по пыли хватало, она садилась, как пепел, на пашу одежду и плащ-палатки, в которые были завернуты мертвые. Закутанным, им дышать трудней, чем нам. Если б они могли дышать...

Погибшие, убитые, мертвые, а сказать - трупы - язык не поворачивается. Трупы - это конец. Ну, а мертвые - не конец?

В батальоне погибло девять человек. Для их похорон устроили большой прнвал. Чтоб заодно и пообедать. Значит, сегодня дважды пообедаем, вернее, полтора обеда съедим. И попьем лишку. Снова трагическое и бытовое как бы перебегали друг другу дорогу. Повар черпаком размешивал варево в чреве походной кухни - один черпак на два котелка, точно как в аптеке или как у старшины Колбаковского. а похоронщики рыли на

отшибе поместительную яму. Девять человек зароют: восемь солдат и санинструктора-женщину, ее подстрелил снайпер, тенщина упокоится в единой с мужчинами могиле - и здесь равноправие.

Вообще-то санинструкторшу надо бы похоронить отдельно. Некогда, что ль, копать отдельную могилу? Не было времени и на траурный митинг, который хотел провести замполит полка. Ограничились тем, что он перед строем произнес несколько слов: прощаемся с героями, слава им, павшим за честь Родины, за освобождение Китая, и вечная память! - прозвучал жиденький, вразброд, залп, и мимо могилы прошел полк - колонна за колонной.

Мы удалялись от братской могилы, и я думал: "Каково им будет спать в китайской земле? Каково спится тем, кто зарыт в немецкую землю и в иные, не паши земли?"

- Подтянись!

- Направляющие, шире шаг!

- Не отставай!

Будто мы торопились уйтп от братской могилы, Солнце било то в лицо, то сбоку, мы петлили, спускаясь и поднимаясь, огибая сопки. Они круче, каменистей. Больше травы с жесткими, режущими стеблями, больше кустарника. Потом пошли хилые, изломанные ветрами деревца. Я пригляделся: листики как у березы.

Но кора черная. Спросил у Колбаковского:

- Что за дерево, Кондрат Петрович?

- Та черная береза, товарищ лейтенант!

Да. точно: береза, но черная. Привыкший к белоствольным березам, я поражен. Прежде мне такое не встречалось. И почему-то эта черная береза вызывает то ли тревогу, то ли тоску. Черная береза не к добру. Нервишки разболтались, я напичкан предчувствиями, мнительностью? Может быть. Вновь подумал об оставшейся за нашими спинами братской могиле. Пролита и еще будет проливаться кровь во имя освобождения этих краев.

В тот день полк находился на марше дотемна. Под подошвами начало пружинить - -заболоченные потянулись распадки, - трава выше и гуще, кустарник, кустарник, березы, березы - скрюченные, пригнутые к земле, черные. Но, черные, они сливалась с темнотой, пропадали, словно их и не было в природе.

17

ЯНЬАНЬ

Мао взволновался так. как не волновался давно. Приступы волнения, впрочем, бывали, но не такой, как сегодня, - до полной растерянности, такой приступ у пего, пожалуй, был в последний

раз два года назад. Тогда по Яньани пополз - какое там пополз! - покатился глух, что гоминьдановцы готовят нападение на Особый район. Войска Чан Кайши и милитаристских генералов были стянуты к границам Особого района, а за ними громадное преимущество в живой силе и технике, они могли стереть в порошок! Над городом и соседними деревнями желтело июльское солнце, желтели тучи лёссовой пыли, все надели марлевые маски, и сюда, к нему, в вырытые в горе апартаменты, заходили в масках, и почему-то именно то, что лица были скрыты марлевыми повязками, заставило его действовать. Он послал в Москву радиограммы: Димитрову, возглавлявшему до роспуска Коминтерн, лично, Сталину - через советского представителя в Яньани. И сработало!

Советское правительство немедленно предупредило Чан Кашли о недопустимости вооруженного выступления против коммунистических войск, и тот отступил. А как метались некоторые из его окружения, не зная, что предпринять - то ли эвакуироваться, то ли ждать. Чего ждать? Чтоб войска центрального правительства уничтожили их? Опять спас все он, Мао Цзэдун.

Июльские события сорок третьего года, понятно, могли вызвать растерянность. Но сейчас-то отчего растерялся? Ведь событие-то радостное? Мао вялым движением кисти останавливал на пороге комнаты пытавшихся войти. Хотел пока одного - побыть с собой, даже без Цзян Цин, без которой вообще-то не мог долго обходиться. Нужно очиститься от растерянности, собрать волю и взвесить происшедшее. Взвесить, оценить, наметить решение. Смелей других оказался охранник-маузерист, которому полагалось постоянно находиться перед комнатой Мао, но едва он всунулся, как был вялым движением руки с зажатой между пальцами сигаретой выдворен за порог.

Ссутулившись, Мао сидел за письменным столом: бумаги, телеграммы, стопки томов китайской энциклопедии, бутылка с тушью, кисть, в стакане карандаш и ученическая ручка; по стенам стеллажи: старинные, сшитые нитками книги. Склонив голову к правому плечу, Мао оглядел стол, карту Китая на одной стене и листки бумаги - на другой: привычка - пишет, вывешивает и затем поглядывает на них, внося исправления. О чем он там написал? Не .помнит...

Он беспрерывно затягивался, прикуривая сигарету от сигареты. Окурки были везде - в пепельнице, в блюдце, на полу. И пепел везде - даже на груди и на коленях.

Да, нужно послать телеграмму Сталину, выразить уверенность в скорых блестящих победах! И не скупиться на

похвалы, использовать те же. которые он. Мао, слышал в свой адрес на недавнем партийном съезде: "мудрый", "гениальный" и так далее. Пятьдесят дней длился съезд, и пятьдесят дней он слышал эти ласкающие ухо слова, да и сейчас продолжает слышать. Любое ухо они обласкают... Следовательно, не СКУПИТЬСЯ! Ибо за Сталиным - сила. Надо приспособиться к ней. Извлечь наибольшую выгоду из сложившейся ситуации!

Мао докурил, вмял окурок в пустую сигаретную коробку - "Честерфилд", американские, - расслабленно поднялся и пошел к выходу, шаркая матерчатыми тапочкамп по дощатому полу. Он основательно сутулился, волосы при ходьбе рассыпались, закрывая виски, уши, он небрежным, рассеянным жестом отбрасывал их. Вытянулся охранник, рядом возник другой. Не замечая крепких, дюжих парней с маузерами, Мао прошел словно сквозь них, скрылся в боковой комнате. Выпил успокоительной настойки.

Когда он снова появился в кабинете - в штанах и куртке с накладными карманами и слишком длинными рукавами, взгляд его уже не был блуждающим. Он походил около стола, заложив руки за спину. Затем сел, будто упал, в шезлонг, потер копчиками пальцев лоб, закурил и затих, пуская дымок. Он мог просидеть так несколько часов, и никто не осмеливался его тревожить, даже жена: председатель поглощен мыслями о судьбах партии, нации, всего человечества! Но иногда ни о чем не думал, просто курил смакуя или подремывал. - работал, как правило, ночами, спал до полудня, до двух часов, спал скверно, со снотворным, и не всегда высыпался.

На сей раз, однако, думать пришлось, и действительно о серьезном. Это серьезное поломало ему и распорядок: разбудили до срока, и правильно сделали - событие произошло исключительное.

Итак, почему он столь сильно растерялся? Самому не очень попятно. Надо разобраться. Он же предсказывал, что это произойдет - Советский Союз вступит в войну с Японией. После денонсации советско-японского пакта о нейтралитете между СССР и Японией это стало совершенно ясным. Потому-то и тянул с открытием седьмого съезда КПК, чтоб на нем мог твердо заявить: СССР непременно вступит в войну с Японией. Ко в душе опасался:

а вдруг да не вступит? Только-только закончил одну войну, да какую, и начинать новую? Которая также не обещает быть легкой, американцы и англичане уже сколько воюют с Японией! И не видно решающего успеха. Слово - за Россией... И вот - свершилось!

Опять его предсказание сбылось! Да, интуиция есть, хотя

порой и подводит. Однако об этих случаях не заикаются, говорят лишь о тех, когда его предсказания сбылись. Так и должно быть!

Как в Яньанп надеялись на вступление Советского Союза в войну! И неистовей других надеялся он, Мао Цзэдуп. Потому что нынешние расчеты связаны с изменившимся положением. Было время - делал ставку на Америку. Разрешил приехать в Яиьанъ американцам: разведчики, дипломаты, корреспонденты зачастили, он встречал их на аэродроме, отвозил гостей в покои на своем стареньком автомобиле, которым очень гордился, поил, угощал, приемы устраивал, беседовал часами, доказывая: Соединенным Штатам надо ставить не на гоминьдан, не на Чая Кайши, а на компартию, на Мао Цзэдупа. Он втолковывал этим холеным, самоуверенным янки: смотрите в суть явлений - будем союзниками.

Социальный и политический опыт Советской России не подходит Китаю. Мы за новую демократию, при которой не будут обижены пи буржуазия, ни зажиточное крестьянство. Нам, черт возьми, близки американские идеалы, вы это понимаете? А? Эти янки его поддержали. О его предложениях проинформировали высшую администрацию, президента Рузвельта проинформировали... И что же? Не хватило ума, дальновидности, струсили: с коммунистами, хоть и китайскими, не стоит связываться, будем до конца с гоминьданом. Где же ваша государственная мудрость, господин президент? Рузвельт недавно умер, там новый президент, Трумэн, но теперь уже поздно. В данной ситуации.

Теперь Советский Союз! Сокрушив Японию, он поможет нам сокрушить Чана. Советский Союз снабдит оружием войска КПК, и мы уничтожим армию ГМД, возьмем территории, освобожденные от японцев, а затем власть во всей стране. Есть, конечно, сложности. Как Москва отнеслась к попыткам завязать отношения с Соединенными Штатами за ее спиной? Что Москве об этом известно, он не сомневался: советский представитель в Япьани, которого здесь зовут Сун Пин, своевременно отстукивал свои радиограммы, - человек он проницательный, опытный. Но будем надеяться, долгие ночные беседы если не обратили его в нашу веру, то хоть как-то успокоили. А вообще понять его трудно: лишнего словечка не обронит...

И второе: в начале войны он, Мао, говорил о возможности победы Германии и поражения Советского Союза. Кто его дергал за язык?.. В сорок первом сорок втором Москва просила усилить антияпонскую войну, сковать Квантуискую армию, чтобы японцы какую-то часть дивизий перебросили из Маньчжурии вовнутрь Китая, тогда бы Москва могла снять часть своих соединений с

дальневосточной границы и перебросить на запад. Но у нас есть пословица: "Ближний сосед лучше дальнего родственника". Важно было сохранить свою боеспособность, нельзя было ввязываться в бои с японцами. Гоминьдан потихоньку воевал - и хватит. Нам самим требовалась помощь, и мы ее получали от Москвы, и оружие тоже, которое прежде всего было нужно. Но мало. И, конечно, мы затаили обиду. Меня именуют националистом? Я за марксизм реальности. Иметь максимум выгод! Если б Япония напала на СССР, мы бы остались в сторонке: сидя на горе, наблюдать схватку тигров. Это вообще наше правило. А Сталину я неизменно слал поздравительные телеграммы к годовщинам: уважение, восхищение, пожелания, клятвы. Сталин должен был верить. Но обиду мог затантъ, кто влезет к нему в душу? Может Советский Союз, разгромив Кваптупскую армию, передать Маньчжурию под власть Чан Кайпш? Ведь у пего с Россией официальные отношения?

Мао сидел, прикрыв глаза рукой. Подумал: "Это чтоб не прочли моих мыслей?" Да, да, ып с одним человеком, кроме себя, ои не бывал откровенным. И с Цзлн Цип делился далеко не всем, хотя доверял ей, зная: и жена, и. товарищ, и сподвижник, а умом иного члена Политбюро заткнет за пояс. Властолюбива - это хорошо. Настоящая, однако, власть только у пего. Над партией, а будет - и над страной, а может быть...

А что, если Красная Армня не уйдет с Северо-Востока? Уйдет.

В этом Сталину можно верить: не претендует на чужне террпторип - взять те же страны Восточной Европы. Он отсюда уйдет и даст китайцам возможность самим решать свою судьбу. Мао Цзэдун не сомневается, в чью пользу сделает выбор китайский народ, ла мы ему и подскажем: старого Чана - на свалку, председателю Мао - десять тысяч лет жизни!

Если б он был сильным, как Сталин! Еслп бы... А пока приходится считаться с этой силой. Он и растерялся. Вот именно: растерялся, почти физически ощутив, какая мощь стоит за Сталиным; никак не предполагал, что Россия столь стремительно перестроится на дальневосточную войну. Предполагал: потребуется год, не меньше. Колоссальные разрушения, колоссальные потери, страна обескровлена... А Красная Армия через три месяца после разгрома Германии перешла в наступление против Японии.

Вспомнил, как один из его ученых секретарей, которые готовили речи и статьи, Чэнь Бода, ознакомил его с переводом японской радиопередачи о Чан Кайши. Там говорилось, что Чан - ярый националист, упорен, безжалостен и властолюбив, что оп женат в четвертый раз. Мао Цзэдуна сначала покоробило

последнее совпадение - и у него четвертая жена, - потом уж покоробили и прочие совпадения. Но с гневом сказал себе: "Чан - реакционер, а я революционер!" И приказал, чтобы Чэнь Бода уничтожил запись японской радиопередачи.

Растерянность притуплялась, как притупляется зубная боль, наступало облегчение. И это было свойственно Мао - теряться и быстро сбрасывать с себя растерянность. Теперь надо начинать действовать исходя из сложившейся ситуации. Но не забегая впереди себя же. Решения принимаются с холодной, ясной головой.

Следовательно, надо успокоиться, браться за дело - с железной волей, со стальной целеустремленностью. Для того чтобы обрестп душевное равновесие, нужно некоторое время, возможно, самое малое. И еще потребен какой-то внешний толчок, какое-то внешнее впечатление. Два года назад это были марлевые повязки, скрывавшие лица. Что будет в этот раз?

Захотелось выпить, и отнюдь не чаю. Раньше он выпивал, но в последние годы попритушпл это, как он выражался, самовозгорание и самовозгорался только на вечеринках, где были пластинки, танцы, шутки и вкусная еда. Оп не был равнодушен к плотским радостям, но уже два-три года чувствовал себя утомленным, постаревшим. Старался сберечь себя, хотя курил по-прежнему: дым до потолка.

Днем Мао и прежде не выпивал. Но сегодня... Знаменательный день, и. если хочется выпить, почему же не выпить? В дверях возникла стройная, воздушная фигура жены, и он поманил Цзян Цнн пальцем. Она впорхнула, нежно потерлась свежей, упругой щекой о его щеку, поправила его рассыпавшиеся на виски и уши волосы.

- Распорядись о бутылке джина, - сказал он еле слышно.

Привыкшая к тому, что муж говорит очень тихо. Цлян Ц не расслышала и эти слова. Не выдавая ни удивления, ни недовольства, вызвала ординарца, отдала приказания. Через минуту перед Мао был поднос с пестро обклеенной бутылкой, кружкой, чашкой земляных орехов. Он налпл себе, с натянутой, безжизненной улыбкой посмотрел на жену и задумчиво выпил. Стал есть орехи со значительной неспешностью. Но пить больше не пил, и это было в его натуре: пожелать - и, едва отведав, тут же отказаться. Он отодвинул поднос, сказал, слегка капризничая:

- Не хочу...

- Убрать?

- Да... А хочу я вот чего. Выйдем в сад. Погуляем, подышим...

- С удовольствием! Я давно мечтала!

- Видишь, как я угадываю твои желания! - сказал он улыбаясь,

и улыбка теперь была натуральная, добрая и веселая.

И Цзян Цин ему улыбнулась - не одной из своих артистических, к разным случаям, улыбок, а тоже просто, естественно. Но сама напряженно думала: почему муж решил выйти на воздух?

С тех пор как после Великого похода обосновались в Яньани, Мао неохотно покидал свои комнаты: хотя, разбомбив Яньань в сороковом году, японцы уже не показывались в воздухе, тем не менее в пещере он чувствовал себя в большей безопасности. Он и в персиковый сад - единственный окрест выбирался крайне редко.

Жил почти отшельником, почти не бывал ни в воинских частях, ни на предприятиях, общаясь преимущественно с приближенными.

А ей предоставил свободу ходить и ездить, куда ей нужно, но обязательно в сопровождении охраны из надежных, проверенных маузеристов. Она эту свободу в меру использовала, особенно для верховых прогулок. Ну и чтобы навестить кое-кого из знакомых, бывших некогда весьма близкими, даже покровителями, актрисе как было без них обойтись... Но это неожиданное желание мужа прогуляться... Днем, в разгар работы? В момент, когда надо предпринимать радикальные меры? Советский Союз выступил! Однако подталкивать мужа не резон, он выскажется, если посчитает необходимым. Такт, выдержка - качества, не лишние для супруги Председателя ЦК КПК!

Мимо постов охраны они прошли к выходу. Яркое-яркое солнце, Мао привычно щурился, и морщинки возле глаз стали еще гуще. Ласточки стригли небо, ветерок пошевеливал листья, покрытые лёссовой пылью, под подошвами ее слой был толстый и мягкий, тени от деревьев ложились косо, доставая подбеленные стволы соседей, - Мао оглядывался, словно отвык от всего этого.

Посмотрел на жену, взявшую его под руку, нежно прижимавшуюся. Стареет он? Пятьдесят два года - немало. Но и не много. И но стареет он, и смерти оп неподвластен. Неизменно ощущал себя вечно живым. Вечно живым оп и будет! Как эти горы!

А горы громоздились, будто налезая одна на другую, и все вместе скалистыми боками стискивали Яньань - домов в городе почти не уцелело, жители обитают в порах, выкопанных по склонам, в сколоченных из ящиков лачугах. Мао у них не бывал, однако как живут, представляет: как во всем Китае - скученность, нищета, голод, болезни. А над этим мрачным и убогим миром голубели небеса, сияло солнце, звенела тишина. И тишина располагала к стихам - в строгом, классическом стиле, которых, к прискорбию, давненько не писал: дела, дела.

И не случайно он много выступал на совещаниях по лптературе, по искусству. С них-то и началась широчайшая кампания за исправление стилей работы - партийного стиля, стиля в учебе, работе, стиля в литературе и искусстве. В этой духовной чистке, которая была, есть и будет, он уничтожит без остатка догматиков и всяческих писак, предавших забвению национальные интересы Китая, посмевших так или иначе встать на пути Председателя Мао!

Едва ли не к каждому дереву клеился маузерист, и Мао подумал, что это хорошо, охрану надо усиливать, у пего масса врагов, внешних и внутренних, и они готовят покушения. Вот прошла кампания по разоблачению контрреволюционеров и гомпьдановских шпионов, и многие партийные, административные и военные работники публично, на собраниях, признались: агенты гоминьдана, но обещали перевоспитаться. Задача в кампании была поставлена такая: чем больше людей покается, тем больше пользы.

Теми, кто не хотел каяться, занималась специальная группа во главе с Кан Шэном, а уж тот-то знал, как добиваться признаний.

А что церемониться? Конечно, позже, когда победа Советского Союза над Германией не вызывала сомнений, пришлось менять тактику, начался период самоопровержения и реабилитации:

опровергни свои былые показания - и будешь реабилитирован.

Впрочем, настанет пора, когда реабилитированных снова можно будет потрясти хорошенько. Такие встряски просто необходимы...

Да, необходимы. И он Кан Шэном не пожертвует. Что бы ни советовали с разных сторон. Ведь сам Димитров направил ему послание, которое он помнит едва ли не наизусть...

Письмо Г. Димитрова Мао Цзэдуну от 22 декабря 1934 года о положении в компартии Китая

Мао Цзэдуну (только лично!)

1. О Вашем сыне... Юноша он способный, и я не сомневаюсь, что в его лице Вы получите надежного и хорошего помощника.

Он шлет Вам горячий привет.

2. О делах политического характера. Само собой понятно, что после роспуска Коминтерна никто из его бывших руководителей не может вмешиваться во внутренние дела компартий. Но в частном, дружеском порядке не могу не сказать Вам о той тревоге, которую вызывает у меня положение в китайской компартии. Вы знаете, что мне приходилось начиная с 1935 года

близко и часто непосредственно заниматься китайскими делами. На основании всего того, что мне известно, я считаю политически ошибочным курс на свертывание борьбы с иноземными оккупантами Китая, а также и замечающееся отклонение от политики единого национального фронта. В период национальной войны китайского народа подобный курс грозит поставить партшо в изолированное от народных масс положение и способен привести к опасному обострепшо междоусобной войны, в котором могут быть заинтересованы только оккупанты и их агенты в гоминьдане. Я считаю политически неправильной проводимую кампанию против Чжоу Эньлая и Ban Мина, которым инкриминируется... политика национального фронта, в итоге которой они якобы вели партию к расколу. Таких людей, как Чжоу Эпьлай и Ватт Мпп, надо не отсекать от партии, а сохранять и всемерно использовать для дела партип. Меня тревожит и то обстоятельство, что среди части партпйпых кадров имеются нездоровые настроения в отношении Советского Союза. Сомнительной мне представляется также и роль Кан Шэна. Проведение такого правильного партийного мероприятия, как очистка партии от вражеских элементов и ее сплочение, осуществляется Кап Шэном и его аппаратом в таких уродливых формах, которые способны лишь посеять взаимную подозрительность, вызвать глубокое возмущение рядовой массы членов партии и помочь врагу в его усилиях по разложению партии. Еще в августе с. г. мы получили из Чунципа совершенно достоверную информацию о том, что гомииьдановцы решили послать своих провокаторов в Яньапь с целью поссорить Вас с Ван Мином и другими партийными деятелями, а также создать враждебное настроение против всех тех, кто жил и учился в Москве. Об этом коварном намерении гомпньдаповцев я Вас своевременно предупредил. Сокровенное желание гомпньдаиовцев - это разложить компартию изнутри, чтобы таким образом легче ее разгромить.

Для меня не подлежит сомнению, что Кап Шэн своей деятельностью льет воду на мелышцу этих провокаторов. Простите мне эту товарищескую прямоту... Но то, что Вы заинтересованы видеть вещи в их подлинном свете, позволяет мне говорить столь откровенно. Прошу Вас ответить мне тем же путем, каким я пользуюсь для посылки Вам настоящего письма.

Жму крепко Вашу руку! - Д.

Руку Димитрову он тоже готов пожимать крепко, но поступал и поступать впредь намерен по-своему. Хотя теперь, в августе сорок пятого, тактика его будет осторожней. Жаль, не всегда он бывал осторожным...

Мысли перескакивали, словно оттого, что оп, не привыкший к пешему передвижению по земле, спотыкался: голова дергалась, и мысли в ней, напорное, смешивались? Не привык гулять, не прпвык к физическим затратам, лучший отдых - понежиться на диване, в шезлонге.

Мао об руку с супругой прохаживался в тепп деревьев: оп - неуклюжий, она - изящная, хрупкая, красивая кинозвезда, ставшая женой очень перспективного политика.

- Тебе не жарко? - спросила она.

- Пет-пет, - рассеянно щурясь, ответил оп и подумал: вотвот настанет час действий, надо дождаться этого толчка, за которым последуют решительные шаги.

Но ему было жарко, душно, не хватало прохлады пещеры.

И ноги устали, и глаза резало солнечным светом, и пыль оседала на обуви и одежде. Он оглядел плоские, как срезанные, вершины, где пасли скот, и речную пойму с плантациями чумизы, гаоляна, овощей, кукурузы, - на вершинах светло-светло, в долине темнее, будто там скапливались тени. Темнее было и в Яньани. среди ее руин. Мао подумал: "Десять лет мы уже здесь. И десять лет вся власть в моих руках!" И вдруг понял: эти два факта, их переплетение и есть толчок, побуждающий к действию! Он сказал жене то. что уже было решено, но что покамест держалось про себя:

- Созываю заседание Политбюро. Надо немедля рассылать уполномоченных в войска, на наши базы. Надо занимать районы, которые будут освобождены от японцев. Упредить гоминьдан!

Если необходимо - силой не допускать его в эти районы!

- Мудрое и своевременное решение!

- Сейчас пойдем к себе, и весь день буду работать, как буйвол!

- А вечером, мне кажется, неплохо бы устроить прием в честь Красной Армии. Сун Пина пригласим, других советских. Мы давно вечеринок не устраивали.

- Я об этом уже думал, - сказал Мао, искренне полагая, что так оно и есть; просто мысли жены считал своими. - Это обязательно надо попышнее обставить! Советские товарищи и члены Политбюро...

- Из союзнической миссии никого приглашать не будем, - сказала Цзян Цин.

- Американцы пускай убираются в... - он крепко по-простонародному выругался. - Пускай скажут спасибо, что терплю их в Яньани...

Проклятые янки! Он как-то послал Рузвельту приветственную телеграмму не пожалел высоких слов, пылких чувств, а в ответ

получил унижение. Из группы американских наблюдателей в Яньани ему передали бумажку, на которой было накарябано поанглийски: "Господину Мао Цзэдуну. Благодарю Вас за поздравление. Рузвельт". Не на официальном бланке посольства, не на бланке группы наблюдателей - на кличке простой бумаги, которой подтираются.

Проклятые янки! Оружия не дали, от сотрудничества с нами отказались, предпочли эта старую вонючку Чана, болтаются тут - на всякий случай. Проклятые янки, заморские дьяволы - все опасаются: куда мы повернем оружие, если получим? Куда надо, туда и повернем. На данном этапе обойдемся без заморских дьяволов.

Впрочем, в директиве своим войскам, которую начал мысленно набрасывать, он предусмотрит указание о помощи американцам в их будущих десантных операциях в Китае. Так будет благопристойно. Тем более что неизвестно, где и когда откроются эти операции.

Но когда уселся за письменный с юл а приготовился вызвать членов Политбюро, не без недоумения установил: растерянности почти нет, однако нет и железной воли, стальной целеустремленности, буйволиной работоспособности. Вялость, расслабленность в теле, ноги как ватные. Вялость, расслабленность и в мыслях.

Видимо, еще не созрел для действий, несмотря на внешний толчок. Тут толчка оказалось маловато. Потрясение было так велико, что за день с ним не справишься. Вечеринку проведет, а радикальные шаги отложит на завтра. С поступками повременит, а думать будет. Уже думал и сейчас думает. И с членами Политбюро будет совещаться. Только решения, решения потом. Ну а насчет захвата японских складов оружия - в директиву. Оружие - на первом плане.

Эти беседы о происшедших событиях он строил по едином схеме: сперва спрашивал о самочувствии, затем говорил о вступлении Советского Союза в войну против Японии и интересовался, что думает собеседник по этому поводу. Мао предполагал, что новость ошеломила собеседников, однако они держались спокойно, и Мао подивился их самообладанию. Но они успели подготовиться к его вопросу и единодушно отвечали: радуются, считают, что Япония будет разгромлена Россией и Америкой в течение двухтрех лет, а пока наши 8-я и Новая 4-я армии должны занимать районы, которые будут освобождать союзники, захватывать там японские склады оружия, техники и боеприпасов, оттеснять гоминьдановские части, а при столкновениях уничтожать их. И опять Мао удивлялся, что так

точно их суждения совпадают с его мыслями, но вида не показывал, говорил неспешно, негромко:

- И я такого мнения. В директиве найдет отражение...

Вот оно, реальное, дающее плоды единство партии: все думают так, как и вождь. Но все-таки было ощущение какой-то неуверенности в себе и собеседниках, ощущение зыбкости, непрочности мира, в котором они сидели, пили чай и разговаривали.

В полночь они пили уже не чай. а виски, джип, ханжу. ОБ предпочитал голландский джин, но другие пили и виски, и гаоляновую водку, и спирт. И, как заведено, пример подавил он, Мао Цзэдун: пил и не пьянел. Блюда были изумительные, и Мао ел подряд, с аппетитом. Да и гости не заставляли себя упрашивать. За Сун Пином и доктором, работавшим в Яньаньском госпитале и пользовавшим Мао и Цзян Цин, любезно ухаживали высокие хозяева: он подливал спиртное, она подкладывала в тарелкп.

Прием Мао открыл речью, в которой воздал хвалу Советскому Союзу, Красной Армии, товарищу Сталину - истинным и могучим друзьям китайского народа и КПК. Обошел присутствующих, чокнулся, с русскими чокался минут пять, желая здоровья, счастья и успехов. Когда они вошли, он пожал пм руки, похлопал по спинам, справился о самочувствии, они ответили: спасибо, все хорошо.

Этот Сун Пин попортил ему кровь, Совался во все щели, энесомненно радировал в Москву. Многое вынюхал из того, что Мао Цзэдуп предпочел бы не предавать гласности. Например, о прямой связи Яньани с японским командованием - о взаимном обмене разведданными насчет войск Чан Кайтпи. Долго держали в тайне, все-таки Суп Пин выведал. Да по существу, ему известна вся яньапьская подноготная. И ведь не уберешь: Москва за ним.

Многослойный плавал дым, мигали свечи, на тесе, которым были обшиты стены, ломались тени. Цзяп Цип накручивала патефон, ставила пластинки. Но танцующих было немного, ибо у Мао, заядлого танцора, не было в этот вечер настроения выделывать замысловатые на: хотелось покоя. Да и мысли не оставляли...

Словно растекшись по шезлонгу, он прихлебывал из кружки, заедал любимыми земляными орешками, которые жена сыпала ему в руки. Способный говорить по нескольку часов кряду, сегодня он был молчалив: пусть гости говорят, танцуют, веселятся, а он всего лишь радушный, по скромный хозяин. Временами улыбался. Вокруг веселились, он доброжелательно, разрешающе кивал и прихлопывал ладонями в такт танцу.

Цзяп Цин шелковым платочком промокнула ему потный, разгоряченный лоб, смахнула крошки с уголка губ. Он и ей доброжелательно кивнул. И подумал, что на нее может положиться до конца, она, по-видимому, единственный человек, который не предаст пи при каких обстоятельствах. Ибо его судьба это и ее судьба. Его взлет - ее взлет, его падение - ее падение. Нет, падения не будет, будет непрерывный, устремленный ввысь полет!

Мао привязался к молодой супруге, которая неусыпно заботилась о его здоровье, питании, одежде, досуге, была прилежной слушательницей, идейной соратницей и вела всю секретную переписку мужа. В свое время Центральный Комитет высказался против женитьбы Мао Цзэдупа на Цзяп Цпп, туманно ссылаясь на сомнительные моральные качества кинозвезды, по он настоял на своем. И не жалеет...

Наверное, если б по присутствие на вечеринке Цзяп Цин, он мог бы ощутить себя совершенно одиноким: пи близких, ни друзей у пего не было, по в том-то и суть, что Мао никто не нужен, и поэтому он никогда не ощущал одиночества. В последние годы все чаще и продолжительнее отъединялся от людей, по многу часов проводя сам с собой. Когда же ему было что-нибудь надо, появлялась Цзяп Цип, и все устраивалось мгновенно и как нельзя лучше.

Вообще она в нужный момент всегда была рядом. Помнится один пз многочисленных споров с Ван Мином, этим догматиком.

Спорили они до хрипоты. Цзяп Цип сидела в углу и одобрительно кивала, когда говорил муж. Затем в комнату вошла жена Ban Мина и сказала: "Где я только не искала тебя, а вы, оказывается, опять тут ссоритесь. Лучше пойдем домой ужинать". И Цзяп Цпп весело сказала: "Как хорошо, что вы пришли! До чего же невозможны эти два старых петуха. Как встретятся, так и дерутся...

Изловпте-ка вы своего и уведите его, а я своего изловлю и уведу.

Чтоб они больше не могли драться!" Все окончилось как бы шуткой. И правильно, что Цзян Цип разрядила обстановку. Спасибо Цзян Цин! Хотя иногда он отъединялся и от жены.

В подобных уединениях Мао по-особому высвечивалось, ради чего он жил, что составляло смысл жизни - борьба за власть и обладание этой властью над миллионами людей, над человеческим бескрайним морем, именовавшимся "Китай". Китай коммунистический, но не на советский, а на свой манер. Мао знает какой.

Когда это будет? Не скоро? Как он торопил события, по они

двигались по-черепашьи. От нетерпения, от желания подтолкнуть колымагу истории он скрипел зубами. Горько усмехался: вот они, баловни истории - Рузвельт, Черчилль, Сталин. Ему бы эту силищу, тогда бы показал, кто такой Мао Цзэдуп из деревнп Шаошань провинции Хупаиь!

Похрипывал патефон, шаркала обувь, стучали пиалы, танцоры гомонили и смеялись. Мао, откинувшись в шезлонге, то прихлебывал, то грыз орешки, то, приподняв правое плечо, потирал кончиками пальцев лоб, то зябко сутулился, прятал кисти в длинные несоразмерные рукава. А в комнате было жарко, душно, пахло потом. Мао уловил этот запах и следом уловил чей-то боковой взгляд. Повернулся. Глядел Суп Ппп - пристально, изучающе.

Ты что, пробуешь прочесть мои мысли? Мао улыбнулся, поднял кружку:

- За советских друзей!

Сун Пин поднял свою кружку. Вот такие и парализуют твою волю. Ты и хочешь ускорить события, и не можешь. Ничего, завтра он, вероятно, еще и не сможет радикально действовать, послезавтра - сможет! А сейчас потанцуем! Поддерживаемый Цзян Цип, он поднялся, что-то ей шепнул, и сразу перед ним предстала очаровательная девушка лет шестнадцати. Под смех гостей Мао сказал:

- Жаль, к старости только голова хорошо работает!..

И принялся выделывать на с ловкостью, удивительной при его грузной фигуре. Когда танец закончился, он шумно дышал, Цзян Цин вытирала ему платочком мокрый лоб. Прелестная девица исчезла. Танцы прекратились: из горки пластинок Цзяп Цин выбирала любимые мужем старинные китайские оперы. Послушали одну пластгшку, вторую, третью.

Суп Пин провозгласил:

- За успехи китайских товарищей!

Мао стукнулся кружкой о кружку, отхлебнул и сказал чуть слышно, шутливо и с чуть приметной улыбкой:

- За то, чтоб вскоре мы могли бы чествовать советских товарищей в столице коммунистического Китая.

Выпивали, закусывали, слушали музыку. Рассеянно улыбаясь, Мао размышлял: "На гребне революции пас вознесет над Китаем!

Исстрадавшийся, умирающий с голода народ поддержит нас. И мы дадим ему новую жизнь: без голода, но и без излишеств. Иначе пород зажиреет, потеряет способность к дальнейшей борьбе. Надо, чтобы парил был поджарый, готовый к прыжку! У американцев появилась сверхмощная бомба, ее взорвали шестого августа над Хиросимой. Вот это оружие! По всей вероятности,

такую бомбу создают и русские. Америка нам ее не даст, а Советский Союз обязан дать. Любыми средствами заполучить сверхмощное оружие!"

Из-под припухлых век он оглядел гостей. Веселятся, пыог, едлт. Радостны, жизнелюбивы. Да, конечно, когда-нибудь они вместе с Мао Цзэдупом окажутся в столице Китая. Но руководителей, как и народ, следует держать в строгости. И время от времени проводить их духовное очищение. "Да, неизвестно, кто из вас сохранится в руководстве ло тон благословенной поры", - подумал и стал медленно, величественно прихлопывать в ладоши в такт музыке, все больше и больше отставая от нее.

Потом Мао притих, будто задремал, и присутствующие гуськом вышли из комнаты. Осталась Цзян Цин. Она сняла пластинку, осторожно стряхнула пепел с колен мужа, укрыла их пледом, ласковым, женственным движением поправила его рассыпавшиеся волосы, и он, не прерывая дремы, так же лениво-величественно похлопал ее ниже спины. В спертом, мглистом воздухе оплывали свечи, их копоть смешивалась с табачным дымом. За окном, наверху, где-то в горах выли шакалы, и от этого еще гуще казалась могильная тишина пещеры.

18

Солдатские разговоры - о чем угодно. На сей раз такой разговор посеял повсеместно татуированный Логачеев. Посасывая самокрутку и сплевывая, он завел грубым, толстым голосом:

- Товарищи граждане, сон приснился. Как будто скопытило меня возле города Ржева. Будто под кусточком, в крови дохожу...

- Мне ранения тож частенько снятся, - говорит Толя Кулагин.

- В том-то и штука! Я и в натуре был раненый подо Ржевом, доходил, истекал кровью в тальнике. А было так: шли в атаку, снаряд ка-ак врубит привет и наилучшие пожелания! Очнулся, лежу, вверху звезды, тихо. И не пойму, на том ли я свете или еще на этом подзадержался. Если убитый, значит, я на том свете, если псжудова живой, значит, на этом. Рукой-ногой пошевелить не могу, но шарики работают. Думаю: пришибло насмерть, тогда где ж я, в раю или в аду? Насчет раю - сомневаюсь, потому не святой. Однако один ость плюс: солдат как солдат, за чужие спикы не ушмыгпвал. Ну, ангелов не видать, райской музыки не слыхать... В аду? Но и чертей не видать, никто не волокет меня поджаривать на горячей сковородке... И вдруг слышу: "Видал, разлегся вопи... Да не мертвый он, а живой... А коли живой - ползи к своим, так нет, все на санитаров перекладывают... Ладпо. Тарасюк. бери его за ноги, я - за руки..." - и мат. Ясно, где я:

на земле, не убитый! Еще поживу!

- Поживешь, Логач, а чего же? - Это опять тонкий, ребячий голосок Кулагина.

Да, фронтовикам нередко снятся их ранения и родные хаты.

Мне на ночевке приснился в который раз наш ростовский дворик с разгуливающей по траве маминой любимицей Туськой - пестрой кошкой с длинным и утончающимся, как у крысы, хвостом.

усатой, знаменитой на весь коммунальный дом мышеловкой. Надо же, Туська приснилась. Даже упоминать о таком сне неудобно.

И в какой момент и где приснилась - на войне с Японией, в августе сорок пятого!

Кстати, старшина Колбаковский, уважаемый Кондрат Петрович, высказался в том смысле, что это не самостоятельная война, а последнее сражение великой войны, которая началась для вашего народа событиями на Хасане в тридцать восьмом году и продолжилась боями на Халхин-Голе в тридцать девятом и в Финляндии - в сороковом. У старшины роты своя теория, свой взгляд на военную историю. Ну, а парторг Микола Симоиенко провел беседу о событиях на озере Хасан и реке Халхпн-Гол.

Выкроил время. На большом привале. Закончив рассказ, спросил солидно:

- Какие будут вопросы, товарищи?

- У меня вопросик. - Руку тянул Погосян.

- Пожалуйста.

- Что, без нас союзникам не одолеть Японию? А? - У Погосяна сильный акцент, и потому его вопросы звучат очень веско, - Не по существу, однако отвечаю... Видишь ли, товарищ Погосян, я лично считаю: без нас никак не справятся.

- Еще интересуюсь... Америка да Англия с нами союзнпчают поневоле, по расчету. Они ж хотели столкнуть пас с Гитлером, а он сперва кинулся на них, потом уж на нас. Так вот, интересуюсь: после войны Америка да Англия не скурвятся. не будут ва нас кого натравлять?

- Ругаться не стоит, товарищ Погосян... Лично я считаю:

чему-то должны научиться.

- И я так считаю... А как считают в Америке, мы не знаем...

Симоненко наморщил лоб, собираясь ответить Погосяну. но раздалась команда к построению, и все поднялись с земли. Беседа парторга как будто сразу отошла в прошлое, но я успел подумать: "Уроки истории для империализма? Может быть. Однако обреченность застит ему перспективу..."

За ночь, точнее, за четыре часа маленько передохнули, и теперь все суетятся, весело покрикивают. Во сне прихватывало

холодком, да и по предрассветыо воздух свежий, не иссушенный.

Но выплескивается на небо заря, выкатывается из-за горного гребня солнце, и вот-вот будет обычное: жара, пекло, ад, куда пока не попал рядовой Логачеев.

Зашагали натощак - завтрак будет на марше. - под ЕОГЙМП сильней и сильней чавкали болотистые луга, дурно пахнувшие испарениями (жижи вдосталь, а воды все-таки кет), перед глазами дыбились скалистые оголенные отроги, исполосованные трещппами. Казалось, до гор рукой подать, но шагаем и шагаем, а они словно не близятся.

Сон еще не сброшен окончательно, однако идем ходко - радость наступления! По Внешней Монголии тоже был марш, и как он трудно давался. А тут будто не тот же зной, не то же безводье, не те же бесконечные, оплетающие ноги версты. Вперед к победе, вперед к миру! Я стараюсь ступать легко и чувствую, как автомат пересчитывает мне ребра. Вперед - это правильно, но перед победой и миром были и будут бои. Ныне совершенно очевидно: японцы заранее увели из приграничья главные силы, потому здесь такое относительно слабое сопротивление.

Командир полка говорил: главные группировки за Хинганом, там, на Маньчжурской равнине, предстоит генеральное сражение, однако не исключено, что японцы попытаются раньше нас выйти к Хингану с другой стороны, захватить перевалы, закупорить горные проходы. А вывод прежний: быстрей вперед, вперед, на войне упреждение противника много значит.

Здесь, в предгорье, войска пылят поменьше: почва не та да и вроде бы рассосались по степи, верней же - растянулись, кто ушел далеко на юг, кто вроде нашей дивизии болтается посередке, кто отстал, пу это тылы, они вечно отстают в наступлении. Где-то вдали погромыхивает канонада, изредка пролетают паши самолеты, японских не видно. Над горными вершнпами сгущаются облака, из белых превращаясь в пепельно-серые, а кое-где и в грязно-черные, эти рваные тучи временами закрывают солнце. Натянет грозу, польет дождь? Давненько мы не чуяли, что это за явление природы.

Нас нагнали полевые кухни, по завтрак все-таки подзадержался. По уважительной причине. Только-только собрались устраивать прпвал, как на сопке справа затарахтел пулемет, в голове полковой колонны замешкались, остановился и наш батальон.

- В укрытия! В укрытия!

Какие тут укрытия - ссыпались по ту сторону караванной тропы, за камни и чахлые кустики. И за высокую траву. Будто трава и кустики могут задержать пулеметную очередь. Пулемет -

я определил: станковый, "гочкис" бил короткими очередями, по куда - враз не попять. Ясно одно: нужно подавить. И тут-то я в который раз пожалел о близости - по расстоянию - к полковому начальству: командир полка приказал командиру ближнего батальона, то есть первого, а тот приказал командиру ближней роты, то есть первой, уничтожить огневую точку! Всегда мне чтонибудь достается. Хотя все равно кому-нибудь надо уничтожать вражеский пулемет. Я повел роту, маскируясь кустарником, в обход сопки, вдогонку донеслось комбатово: "Глушков, не пурхайся! Втемяшилось?" Втемяшилось, и пурхаться мне ни к чему, нужно не терять времени, но и терять своих солдат я не намерен.

Поэтому поспешать буду осторожно. Кстати, я не совсем понял, почему посылают стрелковую роту, почему не обработать высотку из пушек, из минометов? Или так быстрей и надежней? Может быть.

Так либо иначе, рота где короткими перебежками, где по-пластунски охватила сопку. Пулеметчики пас заметили: пули засвистели в траве, свист их был как свист косы. Мы вели огонь из ручных пулеметов, винтовок, автоматов, и "гочкис" посылал очереди то в один конец нашей цепи, то в другой. Я подумал: "Кидается как бешеный, из стороны в сторону". Оборачиваюсь: два минометных расчета тащат своп игрушки во главе с сампм командиром минометной роты. Запыхавшись, докладывает, что прибыл по приказанию комбата, раньше не смогли, отстали на марше.

Я отвечаю, что лучше поздно, чем никогда, что давай, мол, обрабатывай сопку из своих самоваров, а потом стрелки атакуют ее.

Мины ударили по высотке, ее заволокло дымом, мы забросалп ее гранатами и поднялись в атаку. Пулемет тявкнул, захлебнулся.

Взбираться по крутоватому склону было нелегко. Наконец добрались до площадки, обложенной плоскими камнями. Представлятьто "гочкис" я представлял, но реальность оказалась более впечатляющей: пулемет был покорежен, а два пулеметчика к нему цепями прикованы! Смертники! Японцы мертвы, в посеченных осколками куртках; овальной формы каски валяются рядом; рядом же и горка ручных гранат, похожих на паши "лимонки": не успели воспользоваться.

А на Западе тоже приковывали к пулемету цепями за руку либо за ногу немцев-"штрафников", власовцев, сам видел. Думаю об этом и напряженно жду сообщений, есть ли потери в роте. Потеря была одна, зато какая - лейтенант Петров ранен в грудь,

навылет. Жаль хлопца, и повоевать как следует не удалось. Я подошел к нему. Он лежал на брезентовых носилках, санитары готовились спустить его вниз, куда подъедет санитарная летучка. Теперь опять ищи замену. Из резерва вряд ли пришлют, придется ставить белобрысых, большелобых, смешливых сержантов, снова переводить из помкомвзводов во взводные, заодно и свой, первый взвод отдам, так будет лучше, хватит с меня ротных забот. Понимаю отчетливо: коль выбивает взводных лейтенантов, а на смену пм непотопляемые сержанты, - значит, война всерьез.

Я наклонился над Петровым - грудь перебинтована, лпцо бескровное. Он открыл глаза, прошептал:

- Не повезло...

- Крепись! Придет санитарный автобус, эвакуируем в госпиталь.

- Прощайте, товарищ лейтенант...

- Прощай, друг! Поправляйся...

- Поправляйся! - сказал и Иванов, еле удерживая слезы.

Вот еще один человек мелькнул на моем воинском пути и исчез, я даже толком не узнал его. В общем, парень неплохой.

А сколько их мелькнуло и кануло в водовороте войны, и фамилию-то не всегда запомнишь... Бывает, всплывет в памяти лицо, но как зовут - хоть убей...

Я доложил комбату о ликвидации пулеметного гнезда, о ранении Петрова, комбат побежал докладывать командиру полка. А вокруг гремели котелки, стучали ложки: покамест мы перли на сопку, началась раздача завтрака. Подключилась к этому занятию и первая стрелковая рота, ибо жизнь продолжалась. Нехотя совал я ложку в котелок, кое-как проглатывал полуостывшую пшенку, запивал вовсе уж остывшим чайком и не подозревал, какая новость поджидает меня, как и весь первый батальон, после припозднившегося завтрака: распоряжение остаться на месте. Как на месте, почему? Полк уходит, а мы? Я пожалел, что возле меня нет замполита Трушина: он бывал неизменно в курсе событий, - но он отирался около комбата и был недоступен.

- Что бы это значило? - задумчиво спросил меня Иванов.

- Сам, лейтенант, теряюсь в догадках! Поживем - увидим!

Философская эта фраза "Поживем - увидим", весьма популярная в армейской среде, выручала во многих случаях: стоило лишь набраться терпения - и что-то в конце концов прояснялось.

Выручила она и на сей раз! Комбат собрал офицеров и, светясь ликом,объявил:

- Наш батальон войдет в состав передового отряда! Будем действовать в отрыве от дивизии, оперативное подчинение -

командарму!

Вот это да! Только что не кричали "ура". Засветились ликами похлестче капитана. Разумели одно: кончается пехотное существование, марши на своих двоих, болтание посередке, выводимся в первый эшелон, оседлаем технику - и вперед. Не разумели многого: с чего так подфартило, образуется ли новый подвижной отряд либо пополним какой-нибудь потрепанный в боях, куда и когда направимся? С ротной колокольни что увидишь? Но и с батальонной, сдается, видно не все. Трушин тоже ничего не знает.

Я смотрю на щербатый рот Феди Трушина, на безбровое, стянутое ожоговыми рубцами лицо комбата и думаю: "Капитан горел в танковом десанте. И радуется, что опять попадает на танк?

Или нас на "студебеккерах" разместят?" И мысль: хочу испытать судьбу, что она сулит, судьба, в сражениях не сегодня завтра отыщет пуля либо помилует, поглядим-увидим, как фортуна со мной обойдется. Фаталист нашелся! Ты не столько о своей голове пекись, сколько о других, отец-командир.

Ударил гром, который не враз отличили от артиллерийского грохота. Но над вершиной, в черной туче, прочертились зигзаги молнии, опять гром и опять молния. Сверкали молнии и гремел гром, дождя не было. И это показалось странным. А может, и не странно, может, это били колокола судьбы, вещая о ее крутом повороте? Но как пи были красивы эти придуманные колокола, я заставил себя подумать об ином: если начнется сезон дождей, каково нам будет форсировать Большой Хинган? До него, как ни крути, два-три хороших перехода. Тем паче на колесах.

Белобрысых, усатых, большелобых, бессмертных поставил на взводы, а сержанта Славу Черкасова, сдержанного, неразговорчивого, назначил помощником командира взвода. Обрадовался он, шибко проявил эмоции? Ничуть не бывало. Буднично сказал:

- Доверие оправдаю, товарищ лейтенант.

А я-то думал, он честолюбив, переживает, что в свое время не сделали помкомвзвода. Вот известие о подвижном отряде он воспринял с оживлением, мимолетно улыбнулся и сказал сам себе: "Повоюем!"

Повоюй, Слава. И останься жив. Чтоб на Красноярском вокзале тебя встретили мать и невеста.

Стрелковый батальон разместили частично в "студебеккерах", частично посадили на броню - это, к моему удивлению, были не прославленные "Т-34", к которым мы привыкли на Западе, а "ВТ", известные своей быстроходностью. Танковую бригаду усиливали

противотанковые пушки, самоходные артиллерийские установки, зенитные пулеметы, рота саперов. Командовал подвижным отрядом комбриг, коренастый, зеленоглазый, зычноголосый. на нем был комбинезон, скрывавший знаки различия, танкисты звали его Батя и "наш полковник".

Не сходя с "виллиса", комбриг оглядел нашего вытянувшегося по стойке "смирно" комбата с головы до пог, словно прикидывая, чего тот стоит, и сказал:

- Капитан, мозгуй! Действуем в направлении перевала Джадын-Даба, туда уже ушли танкисты из Шестой армии Кравченко.

Надо настичь их и не отставать, если удастся - обогнать! Ввяжемся в бои - на твою пехоту рассчитываю, мозгуешь?

Полковник всмотрелся в лицо капитана и удовлетворенно хмыкнул. А мне подумалось, что комбригово "мозгуешь?" сродни комбатову "втемяшилось?". Подумалось также: не только комбат бывал в танковых десантах, и я сподобился езживать на броне - под Минском и Каунасом. Стало быть, не новичок.

На сборы, погрузку, заправку горючим комбриг отвел полчаса.

Обнажив на запястье часы, предупредил: "Ни минутой позже!"

По тому, как забегали танкисты, стало понятно: слово Бати подхватывается на лету. Учтем. Пускай учтут и артиллеристы, самоходчики, зенитчики, саперы - им же будет лучше. Моей роте выпало ехать на тапках неужели это так. до сих пор не верится. Лейтенант Глушков на танке въедет на Хинган, съедет вниз и покатит по Центральной Маньчжурской равнине аж до Порт-Артура! Если, конечно, японцы не помешают...

Первой роте неизменно везет: под рукой у начальства - посему ее на танки, остальные будут нежиться в "студебеккерах"

и полуторках. Конечно, и там потрясет, но там есть скамейки, с голой броней не сравнить. Ну, ладно, не будем привередничать.

Другое дело, что за тайком охотятся противотанковая артиллерия, гранатометчики, смертники с минами, его бомбят, штурмуют, ему роют волчьи ямы и прочие удовольствия сулят. Грозная машина сама становится мишенью. То, что достанется тапку с экипажем, выпадет и десанту. По выше голову, хвост пистолетом! Будем взаимодействовать, глядишь, и минуют напасти.

С группой солдат я подошел к тапку, на котором предстояло охать. Танк посмотрел на меня черным зраком орудийного ствола, как бы приглашая познакомиться. Я похлопал по нагретой шершавой броне - вроде рукопожатием обменялись. Танк как танк:

покрашен в защитный цвет, краска кое-где облупилась, гусеницы блестят, отполированные, от всего корпуса несет жарой и горючим; из башенного люка высунулась голова в танкистском, ребрышками, шлеме, из-под шлема на лбу белокурые кудряшки, прямо-таки девичьи. Танкист сказал мне:

- Командир танкового взвода лейтенант Макухпн. Можно и проще - Витя...

- Командир стрелковой роты лейтенант Глушков. Если проще - Петр...

- Петр? Строгий ты. видать, человек...

Мой верный ординарец Миша Драчев некстати ввернул:

- Витя? А я вот знаю: есть такое сочинение "Витя в тпгровой шкуре"!

Книгочей Нестеров первый засмеялся:

- Да не Витя, а "Витязь в тигровой шкуре"!

- Ну да, - слегка стушевался Миша. - Сочинение какого-то грузшща!

- Шота Руставели? - спросил Вострпков, еле сдерживаясь от хохота.

- Кажись, он, - промямлил Миша.

- Вот так сморозил, - сказал я. - Сам ты Витя в тигровой шкуре.

Хохот покрыл мои слова, и громче всех смеялся лейтенант Макухин, вероятно мой однолеток. Так, со смехом мы познакомились с экипажем, перекурили это дело, лейтенант Макухпп пас просветил: прежнего комбрига-забайкальца перед походом заменили на западника, фамилия громкая - Карзапов, сражался за Сталинград, на Орловско-Курскои дуге, на Украине, в Румынии, Венгрии, Чехословакии, орденов полна грудь, а бригада восточники, будет фронтового опыта набираться. Просветительство пресекла команда:

- По коням!

В армии шутливо, но неизменно подавалась такая команда вместо, скажем, "По тапкам!" или "По машинам!". Две другие роты полезли в автомашины, а я со своими орлами на танки. Экипажи угнездились внутри танков, пехота наверху - вроде бы оседлала их. Так что гаркнувший "По коням!" полковник не столь уж далек был от истины.

Взревел двигатель, выстрелили выхлопные газы, танк качнулся и пошел вперед. Это покачивание усиливалось и превратилось в нечто похожее на морскую качку: выбоип и ям на пути хватало,

Я сидел справа от башни, прижимаясь к броне. Будь начеку:

тряхнет на яме - запросто сковырнешься наземь, а сзади

рычат другие "БТ". Попасть под гусеницы - - мало приятного. Броня разогретая, и сидеть жарко. И неудобно - враскорячку. Солдатам я приказал расположиться на бревнах по обе стороны от башни - бревна на случай, если танк засядет, а сам стоически корячился.

Долго ли так продержишься? Солдаты сердобольно потеснились, и я сел, стиснутый плечами.

Снизу, от машины, исходил жар, сверху обдувал встречный ветер и, увы, встречная пыль. Довольно скоро наши лица посерели от пыли, на зубах скрипело, в глотке першило, одежду хоть выколачивай! А члены экипажа, наверное, почище, перед маршем я даже удивился: выбритые, наодеколопепные чистюли, не похожие на обычно чумазых танкистов. Когда я брился? Два-три дня назад. Не до бритья. Но танкисты же нашли время. Сквозь рев двигателя, скрежет гусениц, посвист ветра слышится голосок неугомонного Миши Драчева: - Мирово зануздали лошадиные силы!

Он вжимается в мой бок своими костяшками. Погоди, ведь это он и потеснил солдат, освобождая для меня местечко. Благодарю, верный ординарец! Витя в тигровой шкуре...

19

Что за десанты были под Минском и Каунасом? Очень схожие. Кратковременные, что ли. Посадили пехотинцев на тридцатьчетверки, те рванули опушкой и полем к опорному пункту, смяли заграждения, принялись утюжить траншею, немецкие автоматчики убежали, десантники спрыгнули, заняли се; тапки ушли на западную окраину поселка, а к траншее ринулись немцы, чтобы вернуть позиции. Да не тут-то было, траншею мы не отдали!

А сколько ныне проедем на броне? Будем спрыгивать, воевать, но потом снова на броню. Почему был спешно сформирован наш подвижной отряд? Из реплик полковника Карзанова, из разговоров штабистов между собой и с комбатом напрашивался вероятный вывод: поскольку подвижные отряды оправдывают себя с первого дня войны, командование увеличило их число уже в ходе операции. Очень может быть. Потому что скорость продвижения - залог боевого успеха, это-то и с ротной колокольни очевидно. Да и замполит Трушин так считает. Разлюбезный друг Федя катит в голове колонны, на "виллнее", не его ли пылюку я глотаю? Впереди, естественно, разведка, потом "виллис" комбрига, потом "виллисы" с замами комбрига, командирами стрелков, артиллеристов, самоходчиков, зенитчиков, саперов, потом штабной автобус с рацией, потом тапки. ГГылюка стоит добрая: чем выше в гору, гем меньше

заболоченных лугов, почва сухая, каменистая. Поднимаемся незаметно, и вообще незаметно, как глотаем вместе с пылью километры. Разве что руки и спина болят - устали от напряжения. Да и при толчке стукнет о железяку. Хочется ругнуться. Однако я молчу, подаю пример: подумаешь, стукнуло.

Даже стараюсь не кряхтеть.

Где родная дивизия, родной полк? Обгоним их либо по другому маршруту идем? Скорей, последнее. Жаль, что не нагоним, теперь свидимся когда? Когда увижу комдива - нашего Батю, генерал-майора с Золотой Звездой Героя на кителе? Нечасто лейтенанту доводилось видеть своего генерала, но все-таки такое случалось. Одно слово - Батя! Особенно это чувствую я, безотцовщина. И здесь - свой Батя, но к нему надо еще привыкнуть, Да к тому же не генерал, лишь полковник, иное качественное состояние. Ничего, привяжемся и к полковнику, танкисты ведь привязаллсь.

Временами из приоткрытой башнп высовывался лейтенант Макухин, посматривал назад и вперед, улыбался, кричал:

- Петя, живой?

- Живой, Витя! - отвечал я, безжалостно встряхиваемый на рытвинах.

Уточняя маршрут, колонну несколько раз останавливали, в в подобные бесподобные! - минуты мы торопливо спрыгивали, разминались. Вот вам разница между сермяжной пехотой (она же царица полей) и теми аристократами, кто на колесах. В пехотной жизни ждешь не дождешься привала, чтобы упасть наземь и не шевелиться. В аристократической наоборот: на привале хочешь двигаться, хочешь размяться. Это так, к слову...

Проехали километров сорок - пятьдесят. Уже не шли по следам танков Шестой армии, где-то свернули на собственный маршрут. Не исключено, между нами и противником нет наших частей. Хотя, разумеется, утверждать это трудно: по всем направлениям рвутся к Большому Хингану подвижные, или, как еше пх называют, передовые отряды.

- Товарищ лейтенант! - сказал Миша Драчев. - Оно. конешное дело, кататься на тапочках - не сравнить с пешедралом.

Одначе шишек и синяков наставишь - будь здрав!

- А меня укачивает, - сказал Шараф Рахматуллаев.

Я пригляделся: точно, узбек даже побледнел как-то.

- Держись, ребята! Это еще не самое страшное на войне. - сказал я и засомневался: хотел подбодрить, а вышло что-ю не то.

- По коням!

Залезали торопливо, как и слезали. Цепляясь кто за что - и друг за дружку. Лейтенант Макухин высовывался из башни.

кричал, веселясь:

- Больше жизни, пехота! А то без вас умотаем! Петя, как, все залезли?

- Кажется, все.

- Ну. с богом! Тронулись!

Рокот двигателей. Лязг гусенпц. Дрожащее- марево. Клубы пыли. Пыль пропитала и людей, и машины. Высовывающийся из башни Макухин тоже стал серым, как и десантники. Броня нагревалась круче и круче, и Толя Кулагин прокричал Логачееву:

- Теперича. Логач. точняком ты в аду! И мы с тобой заодно жаримся на раскаленной сковородке!

- А? Что? - от шума двигателей закладывает уиш. Логачеев заталкивает палец в ухо, прочищает.

" - Говорю: как в аду. на раскаленной сковороде!

- Вскорости яичницу изжарим, Толяка!

Шутки шутками, а подпекает так, что вертишься. Вертеться же не навертишься, ибо можно загреметь с танка. Солнце нагревает и наши головы: гром погремел, тучи откочевала, В висках стучит. Испить бы водицы, но колодцев пет как нет, фляжки пустые. Терпи, казак, атаманом будешь, как говаривали на Дону.

Прикрыть глаза рискованно: устойчивость сразу хуже. Но я все же опускаю веки и представляю, как с нашей стороны и с японской к перевалам Большого Хингана устремляются массы койск. Японцам, как и нам, нужно преодолеть четыреста - пятьсот километров. Кто быстрей подойдет к перевалу? Давай, механик-водитель, жми шибче, по-казачьи - швыдче!

Лейтенант Макухин. ссылаясь на комбрига и штабных, намекнул: на Западе танки использовались по-иному, Я напрямик спросил, что конкретно он имеет в виду. Макухии ответил: не пехота,-не артиллерия, а именно танки сейчас устремились вперед, обходя укрепленные районы. Расчет на внезапность: японцы, очевидно, не верят, что танки могут преодолеть Большой Хинган.

Возможно, и так. Хотя со взводной макушки видно не лучше, чем с ротной. Правда, взвод этот - танковый. А нынче танкам первое слово. Основная сложность, по словам лейтенанта Макухпна, явно заимствованным у начальства, в том, что коммуникации предельно растягиваются, танки отрываются от пехоты, от баз снабжения, в первую очередь - горючим, а без горючего танк что?

Ничего. Но по словам того же Макухина, покамест автозаправщики справляются, не отстают, да и транспортная авиация подбрасывает бочки. Покамест... А спешить надо!

Полковник Карзанов правильно понял мысль лейтенанта Глущкова, потому что колонна прибавила прыти. Сам комбриг пересел на бронетранспортер, и разведчики на бронетранспортерах, пылят где-то далеко.

Пересев на танк, я в чем-то изменил свое пехотное мышление.

А как же! Рассуждаю с точки зрения передового, подвижного отряда. Такой получается расклад: на нашем пути - горный хребет, его характеристика тысяча четыреста километров в длину, триста в ширину, высота до двух километров. Впечатляет? Далее; это дикие, хаотичные кручи, удобные проходы через Хинган перо крыты укрепрайонами, туда соваться не резон, их надобно обходзть, а всего вдоль своей границы японцы соорудили семнадцать мощнейших укрепленных районов. Неприкрытыми остались перевалы, которые принято считать недоступными для танков.

Какие там тапки на охотничьих да пастушьих баргутских тропах среди скалистых нагромождений! Но пробиться через Большой Хинган надо во что бы то ни стало! Пробьемся - как снег на голову японцам!

Опять пошли вязкие луга, а кое-где, на спусках, и трясппа, покрытая ряской. Танки ее проскакивали, по автомашины, походные кухни, орудия иной раз и застревали, стреляя из-под колес вонючими бурыми ошметками. Выручали тапки: надежный трос - и неудачник вытащен на сушу. Суша - понятие относительное:

чем выше, тем больше рыхлого перегноя, под которым каменистая подпочва, немудрено и забуксовать. По склонам - кустарник и чахлая черпая береза, ею меня уже не удивишь, попадаются и вполне приличные дубки и лиственницы. Несмотря на то что мы в движении, комары исхитряются налетать и кусаться. На болотцах пх видимо-невидимо, остановимся на ночлег - дадут прикурить.

Далп! Едва мы спрыгнули с брони, на пас остервенело накинулась орава мошки и комаров. Кровососущие! Мы шлепали себя по лицу, по шее, по рукам, обмахивались ветками, курили, развели костерки. Черта с два! Разве этих кровопийц чем-нибудь испугаешь?

Однако это был не ночлег и даже не большой привал, а так, маленькая остановка, минут на пятнадцать, достаточных, впрочем, для того, чтобы развести костерики и справить нужду. Остановились потому, что разведка донесла: на пути поселок, превращенный в опорный пункт, обороняет его батальон япопо-маньчжур, усиленный артиллерией. Ясненько: опорный пункт

прикрывает подступы к хребту. Что предпримет комбриг? С ходу атаковать нельзя, можно тапки загубить, но и одну пехоту пускать не резон, сперва нужно выявить передний крап, огневые точки противника, значит - разведка боем?

Ее провели разведчики на бронетранспортере, два танка и, естественно, неизменная первая стрелковая рота. Комбат сказал:

- Глушков, твои бойцы пойдут за тапками. Прижимайтесь ближе к броне, меньше будет потерь от ружейно-пулеметного огня.

- Так точно, товарищ капитан, - сказал я, подумавши: а потери от артиллерийского огня, если снарядом, не дай бог, вмажет в танк.

- Охраняйте тапки от смертников с минами. Снимайте и расчеты противотанковых пушек, коль выкатятся на прямую наводку.

- Есть, товарищ капитан!

- Ну, давай, Глушков, я на тебя надеюсь...

Тут уж я ничего не ответил, лишь благодарно похлопал глазами. Комбат дружески ударил меня в плечо, будто подтолкнул, толчок был неожиданно сильный, и я пошатнулся. Капитан улыбнулся своей неподвижной, мертвой улыбкой - одними глазами: дескать, держись тверже, Петя Глушков, - и я оценил это.

Довел задачу до взводных, до сержантов и солдат. Все молчали, но Логачеев высказался:

- Ядреиа вошь, а ведь за разведкой будет и настоящий бой?

А, товарищ лейтенант?

- Будет.

- И я то ж самое разумею!

Грамотный. Нынче все в ратных трудах грамотные.

- Ребята, - сказал я, - действовать смело, решительно, однако не зарываться! Помните: это разведка боем!

Поселок - деревянные и кирпичные домишки - лепился по склонам сопки, словно привалившейся к .отвесному, скалистому скосу еще более высокой горы. Следовательно, зайти с тыла отпадает, будем охватывать, но простреляем и по тылу, наверняка круговая оборона, все включено в огневую систему.

Разведчики соскочили с бронетранспортера, рассыпались цепью по сильно пересеченному склону. В центре была кое-как наезженная дорога, по ней двинулись танки, и мы за ними, глотая отработанные газы. Затем один танк вильнул влево, в обход поселка, второй - вправо. Моя рота разделилась, я пошагал за правым танком, за макухинским. Посмотрел на соседнюю сопку:

там НП Бати, там его свита, включая нашего комбата. Прильнули к биноклям и стереотрубам, следят за нами. Не беспокойтесь, не подведем! Посмотрел и в низину, где, прикрытый завесой тумана, разворачивался передовой отряд - танки, пушки, бронетранспортеры, автомашины с пехотинцами, с саперами. И от мысли: за спиной сила! - стало не так тревожно. Сейчас эта сила молчаливо нас поддерживала, но придет срок заговорит.

Голос вблизи:

- Подзасиделись на танке? Счас разомнемся, будь спок!

Кто? Логачеев, Свиридов? Или Кулагин? Разговорчивые! Да уж разомнемся, будь спокоен! Оступаясь в вымоинах, спотыкаясь о пеньки, корневища и камни, ломясь сквозь кустарник, мы приблизились к поселку метров на двести. Вражеская оборона молчала. Затаилась? Заставим раскрыться!

Дальше мы не пошли и враз открыли огонь: танковые орудия, минометы, пулеметы, винтовки, стреляли и из автоматов - больше для шума, понимая, что убойность автоматного огня

двухсот метров не достигает. Я лежал за валуном, наблюдая за обороной:

откуда бьет пулемет, откуда пушка, где дзот, где снайпер. Над нами посвистывали пули, фукали осколки, и это было неуютно:

никакого подобия окопов, солдаты вжимаются в ложбинку, лъпут к обомшелым каменным россыпям. Но чем активнее стреляют японо-мапьчжуры, тем для пас лучше: раскроют систему огня.

Хотя могут и схитрить: какие-то огневые точки молчат. До поры до времени. До атаки.

Разведка боем обошлась нам, к сожалению, недешево. Действовавший на левом фланге экипаж "БТ" увлекся, вырвался и получил противотанковый снаряд, сорвало гусеницу; танк сперва крутился на месте, затем замер; паше счастье, что мигом подошел тягач и уволок его в ппзпну, иначе вражеские артиллеристы могли бы добить. Было убито три разведчика, и - я не поверил себе - тяжело ранен командир взвода лейтенант Иванов. Господи, какое-то заклятие: взводных лейтенантов уже выбило, придется сержанта Черкасова ставить на взвод. Делает карьеру: из отделенных - в помкомвзвода, оттуда во взводные. Горькая это карьера...

Иванов был без сознания - пуля снайпера вошла в живот, и я подумал: не жилец. Если бы ранило натощак, было бы больше шансов выжить. Правда, завтракали давно и еще не обедали.

Но если б совсем натощак!

Иванов дышал с хрипом, с хлюпом, закатив белки, на широком лбу полоски грязи, узкий подбородок рассекла глубокая ссадина. А у Петрова был узкий лоб и широкий подбородок, он брюнет, а Иванов блондин, у Петрова усы длинные, закрученные книзу, у Иванова - усики короткие, щегольские, но оба высокие, костистые, и когда-то на дне рождения старшины Колбаковского оба разрумянились от выпивки. Сейчас Иванов белый как мел.

бледный был и Петров, когда его ранило.

Может быть, это было странно, но я пожал безответную, неживую руку Иванова. Вот и с ним расстаюсь, не узнавши толком. Не жилец? Живи, лейтенант Иванов, я очень прошу тебя об этом!

Его привычно уложили на носилки, санитары привычно примерились, взялись за ручки, подняли, привычно понесли, стараясь идти в ногу, чтобы не трясти раненого. Слишком привычно.

Как доложила разведка, гражданского населения в поселке вет, поэтому можно гвоздить. И пушкари, минометчики,

самоходчики, танкисты, пулеметчики гвозданули по выявленному переднему краю обороны - по окопам, по дзотам, по огневым позициям артиллерии и вообще по поселку. На улицах, за опоясывающим поселок валом, вспыхнули пожары, задымило чадно. В бинокль было видно: на подступах к поселку задымились дзоты, пораженные прямым попаданием, - вверх полетели комья земли, камни, доски; земля и камни вздыбились фонтанами и там, где проходила траншея и ход сообщения. Японцы огрызались. Била артиллерия, били пулеметы. Кто-то ойкнул, кто-то визгливо назвал:

- Санитар! Давай сюды санитара!

Та-ак, знакомые словечки. Еще до атаки звучат.

Наш огневой налет длился с четверть часа. Под, конец его вижу: кто-то ползет из тыла к залегшей цепи, точнее - ко мне, Федя Трушин, друг разлюбезный! Обполз свежую ьорсшку, привалился ко мне:

- Здорово, единоначальник!

- Здорово, комиссар! Чего нелегкая принесла?

- Я к бойцам! - И пополз по-пластунски.

Поколебавшись, я двинул за ним, пусть и не в самую тень, но поближе к солдатам. Устав нарушаю! А-а, это комбат и выше обитают подальше, да и то не всегда. Командовать же ротой сподручно и отсюда.

Третья рута атаковала опорный пункт слева, в центре - вторая, а моя на правом фланге, как и при разведке боем, только еще больше сместилась вправо. Кончился артналет, комбат выпустил ракету, плохо видимую днем, я заверещал свистулькой, висевшей на шнурке, и цепь поднялась, придерживаясь неуклюже ползших танков. До вражеской обороны было сто пятьдесят - двести метров, пушки были подавлены, но пулеметы там и сям уцелели, стреляли очередями. Стреляли и снайперы. Мои снайперы засекали их в слуховых окнах, на крышах и при повторном выстреле "кукушек", надо полагать, снимали их.

Кроме танков, в боевых порядках шли самоходки, и те и другие стреляли с коротких остановок. Опорный пункт долбаем недурно, не хватает авиации, она б долбанула!

Танки ц самоходки перестали стрелять, катили в боевых порядках пехоты, молчаливо подбадривая своим присутствием.

Вскидывалось, опадало, вскидывалось "ура". И я на бегу вопил "ура", спотыкаясь, выравнивая шаг. Незаметно очутился в цепи.

Ощущение: словно только вчера кричал в атаке "ура". Метров за сорок до траншеи мы швырнули гранаты и, еще громче вопя "ура", строча из автоматов, припустили к ее изгибам. Краем глаза вижу: вырывается Трушин, обгоняют меня и сразу трое солдат.

Врешь! В азарте поддаю, догоняю опередивших.

- Ура! Ура! Ур-ра... А-а...

Я кричу, подхлестываемый близостью врага, опасностью и жаждой убить, чтоб самого не убили. И быстрей, быстрей! Опереди, первый нажми на спусковой крючок, первый брось "лимонку", первый ударь ножом или саперной лопаткой! Хотите укокать меня, курвы? Я вас укокаю! Зверея, кричу уже не "ура", а матерное. Вперед, в бога-душу, пуля рассудит!

Спрыгнул в траншею, зыркнул по сторонам: справа и слева были уже наши солдаты, растекались по изгибам. Японцев не видать. Вдруг дверь подбрустверной землянки с треском раскрылась, в траншею выскочил, гортанно вскрикивая, офицер, вскинул палаш. Я выпустил очередь, японец завалился на спину - и ОЧКУХ, щеточка усиков, желтые выпирающие зубы, на подбородке струйка крови. Я прислонился плечом к траншейной стенке, обшитой досками: слабость в руках, а в йогах тяжесть - куда девалась невесомость, с какой несло меня в атаку? И подташнивает. Отвык, что ли, убивать? Так рано отвыкать.

В ходе сообщения - топот, гвалт, истошное "банзай", и целый взвод японцев ввалился в траншею, схлестнулся с нашими. Заварилась рукопашная, как в добрые западные времена. Стрелять было нельзя: где своп, где чужие не разберешь. Стоны, крики, удары. Я стоял как в оцепенении. Командовать? Что? Бессмысленно. Участвовать в рукопашной? Командиру роты? Мало разумного. И однако я отклеился от стенки и ударил прикладом в возникшее внезапно передо мной раскосое лицо с оскаленными кривыми зубами. И в этот же момент увидел: подкравшийся сзади японец коротким, резким движением вонзил винтовочный штыкнож в спину Головастикова. Я в ужасе закричал "Филипп!" и бросился к нему. Японец выдернул штык и повернулся ко мне. Молниеносно я ткнул его ногой в пах и, скрючившегося, ударил наотмашь затыльником автомата в висок. Японец упал. Я подхватил Головастпкова под мышки, чтобы выволочь из этой мясорубки, затащить в окоп, оказать помощь.

Помощь опоздала, потому что ножевой штык достал до сердца.

Перепачканный его кровью, я еще суетился возле Головастпкова.

вскрывал индивидуальный пакет, приподнимал Филиппу голову, которую он ронял безжизненно. Я хотел позвать санитара или санинструктора, но голос отказал, в горле только пискнуло.

И люди, мелькавшие вокруг, увиделись мутными, расплывающимися. Понял, плачу.

Ты полежи, Филипп, полежи перед тем, как тебя зароют, а

мпе надо в бой. Чтоб за тебя отомстить. Я положил сто голову, и она откинулась набок. Рукавом вытер себе глаза и встал. И побежал по траншее. Как в тумане, возникла фигура японца, выставившего перед собой карабин со штыком. Сработала мысль: поблизости наших пет. можно стрелять - я выпустил три-четыре пули.

За изгибом увидел японцев с поднятыми руками, оказалось:

ошибся, это были маньчжуры. Я крикнул во все легкие:

- Кто поднял руки - не трогать!

Командирский рефлекс: надо предупредить солдат. Не то в горячке боя, в порыве мщения могут срубить и того, кто сдается в плен. Хорошо, что у самого рассудок на этот случай достаточно трезвый. Я крикнул:

- Ребята, давай по ходу сообщения! В глубь обороны!

Спотыкаясь о чьи-то ноги, наступая на чьи-то руки, я побежал по ходу сообщения, за мной - Свиридов, Кулагин, Симоненко, Черкасов. Над ходом сообщения просвистывали пулеметные очереди, где-то стучали "гочкпс" и "максим", поверху перекатывался бурый едкий дым. На левом фланге и в центре - разнобойное "ура". Ну, "ура" и мы крикнуть можем. Парторг Симонепко взмахивает автоматом:

- За Родину!

А где же замполит Трушин? В сутолоке рукопашной схватки растеряли друг друга. Только был бы жив! Ухнули взрывы. Саперы подорвали дзоты? А не тапки подорваны? Надо выбираться наверх. Разметав проволочные заграждения, проутюжив выносные окопы, они перемахнули траншею, пошли в глубь поселка.

часть моих людей - с ними. Но и самому быть ближе к тапкам не худо.

Мы выкарабкались из хода сообщения, где он врубался во вторую линию траншей, и, пригибаясь, побежали к двухэтажному кирпичному здатпо, возле которого стоял танк и бил по окнам второго этажа. Увидел в воронке Трушина: живой! Машет пилоткой: жми сюда! Я плюхнулся в воронку рядам с ним. Выставив автоматы, открыли огонь по окопным проемам: там засели снайперы-смертники в белых рубашках и штанах, белое - цвет траура, пу и будет вам траур. Танковые снаряды кромсали здание, горели оконные рамы, красная кирпичная пыль висела кисеей.

Выстрелы, разрывы, треск, звон разбитого стекла. И еще гуще дым.

- Гляди, Петро!

Я посмотрел на Трушина, а потом туда, куда он ткнул

пальцем. Меж битых кирпичей, комьев подкопченной глины и прижухлой травы полз японец - в белой одежде и с белой повязкой вокруг головы, на повязке иероглифы. Смертник! На спине мина, курс - к нашему танку. Мы повели огонь по нему. Смертник, извиваясь, полз и полз. Как заговоренный! Но метров за тридцать до тапка чья-то очередь достала: дернулся и замер, выбросив руки. А затем чья-то очередь угодила в мину. Рвануло - аж перепонки запыли. Смертника в клочья. Лишь трава курилась там, где он только что лежал. Еще один смертник пополз к другому, слева, тапку. У него мина была на бамбуковом шесте: бросаться под днище самому не надо. Но автоматные очереди и его пригвоздили быстро. А мина на бамбуковом шесте так и осталась певзорвапная.

Ближний танк я узнал: макухипский, бортовой помер сто двадцать семь. Здравствуй, воюй благополучно! Да, баталия идет к концу. Танкам продвигаться уже пет надобности, пехота выкуривает остатки гарнизона из полуобвалившихся зданий, из полуразрушенных дзотов. Разведчики перекрыли дорогу, по которой можно было отступать из поселка, так что окружение.

Танки перестали стрелять, и я послал взвод Славы Черкасова в обход двухэтажного дома, чтобы зайти с тыла. И прочие дома стали окружать. Стрельба слабела.

Собирают пленных. Трушин говорит, что маньчжуры хотели сдаться раньше, да японцы не дали. Теперь, кто остался в живых, стоят толпой, у их ног куча брошенного оружия. Жители поселка ушли в горы, в леса, японцы напугали: русские будут убивать, грабить, насиловать - это похоже на немцев, сами злодействовали, а нами стращали. Пленные потные, грязные, туповатые. Кто из них убил сегодня наших? А ведь я приказывал пленных не трогать. Правильно приказывал.

Оказалось, ранило Яшу Вострикова, кнсловодского жителя, книгочея, милого юнца. Разыскал меня, протянул здоровую - левую руку:

- Товарищ лейтенант! Не могу эвакуироваться, не попрощавшись.

- Ну, прощай, Яша!

- Да уж вряд ли свидимся, товарищ лейтенант! Вы пойдете дальше, а я в тыл. Не повезло...

- Как сказать! Наверняка походишь под солнцем и луной...

- И вы походите! Товарищ лейтенант, просьба есть... Проследить, чтоб представление не затерялось... Сержант Черкасов сказал, что за сегодняшний бой представят к медали "За отвагу"...

- Представим. Проследим. Не затеряется...

Нашел о чем Успокоиться. Хотя еще на Западе мечтал о награде, жалел, что пополнение опоздало к боям. Получишь, получить свою медаль. Коль отважно дрался, коль ранен. А пинюшпх, и Филиппа Головастикова среди ппх, похоронили на окпаине, в братской .могиле. Ломами долбили землю - лопаты ее не брали. - чтоб яма была поместительная. Вот так: будут бон и стычки, и будут выбывать мои солдатики.

В поселке ночлега не было, и привала никакого не было. Держался еще световой день, комбриг решил: марш продолжать!

И, наскоро приведя себя в порядок, передовой отряд снова двинулся по горной дороге, вернее, по горному бездорожью: то, что подходит лошади или человеку, не подходит машинам. Поэтому и двигались медленнее, чем хотелось бы. Солнце висело над зубчатой грядой, алое, закатное, по ущелью плавал застойный туман, оттуда тянуло сыростью.

Я опять ехал на танке номер сто двадцать семь; лейтенант Макухин по пояс высунулся из башни, прицениваясь к подъемам и спускам. Но и спускаясь, мы все-таки поднимались: общая высота неуклонно росла. Стало закладывать уши. Десантники сидели молчком. Толя Кулагин затеял было говорильню: после боя шиш пообедали, когда же будет обед, когда будет ужин? - но его не поддержали. Хотя, наверное, у многих сосало с голода. Устали, да и напряжение не спало: бой, опасность, кровь товарищей.

А я думал о Головастпкове. Был рядовой из рядовых, смертный из смертных. В эшелоне напился, полез на меня с кулаками.

И я ведь еле удержался, чтобы не ударить его. Как это выглядит сейчас, после гибели Филиппа? Не шибко образованный был, но тянулся к тем. кто пограмотпее, мягкий, добрый был, музыку любил. И жену свою разпеверпую любил. Которую когда-то спас от хулиганов-насильников, а она потом так подло изменяла ему, фронтовику. Которую он хотел зарезать на побывке и, слава богу, не зарезал. Пусть живет-пахнет дамочка: проблемы отпали, Филипп зарыт в китайскую землю. Может, побесится до сорока, а потом кому нужна? Еще пожалеет о Филиппе. Да будь она проклята, вспомнилась...

Ехали без заминок, дотемна, когда уже стало опасно из-за плохой видимости. Стоянку разбили у подножия горы. Комарье и мошкара набросились, стервецы. Воняло болотной затхлостью.

Воздух охолодал, ребята раскатывали скатки. Тучи закрыли небо, лишь изредка посвечивали звезды, не в силах перебороть мрак.

У костров, приятно горчивших дымком, ели всё разом - и

обед и ужин, набивали животы. Невдалеке, в километре, в деревне баргуты жгли кизяк, лаяли собаки. Видать, не испугались пас. не ушли. Освободителей бояться не надо. Сходить бы в деревню, но нету моченьки. Расстилай шинелишку - и на боковую. Спать одному было холодно. Испытанное, фронтовое: шинель вниз, спина к спине, вторую шинель наверх. Можно с ординарцем Драчевым скооперироваться. По не подойдет ли Трушин, дружок мой?

Чистенько ночуем на пару. Действительно, через десяток минут Федя Трушин пришел. Драчев сказал:

- Мы заждалнся вас, товарищ гвардии старший лейтенант.

Мы - это значит я и он. И так можно: он и я. Трушин приветливо ответил:

- Служба, Драчев. У тебя ордппарская, у меня замполитская... Парторгов собирал...

Я расстелил свою шинель:

- Ложись, Федор.

- Мерси, Петро. Но перед сном перекурим... Давай твоих!

Задымили папиросами, тщетно надеясь, что дымок маленько разгонит комаров. Трушин сказал:

- Да. самураи дерутся зло, отчаянно. Одна из причин: командование им внушило, что русские в плен не берут, убивают на месте... Да и так фанатичны до чертиков... Но наши удары, Петро, их отрезвят!

- Это верно. К прискорбию, их отрезвление стоит нам жертв, ъот у меня Головастиков погиб, лейтенанты Иванов и Петров ранены...

- Потери есть... Больно!

Ночной мрак шуршал шагами часового, шелестел травами, лаял псами в деревне, плакал шакалами в распадке, шлепал одиночными каплями собирающегося дождя. Рано пли поздно дождик будет, но Филипп Головастиков этого не увидит. Сжалось сердце, когда подумал о нем. Он сделал все. что мог, отдал все, что имел, - жизнь. За Родину отдал, за нас, за меня. И за ту женщину в Новосибирске, которая, по несчастью, была его женой.

И вдруг представилось послевоенное: я женат, у меня дети, жена непутевая, вроде головастиковскоп, семья рушится, я страдаю, правда, на жену рука не подымается, но сам готов в петлю. Возможно ли такое? А почему же нет?

20

Еще ночной мрак трещал цикадами - совсем как у пас на Дону или на Черном море, в поселочке Гагра. Робко, уютно, подомашнему. И ночной же мрак сказал баском Грушпиа, совершенно бодрым, ясным:

- Петро, не спишь?

- Покуда пет.

- И я не сплю... Мучает совесть. Замполптскпе обязанности не все выполнил.

- Что именно?

- Надо было б сходить в деревню. Побеседовать с жителями, рассказать об освободи тельной миссии наших войск.

- Уже около полуночи.

- Ну и что? Л днем когда же ходить? Днем марши и ботт...

Нужно было б сходить сразу, после ужшта. Да уж ладно, и китайцы вряд ли спят, до сна ли? Так пойдешь со мной?

- Сейчас? Ты серьезно?

- Вполне: прихватим переводчика, парторга Симоненко...

- А если в деревне, японцы?

- Пленим! Прихватим с собой пяток автоматчиков. Побеседуем, побудем так часик - и восвояси. Малость недоспим - так что ж, на воине недосып нормальное явление... Идешь?

- Иду. - сказал я. в дуто сомневаясь: нужны ли эти полуночные беседы? Но замполита не оставлю, мало ли что может произойти в деревне.

- Поднимай автоматчиков! - сказал Трушин и пружинисто вскочил на ноги.

Симоненко, Свиридов, Логачесв, Кулагин, Погосяп и Рахматуллаев. конечно, ужо иодхрапывалп, но. разбуженные, сноровисто стали собираться. Миша Драчев упросил взять и его: во-первых, ординарцу положено быть при командире роты, во-вторых, кто ж упустит шанс поглазеть на чужую жизнь? А сон - отоспимся на том свете!

Но старшина-переводчик из осевших на Дальнем Востоке китайцев, за которым зашли в штабную палатку, заартачился: зачем и отчего, да кому это нужно, да ночью спят - и зевал, клацая клыками. Он и потом клацал, когда группа во главе с Трушиным, отзываясь на оклики часовых, выбралась на оленью тропу. Посвечивая фонариками, мы спустились скалистым выступом, по кустарниковому гребню поднялись на относительно ровную площадку и в конце ее уперлись в земляной вал. Мы уже знали:

в Маньчжурии деревни и города обнесены подобными валамистенами - пониже ли, повыше ли. Этот вал был метров двух, можно запросто перемахнуть, по Трушин сказал:

- Найти ворота! Мы ж не воры, чтобы проникать с черного хода.

Нашли ворота, раскрыли, вошли в деревню. Собаки, учуяв пас, залаяли еще остервепелей, по на темной, грязной улочке пх

не было. И ни единой человеческой души. Во двориках вкусно пахло горелым кизяком и кое-где блеяли овцы. Глинобитные фанзы, очертаниями напоминавшие монгольские пли бурятские юрты, выступали неясно из мглы; ни огонька.

- Спят? - озадаченно спросил Трушин. - Что ж, будить?

- Не спят, - сказал я. - Просто не зажигают света.

- Старшина, - сказал Трушин, - пу-ка ткнись в эту фанзу...

Переводчик перешагнул лужицу перед фанзой, сдвинул соломенную циновку, прикрывавшую вход, что-то произнес по-китакскп. Из фанзы ответили. Переводчик сказал:

- Зайдем!

Я вошел за Трушиным, за мной автоматчики. В фанзе стало тесно. На полу тлел костерок, в его мигающих отблесках мы увидели семью: хозяина, хозяйку, полдюжины китайчат, забившихся в угол. На взрослых была какая-то рвань, китайчата были голые и тощие-тощие. Тяжело пахло дымом, потом, прелью.

Хозяева низко, раболепно кланялись, китайчата зверьками выглядывали из темноты. Переводчик, долго, старательно подбирая слова, говорил, и, пока он говорил, хозяева кланялись все ниже и ниже, доставая пол.

- Это отставить, - сказал Трунит. - Ты им переведи: русские китайцам друзья, поэтому не надо так кланяться... Пусть сядут!

И свет пусть вздуют! Лампу ли, свечку...

- Ни лампы, пи свечки нету, товарищ гвардии старший лейтенант. Пламя костра - вот и все электричество.

- М-да... Ну, пусть сядут.

- Они говорят, что по могут сидеть в присутствии русских начальников. Японцы никогда не позволяли этого...

- Переведи: пусть забудут про японские порядки. Теперь порядки будут другие, японскому игу конец, они свободные люди.

Выслушав старшину, хозяева подошли к глиняному кану и присели на краешек. Здесь костерок освещал их лучше. Китаец был изможден, сутул, стрижен наголо, виски седые, на ногах - рваные матерчатые тапочки. Такие же тапочки были и на маленьких, изуродованных, как культи, ножках китаянки, - нам известно было, что маленькая, уродливая ножка здесь признак красоты и девочкам еще в детстве забинтовывают йоги, не дают расти; полуседые волосы китаянки были гладки и редки, просвечивал череп, странно было видеть полулысую женщину. Сколько же ей лет? Ответили: ему сорок, ей тридцать пять. А похожи на стариков.

Глиняный пол, глиняный кап, прикрытый соломенными циновками, никакой утвари, кроме глиняных же кувшинов и мисок, вместо трубы в верху фанзы дыра, окошко заклеено

рисовой бумагой.

- Извиняются, что печем угостить, - сказал переводчик. - Японцы дочиста обобрали.

- Да они без японцев нищие, - сказал парторг Симопенко. - Советская власть им надобна! Тогда заживут как люди!

- Слушай, Микола, - строго сказал Трушин. - В беседах с местным населением не вздумай устанавливать здесь Советскую власть. Наш принцип невмешательство во внутренние дела.

Сами разберутся, какую власть выбрать.

- Советскую выберут!

- Надеюсь... Но в беседах надо делать упор на освободительную миссию Красной Армии.

Я увидел, как солдаты потрошат свои вещмешки: достают хлеб, сахар, вручают хозяевам. Те - ладонь к ладони, руки к груди - кланяются, как заведенные. Сержант Спмонеико:

- Нехай пацаны сахар спробуют, небось за всю жизнь пе спробовалп...

- Вот что, - сказал Трушин. - Деревню не соберем, а соседей можно. Переведи, старшина: пускай кликнет соседей сюда...

- Слушаюсь, товарищ гвардии старший лейтенант! - И зевок во всю пасть.

Китайцы - один мужчины - - явились тут же, будто стояли за стенкой. Трушин рассадил их на пол, на кап, откашлялся:

- Переводи. Однако не части...

А я с автоматчиками выбрался на волю, посмотреть, что и как.

Японцев в деревне нет, да мало ли что? А если нагрянут с гор?

В темноте шумела чумиза, горбатился вал, окружавший деревню, как тюрьму, по-прежнему брихали собаки. Под сапогами чмокала грязь.

Минут сорок спустя из фанзы вышли Трушин и Симопенко, сопровождаемые галдящими китайцами. Трушин, довольный, скалал:

- Разбудил в них общественный темперамент, вопросами засыпали... Но главное - рады, что японское рабство сброшено...

Китайцы проводили нас до ворот, остались у вала, махая соломенными шляпами и крича:

- Шанго.! Шапго! [Хорошо! Хорошо! (кит.)]

- Ребятки, - сказал Симоненко с важностью, - до расположения два ли!

- Это с чем едят? - спросил Миша Драчев.

- Ли - полкилометра. По-китайски.

- Ишъ ты, по-китайски... Ты, парторг, провожжался часик с

китайцами и уже просветился.

- Он таковский, - сказал Кулагин. - Но до чего ж бедно живут в Китае, трудно и представить.

- Представили в натуре, - сказал Свиридов. - При эдакой житухе только революцию делать.

Логачеев подхватил:

- А что, сделают революцию! С нашей помощью!

- Логачеев, - с великой строгостью сказал замполит Трушин, - Что я толковал насчет невмешательства в китайские дела?

- Так мы же между собой, - простодушно сказал Логачеев. - А на международной арене будем дипломатию разводить.

Миша Драчев фыркнул:

- Из тебя, Логач, дипломат, как из меня барышня!

- Из тебя барышня хреновая, а я б дипломатию соблюдал!

Однако ежель бы китайцы попросили о революционной помощи, не отказал бы!

- Уймись, Логачеев, - сказал Трушин. - Это проблемы будущего. В настоящем же - разгромить Кваптупскую армию в сжатые сроки.

- Вы будете смеяться, по это мы понимаем, товарищ замполит...

За разговором незаметно преодолели километр, или два ли, как объяснял Микола Симоненко, и на склоне замаячили контуры танков и автомашин. .

Дождевые капли продолжали шлепать, словно срывающиеся с дуба желуди или пули на излете, по дождя так и не было. Я посветил фонариком на часы: полвторого. По монгольскому времени. А тут какое? В ростовской школе, в нашем классе часы были лишь у одной девочки, дочки директора мясокомбината, и она на пальцах показывала всему классу, сколько минут осталось до конца урока, - знать это было жизненно необходимо, если ты не выучил урока, а учитель вот-вот вызовет тебя.

Трушин уже свистел носом. Спи, дружок, да приснятся тебе хорошие сны!

Побудка была на сером рассвете. Ежась от сырости и холода:

ночи в горах - ой-е-еи, - мы кое-как ополоснулись из студеного ручейка, а до умывания наполнили фляги, воеифельдшер разрешил, снявши пробу воды. Умываясь, обнаружили друг у друга:

физии распухли от комариных укусов. Толя Кулагин разглядывал себя в карманное зеркальце, вздыхал:

- Мордализация! Разнесло, как с похмелья.

Шараф Рахматуллаев тоже гляделся в карманное зеркальце, качал головой и цокал. Да, видик у всех...

Позавтракали рано, до восхода, а с восходом колонна уже втягивалась в горы. Горловина заставляла ужиматься - давно миновало времечко, когда тапки и автомобили шли уступом, теперь только в затылок один другому. Кружили меж отвесных высот и трясин, доверяясь тропам. Они-то выведут. Но куда? Какая из них взберется на перевал Джадын-Даба? Или на прочий-другой, меня бы любой устроил, в конце концов. Да комбрига устроит далеко не любой. Даешь Джадып-Дабу!

По военной пауке полагалось бы идти но азимуту. А идем, куда велит тройка. Кружим, петляем, иногда возвращаемся назад, чертыхаясь нро себя и вслух. Группы разведчиков и саперов на мотоциклах выбирают отряду дорогу, но она совершенно же незнакома, нет-пет да и заведет в тупик - упремся в стометровую скалу, поворачиваем вспять. Не развернешься, и хвост колонны становится головой, и комбриг со свитой пробирается из конца в конец. Дальнюю разведку маршрута ведут легкомоторные самолеты, которых на Западе называли "кукурузниками", а здесь "чумизниками": летают низко, едва не задевая чумизу. Впрочем, и кукуруза тут есть, хоть и мало. "У-2" неплохо помогают ориентироваться, но не без накладок: иной раз проморгают, о тупике предупредят с опозданием. В таких случаях в отряде чертыхаются только вслух. Ибо теряют время, темп, силы.

Сегодня мою роту пересадили на "студебеккеры", а вторую - взамен нас на танки. Пусть-ка покатаются на стальных конях, об бока которых ушиблены наши собственные бока - аж охаешь; да и у начальства под рукой пусть-ка побудут. В "студебеккере", на широких удобных скамьях вдоль бортов, не езда - удовольствие. Сидишь уверенно, за борт не свалишься. Свалиться можно лишь вместе с машиной. В пропасть.

Когда мы уходили к "студебеккерам", лейтенант Макухпп, хлопая длинными изогнутыми ресницами, пропел мне:

Расставаясь, я но стану злиться:
Виноваты в этом ты и я...
Утомленное солппе нежно с морем прощалось,
В этот мае ты призналась,
Что нет любви...

Потом сказал:

- Петя, еще встретимся! Еще покатаешься на моем тапке!

- Надеюсь, - сказал я. - Счастливого пути, Витя!

В "студебеккере" даже клевать носом можно. Что клевать - дрыхнуть патуральпепшим образом. Спиной упрись в борт, плечами - в соседей, йогами - в пол и свисти в обе ноздри, если у тебя нервы крепкие. Автомат только не урони, он на коленях, обмотай руку ремнем - не уронишь. Подбросить во сне на доброй

яме либо камне, конечно, может, без маленьких неудобств не бывает. И солдаты спят-дремлют, отдавши свои судьбы в мозолистые, провонявшие бензином руки водителей.

То крутизна, то резкий спуск. Головоломно! Не в редкость: гуссппца или колесо зависают над краем пропасти, и кажется, что танк или автомобиль сорвется. Сердце замирает, когда видишь это. Но вот он уходит из опасной зоны, жмется к скальной стене - и облегченно вздохнешь. Пронесло! Пронеси, господи, и впредь! Не в редкость и остановки. Тогда я приоткрываю дверцу, заглядываю в кузов: как там мои орлы? С орлами порядок: сидят, но скучают, кой-кто благополучно дрыхнет, невзирая ни на что.

Ничего удивительного: солдатики умудрялись спать и на ходу, во ьремя ночного марша. И вообще сон для солдат - великая штука: силенки сохраняет.

Технике форсировать горный хребет труднее, чем пехоте. Сам до корней волос пехота, утверждаю: ножками по любой дороге пройдешь, по самой крутой и узкой. А машина? Тут и лошадиные силы бесполезны. Пробуксовка! А солдат знай себе топает.

Получается, он сильнее техники? Конечно, пешедралом тяжело, конечно, в машине уютствепней. Вот только бы иутп-дорожки были получше. Куда там получше! На моих глазах в пропасть свалилась полуторка - по счастью, в кузове были не люди, а какие-то ящики, водитель сумел открыть дверцу кабины и в последний момент выскочил. Полуторка полетела вниз на каменные клыки, ломаясь, как спичечный коробок. Непередаваемо: секунду назад на этом месте, подвывая мотором, ползла машина, а глядь - ее уже нет, лишь пыль стелется там, где она падала в пропасть; бледный, трясущийся шофер заглядывает вниз, будто пытаясь взглядом задержать машину.

На особенно крутых подъемах мы соскакиваем на землю, толкаем "студебеккер", на резких спусках, ухватившись за концы веревок, привязанных к машине, удерживаем ее от слишком быстрого сползания. Водителям достается! Зубы стиснуты, желваки вспухли, руки намертво обжимают баранку, лицо залито потом - не от жары, от напряжения. Мой водитель, дядька лет сорока, рябоватый, с большой родинкой на переносье, буркнул:

- Лейтенант! Сунь мне в рот папироску!

Я сунул ему в ощеренный рот папиросу, поднес зажигалку, он пыхнул.

- Вдохнешь табачного яду - жить слаще, лейтенант!

Докурив, он плевком выбросил окурок поверх опущенного бокового стекла.

Мы незаметно, по неуклонно поднимались на хребет. Над ним в поднебесье парили орлы, на ближних черных, обугленных

пнях сидели черные, словно обугленные, птицы. Даурские галки, что ли? При пашем появлении они нехотя взлетали. Гряда, за ней еще гряда, а за той - новая. У подножия - ели и лиственницы, повыше - багульник, голые камни.

Мой водитель рассказывал:

- Из Нерчинска я, лейтенант. Кондовый забайкалец. Перед мобилизацией женка померла, а сына призвали еще ране. Остался я один, поругаться и то не с кем. Спасибо, мобилизовали, посередь людей теперь...

Я не нашелся что ответить, раскрыл пачку "Беломора", угостил и сам угостился.

Перекурив, шофер сказал:

- С женкой жили немирно, в который раз поссорились - и вдруг понял: разлюбил ее. Ну, а после она померла... Так-то вот, лейтенант...

И опять я не нашел что ответить.

В дымке млели горы. В теснинах сыро пластался туман. На голых пятачках, казалось, вовсе без земли, ютился орешник, - сломанная увядшая ветка висела на зеленом кусте, как черная тряпка; береза завалилась, но не упала, корень вывернут не до конца:

растет лежа, опираясь на две большие ветки, как на костыли; у другой березы корень вылез, а затем снова врос в скальную трещину, образовав полукольцо. Причуды хипганской природы...

Мы тряслись в кабине, вершины поворачивались то одним боком, то другим. Водитель, напрягшись, крутил баранку, не спускал глаз с дороги, на меня ноль внимания. А у меня возникло ощущение, будто умерла моя жена и я один на белом свете. Нет, не один! Есть на свете Эрпа, которая любила и, возможно, любит меня. Дорогая мне женщина, не забудь слишком уж быстро, что у пас было. Эрна - немка и не станет моей женой никогда. Но разве это ее вина, что немка? Вспомнилось вдруг, как не спеша, с достоинством, маленькими кусочками ела голодная Эрпа мою снедь. Пройдет много лет, а мы с тобой так и не увидимся, Эрпа!

И я представил себя семидесятилетним, шестидесятилетним, на худой конец пятидесятилетним. Мало радости у стариков, Спаспбо, если не выживу из ума, в старости это случается. Смогу в старости думать - уже счастье.

В ветровом стекле, как в зеркале, встало лицо Эрны, каким оно бывало после моего поцелуя - словно окропленное живой водою. Тряхнув головой, вижу в ветровом стекле дыбящиеся глыбы Большого Хингана.

У заболоченной долинки, притулившейся к скале, колонну обстреляли. Саперы на скорую руку загатплп болотистый участок,

танки шли сторожко, словно на ощупь: чуть в сторонку - и засядешь. Автомашины с пехотой, артиллерия сгрудились, пропуская тапки. И в этот момент на гребне застучал пулемет. Этим уже не удивишь, но не сразу разобрали, откуда бьет. Потом засеклн: с двугорбой сопки; ориентир - расщепленный ствол лиственницы либо ели. Несколько танковых пушек, развернувшись, врезали по двугорбой сопке. Ее заволокло дымом и пылью, а гулкое горное эхо начало метаться туда-сюда. Для страховки, после паузы, еще обстреляли сопку. Все. Молчит. Но что это было - отдельный пулеметчик-смертник пли здесь опорный пункт? Полковник Карзанов объяснял офицерам: из Халуп-Аршанского укрепрайона, блокированного нашими войсками, некоторым подразделениям удалось вырваться, и они поспешно, в беспорядке отступают в горы, к перевалам. Возможно, эти подразделения, оказавшись на нашем пути, занимают пустующие в тылу узлы сопротивления пли даже необорудованные позиции. Так либо иначе, не исключено, что это не одиночны]! пулемет. Поживем - увидим.

Пехоте пулемет страшен, танку - нет. Тапку страшна пушка:

ударит из засады, внезапно, в уязвимое место - и хана тебе.

Оставляя за собой струи спзоватого дыма, танки с той же осторожностью двинулись вперед, за ними - вереница самоходок, орудий, автомашин, Я как будто накаркал насчет японских пушек:

через триста - четыреста метров головная походная застава была обстреляна снарядами. Орудийные выстрелы громоподобно раскатились по горам, высекая эхо. И следом, будто вдогонку этому эху, выстрелили танки. Пока что. очевидно, они били вслепую, ибо обнаружить огневые позиции японской пушки среди каменных россыпей непросто, надо приглядеться. Да и одна ли она? Может, тут целая батарея?

Покамест ты будешь приглядываться, разворачиваться, прицеливаться, пушка шарахнет под гусеницу или в моторную часть.

Ведь эта противотанковая пушка может находиться в хорошем укрытии, в доте например. Попробуй заприметить бойницу да попади в нее! У японцев огромное преимущество: они наверху, мы внизу, они. по-видимому, в укрытиях, мы - как голенькие, у них пристреляно, а нам еще предстоит пристреляться. П снова я как накаркал: с вершины ударили почти что залпом четыре пушки.

Снаряды, обволакивающе шурша, пролетели над колонной и с обвальным грохотом разорвались на сопке. Танки развернули пушки, самоходки и орудия тоже развернулись стволами, однако соваться наобум, без пехоты все-таки нельзя. В горловине нас

могут запереть, делается это очень просто; подбивают первую и последнюю машину - и пробка обеспечена. А йотом на выбор расстреливай машины, лишенные маневра. Пехота должна штурмовать эти укрепления! Вон видна в кустах амбразура, вон вторая, вон и третья, где-то есть и четвертая, пока не засекли.

Комбриг Карзанов вызвал к себе нашего комбата. Тот вернулся спустя десяток минут, строгий, серьезный, с поджатыми губами, собрал ротных командиров, сказал, едва раскрывая рот:

- После артподготовки штурмуем доты! Первая рота штурмует правый, вторая - средний, третья - левый! Тот, что на отшибе, штурмуют саперы!

Ага, значит, и четвертый засекли, порядок. Я вглядывался в кустарник, в нарост дота под гребнем, прикидывая, как будем карабкаться к доту, - из него стебануть по склону весьма подходяще! Испытанное на Западе средство зайти с тыла, окружить, блокировать. У немцев, это известно из практики, амбразуры, как правило, обращены были в одном направлении. У японцев, это известно из теории, то же самое. Вполне вероятно, что тыльных амбразур у этих противостоящих дотов нет. Разведать бы, да некогда: танковые пушки, самоходки, колесная артиллерия начали огневой налет. Шум превеликий: звуки боя в горах троекратно усиливаются. Выстрелы, разрывы, пороховая вонь, пламя, дым, пыль, кусочки расколотых скальных пород - как снарядные осколки. Давай, давай, на войне как на войне, как в лучшие времена.

Огневой налет был короткий. Под шумок я выдвинул роту поближе к долговременной огневой точке. Не скажу, что это было легко, - обдираясь в кровь о ветки и камни, где перебежками, где ползком подняться по склону на рубеж атаки. Я двигался вслед за цепью, рядком со мной ординарец Драчев и связные от взводов. Сердце билось у глотки, пот щипал глаза, руки и ноги дрожали от бега. В гору бежать - я т-те дам, как говаривал Толя Кулагин. Рот пересох, губы склеило, и это беспокоит: надо будет кричать, командовать, а губ. кажется, не разлепить. Ерунда, конечно: гаркнем нормально. И доты штурмалем нормально. Хотя нет-нет и возникнет ощущен не, что поотвык я от свиста пуль и осколков. Ведь не первый это на китайской земле бой, а мнится:

отвык от боев, эдак подействовала мирная передышка, так сказать, демобилизовался духом? Раненько демобилизовался, давай срочно мобилизуйся и солдат мобилизуй. Личным примером.

- Правей, правей бери! - кричу хрипло, солдаты не слышат.

- Правей бери... твою так!

Это солдаты слышат и берут правее. Все нормально, и добрый

матюк тоже.

В минуты опасности обостряется зрение, и воспринимаешь всякие мелочи, не всегда нужные тебе. Вот замечаю, какой шаркающей трусцой бежит сержант Черкасов. Бросаются в глаза уши Погосяна - без мочек, пористый нос Миши Драчева, прилипший к чьему-то сапогу сухой стебелек. Но эти мелочи заметил - и забыл, стараюсь сосредоточиться на главном, на том, что нужно в бою. За четыре месяца можно отвыкнуть от того, что было сутью жизни четыре года? Нельзя!

Рота залегает на рубеже атаки - пять обомшелых валунов вразброс. Высунувшись из-за валуна, наблюдаю за нашим дотом. Артналет не причинил ему вреда: из большой амбразуры стреляет пушка, из амбразуры поменьше пулемет. Их обстреливают мои снайперы, по будем подбираться - и противотанковыми гранатами! Кричу:

- Черкасов, ко мне!

- Есть, товарищ лейтенант!

Близко подползает сержант Черкасов, перепачканный глиной, исцарапанный. Говорю ему:

- Поведешь свой взвод в тыл доту. Атаковать по моей зеленой ракете!

- Понял, товарищ лейтенант! Разрешите выполнять?

- Валяй. Успеха тебе...

Черкасов уползает. Командую:

- Дозарядить оружие! Гранаты к бою!

Гранат у нас вдоволь, включая противотанковые, полный комплект патронов - воюй не хочу. Обождав, когда взвод сержанта Черкасова, по моим расчетам, зашел доту в тыл, стреляю зеленой ракетой. Она повисает растекающейся чернильной кляксой. Солдаты, оглядываясь друг на друга - исконная фронтовая привычка убедиться, что и другие поднялись, не сдрейфили, вскакивают и, вопя "ура", зигзагами бегут к доту. Кто-то падает: оступился ли, пуля нашла ли. В тылу дота стрельба: это Черкасов.

Я бегу вместе со всеми, не кланяясь пулям и думая об одном - поближе к амбразуре и шмякнуть противотанковой. Спотыкаюсь, в коленке хряскает, и бежать уже больно. Хромаю, но бегу. Исступленно ору "ура", как и остальные. Очередями стреляю из автомата в черный провал амбразуры, как в черную пасть.

Охватывает азарт. Скорей к доту, скорей сунуть ему гранату в ощеренную пасть. И отрешенность охватывает и безбоязненность:

да ничего со мной не стрясется, все осколки и пули мимо. Одним словом, "ура!".

До дота шагов пятьдесят. Позади пас рвутся снаряды, впереди - вспышки выстрелов в амбразурах. Ухнула противотанковая

граната, и дот изнутри словно озарился светом и осел. Черкасов!

Молодчага! Подбегаем и мы, в амбразуру летят гранаты. Пушка и пулемет добиты. Валит дым. Выжимает слезу, першит в горле.

И какая-то странная пустота в сердце.

Вход в дот был разворочен, ход сообщения к доту обвалился, горела землянка неподалеку, валялись винтовки, карабины, ящики с патронами, плетеные корзины со снарядами, на бруствере и на дне траншеи убитые японцы: два солдата друг на друге - матерчатые кители, обмотки, кепки с острыми, жокейскими козырьками, шеи обмотаны полотенцами в пятнах крови, офицер в изодранном желто-зеленом кителе, в окровавленной фуражке, лицо в крови, пальцы намертво зажали эфес палаша, подальше еще два трупа. На войне как на войне...

В районе других дотов взрывы и пальба тоже прекратились.

Тишина давила на перепонки, в ней, внезапной и глубокой, слышно было, как потрескивает горящее дерево да стонет раненый японец: стоит на коленях, дует на простреленную кисть, китель на спине располосован, видно серое, пспвое белье. К японцу подходит, косолапя, наш санинструктор, усатый, добродушный дядька, достает из сумки с красным крестом бинт, перевязывает руку, японец таращится с недоверием и страхом. Я смотрю на это с двойственным чувством: правильно, раненому надо помогать, хоть он и враг, а нашим раненым уже помогли, и сколько их, раненых, и сколько наших убитых, которым уже не надо помогать?

Как всегда, думал о своей роте: кто ранен, кто убит, а может, беда обошла стороной? Не обошла, хотя при штурме дота потерь могло быть и больше. Больше? Как будто убитого и двух раненых мало. И все - из юнцов, пз забайкальского пополнения, сомневаюсь, что их целовал кто-нибудь, кроме матери. Фамилии помню, ЕЮ узнать людей как следует не успел. Не успел и с ранеными попрощаться, их незамедлительно эвакуировали на санитарной "летучке". С убитым, с Лопшаковым, попрощаться успел. Мальчика перенесли с места, где убило (не он ли, будто споткпувшнсь, упал в атаке?), вниз, поближе к дороге. Похоронщики - один за руки, второй за ноги - сносили сюда погибших. Чтобы захоронить без излишних церемоний. Я постоял у щуплого, не мужского тела Лоншакова, навечно запоминая удивленно раскрытые глаза, стриженый затылок, высокий чистый лоб, по которому ползала муха.

Вялой рукой согнал муху и, сгорбившись, отошел. Головастиков, теперь Лоншаков, да и все ли раненые выживут? И среди них те, кого целовала только мать.

Парочка стояла на аллее ростовского парка и целовалась средь бела дня, и прохожие стеснительно, бочком, боясь помешать им, обходили влюбленных.

Одна смерть впечатляет, к множеству их, как на войне, привыкаешь? Я не привык.

После войны буду ходить по земле толчками, как слепой, от могплы к могиле, где захоронены однополчане.

Помню довоенные кладбища. На могильных фотографиях - жпвые, молодые лица, - и было ощущение: на кладбище все вокруг мертво, а эти, на фотографиях, - жпвые.

Приминая зеленый лишайник на тропе, подъехали полевые кухни. Сержанты доложили мне о состоянии взводов, старшина Колбаковский - о состоянии ротного имущества, которое везут в хвосте колонны. Я выслушивал их. стегая прутиком ло сапогу.

Вверху раздалось курлыканье. Журавли? Я поднял голову: вороны! Каркали они не грубо, а как-то нежно. будто ,ь.уравлиные клики. Да-а. журавли. Помню, над Доном они летели клиньями, курлыкали. И над Задоньем курлыкали, куда пошла ь поход дворовая ребятня. В небе журавли, а на земле иные чудеег: в степи.

над кустарником, на одном телеграфном проводе сплело множество сорок трещали, сорочилн. на соседнем проводе сидели вороны - каркали, будто и те и другие проводил" свои собрания.

А через протоку переправлялись полевые мыши: первая держалась за коровий блин, остальные - зубами за хвост впереди плывушей, такая вот цепочка. И я всего-на ЕС его Еакан. подросток....

21

ПЛИЕВ

Оперативная группа генерала Плиева - несколько "виллисов" и штабная машина с телеграфом и радиостанцией - нагнала первый эшелон дивизии, которой командовал тридцатилетний полковник. Комдив был баловнем судьбы: красив, обаятелен, его любили женщины, любило начальство, да он и сам любил себя. Но притом был умен, смел, образован и удачлив. А последнее удачливость - в делах ратных имеет немаловажное значение.

В тридцать лет дивпзией командует не каждый, и полковник знал:

проявит себя в Маньчжурской операции - будет генералом.

- График движения выдерживаете? - спросил Плиев.

- Так точно, товарищ командующий! Согласно вашему приказанию...

- С маршрута не сбиваетесь?

- Никак нет, товарищ командующий!

- Посмотрим на карте.

Он и комдив склонились над развернутой офицером-направленцем картой. Комдив, обворожительно улыбаясь, сказал:

- Товарищ командующий! На карте деревни помечены, подходим - в помине нет, место голое, как ладонь.

- Карты - одно, собственные глаза - другое.

- Но наши разведчики докладывают по рации: выходят к Долоннору. Значит, город на месте!

- Этак и Жэхэ может оказаться на своем месте! - Плиев тоже улыбнулся, собрав морщинки у глаз.

А до улыбок ли ему? Взгляд генерал-майора Никифорова, начальника штаба Кошю-механизированной группы, достаточно красноречив: я, мол, предупреждал, что такое пустыня Гоби, это вам не Европа, китайцы называют ее "ИТамо", зыбучие пески, "Пустыня смерти л, с ней шутить не приличествует. Плиев ответил на этот взгляд не молча, а полными внутреннего смысла словами:

- Воду подвезут, я поторопил начальника тыла... И водовозами, и легкомоторными самолетами... Наша решающая задача - выдержать взятый темп наступления. Пока мы его - в целом по Конно-механнзировашгой группе - даже перекрываем!

- Товарищ командующий, еще одна неприятность. - сказал комдив, продолжая улыбаться, - в соединении бензин на исходе.

Моторы перегреваются на солнцепеке, в зыбучих песках, съедают по три-четыре нормы... Бензовозы отстали....

Тот же достаточно выразительный взгляд генерала Никифорова.

Плиев сказал:

- Приказываю: слить бензин со всех машин и заправить сколько возможно танков и автомобилей!

- На несколько десятков танков и автомашин наберется, товарищ командующий.

- Исполняйте! А я доложу фронту, попрошу ускорить доставку горючего автобатом и самолетами... Кстати, полковник, еще одна неприятность: отмечено, что японцы отравляют питьевые колодцы. Будьте осторожны!

- Отравляют? - переспросил комдив.

- Стрихнином, - сказал Никифоров, возвышаясь длинной, нескладной фигурой.

"Спасибо за уточнение", - мысленно сказал Плиев, а вслух:

- Генерал, вы мне здесь не нужны. Поезжайте в штаб. Там ваше рабочее, так сказать, место...

Никифоров пожал плечами:

- Слушаюсь.

"Спровадил? - подумал Плиев, - Чтоб не мозолил глаза? Чтоб не напоминал своим поведением, одним своим присутствием о пропасти, разделившей нас?"

Да, их разделила пропасть, командующего и его начальника штаба. Такое в редкость: начальник штаба не согласился с командующим, отстаивает свое мнение. Формально в этом нет ничего из ряда вон выходящего. А по существу? По существу начальник штаба прямо и косвенно оспаривает решение своего непосредственного начальника. В армии же так не бывает, чтоб оспаривали принятое решение. Решение надо выполнять, согласен ты с ним или нет.

Никифоров удалялся к "виллису", долговязый, сутуловатый и какой-то непреклонный. Наверное, осуждает за эти слова - "Вы мне не нужны здесь". И правда, не нужен. Резкие вырвались слова, но ведь справедливые. Плпев вздохнул и тронул водителя за плечо:

- Поехали.

Не заладилось у них с самого начала. С самого начала произошел крупный разговор в землянке Плиева. Ысса Александрович тогда сказал:

- Приказ на сосредоточение Группы у границы отдан, и началась борьба за время и пространство!

- Я уже слышал это. - Никифоров поморщился.

- Еще раз услышите, коль не хотите попять: только высокие, высочайшие темпы наступления позволят нам выполнить боевую задачу и разгромить противника с минимальными для пас потерями!

- Темпы продвижения после перехода границы запланированы нереальные, упрямо сказал Никифоров. - Я давно служу на Дальнем Востоке, в Забайкалье, я знаток этого театра военных действий... Отдаю вам должное, товарищ командующий: у вас богатейший опыт рейдов на западном фронте. Но простите меня:

Восток это не Запад, здесь совершенно иные условия ведения войны...

- Нет уж, это вы меня простите, своеобразие здешнего театра военных действий не отменяет нашего западного опыта, и мы будем базироваться на нем...

Медлительно, будто полусонно поводя рукой, Никифоров сказал:

- У меня западного опыта нет, зато есть восточный. Снова подчеркиваю: пустыня Гоби - не Европа. По гобппскпм пескам и кручам Хппгана, по бездорожью и безводью наступать со скоростью восемьдесят - сто километров в сутки?

- Именно так! Перед главными силами японо-маньчжурских войск в районах Калгана и Жэхэ паши дивизии должны появиться в неожиданные для противника сроки. Это возможно только при одном условии: если темпы наступления достигнут в среднем ста километров в сутки! Потребуется, попятно, тщательная и всесторонняя подготовка...

- Как ни готовься, войскам не выполнить таких завышенных задач. - Черты у Никифорова твердые, волевые. - К тому же у нас не будет времени для закрепления захваченных рубежей. Легко представить, что может произойти, если враг сумеет организовать контрудар резервами...

- Стремительность наступления как раз и позволит предотвратить контрудары. - И у Плиева лицо жесткое, волевое, по он старается говорить помягче, потише, скрывая раздражение. - Врагу нельзя давать времени и возможности для организованного маневрирования резервами. А что касается закрепления, то можете не сомневаться: завоеванного не отдадим.

Никифоров как бы вскользь замечает:

- И все же я склонен думать, что мы ставим перед войсками невыполнимые задачи. Поддерживать связь и управление будет весьма трудно, пожалуй, невозможно.

- А я уверен, офицеры штаба обеспечат своевременное и непрерывное управление войсками в любой обстановке. Поймите, ваши представления о характере наступательных операций устарели, вы сторонник осторожной войны... Правы вы только в одном: до предела увеличив темпы наступления, мы создадим для себя дополнительные трудности. Но зато это наиболее верный путь к победе. В случае малейшей задержки противник вынудит нас к затяжным боям, которые потребуют длительного времени и больших жертв.

- Да, да, и о возможных потерях надо подумать! - Никифоров свеколыю покраснел, повысил голос. - Как бы все ваши планы не обернулись большой кровью!

Исса Александрович в упор взглянул на пего; раздулись гневно крылья носа, сжались губы. Но выдержка не изменила ему, и в отличие от Никифорова он внешне спокойно сказал:

- Я убежден в том, что говорю вам. Знаю: меня поддерживают и офицеры штаба... Выслушайте теперь выводы из нашего разговора, который на этом и закончим... Мы должны всюду упреждать противника, бить его по частям, тем паче что у него на нашем направлении пет сплошного фронта. Запомните и постарайтесь попять и другое: борьба за время и пространство должна обеспечить победу .малой кровью...

- Бон рассудят нас, - невнятно пробормотал Никифоров.

- С этим я согласен. Война пас рассудит... Вы свободны, генерал...

Никифоров встал и поспешно вышел из землянки. Исса Александрович в задумчивости остался сидеть над картой.

Не сработались. Как же поступить? То, что генерал-майор Никифоров честно и прямо высказывает свое мнение, достойно уважения. А вот само мнение ошибочно, и вся сложность в том, что Никифоров не понимает этого. Или не хочет понять. Характер упрямый, неподатливый. Известно, что свон взгляды на предстоящую операцию высказывает и другим, не находя, впрочем, поддержки. Как его переубедить? Времени на эту педагогику уже нет. Поставить вопрос перед маршалом Малиновским? Никифорова только что, в спешке, прислали и, надо полагать, так же скоренько уберут. Но это значит расписаться в слабости. Пусть остается, штабист он опытный, будет исполнять что прикажут, "от и до". Жаль, конечно, что начальник штаба, твоя правая рука, не твой единомышленник. Твой противник. Нелепость? Как ни назови, легче от этого не будет. Но он, Плиев, уверен в своей правоте, в своих силах и возможностях. Хотя правоту эту проверит война. И от такой мысли делается неспокойно, очень неспокойно.

Глухое беспокойство возникло и в ту историческую ночь - с восьмого на девятое августа. В степи посвистывал ветерок. Тлели в ладонях, вспыхивали цигарки, освещая лица людей, которым предстоит бой, - суровые, ожидающие. Словно они озарялись светом боя: вспышками выстрелов и ракет, прожекторными лучами, разрывами. За сопками, на маньчжурской стороне, густая чернь, плотная тишина. На передовом командно-наблюдательном пункте Плиева все поглядывали на часы, и чаще прочих генерал Лхагвасурэн, заместитель по монгольским войскам. Плиев оторвался от часовых стрелок на юге полнеба полоснуло вспышками ракет, выстрелов, взрывов.

- Так, - сказал Плпев. кутаясь по фронтовой привычке в бурку: ночь свежа. - Разведгруппы и передовые отрялы ударили по японским кордонам... Путь через границу расчищен. Пора и нам.

Заводи! По машинам!

Эта команла: "Заводи! По машинам!" - послышалась в разных местах. Перевели моторы танков и бронемашин, затрещали мотоциклы, заржали лошади. Нет прежней тишины, нет и тьмы: сотни танков, бронемашин, автомобилей, мотоциклов с включенными фарами двинулись вперед. Ослепительное море огня!

Гром и скрежет танков, гуление автомашин, стук конских копыт. Колонна за колонной проходили через границу с

Маньчжурией. В лучах фар - поднятая колесами и гусеницами песчаная пыль. Все как в тумане.

Такой и запомнилась эта ночь Иссе Александровичу. А потом настал день, и взошло безжалостное солнце. Жара, безводье, необозримость сыпучих, переметаемых с места на место, гибельных песков Гоби. Эту чудовищную необозримость предстояло преодолеть, пустыню предстояло промерить километрами - по сто в сутки - и выйти к Большому Хингапу. И ведь преодолеваем, промериваем, невзирая на неимоверные трудности! И все больше отдаляется памятная ночь перехода границы.

Волнистые безбрежные пески. "Виллис" генерал-полковника Плиева обогнал колонну советской кавалерийской дивизии. Зной.

Пыль. Сушь. Исса Александрович заметил: кавалерист в выгоревшей гимнастерке вяло клонится к шее коня, обхватывает ее - не удержался, упал наземь. На помощь бросились товарищи, приподняли. Плиев остановил машину, вылез. Подошел поближе:

- Ты ранен, сынок?

- Никак нет, - еле слышно прошептал молоденький, безусый солдат опухшими, истрескавшимися губами. - Что со мной, не пойму. Затмение какое-то, слабость...

- Возьми себя в руки, преодолей слабость. - сказал Плпев. - В бою советский солдат может упасть только мертвым!

Усилием воли кавалерист заставил себя встать на ноги. Стоял, шатаясь, боясь упасть. Тронул стремя, поправил. Плпев одобрительно сказал:

- Молодец, сынок! Ты поборол крайнюю усталость. Держись и дальше!

- Слушаюсь, товарищ командующий...

- Скоро будет вода... Японцы отравляют колодцы стрихнином, забивают трупами верблюдов. Мы копаем новые, но волы не находим... И все-таки она будет! И колодцы захватим, и самолетами подбросят, и реки скоро пойдут... Держись, солдат!

- Слушаюсь, товарищ командующий...

В эту фразу, повторенную дважды, безусый конник вложил столько взбадривающей самого себя надежды, что Плпев кивнул.

похлопал его по спине. И, поборов жалость к юнцу, неокрепшему, незакаленному, которого мог забрать в машину, но не забрал: чти за пример будет для остальных, все же устали, все на пределе, - Исса Александрович сел в "виллис"), поехал влоль колонны, не оглядываясь. Машину болтало и трясло так, что хватался за скобу, того и гляди вывалишься. Тряска прямо-таки выворачивала душу.

- Товарищ командующий, разрешите обратиться? - сказам

шофер. - Как непонятно все ж таки устроен мир! Где холода, где жара, где воды - во, залейся, по горло, а где она на вес золота.

- Философ. - усмехнулся Плиев. - Господь бог так сотворил.

точнее - натворил... А без шуток: я вот сейчас частенько вспоминаю родные края, Северный Кавказ. Горный воздух, цветущие сады, бурные потоки, водопады, бесчисленные родники... В тех родниках вода слаще меда!

- Меда в данный момент не хочется, - сказал шофер. - Хочется водички, аш-два-о...

- Будет. Только не тряси так. внутренности выворачиваешь.

- Такая дорожка, товарищ командующий. - философически ответил водитель.

Поздним вечером на привале Плиев встретил Цеденбала. Оба были пропыленные, усталые, осунувшиеся. На юге отдаленно погромыхивал бон, из-под полога палатки пробивалась свежесть.

Плпев расстегнул ворот гимнастерки, глубоко вздохнул. Цеделиал сказал:

- Товарищ Плиев, я побывал в передовых монгольских частях. Высокий порыв! Стремятся не отстать от советских частей.

- Отставать нельзя, товарищ Цеденбал... Получен приказ командующего фронтом. Учитывая успех наступления Конно-механизированной группы, маршал Малиновский требует еще больше увеличить темп.

- Выходит, сами напросились?

- Вообще весь Забайкальский фронт стремительно продвигается, я потом скажу об этом... Что касается пашен Группы, то мы должны тринадцатого августа взять город Долоннор. Четырнадцатого - овладеть городом Чжанбей, затем - Калганским укрепрайоном. В последующем продвигаться на Жэхз.

- При таких сроках темп продвижения придется увеличить!

- Думаю, нам по плечу... Подвижные механизированные группы уйдут вперед! А главные силы - за ними, во втором эшелоне... Надо упредить противника, раньше его выйти к горам, где.

местность удобна для обороны, и овладеть важнейшими пунктами Большого Хингана...

- Поэтому вперед и вперед?

- Именно... Теперь о действиях Забайкальского фронта... На всех операционных направлениях развиты исключительные темпы наступления. Под ударами фронта рушится тщательно подготовленная оборона. Японские армии, тридцатая, сорок четвертая полевые и четвертая отдельная, теряют связь и взаимодействие, в войсках противника нарастает паника. Успешно развертывается также наступление Первого и Второго

Дальневосточных фронтов...

И подумал: "Что же пророчества генерала Никифорова? Похоже, правда за мной:... Хотя по говори "гоп", пока не перепрыгпешь". И вспомнил еще один разговор с Никифоровым. Тот доложил, что штаб приступил к оформлению решения на предстоящую операцию, в общих чертах подрабатываются план и боевые распоряжения. "Из чего же вы исходили, разрабатывая проект решения командующего?" - спросил Плпев. "В основу его, как обычно, положено предварительное боевое распоряжение штаба фронта", - недоуменно ответил Никифоров. "А я считаю, главные усилия войск Группы целесообразно перенести с Калганского на Долонпорскоо направление. Это, как вы понимаете, коренным образом меняет проект решения)). - "Но это противоречит боевому распоряжению штаба фронта!" - "Противоречит. Поэтому нужно подготовить обоснованное предложение и сегодня же доложить маршалу Малиновскому. Вот смотрите..." На оперативной карте Плиев показал что и как, разъяснил мотивы, побудившие выдвинуть новые предложения, преимущества перенесения главных усилий на другое направление, приводил расчеты, обеспечивающие значительное повышение темпов наступления, но Никифоров с еще большим недоумением твердил: "Мы не можем этого. Не можем..." А маршал Малиновский с изменениями согласился!

На солдатский манер - одну полу буркп под себя, другою укрылся устроился Плпев в машине на ночлег. Тело ныло, голова мутная, нехорошая. Заснуть - взбодрился бы. Но сна-то и не было. Перед глазами вставало увиденное за день, донимала мысль:

тринадцатого нужно взять Долоннор, отсюда до города триста километров, за сколько пройдем и каково будет сопротивление японо-маньчжурских войск? Умри, Исса Александрович, а тринадцатого Долопнор должен быть взят! И тогда тринадцатое число станет счастливым. С этой мыслью и заснул наконец.

С ней и пробудился! Нечего прохлаждаться, скорей в путьдорогу. До Долоннора триста километров? Кладем на день по сотне километров, стало быть, за трое суток будем у города, а то и быстрее. Захватить же его надо бы с ходу. Если это получится - с ходу, избежим потерь, не упустим время.

Едва цедился рассвет, когда Плиев с оперативной группой пустился догонять передовые танковые и механизированные соединения. Из-за горы вылетел самолет, низко прошел, покружился.

Наш, краснозвездный. Разведчик. Что ему нужно? Что-то пли кого-то выискивает. А тот пролетел еще раз, качнул крыльями -

знак, что видит, снова описал круг и пошел на посадку, взвихрив пыль.

Плпев подъехал. Летчик, горбоносый, но круглолицый парень в летпом шлеме и гимнастерке, густо увешанной орденами и медалями, козырнул:

- Вас ищу, товарищ командующий.

- Нашел. Вот он я, - сказал Плиев нетерпеливо.

- Товарищ командующий! Разрешите доложить: от Бандидагэ-гэн-Сумэ продвигается колонна противника. На рысях.

- Вот за это спасибо, авиация! Предупредил вовремя. - Плиев задумался. Что за конница? Предположительно, из войск князя Дэвана, возможно, 1-я кавалерийская дивизия. Что замышляют? Двигаются наперерез Коппо-мехаппзпроваппой группе. Без танковой, артиллерийской, авиационной поддержки. Сам кавалерист, по сейчас так не воюют. На что надеются? Застать пас врасплох? - Слушай, авиация. Где наш боковой отряд?

- Возле Хамбаламьш-Сумэ, товарищ командующий.

- Спасибо, авиация, за точность. И названия местные ты выговариваешь чисто...

Боковой отряд прикроет Группу от флангового удара. Отряд сильный кавалерийский дивизион, танковые и артиллерийские подразделения, - в состоянии разбить дэвановскпе части. Надо срочно поставить его в известность. Плиев потребовал карту. Глянул остро. Та-ак, встреча отряда с вражеской конницей примерно через два-три часа. Вызвал офицера связи:

- Поезжай в отряд. Передай, что впереди слева маньчжурская конница. Пусть отряд продолжает движение и будет готов к встречному бою.

- Разрешите выполнять, товарищ командующий?

- Да... И срочно назад.

- Слушаюсь...

Передовые части дэваповской конницы - это отнюдь не главные силы, это или безрассудная попытка атаковать Группу, пли продуманный отвлекающий маневр. Чем больше размышлял Плиев, тем определенней вычерчивался вывод: японское командование стремится уберечь главные силы Дэвапа от удара и передислоцировать их к Большому Хингану, где они, слившись с суйюаньской и юго-западной группировками Северного фронта в Китае, займут выгодные для обороны горные районы. Для этого они должны упредить советско-монгольские войска. А мы должны упредить их! Должны захватить перевалы Большого Хпнгана на нашем направлении. Многое, очень многое решает теперь передовая механизированная группа. Надо ее нагнать и быть с ней! Там место командующего!

Нагоняли ее весь день одиннадцатого, не останавливаясь на промежуточных рубежах. Нагоняли и с утра двенадцатого, пока песчаная буря не накрыла пустыню. Все утонуло в тучах песка, швыряемого ураганным ветром. Движение прекратилось, попрятались кто как мог. Потеряли несколько часов!

Но ведь песчаная буря не обошла и боковой отряд. Что с ним?

Плпев по радио связался с командиром истребительного авиациейного полка. Приказал:

- Немедленно поднимайте в воздух две эскадрильи. Атакуйте кавалерийские части противника, двигающиеся от Банндагэгэн-Сумо. Свяжитесь с нашим боковым отрядом. Установите взаимодействие с ним.

Через каких-нибудь ыолчаса в небе уже появились самолеты.

Приветственно покачав крыльями, они растворились в мареве, Стало быть, за судьбу бокового отряда не столь уж беспокойся.

И, стало быть, ничто серьезное не может угрожать продвижению Конно-механизированной группы. Авиация сделает что положено.

Как стало известно позже, в боковом отряде обнаружили дэвановскую конницу, изготовились к бою. А тут подоспел приказ Плиева атаковать. С сопки, за которой развернулся отряд, был виден гигантский хвост пыли, волочившийся за плотными рядами всадников. Командир отряда решил: сначала артиллерия ударит по центру вражеской колонны, затем танки и конница, обойдя колонну, атакуют с фланга и тыла. Но план боя пришлось видоизменить, ибо подлетели истребители. Ревя моторами, они принялись обстреливать дэвановские части. Масса маньчжурских конников задвигалась из стороны в сторону, обезумевшие кони шарахались, сшибались, сбрасывали седоков и убегали в степь.

Самолеты разметали колонну. Часть ее спасалась бегством. По ней открыли беглый огонь батареи, наперехват устремились тридцатьчетверки и кавалерийский дивизион. Можно считать: попытка атаковать Группу во фланг окончилась для маньчжур разгромом.

А нам надо дальше, дальше! Все тропы, все колонные пути после бури засыпаны глубоким песком, пробиваться трудно. Но иного выхода нет. И надрывно ревут моторы, и под пробуксовывающие, вязнущие в песке, как в болотном месиве, колеса солдаты бросают бревна и доски. Исса Александрович на "виллисе"

появлялся то там, то здесь, отыскивая дорогу. И наткнулся на механизированную бригаду, которой надлежало быть далеко впереди. А она всего в десяти километрах от озера? В чем дело?

Комбриг угрюмо доложил:

- Дороги, обозначенной на карте, в природе не существует.

Перед бригадой сплошные непроходимые пески.

- А где танковая бригада? - спросил Плиев.

- Чуть впереди. Пробивается...

Плиев про себя чертыхнулся. Успех стодвадцатикилометрового перехода к озеру Арчаган-Нур - и на тебе, снова непроходимые пески. Непроходимые! Делать нечего, и Плиев приказал вытягивать подвижную группу из песков, поворачивать на восток и следовать по направлению к озеру Далай-Нур, ведя непрерывную разведку песков самолетами "У-2": вдруг да обнаружится дорога?

Обнаружится? Не было ни малейшей уверенности, что высланные разведгруппы и передовые части по тропам или бездорожью выйдут на этом направлении к Долошюру. А на каком выйдут? Вскоре был замечен "виллис": буксовал, вырывался из песков, буксовал, опять вырывался. Это был офицер связи, ездивший к танкистам. Плпев, не скрывая нетерпения, спросил:

- Какие новости, майор?

- Новости следующие, товарищ командующий. Южнее озера Далай-Нур местность непроходима, сыпучие барханы. - Майор развернул планшет с картой, ткнул карандашом. - Вот тут. правда, есть караванная тропа, она ведет на юг. Я проехал по ней до монастыря Мопгур-Сумэ. Пастухи предупреждали, что долины Луапьхэ мы достигнем не раньше, чем через трое суток.

Плпев сосредоточенно разглядывал карту, прикидывал. Истоки впадающей в Ляодунский залив реки Луаньхэ у Долоннора. По докладам летчиков, на подходе к Долошюру есть улучшенная дорога. Добраться бы до нее!

- Маньчжурские пастухи ошибаются, - сказал Плиев. - Передовой отряд пойдет этим путем и достигнет Луаньхэ за сутки!

Сказал и подумал: "Реально? Надо сделать, чтобы было реально!" По радио передал приказ командирам частей: развивать наступление вдоль тропы на Далай-Нур, быть готовыми к ночным действиям по овладению Долоннором.

А потом случилось то, что Исса Александрович назвал приключением и что едва не закончилось драматически. Легковые машины Плиева и его офицеров оторвались от штабного автобуса и двух "доджей" с автоматчиками охраны. Выехав на каменистый холм, "виллисы" чуть-чуть не врезались в странную толпу: человек двадцать в длинных халатах, заросшие, чернолицые, взгляд разбойничий, вооружены автоматами и маузерами.

- Хунхузы! - закричал водитель Плиева.

Самый рослый бандит вскинул автомат, но майор-порученец соскочил с "виллиса" и вырвал у него оружие. Другие хунхузы схватились за маузеры. Однако покуда не стреляли. Напряженные секунды: пятеро против двадцати. Встав на сиденье, Плиев скомандовал:

- Бросай оружие! - и жестом показал, что надо делать.

Тот же майор-порученец решительно подошел к главарю хунхузов в богатом халате, с кобурой, украшенной перламутром, и вырвал у пего маузер. И тут позади "виллисов" заурчали моторы отставших было "доджей". Спрыгнувшие на ходу автоматчики принялись разоружать хунхузов. Плиев - уже сидя, привалясь к спинке - подумал: "Попер на рожон. Не в бою бы мог полечь, а так, по неосторожности". И громко, по-командирски приказал:

- Вперед!

Тас-Обо, гобийский поселок в десяток глиняных мазанок, - промежуточный пункт перед броском на Долошюр. Здесь поздним вечером после стокилометрового перехода сосредоточилась передовая механизированная группа. До города оставалось несколько часов марша! Но вновь возникла жгучая проблема: во всех соединениях горючее на исходе. Перед боевыми действиями войска взяли с собой шесть заправок горюче-смазочных материалов. В обычных условиях их хватило бы на полторы тысячи километров. Но проклятая пустыпя Гоби сожрала эти запасы: моторы перегревались, а часть оепзипа, хоть и была в герметической упаковке, испарилась из раскаленных бочек. Видимо, разгерметизировались пз-за той же адовой жары. Подвоз горючего растягивался, базы и склады все больше отдалялись. Никакого парадокса: войска продвигались в три раза быстрее запланированного - и сожгли бензин раньше, чем было предусмотрено. Выход? Единственное, что уже применялось: слить бензин со всех машин и заправить сколько возможно танков. Остальным ждать, когда прибудут дивизионные машины с горючим, а также наливной автобат. П попросить командующего фронтом выслать к середине дня на аэродром в пяти километрах севернее Долошгора самолеты с бензином. Само собой разумелось, что Долоннор будет к этому времени взят.

Конечно, для захвата крупного города нескольких десятков танков и автомашин маловато. По есть союзники - ночь и внезапность. Мотомехчастн первыми ворвутся в Долоннор. А чтобы обеспечить своевременный выход кавалерийских - советских и монгольских - дивизий в район Долошюра, им предстоит за три дня покрыть около трехсот километров. Это потребует крайнего напряжения. И людей и лошадей.

За Плиевым с Запада пришло не предусмотренное уставами звание: генерал-вперед. Оправдывает его и здесь, на Востоке. Вперед, не щадя пи себя, ни других. Было, конечно, жаль усталых, измученных конников. Не меньше было жаль усталых, измученных копей. Какой осетин равнодушен к коню? Еще не научившись как следует ходить, маленький Исса привык к седлу, позже прослыл к родном селе Старый Батако-Юрт лучшим наездником среди сверстников. Когда подрос, добровольно пошел служить в Красную Армию, попал в кавалерийскую школу. И впоследствии вся его воинская служба была связана с кавалерией. В сорок первом, под Москвой, командовал кавалерийской дивизией, ставшей гвардейской, сражался и под Сталинградом, и на юге Украины, и за рубежом - в качестве командующего Когшо-механизировашюй группы. И когда бывало трудновато, лично вел своих конногвардейцев в конную атаку. Теперь тапки потеснили лошадей...

Проверив, как с заправкой танков, Плиев остался доволен: работа шла полным ходом, солдаты возбуждены, радостны - даешь Долоннор! Да, даешь, потому что Долоппор - крупный узел дорог, ворота Большого Хипгапа в направлении к городу Жэхэ и одноименной провинции.

В полночь команда: "По машинам!" - и тапки с десантом автоматчиков, рокоча моторамп, двинулись один за другим. За озером - зыбучие пески, танки сбавили взятую было приличную скорость. Колесные машины буксовали, их вытаскивали тягачами. Потом, верно, путь стал получше: подобие тропы. По ненадолго: опять барханы. До рассвета двигались рывками: то хорошая скорость, то заминка. С рассветом над колонной пролетали "ИЛы". Находившийся при Иссе Александровиче представитель авиационного командования приказал штурмовикам уточнить маршрут на Долоппор. Авиаторы доложили: на маршруте те же барханы, однако на одном участке проложена накатанная дорога, на подступах к городу она доступна даже колесному транспорту. Авиаторы малость недоглядели: накатанная дорога обернулась двумя сборными железобетонными колеями чрезвычайно малой грузоподъемности, так сказать. По и по ним, кроша бетон, загрохотали танки.

Солнце, выкатившееся пз-за Хингана, застало подвижную группу на высотах у Долошюра, - сам город, обнесенный где каменной, где глинобитной стеной с наблюдательными, сторожевыми вышками по углам, лежал в долине. Контуры зданий тонули в тумане. Город спал, не предугадывая, каким будет пробуждение.

На пародпе.м плане - отдельные дома и вышка с аэростатом,

понятно: аэродром. За ним - два храма, а там уж и городские кварталы. Тапки начали разворачиваться в боевой порядок, Плиез с комбригом, выдвинувшись, заняли командно-наблюдательный пункт. Прильнув к биноклю, Исса Александрович обшаривал аэродром - первый объект атаки. Безлюдно. П самолетов не видать.

Не останавливаясь, тапки перевалили гребень сопки - и вниз, к аэродрому. Проскочили летное поле. Стреляя с ходу, пошли к казармам. Автоматчики спрыгнули, бросились к диспетчерскому пункту. Из-за казарм японцы открыли сильнейший огонь: пушки, пулеметы, винтовки. Пули засвистели, разрывы зачернелись на поле, некоторые снаряды попадали в тридцатьчетверки, однако пробить броню не могли - лишь скрежет да искры. Танки ближе и ближе к казармам, автоматчики - кучками - еле поспевали за машинами. Неприятельский огонь не утихал. Плиев сказал комбригу:

- Атакуйте стремительней. Фланги, фланги выигрывайте!

- Слушаюсь, товарищ командующий! - И полковник коротко и властно отдал распоряжение через шлемофон. И тотчас половина танков, развернувшись, устремилась к северо-восточной части Долоннора, другая - в обход справа, с юго-запада.

Там и сям взвились красные ракеты - это автоматчики указывали танкистам расположение огневых точек японцев. В бинокль Плиев видел: вот такая ракета, вся в розовом дыме, упала в ломкую траву, в жилистый кустарник неподалеку от замаскированного ветками орудия. Башня ближайшего танка крутанулась, хобот пушкп качнулся, плеснул огнем. Разрыв - и японское орудие подскочило, перевернулось кверху колесами, расчет разметало. Ракета упала возле пулемета, укрытого за деревом-перестарком в истрескавшейся коре. Опять удар танковой пушки - и пулемет в воздухе, вместе с кусками расщепленного дерева. Танковые пушкп били точно, прицельно, по артиллерийский и ружейпо-пулеметпый огонь не ослабевал: огнслых точек было много.

Особенно досаждали орудия, расположенные на сопке за казармами. Туда и рвались тридцатьчетверки. Передняя уже на сопке:

наскочив на орудие, подмяла под себя, раздавила заодно с прислугой. И остальные тапки врываются на высоту, артиллеристы бегут...

Комбриг закричал в шлемофон:

- Я - "Двенадцатый", я - "Двенадцатый"! Вижу на высоте белый флаг. Стрельбу прекратить! Стрельбу прекратить!

Но из окон казарм продолжали строчить пулеметы. Танки

подошли вплотную к казармам, в упор расстреляли пулеметы, и следом в помещения вбежали наши автоматчики.

Огонь японцев постепенно угасал. Все больше белых гкантенец на палках флаги капитуляции. Танки на малой скорости расползлись вокруг казарм, окружили их. Японские солдаты с поднятыми руками, перепачканные копотью и кирпичной пылью, выходили из помещений, строились в очередь, складывая оружие. П лиев сказал комбригу:

- Пленными займутся автоматчики, соберут в одном месте...

Л вы главные силы немедля ведите в город. В первую очередь занимайте радиостанцию, телефонный узел, полицейские управление...

- Есть, товарищ командующий!

- И еще: частью сил отрежьте путь на Жзхэ. если вздумают отходить... В сторону Жэхэ и Калгана вышлите разведку!

Полковник козырнул и поспешил к танку. Через переводчика Плиев спросил у пленного офицера, близоруко щурившегося сквозь разбитые очки:

- Есть ли в городе войска?

- Нет. С утра гарнизон вывели по боевой тревоге в район казарм, чтобы занять оборону.

- Только сегодня?

- Да. Нам говорили, что красные наступают на северные города и на Калган. А о наступлении на Долошюр не было известно.

- Ожидается ли подход войск из Жэхз?

- Не знаю!..

- Едем в город, - сказал Плиев и вытер лоб - на мятом, несвежем платке осталась грязная полоса.

Вслед за танками с автоматчиками "виллис" командующего через обитые железными полосами ворота въехал в Долоннор. Танки заняли перекрестки, а Плиев поехал по захламленной, в стоках нечистот улице - дом к дому, будто сплошная стена. У дверей толпились истощенные, оборванные китайцы: улыбаются, машут разноцветными флажками, кричат: "Вансуй! [Десять тысяч лет жизни (кит.)] Шанго!" и ставят торчком большой палец, - вот теперь понятно, что хорошо!

Возле фанзы на корточках старик - в рубище, худой, как скелет, руки-плети, впалая грудь, впечатление - не дышит. Рядом со стариком наш солдат, сует в рот фляжку, по китаец отворачивается, "Виллис" остановился. Плиев спросил:

- Что здесь происходит?

Солдат вскочил - руки по швам. Один из порученцев спросил:

- Не спиртное ли предлагаешь?

- Никак нет! - отчеканил солдат. - Я молока раздобыл. А старикан умирает от голода...

- Так почему же он отворачивается? - заинтересовался Плиев,

- Он. товарищ командующий, говорит: ему нечем заплатить за молоко. Это порученец-переводчик.

- Объясните старику, что советский солдат бесплатно угощает его, сказал Плиев.

Переводчик произнес что-то по-китайски, и старик недоверчиво посмотрел на русских. Неуверенно протянул руку к фляжке.

А Плиев приказал порученцу:

- Запишите: организовать продовольственное снабжение Долоннора. Второе: в городе развернуть полевой госпиталь, он проведет работу но медицинскому обслуживанию населения. Здесь много больных, истощенных людей... Как говорят китайцы: "Кто помогает бедным, сам становится богаче". Так ведь, майор?

- Так точно, товарищ командующий!

А Плиев подумал: "Мы в Долонноре! Как же наш спор с генералом Никифоровым? Куда склоняется правда?"

Он вспоминал былой спор с Никифоровым и позже - когда форсировали горные перевалы и разлившиеся в ливень реки, брали Жэхэ, штурмовали Калганский укрепленный район, когда готовились к броску на Бэйпип, то есть на Пекин, - до него был один переход, но поступил приказ командующего фронтом дальше не продвигаться, - когда с маршалом Чойбалсаном поднимался на Великую Китайскую стену. Вспоминал и ни словом не намекнул начальнику штаба о его мрачных пророчествах. Странно, по и тот ни разу не упомянул о своей неправоте. Что ж, бывает.

22

Горы, горы, горы! И ливень, ливень, ливень! Он собирался как бы нехотя: пошлепают тяжелые капли, тучи разредятся - и никакого дождя. Но вот черно-сизые, густо клубящиеся тучи зависли над вершинами - и будто прорвало: вместо капель ведра воды.

Сплошной поток хлестанул с небес на грешную землю и, следовательно, на нас, грешных. Струи били с такой неистовой силой, словно хотели смыть, унести к черту людей, машины и горы. Большой Хипган, конечно, не смоешь, а машины и людей - если зазеваться - очетгь даже просто.

Тучи оседали, нанизывались на вершины. Плащ-палатки не спасали, и моя рота, которой вновь выпало ехать на танках, вымокла через четверть часа до нитки. А еще четверть часа спустя со склонов помчались ручьи, увлекая за собой камни: долбанет

этаким камешком в машину - повредит, долбанет в человека - тут уж комментарии не нужны и санитарная летучка не нужна.

Вода вокруг кипела и клокотала, пенная, желтая, грязная, ее шум приглушал шум моторов. Но ударил гром и покрыл все звуки.

Прочертились огненные полосы молний - будто "катюша" заиграла. Гроза в горах. Вспыхивали молнии, грохотал гром, и мне стало как-то боязно. И как-то смешно: мне ли, изведавшему военные грозы, опасаться нормальной грозы?

Опасаться грозы в горах, однако, следовало. Чем ослепительней вспыхивали молнии, чем громче рокотал гром, тем сильнее был ливень. И, забегая мыслями вперед, я подумал, что после страшенного ливня ручейки превратятся в настоящие реки, которые не так-то просто преодолеть. А пока что здесь же, перед нами, под уклон пошел юзом "студебеккер" с ящиками: шофер, открыв дверцу и стоя на подножке, судорожно крутил баранку, по машина, не сдерживаемая тормозами, подкатила к краю обрыва, камни посыпались из-под колес. Мы оцепенели. Шофер уже соскочил с подножки, но "студебеккер", накренясь, каким-то чудом задержался. Не свалился под откос! Немедля подцепили тросом, оттащили.

А у водителя "студера" по-прежнему прыгала челюсть. Попрыгает, коль совсем недавно полуторка загремела на дно ущелья!

Дождь льет, а мы движемся вперед и вперед. По лицам стекает, меж лопатками стекает, одежду хоть выжимай, кажется, и сапоги полны воды. А давно ли топали по сыпучим монгольским пескам?

По маньчжурским пескам давно ли? И не было пи капли влаги, были жгущее солнце, духота, неуемная жажда. Теперь пей - не хочу. Глина размокла, камни склизкие, когда доводится соскакивать с танка и топать остерегайся: поскользнешься, оступишься, не удержишься и загудишь вниз. Было: сапер поскользнулся на самом краю обрыва и, пронзительно закричав, покатился по склону. Было: копыта соскользнули, кони рванулись - и повозка в пропасть, только ржание повисло в воздухе. Другую повозку солдаты успели схватить за задние колеса, удержали: здоровущие такие хлопцы. Ливень, ливень, который час ливень.

И все-таки продвигаться веселей, чем по пескам: настоящее наступление, больше и больше углубляемся в Маньчжурию. Перевалить бы Хинган, выйти бы на Центральную равнину, там бы мы развернулись! Там есть возможность маневра. А тут что? Тут, куда ни сунься, упираешься лбом в горы. Впечатление: бодаемся с горами. Ревут моторы автомобилей и танков, лязгают

гусеницы, барабанит дождь. Макухинский танк задраен, но порой люк башни приподнимается, выглядывает командир, обозревает местность и, если я на танке, вопрошает:

- Как жизня, лейтенант Петя?

- Жизня хорошая, лейтенант Витя, - отвечаю.

- Вижу, что хорошая. Мокрый, как курица. Взял бы к себе, в танк, да места нету.

- Всю роту не возьмешь...

- Разумею: отец-командир печется о подчиненных. По-суворовски!

Я беззлобно говорю:

- А ты как думал? Только по-суворовски!

- Хочешь из фляги хлебнуть для сугрева?

- Никак пет.

Во-первых, от спиртного стараюсь воздерживаться. В принципе. А во-вторых, хлебнуть при солдатах? Такое отцу-командиру в данной обстановке не положено, лейтенант Витя!

- Даешь, лейтенант Петя! Суворов тоже, сказывают, не пил...

Пил генералиссимус или не пил - не знаю. Это Яша Вострпкотз да Вадик Нестеров все доподлинно знают. Но Вострикова увезла санитарная летучка, а Нестеров на другом тапке, не у кого проконсультироваться, Я устало молчу.

На пути встает обвалившаяся глыба, ее надо как-то объезжать, танк накреняется, и мы ссыпаемся с брони, шагаем цепочкой за сто двадцать седьмым. Размяться даже полезно, маленько угреешься, ибо на танке под дождем и при встречном ветре просифонивает. Я вышагиваю и опять чувствую себя полнокровной пехотой, которая все промеривает своими ножками. Ах, сколько же ими промерено! Каково стрелковым частям форсировать Большой Хинган на своих двоих: вверх-вниз, вверх-вниз, и так - триста километров! Нет уж, лучше синяки и шишки, чем многоверстные пешие переходы.

А дождь льет, льет, и так хочется солнца, которое еще позавчера проклинали. Тепла хочется, хотя еще позавчера изнывали от жары. Единственное, что радует, - сгинули комары и гнус. Начинает побаливать голова, закладывать уши, - вероятно, оттого, что набираем высоту. Кулагинский тенорок:

- Робя, вроде ухи ватой позатыкало...

Значит, не у одного меня подобное ощущение. Покуда танки продираются сквозь обвалы, пятясь, разворачиваясь, мы бухаем кирзачами по мокрым каменьям, по расквашенной глине. Мгновенно на сапогах налипают комья, утяжеляя шаг. И дышится затрудненно: и подъем, и разреженность, и какая-то духота, может быть, из-за перенасыщенности воздуха влагой. Некоторые

кашляют, отхаркиваются, сплевывают. Да где же ты, наконец, благословенная Центральная равнина? Большой Хинган уже познали, не худо бы и распрощаться.

Горы дрожали от железной поступи танков. Когда "БТ" остановились на дозаправку, хребет, казалось, продолжал подрагивать.

Машины дозаправлялись, а комбриг Карзанов, кинув за спину руки, нервно расхаживал возле танкового ряда, дожидаясь известий от головной походной заставы по радио или разведчика-мотоциклиста с донесением о степени проходимости лежащего перед отрядом отрезка. Нам, пехоте, было приказано: готовьтесь, опять поедете на броне. Камешками и ветками мы очищали подошвы от наростов глины, отмывали сапоги в лужах, утирались, отжимали одежду будто это что-то давало, прав лейтепапт Макухпн- мы мокрые курицы. Но не в бою! В бою мы, скажем скромно, орлы!

Я закурил, прикрывшись плащ-палаткой. Шаркая, приблизился Толя Кулагин.

- Разрешите прикурить, товарищ лейтенант!

- Прикуривай.

От кулагипской наппроскп прпкурплп другие солдаты, потянуло табачным дымком, хотя он не поднимался, а стлался по-над землей. Кулагин сказал:

- Стоим, робя, прохлаждаемся, а скорость - наш кояырь. Чем шибче наступаем, тем меньше сообразит япон, что к чему.

Стратег и тактик! За четыре годика научились.

- Эх, выпить бы счас! Помянуть Филипка и Кету Лоншакова, заодно и обогреться, - продолжал словоохотливый Кулагин.

- Сейчас не положено, да и нету в наличии, - сказал парторг Симоненко.

- А знаете, хлопчики, - оживился Свиридов. - я ло пехоты состоял в полковой разведке. Так мы брали с собой в поиск флягу водки, ноль целых семь десятых. Семьсот граммов! Для храбрости! Особливо нам, молодым, у нас перед поиском пальцы тряслись... Сходило! Выпивали, приволакивали "языков"... А случился срыв, чепе то есть... не взяли "языка", поисковая группа потери понесла, дознание пошло... Турнули меня из разведки...

Я и этого не знал - что Егорша Свиридов бывший разведчик.

Ох. сколько же я не знаю о своих подчиненных! И когда узнаю, если войне скоро так или иначе амба? А ведь люди они открытые, прямодушные, будь лишь полюбопытней, повнимательней, почеловечней. И я подумал как-то сразу о своих бойцах, святых и грешных людях, о павших в боях, о неверной жене Головастпкова. об Эрне и о будущей жизни.

Объявился Федор Трушин:

- Без меня курите?

Несколько рук враз потянулось к нему с раскрытыми пачками "Беломора". Он вытащил папиросу, помял, сунул в рот, оберегая от дождя.

- Ребята, - сказал Трушин солдатам, - еще и еще раз напоминаю: следите за местностью, не прячется ли в складках смертник с миной либо смертник-снайпер. Следите вкруговую, коварство самураев известно: могут пропустить и ударить сзади...

- Есть, товарищ гвардии старший лейтенант! Будет исполнено! - за всех браво ответил Толя Кулагин, а сержант Черкасов молча и веско кивнул.

Посветлело. Тучи подразредились, но загулял, загудел ветер:

влажность и ветер - это так называемая жесткость погоды. Действительно, жестковато: сечет лицо, сбивает дыхание. Хочешь вдохнуть поглубже, и вместе с разреженным воздухом в легкие врывается волглый ветер, и ты задыхаешься. Разеваешь рот, как выброшенная на берег рыба. Можно, конечно, спрятать лицо в плащ-палатку. Но кто тогда будет наблюдать вкруговую и вообще воевать?

- Дождюка! Льет, ровно из трубы! - сказал Трушин. - Припоминаю, зверский дождюка был под Ржевом, в сорок втором. Спасу нет! Так мы что сделали, Петро? Оттащилп убитую лошадь, и над окопом - как крыша. А голодуха была зверская! Так мы что?

Отрезали по куску от того, что пад головой, и жралп. Сырую конину...

- Нужда заставит, - сказал я. - На фронте и не то бывало.

А конина - вполне съедобная штука.

- Только не сырая, - проворчал Трушин и швырнул окурок в лужу.

Мне знаком этот жест - щелчком ногтя отшвыривать окурок.

Мне знакомы и эта щербатинка, открывающаяся при улыбке, и пришепетывание, и неподвластный расческе чуб, выбивающийся из-под пилотки, и сросшиеся брови, весь он, Трушин, знаком с головы до пят. И близок, и дорог. Хотя мне ведомы его недостатки, хотя цапаемся с ним и, возможно, еще будем цапаться. Но если б у меня был брат, я бы сказал: люблю Трушина, со всеми его потрохами, как брата. А так скажу: люблю как друга. Опятьтаки на фронте это немало весит. Здорово, черт подери, что на свете есть людишки вроде Федьки Трушина.

Посветлело, и ливень вроде бы поубавил прыти. Кстати! Потому что команда: "Заводи! По машинам!" Мы с Трушиным залезли на сто двадцать седьмой, примостились рядком у башни - плечо в плечо, и я подумал: "Не избежать и нашему комиссару

синяков и шишек!" Улыбнулся. Трушин спросил, заинтересованный:

- Чего разулыбался?

- Да так... Рад, что ты с нами.

- Не слишком ли обильно радости, ротный, по поводу моей скромной персоны?

- Нет, в самый раз!

- В самый раз... А тебе ведомо, что и замполит полка и начподив бригады недовольны мной? Один ругал в прошлом, второй ругает в настоящем: участвую в боях, как солдат, предаю забвению организационные формы партийно-политической работы...

u А бывать в ротах, воевать с автоматом, увлекая за собой бойцов, - это разве не партполитработа?

- И я так рассуждаю... Но оба они правы в другом: подзапускаю с проведением партийных и комсомольских собраний...

- Подчас не до них.

- Нет! Тут моя слабинка... Упустил... Выправлю! Сегодня же на ночном привале проведем батальонное партсобрание.

- Как всех соберешь?

- Соберем! Комбриг и начподив посодействуют... А на собрании поговорим не об одних победах, но и о наших промахах в боевых действиях... - Трушин толкнул меня локтем в бок: "Держись, ротный!"

Держаться и в самом деле нужно было: танк тронул с места рывком. Черти полосатые эти танкисты, никак не возьмут в толк:

пассажиры на броне. А пассажиров надлежит уважать и не беспокоить.

Из головной походной заставы и разведчики-мотоциклисты доложили: по маршруту километров сорок проходимы, противник не обнаружен. И мы эти сорок километров прошли с приличной скоростью, без остановок. Помотало нас недурно, и, когда кто спрыгнул, кто сполз наземь, - всех пошатывало, а Шараф Рахматуллаев был желто-зеленый, как лимон, куда подевалась узбекская смугловатость. Бедняга хуже остальных переносит эту своеобразную качку.

Федя Трушин и тот покряхтел, потер бока, отдуваясь:

- Ф-фу, укатали нас лихие танкисты...

Когда мы ехали, было впечатление: горы сами надвигаются на нас. И ныне, когда стоим, кажется: горы продолжают надвигаться, окружать, сдавливать со всех четырех сторон. Как в каменном мешке...

Собрание провели уже в кромешной тьме, словно

протыкаемой огоньками папирос и цигарок. В президиуме почему-то не было комбата, хотя его и избрали. Докладчиком был сам Трушин, он говорил о повышении бдительности, о том, что в бою солдаты слабо подстраховывают друг друга, что мы забываем об особенностях боевых действий в горах, где пет свободы маневра для танков и где десанты обязаны быть более активными и решительными при обнаружении противника, проявлять инициативу. В конце напомнил о передовой роли коммунистов и комсомольцев. Потом выступили комроты-3. сержант Слава Черкасов и - я не поверил - старшина Колбаковский (впдать, опыт публичной беседы о Монголии оказался плодотворным), все они призывали к бдительности, дисциплине и беспощадной борьбе со смертниками-минерами ц снайперами. В разгар выступления старшины Колбаковского появился комбат. Кондрат Петрович споткнулся на полуслове, но затем в общем-то складно завершил свою речь. Тут комбат и сказал:

- Товарищи! Вы своевременно заостряете внимание на бдительности. Я от полковника Карзапова... Принято радиосообщение:

на санитарную машину соседнего отряда в тылу совершено нападение диверсионной группы. Всех раненых добили ножами... Отрезали уши, носы, выкалывали глаза... У сопровождавшей сапинструкторши отрезаны груди... Бдительность и еще раз бдительность, товарищи! Втемяшилось?

Втемяшилось, товарищ капитан! Мы оказываем их раненым медицинскую помощь, они добивают наших, выкалывают глаза, отрезают уши, носы, груди. Знакомо! Так же поступали гитлеровцы, вспомним хотя бы: под Кенигсбергом над тяжело раненными комбатом Алексеем Первушиным и телефонисткой Верой Николаевой надругались, облили бензином и подожгли. Тот же фашистский, людоедский почерк. Л как самураи вырезали батарею, не забыл, Глушков? Не забыл!

После сообщения комбата на полянке зашумели, заговорили.

Переждав шум. комбат сказал:

- Помните, товарищи, про злодеяния врага и не щадите его в бою!

Эти слова записали и в решение партсобрания...

Трушин ушел с комбатом, и ночевал я один. Дождь прекратился, но было сыро, промозгло. Солдаты рвали чахлую траву, ломали ветки чахлого кустарника, устилали и уж сверху - плащпалатку и шинель, волглые, отяжелевшие. Миша Драчев приготовил подобное ложе и мне, неподалеку от колеса "студебеккера", сам деликатно улегся в шаге от меня. Он будто угадал мое желание: спать не спиной к спине, а одному, пусть и

холоднее будет.

То, что я узнал от комбата, давило на душу: есть ли предел человеческой, точнее - нечеловеческой, жестокости? Звери, а не люди.

Как жить с такими на одной планете, под одним небом? Нет, не зря воюем мы с самураями, как не зря воевали с гитлеровцами.

Одна порода.

23

Ночью кое-где проглянули звезды, однако к утру небо сызнова захмарилось, ни проблеска. Хуже того: полил дождь. Ох, и осточертели же эти потоки воды! Но настроение нам поднял все тот же Трушин, обежавший перед маршем роты с известием: наивысшая отметка Большого Хингана преодолена, теперь будет постепенный спуск. Это, разумеется, хорошо. Плохо то, что неизвестно:

легче подниматься или спускаться? Возможно, спускаться еще сложней. Большие надежды возлагаем на саперов, продвигающихся впереди: где срежут крутой выступ, где построят мост из бревен, где взорвут скалу, где камнем и щебенкой выстелют топкий участок. Без них мы бы пропали! Настоящие труженики фронтовых дорог!

Сумеречно. Сыро. Знобко. Зеваю раз, другой. Не выспался. Не отдохнул как следует. И все позевывают, потягиваются со сна: не придут в себя. Перематываем портянки - все равно влажные.

И нижнее белье влажное, хотя малость пообсохло на нас, когда согрелись во сне. Ничего, опять будет все мокрое: для того и дождь.

И вдруг поступает приказ от комбрига: личному составу немедленно побриться! Я оглядел солдат, провел по своим щекам: точно, подзаросли. И вот десантники, танкисты, пушкари, связисты, мотоциклисты, саперы, ездовые схватились как сумасшедшие за обмылки, за кисточки, за опасные и безопасные бритвы, - как сумасшедшие, потому что полковник Карзаиов отвел на все про все четверть часа. Для нас и пятнадцать минут значат - когда живот кладем, чтобы побыстрей форсировать Хингап, - но комбриг безусловно прав: победители-освободители должны быть гладко выбриты, можно без одеколона, но чтобы вид - опрятный! Думаю, этот приказ больше всех пришелся по душе старшине Колбаковскому, неизменному радетелю образцового внешнего вида воина Красной Армии. Кондрат Петрович чиркал бритвой с таким остервенением, будто заодно со щетиной хотел сбрить и кожу.

Намыливаясь холодной пеной - где же взять горячей воды, - скребя перед зеркальцем щеки безопаской, наблюдая суматошное, не без веселинки, массовое бритье, я подумал: весть о расправе над ранеными в "санитарке" словно бы уже потускнела, отодвинулась повседневными заботами. А те, раненные и после убитые, никогда уж не побреются... Но живым - жить, и после бритья, обтеревшись, я испытал удовольствие и легкость, как будто щетина могла что-то весить.

Да-а, в горах тяжеленько. Сюда бы специальные, горнострелковые части, в армии они есть. В Карпатах, например, такие действовали. Но разве на Большой и Малый Хпнган их напасешься, горнострелковых частей? Все мы на Забайкальском фронте (да и на других) стали горными стрелками, егерями, так сказать. Кстати, у немцев, говорят, были великолепные егерские частп, на Кавказе воевали. Правда, наши так долбанули этих великолепных егерей, что сердцу любо!

Меня это проняло: то рвали себе жилы, ухватившись за колеса, чтоб подвода не свалилась в пропасть, то сами столкнули танк на дно пропасти. Было это так. В головной походной заставе шел танковый взвод с десантом автоматчиков и саперов. Дымился дождь, густели сумерки, и, как ни высматривали автоматчики, они вовремя не заметили вжавшегося в щель за валуном смертника с миной. Как выяснилось после, она была у него не на шесте, а привязана к спине. Когда передний танк оказался рядом, в каком-нибудь метре, смертник выскочил - и под гусеницы. Автоматчик успел дать очередь, которая угодила в мину за спиной. Взрыв - уже под днищем. Смертника разнесло в клочья, а машина была подбита. Экипаж не пострадал, за вычетом механика-водителя: раненного, его вытащили через верхний люк. Подорванный танк загородил дорогу: не объехать ни справа, ни слева. И не развернуться: узко. Тогда-то комбриг мрачно и категорично приказал: сбросить! Это была высокая, но необходимая плата за то, чтобы подвижной отряд не задерживался, не терял темпа продвижения.

Основная задача - та же: вперед, быстрей вперед! Шедший следо.м танк пролязгал к подбитому и подтолкнул его к краю обрыва, и еще, и еще. Раненый танк не поддавался, не хотел умирать. Его толкнули сильней, и он завалился набок, медленно скользнул вниз по карнизу и, переворачиваясь и грохоча броней, покатился под откос.

Командир сброшенного танка и заряжающий, сняв шлемы, отвернулись. Пехота не заплакала, но смотреть на гибель грозной - и дорогостоящей машины было больно. Хотя разумели: иного выхода нет. И второе: пехота чувствовала себя виноватой, в

общем-то по ее недогляду подорвался танк. В десанте находились солдаты третьей роты, но мне казалось - моей, первой. Плохо всетаки мы выполняем решение партсобрания о бдительности. И не схоронишься за объективные причины - дождь, сумрак, скверная видимость, смертник здорово замаскировался. Ладно, хоть экипаж уцелел, живые остались живыми. Главная ценность - люди, так ведь? Эта мысль немножко успокаивает.

Мои солдатики, разумеется, прокомментировали случившееся.

Егорша Свиридов сказал:

- За сброшенную тапочку по головке не погладят...

- Знамо. Техника денежек стоит, - поддерживает Кулагин.

- Это правильно. Но правильно также: путь-дорожку нужно ж было как-то расчистить, не стоять же нам на месте. Потому комбриг и принял данное решение. - Как обычно, парторг Симоненко уточняет ситуацию.

Однако Егорша Свиридов оставляет последнее слово за собой:

- Чего-ничего с каской либо с противогазом приключится, так душу вытрясут... А тут - тапочка, шутка сказать!

А я думаю: стоять на месте нельзя было и потому, что авиация японская могла налететь. Жару могла дать - не возрадовались бы. Конечно, погода сейчас нелетная. Но кто ж ведает, какой она будет через час-два? Возьмет и распогодится.

В разговор встревает Логачеев, но совсем, так сказать, не по теме. Вздохнув, он произносит с задумчивостью:

- На обед сызнова был пшенный супец... Приелась пшенка...

Хуже горькой редьки! А ведь существует на свете уха! В Дербенте я похлебал ушицы!

- Ты ж бывший рыбак, потому и похлебал. - Это Микола Симоненко.

- А знаешь, сержант, что такое архиерейская уха? Мигом обскажу... Сперва варят петуха, после его выбрасывают. А в том бульончике уже варят рыбочку! Объедение!

- Лучше тройной ухи?

- Сержант, ты меня удивляешь! Лучше архиерейской ухи на свете не бывает!

- Вношу уточнение, - сказал Кулагин. - Какая разница между рыбным супом и ухой? Рыбный суп - это без водки, уха - это рыбный суп с водкой!

- У тебя одно на уме...

А дождь льет, как пошутил Миша Драчев, без перерыва на обед. Что-то никак не распогодится.

Но вот проблеск! Тучи приподнялись, разредились, в окнах

заголубело небо. Часам к десяти пробилось солнышко, и от одежды, от земли начал подниматься пар. Но ручьи продолжали, клокоча, течь с вершин, - видимо, ливень добре напоил их. Вообще благодать: ни дождя, ни испепеляющей жары, солнышко ласковое. Уши то закладывает, то отпускает: меняется, стало быть, давление, мы спускаемся, хоть высота еще - ого-го.

- Мировая погодка - мировой настрой! - говорит, подмаргивая, Толя Кулагин.

Воистину так.

- Врач больному: "Со снотворным спите? Или с женой?"

- Ха-ха! Даешь, Логач!

- Хохмит, а у меня в натуре вот чего было... В доме отдыха выбираю себе напарника, чтобы не храпел. Здоровенных, толстых и пожилых - в отставку, выбрал маленького, худенького. Но заморыш этот храпел, как великан! Влопался я, хоть сбегай...

Чей-то не вяжущийся с общим тоном говорок:

- Филипка Головастикова жалко. Сколь каши съели вместе!

И шуточки пресекаются, солдаты умолкают. А мне приходит на память: поздняя осень, мы уже за Шешупой, в Восточной Пруссии, отбивали контратаку за контратакой. И прибыл с пополнением в роту - даже не в мой взвод сержант, большеглазый, стройный, с кудрями, а руки... пет, ручки - узкие, породистые, пальцы - длинные, тонкие, музыкальные. Он и был на гражданке пианистом. Я ему: чего в ансамбль не пошел? Он отвечает: у меня дружок всю войну прокантовался в ансамбле песни и пляски, а я хочу войну честно отработать. Через пару дней роту крепенько накрыло артналетом, пианисту оторвало обе кисти. Уж как он убивался: кто я теперь, что буду делать, лучше б сразу прикончило.

И что же? Когда раненых эвакуировали, рядом с санитарным автобусом ахнула полутонная бомба, о таких солдаты говорят: "Ну и дура! Ну и корова!" После мы подошли к краю огромной воронки, заполнявшейся бурой вонючей водой...

В вёдро прилетел "кукурузник", сбросил кипы газет - за несколько дней кряду, - и мы узнали, что еще десятого августа Малый хурал и правительство Монголии объявили священную войну Японии, что монгольские войска, оперативно входя в состав Забайкальского фронта, успешно действуют на его правом фланге.

Значит, где-то правее нас. Спасибо, братья-монголы!

О Забайкальском фронте тоже пишут. Например, я прочел, что в боях за Халун-Аршанский укрепрайон совершил подвиг комсомолец Шелоносов - бросился грудью на амбразуру дота. Мы этот укрепрайон обошли, но часть сил его блокировала,

штурмовала город Солунь, и вот забайкалец Шелоносов повторил подвиг Александра Матросова. Да, многое из того, что было на Западе, повторяется на Востоке. А многое - в новинку...

Танк едва не зависал над пропастью - столь узкой была горная тропа. Десантники из предосторожности - не дай бог, танк скувырнется, загудишь вниз заодно с ним - поспрыгивали, двигались позади, вглядываясь в нависшие гранитные скалы. Машина повторяла извивы тропы, лязгая гусеницами и стреляя в лица выхлопными газами. Автоматчики временами отворачивались, но не отставали: надо быть вблизи машины, а ну как опять какой-нибудь фанатик с миной на спине выпрыгнет из волчьей ямы? Скалы отвесные, голые, скользкие, неплохо просматриваются, да мало ли что? Ведь не усмотрели же вчера, и смертник подорвал танк. Помним об этом и напряженно шарим глазами и биноклями по скалам. Ну и под ноги - уже без биноклей - не забываем посматривать: не споткнуться бы, по сверзиться бы.

Танк поддал, и мы пошли резвее, почти побежали. А он, скрежеща траками по камням, вилял, довольно резко забирая то вправо, то влево. За крутым поворотом плюхнулся в глубокую вымоину, заелозил. Приоткрылся люк, по пояс высунулся командир таика. И тут пуля щелкнула о люк, танкист погрозил кулаком, проворно юркнул, опустил крышку люка. Машина пошла было дальше, по в ротной цепи вдруг упал один боец, второй: откуда-то в нас стреляли, хотя выстрелов не было слышно. Кто из бойцов залег за камнями, кто за танком. Пули перестали свистеть. Однако стоило кому-либо встать - опять пуля. Что не слыхать звука - объяснимо: японская снайперская винтовка "арисака" стреляет бесшумно.

Я оглядел в бинокль ближние высоты: груды камней, огромные валуны, вывороченные бурен дубы, - везде могли прятаться снайперы. Танкисты тоже так считали, потому что пушки ударили по этим подозрительным местам, ударили и самоходки. Стреляли, конечно, наугад. Началось движение - опять засвистели пули.

Значит, снайперов надо выкуривать пехоте. Чтоб наверняка. Комбат приказал сделать это моей роте.

- Слушаюсь, товарищ капитан!

- Как только поставим дымовую завесу, сближайся с гребнем! С него, по-видимому, и бьют.

- Вас понял, товарищ капитан!

- Ну, коль такой понятливый, удачи тебе!

- Спасибо...

- Спасибо скажу тебе, когда снимешь самураев...

Дымовые шашки подожгли так, что кисея дыма скрыла колонну, но гребень и подступы к нему были видны отлично. Мои солдаты по-пластунски поползли меж кустами и небольшими каменистыми обломками; если препятствием вставала едва ли не отвесная скала, один солдат подсаживал другого, тот кошкой извивался, цепляясь за выступы, залезал - бросал вниз веревку, по ней уже забирались остальные. И так - скала за скалой. Альпинизм на Хингане!

По гребню садили наши пушки, пока мы не подобрались достаточно близко: свои же осколки могли поразить. Я дал сигнальную ракету. Снаряды перестали взрываться, но пыль и дым стояли плотные. Развернувшись в цепь, мы приступили к прочесыванию.

Оступаюсь, больно стукаюсь коленками, в горле першит от гари.

Дуб с расколотой верхушкой горит, похожий на крест ку-клуксклана (видел когда-то на фотографии, изображавшей сборище куклуксклановцев в белых балахонах). Этот маньчжурский дуб - как ориентир, по нему выдерживали направление на гребне. Снайперы затаились, не стреляют, чтоб не выдать себя. Да и видимость скверная. Врешь, найдем, выкурим!

Вообще-то я всегда опасался снайперов. Особенно, пожалуй, в обороне. У немцев были так называемые ягдкоманды, то есть охотничьи команды, сформированные из наиболее метких стрелков.

Многих они уложили в наших траншеях - там, где она недорыта, или кто-то неосторожно высунулся, или был простреливаемый сверху участок. Выслеживали в первую очередь офицеров, хотя не брезговали и рядовыми. В наступлении тоже охотились преимущественно за офицерами и еще за артиллеристами, танковыми экипажами. Как сейчас японцы. Моего лучшего друга Витю Сырцова тоже срезал снайпер в наступлении, в атаке - в Смоленске, в сорок третьем. Выстрел снайпера неожидан и коварен. Может пулю влепить тебе в лоб, может и в спину, промахивается снайпер редко...

Как обычно в атаке, сердце билось у глотки, пот заливал глаза, руки-ноги дрожали от напряжения и усталости. Все-таки взобрались на этакую верхотуру и топали по ней резво. И внезапная, посторонняя для сиюминутной ситуации мысль: "Взобрались-то взобрались, а как спускаться будем?" Ну, до спуска надо еще найти и обезвредить снайперов-смертников. Атака? Да что это за атака, ежели не видать противника? Ничего, увидим. И уничтожим.

Взрывы гранат, автоматные очереди - мои ребята

обрабатывали подозрительные груды камней, поваленные деревья, вымоины, где могли быть гнезда снайперов. Минут через двадцать эти гнезда были обнаружены. Их было три, неподалеку друг от друга: в ямс, обложенной плоскими камнями, под сосной и за маньчжурским дубом, за его вывороченным корневищем. Кустарник, жесткая трава. Тряпье, сумочки с галетами, консервные банки, бутылки из-под сакэ и ханжи - гаоляновой водки. Снайперские винтовки, стреляные гильзы. И смертники, корчившиеся в крови. Это не наши гранаты и пули. Это - самоубийство: японцы совершили харакири, вспороли животы ножами. Вот уж изуверы, даже над собой изуверствуют! Сизые и розовые кишки ползли из нутра, как змеи, налезая друг на друга. Меня едва не стошнило. Сколько же метров этих кишок в брюхе? Японцы дернулись, затихли, но кишки - уже из мертвых - продолжали выползать.

- А от них ханжой несет, - сказал Егорша Свиридов.

- Смертники были пьяные, - подтвердил Микола Симонеико.

Да, это так. Для храбрости напились? В пьяном возбуждении учинили над собой расправу, чтобы только не попасть в плен? Парням лет по двадцать, не больше. Загубленные молодые жизни...

У нас был ранен Готя Астапов - и двадцати нет, - тот самый Готя из Иркутска, прибывший с пополнением перед началом наступления, тот скромный, неприметный и слабосильный Готя, которому гвардии старший лейтенант Трушин помог нести винтовку на марше уже по эту сторону маньчжурской границы. Раздроблена ключица. Жить будет, хотя помучается. Прощай, Готя Астапов, и поправляйся! Толком не узнал тебя, а уж прощаюсь. Не успев свести людей, война тут же разводит их. Как правило, на веки вечные. Так она устроена, война.

У танкистов не перебранка, не перепалка, однако разговор со значением.

- Товарищ младший лейтенант! Докладывает старший сержант Бредихин!

Бредихин так выделяет слова "младший" и "старший", что попятно: лучше быть старшим сержантом, чем младшим лейтенантом. Тот, в свою очередь, с уничижительным нажимом на определении "старший" роняет через губу:

- Ну, давай, старший сержант, что там у тебя?

Борьба самолюбий, что ли? Выясняют отношения? С молодой прыти взбрыкивают? Нашли время и место.

Запало в памяти высказывание одного офицера, комбата, на полковых сборах. Он сказал:

- Не спорю: когда солдат закрывает собой амбразуру, это

подвиг. Но в то же время это и показатель плохой организации боя, свидетельство беспомощности командира, коль скоро .приходится идти на крайний шаг. Надо бой провести так, чтобы не было необходимости бросаться грудью на дот...

Безусловно, доля истины в этом рассуждении есть. Но большая часть истины в том, что в бою всего не предусмотришь, война соткана из крайностей, и бывают ситуации, когда единственный выход - упасть грудью на амбразуру. Чтобы спасти товарищей, чтобы они могли продвинуться, отдается жизнь. Не каждый способен на это. Поэтому бессмертная слава всем, кто совершил подобный высокий подвиг, - от Александра Матросова до забайкальца Шелоносова!

24

СМЕРТНИК

У командира авиационного отряда подполковника Мацуока брови были густые, разросшиеся, особенно они разрастались вверх, и казалось: удивленно вскинуты. На самом же деле подполковник никогда и ничему не удивлялся, самые невероятпые обстоятельства не лишали его выдержки и хладнокровия. Это и понятно: Мацуока - кадровый офицер, прошел войну с Китаем, в китайском небе сделал свою карьеру. В отряде говорили: на подполковнике больше боевых шрамов, чем у иного родинок. Шрам есть и на лице, на левой щеке, скобкой, и в тот день он задергался вместе со щекой, выдавая подполковника: значит, тоже умел волноваться. Оглядев собравшихся по боевой тревоге офицеров и унтер-офицеров, командир отряда сказал:

- Из штаба армии передали: сегодня на рассвете Россия вступила в войну против Японии, советские войска перешли границу Маньчжоу-Го. - Он замолчал, молчали и летчики, задержав дыхание. - Что ж, будем биться на два фронта - против амеко и против русских. Надеюсь, господа летчики докажут в бою преданность нашему императору, умереть за которого - высшая для воина честь. - Он опять помолчал и закончил: - Квантунская армия разобьет врага, а летчики отряда обессмертят свои имена великими подвигами! Настал час свершения стратегических планов: разбить Красную Армию, присоединить к империи Дальний Восток, Забайкалье и Сибирь! Поздравляю вас с участием в исторической миссии!

Потом летчиков распустили. Офицеры и унтер-офицеры вышли из отрядного штаба во двор, закурили. Хокуда видел, как дрожат руки у товарищей, да и у самого подрагивали пальцы, зажавшие сигарету. Нет, он не боялся наступивших событий, как не боялись и остальные, но волноваться волновался. Еще бы, такое - война!

Наконец, и они здесь, в Маньчжоу-Го, смогут вступить в бой!

Летчики и подошедшие к ним механики курили, сдержанно переговаривались. Хокуда прислушивался, убеждаясь: то, что говорят другие, совпадает с его собственными мыслями. Говорили немногословно, как и подобает мужчинам и воинам: будем сражаться за императора и Японию, давно ждали этой войны (правда, начать ее собирались мы), Квантунская армия, основа японских сухопутных войск, - грозная сила (правда, воевать на два фронта Японии будет трудней). Кое-кто, как Хокуда, промолчал.

Не потому, что опасались ушей военной жандармерии - верноподданным его императорского величества нечего опасаться, - а потому, что молчаливость украшает мужчину и воина. Но чем внимательней прислушивался Хокуда к разговорам, тем ясней чувствовал: приходит возбуждение. Он знает, что это такое: изнутри жар, разливается в груди, жжет, в горле першит, саднит кожа на пальцах, будто обжег сигаретой. И хочется курить сигарету за сигаретой. И хочется спиртного.

В отряде было объявлено казарменное положение. Выпить хотелось не одному Хокуде. Спиртное за хорошую приплату доставали у денщика господина подполковника, однако на сей раз тот заартачился: командир отряда приказал, чтоб в отряде ни капли спиртного! Сам же подполковник может когда угодно уехать в город, отобедать в ресторане, где, как известно, есть сакэ, виски, русская водка, изготовляемая русскими эмигрантами. И еще известно: что за воин императорской армии, если он не пьет каждый день! Хокуда пил каждый день и помногу - и сакэ, и виски, и водку, лишь бы сильней шумело в голове и легче было на сердце.

А летал он не хуже прочих, может быть, и лучше.

Было ветрено. В лицо швыряло песком и мелкими камушками, Хокуда не отворачивался, но морщился. Ветра он не любил. Возможно, это была профессиональная нелюбовь: ветер - недруг летчика, когда тот в воздухе, и чем сильней ветер, тем больше неприятностей подстерегает при взлете и посадке. Однако сейчас бы и ураган не остановил Хокуду, если б был приказ поднять истребитель в воздух. Настроение, верно, неважное, и причина тут совсем не в ветреной погоде. Да ведь и понятно: одно - когда мы сами бы начали войну, и она, несомненно, была бы победоносной, другое - когда войну начал враг. Войну начинает тот, кто чувствует себя сильней. Неужели русские чувствуют себя сильнее нас? Если это даже так, императорская армия сумеет дать достойный отпор Красной Армии. Мы разобьем ее и погоним до Омска, как когда-то и планировалось, а то и дальше. Правда,

Россия могуча, она разбила Германию. А Япония разве не могуча? Прежде всего своим непоколебимым духом! Умрем за императора как один!

Но выпить бы надо. Вера и преданность от этого не поколеблются - они не могут поколебаться, - а настроение поднимется.

Хокуда перебирал кривоватыми ногами, поглядывал на куривших летчиков и механиков, и внутри у него жгло, кожа на кончиках пальцев саднила. И першило в горле. Да, надо промочить. И основательно промочить. На севере, где граница, что-то громыхнуло?

Нет, показалось. Все тихо. Война идет оттуда, но пока ее не слышно. Выпить!

Ударил порыв ветра, взвихрил пыль, запорошило, глаза. Они заслезились, словно Хокуда заплакал. Нет, за свои двадцать три года он ни разу не плакал. Даже в детстве. Как помнит себя.

И этим гордится: слезы не для мужчины и воина. Не совсем объяснима, конечно, его нелюбовь к ветру. Ведь в Стране восходящего солнца летчика-камикадзе - а Хокуда сам недавно служил в таком отряде - называют божественным ветром. Камикадзе - ветер богов. Ветер! Ну, это другой разговор - о камикадзе...

Подошел низкорослый, квадратный Иосиока, механик. Всегда плохо побритый, хмурый, неразговорчивый, сейчас он был гладко выбрит и оживлен. Хокуда посмотрел на него, как бы говоря:

"С чего развеселился?" Иосиока вежливо дотронулся до его плеча подмигнул и шепотом сказал:

- Отойдем в сторонку, командир.

Хокуда пожал плечами, но шагнул За механиком. Тот свистяще прошептал:

- В моих запасах обнаружилась бутылочка сакэ.

Так вот почему оживлен его механик. Оживился и Хокуда ответил быстро:

- С удовольствием разделю компанию... Пошли к самолету!

Стараясь не вызвать любопытствующих взглядов, Хокуда и Иосиока зашагали, причем в ногу, по узкой гравийной дорожке от казармы к летному полю. На ходу переговаривались:

- Неприкосновенный запас!

- Очень кстати...

- В такой день да не напиться...

- С одной бутылки?

- Вы правы... Но главное - начать. А там продолжим!

Хокуда неожиданно для себя хохотнул: продолжить бы неплохо. Хотя, признаться, не до смеха. Вот опрокинуть чашечку

сакэ - иной разговор! Да. такой день, начало войны... Нужно думать об императоре, о своей священной миссии, о победе, а думаешь о сакэ. Как будто нет ничего более неотложного, чем напиться.

А что, так оно, наверное, и есть. Все остальное будет потом. Что - все? Да буквально все...

В капонире, под брюхом самолета, Иосиока разложил газетку, достал из сумки фарфоровую бутылочку и две фарфоровые чашечки, и Хокуда понял: если через минуту не выпьет, внутренний жар сожжет. Какой же молодчина Иосиока, разливай же попроворней. Правда, рисовую водку полагается пить подогретой и маленькими глотками. Но мы не в ресторане, выпьем неподогретую и большими глотками!

Затяжной глоток - и обжигающей водкой словно плеснуло на тот, внутренний жар. Жаром загасило жар. Ровное тепло обволокло грудь. Тепло, дающее силу и бесстрашие. Наверное, то же испытывают летчики-смертники, выпивая ритуальную чашечку сакэ перед полетом, из которого не возвращаются. И Хокуда не день, не два готовился к последнему в жизни вылету, но судьба распорядилась по-своему, и он жив до сих пор. Хотя готов умереть, как и прежде. Знает: его час рано или поздно настанет, пусть он сейчас и не камикадзе, а летчик-истребитель. А был смертником, был! Повезло или не повезло? Он не уклонялся от смерти, просто так получилось. И теперь он может выпить и вторую чашечку, и третью...

Они сидели под ненадежной тенью самолета, Иосиока подливал в чашечки и говорил:

- Раньше война была далеко от Японии, а теперь приближается, как тайфун... Что будет? Сколько она продлится?

- Кто знает! - Хокуда отвечал вяло, неохотно. - Начали войну мы хорошо, не упустили выгодного момента и ударили по Америке. Вспомни: декабрь сорок первого, Пёрл-Харбор, подвиги наших славных камикадзе... А вот момент, когда можно было ударить по России, был упущен.

- Какой момент?

- Даже два. Немцы под Москвой, немцы под Сталинградом.

- Советы держали на Дальнем Востоке и в Забайкалье сильные войска...

- А мы не сильны?

- На Хасане и Халхин-Голе нам было нелегко...

- А когда война бывала легкой?

- Все-таки долго она тянется... Дома у меня уже дочери подросли, жена пишет: скоро невестами станут... Любую из трех выбирайте в жены, командир!

Но Хокуда не принял шутки, сказал угрюмо:

- До невест ли? А вот от борделя не отказался бы. При первой возможности улизну в город... Поедешь со мной?

Иосиока замялся:

- Что позволено поручику, того нельзя унтер-офицеру.

В один бордель с вами?

- Пустяки! Я приглашаю! - И Хокуда широко, разрешающе повел рукой, в которой была фарфоровая чашечка, несколько капель пролилось на газету.

Поручик с сожалением посмотрел на нее и хлебнул сакэ. Теплота в груди! А с механиком он пойдет в бордель, в японский, лучший, хотя в городе есть и китайские, и корейские. Если водку пьют вместе, почему же не пойти к проституткам? Конечно, между ними разница в десять с лишним лет, у механика почти взрослые дочери, у механика седина на висках, лицо опутано морщинами, как паутиной, - мелкими у глаз, крупными у рта и на лбу.

Да и семьянин оп примерный, а у Хокуда семьи нет: женой не обзавелся, родители погибли при бомбежке Токио американскими "летающими крепостями". Эти палеты ночь за ночью сжигали столицу, ее дома и ее людей. Отец с матерью, младшие брат и сестра сгорели заживо. А любимой девушки не было, он со школьных лет пользовался продажной любовью - и этого было достаточно. Может быть, после войны он женится? Если останется жив.

В чем, по чести говоря, не очень уверен. Есть предчувствие: погибнет. Но пока живой, надо жить: воевать, пить сакэ, посещать публичный дом.

- Знаете, командир, ходят слухи...

- Какие? - спросил Хокуда. - Насчет России?

- Насчет Америки...

- Ну, говори.

- Ходят слухи, что амеко сбросили на Хиросиму какую-то огненную бомбу. Необычайно мощную. Множество жертв среди жителей. Говорят, что в городе десятки тысяч погибли...

- Наверное, это преувеличения, - неуверенно сказал Хокуда.

- И я так считаю. Надо написать дяде, он живет в Хиросиме... Или жил...

- Расправой над мирными жителями амеко пытаются нас запугать, - сказал Хокуда. - Но Японию бомбежками не сломить!

А исход войны решится на полях сражений. На фронте. Как, например, здесь, в Маньчжурии...

- Это так, - согласился Иосиока и поднял чашечку: - За пашу победу!

- За императора!

Они едва успели отхлебнуть, как пронзительно взвыла сирена.

Тут же умолкла, словно поперхнулась, и опять завыла - уже безостановочно, сверля воздух. Воздушная тревога! Иосиока вскочил на ноги:

- Это не учебная!

И Хокуда подумал: боевая тревога. Сказал:

- Допьем сакэ!

У механика дрожали руки, когда он разливал водку. Торопливо выпили. Услышали - у штаба крикливая команда:

- По самолетам! По самолетам!

К летному полю скачками, подпрыгивая, бежали летчики и механики. А в небе угрожающе нарастал гул, и уже видны самолеты с красными звездами. Так внезапно появились! Откуда они?

Девятка, вторая, третья. Три эскадрильи бомбардировщиков! ПВО проворонила? Зенитные орудия и пулеметы ударили по ним. Но бомбардировщики, заход за заходом, сбрасывали на аэродром бомбы. Взрывы, огонь, дым, земля содрогалась. Недалеким разрывом бомбы тряхнуло самолет Хокуда, и поручик, очнувшись, крикнул:

- Скорей в воздух! Мне надо в воздух!

Механик кинулся к самолету, однако новый взрыв отбросил его к летчику, швырнул наземь. Воздушная волна контузила обоих, но осколки пощадили. Это Хокуда понял, очнувшись: валялся на жухлой колючей траве, тошнило, голова раскалывалась от боли. Иосиока приподнялся, пошевелил руками и ногами.

Живы!

А бомбы продолжали ложиться на летное поле, вздымая кучи щебня и земли, обломки самолетов. Покрывая эти взрывы, вбирая их в себя, громыхнул громом невиданной мощи взрыв: советская бомба угодила в склад авиабомб; эхо этого взрыва заметалось, не утихая, в сопках. Черный дым гигантским столбом уперся в небо - загорелось хранилище горючего. Перебарывая слабость и тошноту, Хокуда осмотрелся: огромные курящиеся воронки, покореженные самолеты, языки пламени, дымная пелена. Дым набивался в легкие, их разрывало кашлем. Кое-как прокашлявшись, Хокуда подполз к механику, заикаясь, прокричал в самое ухо:

- Не ранен?

- Нет! А вы? - Иосиока также заикался.

- Считай, обоим повезло.

Им и в самом деле повезло: живы, а вокруг, по краям запекшихся воронок, немало убитых или серьезно раненных, исходивших воплями. Повезло и потому, что, кажется, самолет Хокуда наименее пострадал, во всяком случае, не горел, как остальные.

Превозмогая слабость, Хокуда и Иосиока помогали уносить раненых и убитых, тушить пожары, засыпать воронки, и Хокуда думал: "Авиаотряд как таковой больше ие существует. Что же теперь делать?"

Пока таскать носилки с неподвижными телами, кидать лопатой землю, потом напиться - ив бордель. А потом? Как жить дальше? Совершить харакири? Воли на это хватит, коль пошел когдато в камикадзе. Но харакири - это пассивная, хотя и почетная смерть. А нужно так умереть, чтобы твоя гибель нанесла урон врагу. Умереть в бою. Но боя-то и не было, русские уничтожили отряд, который даже не поднялся в воздух. Позор и бесчестие.

которые можно смыть только в схватке. Его "коршун" еще полетает, как сказал Иосиока. Нужен ремонт, Иосиока им займется.

Поручик Хокуда еще взлетит навстречу русскому самолету!

А небо над аэродромом было пустынно, словно не ревело только что моторами русских бомбардировщиков и истребителей. Высокое, синее небо, к которому тянулись дымы, стремясь закоптить его. Небо, бывшее родной стихией поручика Хокуда. Небо, с высоты которого поручик Хокуда, бывало, с легким презрением смотрел вниз, на копошащуюся на земле жизнь. И еще посмотрит!

На закамуфлированном автомобиле подъехал от штаба отряда подполковник Мапуока - он был бледен, кустистые, словно удивленно вскинутые брови подрагивали, шрам-скобка на левой щеке подергивался. Подполковник выпрыгнул из машины на взлетную полосу и замер, лишь ноздри раздувались, втягивая прогорклые запахи сгоревшего масла, бензина, каучука, краски. Постоял, опустив голову, и с опущенной головой прошел к себе в кабинет сел за письменный стол, в кресло, и сделал харакири. Еще был жив когда в кабинет протиснулся адъютант, чтобы как-то помочь. Подполковник остановил его жестом, сказал внятно:

- Впредь до особого распоряжения штаба армии отряд считать пехотным подразделением.

- Но, господин подполковник, если нам дадут новые самолеты...

- Если дадут, будете летать и мстить, - сказал Мацуока и закрыл глаза.

Да, авиаотряда больше не было, и командир его умер достойно.

И все-таки предпочтительней умереть в бою. Надо воевать! Но воевать в пехоте, которую летчики презирали? А когда сможем получить новые самолеты и как вообще развернутся события?

И Хокуда решил: пока неопределенность, съезжу в город, пообедаю в ресторане, навещу девочек. Не сегодня завтра будешь мертвым, как мертвы товарищи-летчики и сам господин подполковник Мацуока, так хоть напоследок вкусить радостей бытия...

Хокуда присоединился к группе таких же, как он, летчиков, жаждавших попасть в город: завели автобус и поехали. А если краснозвездные опять налетят? Зачем? На аэродроме они свое уже сделали. Беда в том, что отряд был готов к нападению, но не готов к обороне, - может, как и вся Квантунская армия? И в том беда, конечно, что, даже поднимись они в воздух, сражаться на равных с русскими было бы затруднительно: их техника намного превосходит японскую, а летчики - асы, побеждавшие на Западе асов Геринга. И все же поспорили бы еще, кто кого! Теперь перевели в пехоту. К черту пехоту, пока неясность - махнем в город, к развеселым ресторанным порядкам и покладистым, постигшим всевозможные любовные премудрости, девочкам.

Перед тем как сесть в автобус, Хокуда спросил у механика:

- Поедешь со мной?

- Командир, я останусь...

- Узнаю примерного семьянина!

- Буду ремонтировать самолет.

- Узнаю примерного механика!

- Надеюсь оправдать вашу лестную оценку, командир...

- Подлатаешь мой "коршун" - привезу тебе славную выпивку!

- Надеюсь на вашу доброту...

В автобусе шумно: кто дает шоферу совет, как быстрей проехать к городу, кто выбирает с приятелем ресторан, кто подсчитывает деньги на кутеж. Молодые, сильные, не привыкшие унывать ребята. И Сэйтё Хокуда не будет унывать. Хотя тревожит сковывающая заторможенность мыслей и поступков: думает и поступает с каким-то запозданием, как после напоминания извне. Ничего, будем пить, развлекаться, и все пройдет.

Но и после нескольких чашечек сакэ заторможенность не прошла. Хокуда сидел в любимом ресторане, ел любимые блюда, надменно разглядывал многочисленных посетителей и думал, что даже в смутный час рестораны не пустуют. Бордели - тоже.

И там и тут было много офицеров разных родов войск, но по умению пить и любить летчики не знали себе равных, а Сэйтё

Хокуда - первоклассный летчик. За оплаченное время он успевал неоднократно воспользоваться женщиной. Сегодня, однако, был поскромнее, быть может, оттого, что перед глазами стоял разбомбленный русскими аэродром. Молча лежал рядом с миловидной, сильно накрашенной японкой, почти подростком, милостиво разрешая ласкать себя и тщетно воскрешая ее имя, которое она произнесла при знакомстве. Он старался запоминать имена этих женщин, и всегда они были новые: поручик не терпел однообразия и навещал также китайские и корейские дома с красным фонарем.

Были бы деньги. А деньги были.

В комнатенке сыро, пахло дешевыми духами, вином. Хокуда привычно вдыхал эти запахи и думал: сколько такого было в его жизни и сколько еще будет? Сегодня судьба подвела к роковой черте, за которой полная, темная, как ночь в бирманских джунглях, неизвестность. Непробудная эта почь, однако, вспорется молнией, расколется громом. Молния и гром могут угодить в него, а могут миновать. Утром - миновали...

И в Бирме, можно сказать, миновали. О Бирма! Тогда еще Хатиман - бог войны - был благосклонен к императорской армии, хотя амеко накапливали силы и их корабли настойчиво атаковали японский флот. Авиаотряд, в котором служил Хокуда, базировался неподалеку от Рангуна, бирманской столицы. Аэродром был в джунглях надежно замаскирован, и амеко долго не засекали его.

Это был отряд особого назначения - камикадзе. Сэйтё Хокуда попал в него так. В незабвенном декабре сорок первого императорский флот и авиация внезапно атаковали американские военные корабли в Жемчужной гавани Пёрл-Харбора. Блестящая победа, в достижении которой видную роль сыграли летчики-смертники, обессмертившие себя камикадзе, да, да, обессмертившие, потому что их имена записаны в храме Ясукуни. Как раз в сорок первом Хокуда поступил в авиационное училище. Окончил его с отличием, стал летчиком-истребителем. Провел немало воздушных боев, сбил трех амеко на "аэрокобрах"! И вдруг - набор в отряд камикадзе. Не раздумывая, Хокуда написал рапорт...

Женщина-подросток ластилась, выпрашивая не ласки, а деньги. Зачем ей его ласки? Сотни мужчин были до него, сотни будут после. Пока не постареет и ее не выгонят. Хокуда небрежно оттолкнул проститутку локтем. Везде шлюхи одинаковы: побольше сорвать с клиента. Впрочем, надо признать: в Рангуне они стоили дешевле и были еще изощреннее в любовной науке.

Тогда часто ездили в Рангун на стареньком, дребезжащем

отрядном автобусе. Пили, кутили, дебоширили. Летчики с белойбелой, помеченной красным кругом - солнцем - повязкой вокруг головы, - камикадзе, которым все позволено. Они торопились брать от жизни, ибо не сегодня завтра их фамилии мог перед строем выкликнуть командир отряда. Дожидался своего череда и Сэйтё Хокуда, запоминая повторяющуюся картину: летное поле, шеренга камикадзе с отрешенными, какими-то потусторонними лицами, командир отряда, окончив напутственную речь, берет чашечку сакэ, затем к столу по одному подходят камикадзе, выпивают последнюю чашку сакэ, возвращаются в строй. "По самолетам!" И они бегут, топоча, к самолетам "дзеро", бегут налегке, без парашютов. Зачем им парашюты? Сверкающие круги пропеллеров, рев моторов, разбег - и самолет за самолетом растворяется в бездонном небе - навсегда. А оставшиеся на аэродроме провожают их с непокрытыми головами, и каждый думает о том, когда настанет его срок упасть на палубу вражеского корабля в самолете, начиненном взрывчаткой. Или промахнуться и упасть в море, или быть подбитым зенитной артиллерией и взорваться еще в воздухе...

Камикадзе - божественный ветер! Надо жить вовсю, умереть героем за его императорское величество и остаться навеки в памяти нации. Камикадзе избранные, имеющие право свысока глядеть на остальных, военных и тем более штатских. Камикадзе так смотрят и на других смертников - флотских, сидящих в одноместной управляемой торпеде, сухопутных, ползущих с миной на шесте или на спине, затаившихся со снайперской винтовкой или прикованных к "гочкису". Камикадзе - над всеми!

Заторможенность и заикание как будто меньше. Так и должно быть. Опьянение освобождало разум и душу от привычных пут, но не делало злей. Многие пьяные в злобе, в гневе лезут драться, хватаются за палаш или маузер. Недавно некий поручик отрубил палашом руку водителю такси, русскому эмигранту, который требовал уплатить за проезд; другой офицер, кажется капитан-артиллерист, поднял стрельбу из пистолета в ресторане: не то блюдо подали. Поручик Хокуда если и позволяет себе что, так только зуботычины, женщин при этом не бьет. Он был вправе ударить сейчас проститутку, когда она сказала: его время истекло. И шторка на оконце отдернулась, заглянула хозяйка заведения: напомнила о том же. Кто-то бы схватился за палаш или маузер, а Хокуда лишь пустил струйку дыма в глаза проститутке и стал одеваться. Та не отодвинулась, не шелохнулась, но потекли слезы, размазывая тушь на реснпцах и пудру на круглых щечках.

- Как тебя зовут? - спросил Хокуда, растягивая слова.

- Митико, господин.

- Жаль расставаться с тобой, Митико. Больше я к тебе не приду.

- Почему, господин? Я сладкая...

- Все вы сладкие! - И Хокуда вывернул карманы, показывая, что они пустые.

Женщина потупилась, ничего не сказала. И в этот именно момент Хокуда подумал о возвышенном: после героической смерти его душа соединится с душами родителей, и это будет нескончаемым счастьем. А следом пришла мысль не о возвышенном, но, может быть, о главном: как случилось, что войну с Россией начали не они, хотя и готовились к ней многие годы? И он ответил себе без утайки: виноваты министры, генералы и адмиралы, стоящие .между императором и пародом. Надо, чтобы между ними не было посредников. Он, например, ощущает эту внутреннюю, напрямую связь между собой и его императорским величеством. За него рад умереть. И умрет.

В Бирме амеко их аэродром в джунглях в конце концов засекли. Массированный налет "В-29", и отряд камикадзе стерт с лица земли. Хокуда был ранен, попал в госпиталь в метрополии, после госпиталя - отпуск и новое назначение: в авиаотряд подполковника Мацуока, опять стал истребителем. Богам было угодно, чтобы он очутился в Маньчжоу-Го, вблизи от границы с Советским Союзом...

Хокуда порылся во внутреннем кармане, нашел завалявшиеся деньги. Часть бумажек отдал проститутке. Она начала было раздеваться. Он остановил ее жестом, потрепал по тугой щеке и вышел в коридор, где витали те же сырые запахи дешевых духов и вина.

На улице, грязной и слабо освещенной, Хокуда вдохнул ночной воздух, огляделся: правильно, вон правее, у фонарного столба, стоянка такси. Автомобилей, однако, нет. За городом, на севере, в сопках, погромыхивало. Гроза? А не бои ли в укрепленном районе? Скорее всего так. Подъехало такси, шофер, увидев Хокуда, газанул дальше. Хокуда усмехнулся: тоже правильно, с японским офицером, когда он пьян, да еще ночью, не стоит связываться. Пошатываясь, бережно неся сумку, где позвякивали купленные для механика бутылки, побрел по середине мостовой. Его подобрал военный грузовик, шедший прямо до аэродрома. Хокуда залез в кабину и, привалившись к спинке сиденья, задремал. А в казарме, сунув бутылки в тумбочку Иосиока, он крепко, без сновидений уснул, и в полутьме его лицо, чуть-чуть обрюзгшее, со щеточкой усиков, сливалось с желтой

наволочкой подушки.

Поутру разбудил вой сирены. Хокуда вскочил с койки, плохо соображая со сна. Вой ввинчивался в уши, сверлил в мозгу.

К чему сирена, если авиаотряда не существует? А его самолет?

Поспешно одеваясь, Хокуда услышал сорванный вскрик дежурного:

- Русские танки!

Толком вряд ли кто что знал, но Иосиока прохрипел:

- Танки идут от города к аэродрому!

- Танки? - переспросил Хокуда.

- Да, командир! Говорят, был звонок из штаба армии!

Кто звонил, кому? И есть ли вообще связь? Суетились, сталкивались, разбегались летчики и механики - с карабинами, с маузерами. Ну да, мы же теперь - пехотное подразделение. Но я еще пока летчик! Хокуда приказал механику:

- Живо к самолету! Готовь к вылету!

Иосиока кивнул и побежал. Хокуда - вслед. Утренний свет обволакивал землю, выглянул краешек солнца, - оно оттуда пришло, из Страны восходящего солнца, солнце - символ Великой Японии, а божественный микадо - потомок Аматэрасу Омиками, богини солнца. С северо-запада доносился монотонный гул. Танковые двигатели? Хокуда топал по оплетающей ноги траве, мокрой от росы, затем по бетону взлетной полосы. Ветер толкался в грудь - не грубый, не земной. Ветер богов - камикадзе. Поручик Хокуда был и остался камикадзе, и в этот миг между его императорским величеством и поручиком Хокуда никого нет, никто не мешает подданному доказать свою преданность верховному правителю.

У капонира запыхавшийся Хокуда едва перевел дух.

- "Коршун" взлетит?

- Да, командир, - ответил механик, отводя взгляд.

- Заправка, боекомплект?

- Подготовлено, командир!

Хокуда поклонился механику, надел летный шлем, влез в кабину, захлопнул над собой фонарь, - под крылом стоял Иосиока и низко-низко кланялся. Обороты пропеллера, звон мотора. "Коршун" вырулил на взлетную полосу. Разбежка - и самолет, вздрогнув, отделился от бетонных плит. Сжимая штурвал, Хокуда заложил вираж, курс - на северо-запад.

Набрал высоту. Отчетливо увидел ползущую по шоссе танковую колонну, пушки, автомашины. Развернулся для атаки. Справа и слева от самолета вспучились белые облачка разрывов. "Зенитки бьют", - подумал Хокуда. Самолет, входящий Е пике,

вдруг сильно тряхнуло, он клюнул носом. В кабине полыхнуло пламя, повалил дым. Конец? Вывести самолет из пике! Но он непослушен. Несется к земле. Если конец, то надо горящий самолет направить в гущу колонны. Напрягшись, с оскаленными зубами, Хокуда смотрел прямо перед собой и ничего не разбирал в дыму. Но чувствовал: чем ближе к земле, тем ближе к божественному микадо, между ними отныне никого нет...

Японский истребитель врезался в выступ скалы метрах в ста от шоссе. Когда мощный взрыв прокатился над сопками, а кверху взметнулись клубы огня и дыма, остатки самолета, наблюдавший это командир ближайшей тридцатьчетверки сказал механику-водителю:

- Что он - сотворил воздушное харакири?

- Подбили его, - ответил механик-водитель, вытирая чумазый лоб. Ладно, в колонну не вмазал...

25

"ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО
ДЛЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА СТАЛИНА
ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА

Американским командующим в тихоокеанском и западнотихоокеанском районах сегодня было направлено следующее послание:

"Ввиду того что 14 августа Правительство Японии приняло требование союзных правительств о капитуляции, настоящим Вы уполномочиваетесь прекратить наступательные операции против японских военных и военно-морских вооруженных сил постольку, поскольку это отвечает безопасности союзных вооруженных сил, находящихся в Вашем районе".

14 августа 1945 года".

Генерал Отодзо Ямада, главнокомандующий Квантунской армией, знал об этом решении своего правительства. Но знал он и другое: прямого распоряжения о капитуляции он не получал, и Квантунская армия станет драться и дальше. Пусть англо-американцам японские войска не сопротивляются, а Советам они будут сопротивляться! Будут!

Итак, война продолжается. Мы спускаемся с Большого Хингана. Казалось, как преодолеть этот неприступный горный хребет?

А вот преодолели. Спускаться веселей, чем подниматься. Хотя как сказать. Веселей-то веселей, но не легче. Не приведи господь, откажут тормоза. Один такой "студебеккер" с отказавшими тормозами пополз вниз, наращивая скорость. У солдат, удерживавших его на веревках, рубцами набухли вены. Еле-еле выдюжили, пока "студебеккер" не ткнулся радиатором в дерево. А

веревки были намотаны на руки, на плечи, если б машину понесло, так и не распутаться бы, не выпутаться. Машинам, пожалуй, спускаться трудней, чем людям. Но ежели б нам идти пешком, тоже бы, конечно, скользили. Помню: в детстве спускаешься с крутого бугра, а какая-то неведомая сила будто толкает тебя в спину, заряжает скоростью, не дает остановиться. А тут, на Большом Хингапе, крутизна уклонов градусов сорок пять - пятьдесят, да и побольше. Каково же сейчас пехоте, вслед за подвижными отрядами форсирующей Хинган? Тоже, наверное, не сахар - на своп-то двоих. Как там родной полк, родная дивизия? Большой и Малый Хинган форсируют и наша дивизия, и наш корпус, и наша армия, и весь Забайкальский фронт, и оба Дальневосточных фронта.

Сводки Совинформбюро, публикуемые, как в дни войны с Германией, сообщают нынче об этом. Читаем. В курсе событий. Приходится осмысливать, так сказать, на ходу. Картина вырисовывается грандиозная! На тысячи километров - ширина фронтов, на сотни - их глубина.

Итак, мы спускаемся. Пейзаж тот же, что и при подъеме: кремнистые кручи, кое-где поросшие лесом и кустарником, зияющие пропасти, бурые ручьи с жесткой, колючей травой по узким обомшелым берегам, то затянутое тучами, то в голубых окнах небо.

К этому пейзажу мы успели привыкнуть. Вообще ратный люд без задержки привыкает к местности, на которой воюет. Оттого, наверное, что знакомство это оплачивается кровью. Временами поливает дождь - к нему мы тоже притерпелись. Будет ли он и на Центральной равнине? Чем она нас встретит? Какая там погода?

Какие там бои?

Меж тем бои не кончались и на Хингане. И было не совсем понятно, кто же на нас нападал - те, кто отступил из укрепрайонов и двигался, возможно, параллельно нам, или смертники из специальных отрядов, или уже части, подброшенные с Центральной равнины?

Головная походная застава вступила в ущелье, зажатое угрожающе нависшими скалами; по дну ущелья клокотал ручей. Вода разбивалась о заостренные каменные клыки, течение закручивало пенные воронки, по ущелью тянуло брызгами и водяной пылью.

Сыро, промозгло, темно. Ташш и автомашины двигались с зажженными фарами, лучи рассекали мрак, нащупывали путь к этой мешанине из воды, камней и тьмы. В том, что шли с зажженными фарами, был известный риск: точно обозначали себя, и японцы могли бить вполне прицельно. Но иного выхода не

было: в темноте можно угодить черт знает куда. Пора бы остановиться на ночлег, однако комбриг приказал: пока есть горючее, не прекращать движения. Полковник Карзанов хмур, недовольно пощипывает ус и попрекает нас, в первую очередь - танкистов:

- Колупаемся... А у меня данные: Шестая танковая армия генерала Кравченко уже форсировала Хинган, заняла города Солунь и Ванемяо... Мы же барахтаемся в этих проклятых горах!

Колупаемся и барахтаемся - сильно сказано. И не совсем справедливо: наш отряд продвигается в темпе и люди все силы кладут на это. Другой разговор, что война подбрасывает сюрпризы, не весьма приятные. Вот последний: к отряду направлялись под охраной бронетранспортера два бензовоза, и надо же было так случиться, что один из них сорвался в пропасть, второй наскочил на заложенную диверсантами мину, в итоге бригада осталась без горючего. Стояли, дожидались, когда самолеты доставят его в железных бочках. А часики меж тем тикали, наматывая на стрелки бесценное время...

- Колупаемся, колупаемся... А я не привык отставать, я привык быть в числе первых! И не будь я полковник Карзанов, если не наверстаем упущенное! Требую, вперед и вперед!

Такое настроение - вперед и вперед! - и у всех нас. Не сомневайтесь, товарищ полковник, мы делаем все, чтобы не потерять темпа. Иногда, правда, это зависит и от противной стороны, от японцев. В этом самом ущелье они опять обстреляли отряд. Когда танки втянулись в гранитную горловину и вошли в воду, с высоток ударили пулеметы, мало того - ударили пушки (возможно, из разбитого в укрепрайоне горноартиллерийского полка?). Пули зацокали по броне, снаряды разрывались в ручье, на берегу, обдавая водяными и каменными брызгами. Было срочно передано приказание комбрига: погасить фары. Выполнили.

По вспышкам выстрелов можно определить, где находится противник. Танки и самоходки стреляют с ходу либо с коротких остановок. Грохот выстрелов и разрывов, рев моторов, лязг гусениц,- гул бурного потока. Сидя на броне, мы намертво вцепились в скобы, при каждом выстреле танковой пушки едва не сбрасываемые отдачей. Спрыгнуть в воду? Да тебя тут же свалит с ног, унесет потоком, припечатает к камню - и поминай как звали. А то и захлебнешься.

Наконец выбрались из ручья, траки заскрежетали о береговые камни. Танки то упирались в валуны, то проваливались в ямы - из десантников вытряхивало душу. Даже мутило. И я подумал: каково же Шарафу Рахматуллаеву, которого укачивает больше

других? Показалось: сквозь гром, лязг и рев я услышал, как жалобно, по-щенячьи постанывает узбек, борясь с дурнотой.

Не свалился бы кто, не дай бог, с танка, тогда стоном не отделаешься. Я впивался руками в скобу, у меня немели пальцы, ныло избиваемое о металл тело, к горлу подступала тошнота, и хотелось одного - скорей соскочить с танка. Не в воду, разумеется, а на твердь. А танки прибавляли газу, и мотало сильней и сильней.

Комбриг не стал выкуривать японцев, не ввязался в засасывающий, как болото, бой. Подавив несколько пушек и пулеметов, отряд прорвался через ущелье, а японцев добьют стрелковые части, идущие вдогон за нами. Наша же задача - вперед. Покуда горючее в баках - вперед, вперед!

Я был не прав: мы спускались, и пейзаж менялся. На восточных склонах хребта спуски еще круче, скалы еще неприступнее, больше речек, у подножия уходящих в небо вершин - ясеневые леса, в распадках лиственничные. Трава высокая, пышная, на полянах - пестрые цветы. На привале я бы мог набрать букетик.

Но кому дарить? Некому. Не подаришь же Феде Трушину или какому-нибудь другому симпатичному мужику. А когда-то я дарил цветы женщинам: Эрне речные лилии - в Германии, Нине, попутчице, саранки - в эшелоне, шедшем по Сибири. Да и не для войны цветы. Они для мирной, тпхой, ласковой жизни. А ведь саранки - это те же лилии, только таежные.

Саранками был усеян и каменистый карниз слева от тропы. То ли Вадик Нестеров засмотрелся на красивые цветы, то ли просто потерял бдительность, только он оступился и заскользил на подошвах, как на коньках, вниз. Мы от ужаса онемели. У края карниза Нестеров ухватился за куст и повис над бездной. Я потерял способность действовать, окаменел, прижав скрещенные руки к груди. Но не растерялся сержант Черкасов. Он крикнул:

- Погосян! Рахматуллаев! Страхуйте меня!

Тут-то и я опомнился. Погосян, Рахматуллаев и я удерживали Славу Черкасова за ноги, а он подполз к карнизу и вытащил Нестерова. А если б и у нас, троих, подошвы заскользили? Бр-р, думать не хочется! Помимо всего прочего, есть и что-то обидное в такой смерти, когда на войне гибнешь не от пули или осколка, а от несчастного случая. Более бледный, чем сам Нестеров, я хотел выговорить ему, отругать, но лишь махнул рукой. Что тут говорить?..

Мы продолжали спускаться с Большого Хингана, не теряя темпа, а кое-где даже увеличивая его. Продвигаемся, воюя. Воюем, продвигаясь.

Брезжило утро, когда мои бойцы были посланы в разведку.

С гребня высоты мы увидели внизу горбатый каменный, облепленный серо-зеленым лишайником мост. Мост, да еще каменный, - такое на Хингане в редкость. Значит, близка цивилизация, хотя бы и относительная, значит, вскоре пойдут и приличные дороги? Мы наблюдали, затаившись в мокрых и скользких кустах багульника. Сизый туман наползал из ущелья на мост, скрадывал его очертания. Меня окликнул сержант Черкасов:

- Товарищ лейтенант!

- Чего тебе, Слава?

- На мосту движение.

Я пригляделся: да, в тумане мелькают какие-то тени. Подал знак: подползти поближе. Подползли. Туман маленько рассеялся, и мы углядели: у моста люди в военной робе, двое из них держат в вытянутых руках зеленоватые пакеты.

- Тол! - прошептал я сам себе и заметил: за мостом, в лозняке, еще с десяток диверсантов - кто в халатах, кто в плащах.

Я сказал сержанту Черкасову:

- Слава! Бери отделение, обтекай мост - кустиками, во-он там заляжешь. Я открою огонь по диверсантам, а как дам зеленую ракету, - атакуй со своими солдатами. Задача ясна?

- Так точно, товарищ лейтенант!

- Выполняй.

С гребня вижу, как ползут по кустарнику бойцы Черкасова.

Осторожно, но решительно. Так и надо. Как только они обходят диверсантов и залегают за камнями, я командую:

- Огонь!

Срезали четырех японцев. Уцелевшие скатываются за валуны; оттуда слышна беспорядочная пальба. Выстреливаю из ракетницы. И сразу там - "ура", стрельба из автоматов и взрывы гранат.

Это солдаты Черкасова атакуют японцев с тыла. Те в растерянности: роняют оружие, тянут руки кверху. Но из-под моста продолжают отстреливаться. Сержант Черкасов швыряет туда парочку гранат.

Когда пленные начинают строиться на дороге, один из них ныряет в кусты, в каменные россыпи. Логачеев и Кулагин бросаются вслед, догоняют, заламывают руки, приводят обратно.

- Кто у вас командир? - спрашиваю у пленных по разговорнику.

- Вот он.

- Он, он.

И пленные показывают на пытавшегося бежать. Приглядываюсь к рослому, плечистому человеку в халате, но с

угадываемой выправкой военного. Не секрет: японские диверсанты действуют подчас под личиной гражданских лиц. И тут половина диверсионной группы в военной форме, половина - в цивильной одежке.

А мост спасен, он нам пригодится!

Спуск-то спуск, но встает перед нами вершина, которую не обойдешь, надо подниматься на нее. Все круче подъем, надрываясь, ревут машины. Когда не хватает сил у моторов, изнемогающие от усталости солдаты втаскивают автомобили и пушки почти что на руках. Серые, землистые лица, провалившиеся глаза, вздувшиеся от напряжения жилы. Падают, встают, снова толкают.

И, как-то по-особому взбадривая, разносится среди скал Большого Хиигана знакомое, русское:

- Раз-два, взяли! Еще раз, взяди!

А с вершины - вниз, в общем-то мы спускаемся. Все круче спуск, и солдаты намертво вцепляются в веревки, удерживающие машины и пушки. Грунт расквашен, подошвы разъезжаются.

И здесь-то подстерегала беда: на резком, градусов в шестьдесят, спуске солдаты покатились, как по льду, - пробовали удержать полуторку, однако она скользила, беспомощно скользили за ней и солдаты. Удержать машину они не могли, но и отпустить веревки не решались. Честно: я подрастерялся. Нашелся, спасибо ему, сержант Симоиенко. Он закричал, чтоб все бросили свои концы. В такие минуты чья-то обнаруживающаяся ко времени воля действует! Солдаты отпустили веревки.

26

Дожди донимают: то пресекутся, то польют с еще большей прытью, словно наверстывая упущенное. Грунт размок, на сапогах грязевые наросты, шинели, гимнастерки, пилотки промокли насквозь, в сапогах и ботинках хлюпает, все, что в вещмешке, отсырело, спички не зажжешь, махорка не загорается. А без цигарки жизнь не в жизнь. Цигарочка завсегда согреет душу и успокоит!

Поделить пополам или перемешать монгольскую жаркую сушь и маньчжурскую мокрядь - получилось бы в самый раз. А тут крайности. Даже погода на войне состоит из крайностей, как и сама война, впрочем. Но ничто, как говорится, не вечно под луной. Прекратятся когда-нибудь и дожди. И настанет расчудесная погодка - когда кончится война. На Западе война закончилась весной, при цветении. На Востоке лучшая пора - сентябрь, золотая осень. Управиться бы до сентября!

Прорывая дождевую завесу, вгрызаясь в горную теснину, подвшт-шой отряд преодолевал километр за километром, как

будто делал шаг за шагом, и впереди у нас был первый город на западных склонах Большого Хингана. Какие там силы у противника, какие укрепления, будет ли он обороняться и как? Не хотелось бы лишней крови - ни своей, ни японской.

Но кровь лилась. У одного из спусков, словно раздвинувшего горы и образовавшего каменистую долину, нас атаковали танки.

Сперва показалось, что гудят советские машины, это какая-то часть опередила нас. Будто у японцев не было танков. Были. Хотя мало (по сравнению с нами) и невысокого качества. Но в трусости японских танкистов не упрекнешь. Скорей можно упрекнуть в безрассудстве. Видимость была из рук вон плохая. Дымящаяся дождевая стена, в пяти шагах ничего не разберешь. Где-то там, в утробе дождя, рождался рев двигателей, лязгали гусеницы. Японские танки ударили из засады - стреляли наугад, а затем ринулись на нашу колонну. У меня мелькнуло: "В горах и так тесно, нашим танкам не развернуться, а тут еще японские..." Мы, пехота, залегли за камнями. Ожидали, что за танками пойдет японская пехота, ее надо будет отсекать огнем. Однако вражеской пехоты не было. "БТ" развернулись в боевые порядки, благо долинка позволяла. И японские танки начали разворачиваться, стреляя с ходу и с коротких остановок. Завязалась дуэль. По японцам били танки, самоходки, орудия ПТО [Противотанковая оборона.]. Японцы огрызались. Но перевес в огневых средствах был внушительным, и закамуфлированные японские танки вспыхивали один за другим. Некоторые и подожженными двигались какое-то время, некоторые останавливались, накрываясь шапкой огня и дыма. Визг снарядов, грохот разрывов, в воздухе комья земли и куски камня.

Двум-трем японским танкам удалось приблизиться к нашему танковому строю, и я стал свидетелем танкового тарана. Один "БТ" столкнулся с японцем лоб в лоб и опрокинул его, подмял под себя. Другой врезался японцу в бок, словно пропорол. Дикий скрежет, как будто заиграли несколько реактивных "катюш", - железом по железу. Третий танк, над башней которого развевался самурайский флаг. - да, их было три - от тарана в последний момент увернулся, ушел вправо, поближе к стрелковой цепи, и кто-то в плащ-палатке и с каской на поясе метнул ему под днище противотанковую гранату. Взрыв! Я лежал за осклизлым, в лишайнике, камнем, следил за таранами и представлял, каково танкистам в этих сшибающихся железных коробках. Разглядел номер на танке, врезавшем японцу в бок. Сто двадцать седьмой! Лейтенант Макухин! Здорово он рубанул...

После боя я подошел к сто двадцать седьмому. Над башней приподнялся лейтенант Макухин. Обнаружил мое присутствие,

подмигнул:

- Лейтенант Петя? Здравия желаю!

- Здравия желаю, лейтенант Витя! Зрел, как ты таранил самурая...

- А что оставалось? Прет, как ненормальный... Но против нашей брони японская слаба!

- Ты его смял, ровно конфетную коробочку!

- Ну, конфетная, ты уж скажешь... Но долбанули мы нормально...

Будни войны, включающие в себя и танковые тараны. Будни войны с чадящими танками, с запахами горелой резины и человеческого мяса. Скорей бы закончить войну и чтоб ее никогда больше не было на земном шаре! До того благословенного часа, когда наступит мир, не так уж, чует сердце, далеко...

Этой Победы жаждет не один наш народ - все человечество.

Что будет в освобожденных нами странах, в том числе в Китае?

В Японии? Что будет в других государствах Юго-Восточной Азии?

Нам, проливающим кровь за освобождение, не безразлично, какие порядки установятся после войны. Главное, чтоб бедноту не оттерли, чтоб к власти не пробрались богатеи. Это значит: пусть будет не капитализм, а социализм, справедливейшее общество.

Но, конечно, сами народы выберут себе путь развития. Навязывать никому и ничего не будем. Разберутся. Опыт Советской страны будет у них перед глазами.

Ну, а пока будни войны - преодоление Большого Хинганского хребта, точнее, спуск с него. И бои с японцами. В танковой схватке были взяты в плен несколько раненых танкистов. На допросе у полковника Карзанова они показали (охотно, без принуждения): город обороняется весьма боеспособными японскими войсками - пехота, артиллерия, саперы, смертники; японцам оперативно подчиняется кавалерийская дивизия Маньчжоу-Го; правда, как свидетельствовали пленные, маньчжурские части ненадежны и могут сдаться в плен, если удары русских будут сильны. Кто же сомневается в силе наших ударов? Что маньчжуры готовы сдаться в плен, принимаем к сведению. А вот будут ли сдаваться японцы? Тоже, вероятно, зависит от наших атак.

Кончать надо войну! И будет жизнь без войн? Даже не верится. Ведь на моей памяти всегда где-то на планете воевали. А надо бы жить в мире. Когда человечество дозреет до понимания этой простой истины? Лейтенант Глушков дозрел? Видимо. Коль поучает человечество...

А оборону перед городом нам предстоит прорывать. Как показали пленные танкисты, город опоясан траншеями, дзотами и дотами, противотанковым рвом, надолбами из камней, минными полями, проволочными заграждениями. Все на господствующих высотах. Разумеется, это не Халун-Аршанский укрепленный район, где, говорят, под землей бетонные казематы, форты, склады, даже своя электростанция - целый подземный гарнизон. Но и тут, видать, орешек крепкий. Придется разгрызать его, не жалея зубов.

Ничего, когда-то разгрызли орешек, называвшийся городом-крепостью Кенигсберг. Неужели и японцам не хочется сохранить свою жизнь? Речь-то идет о финале...

Полковник Карзанов нервничал, и я его понимал: ждать, когда подойдут стрелковый полк и дивизион "катюш", - может, они на подходе, а может, еще далеко, - или вступать в бой за город самому, без чьей бы то ни было поддержки? Отчего бы и не самому, если подвижной передовой отряд - мощная единица? Начать бой, а там, глядишь, подойдут гвардейские минометы и стрелковый полк. И все-таки семь раз отмерь, прежде чем один раз отрезать. И полковник то склонялся над картой, упрятанной адъютантом под плащ-палатку, как под крышу, то, щипля ус, выслушивал донесения разведчиков, то наблюдал в бинокль с НП, - за сеткой дождя что разглядишь, и комбриг тихонько, но выразительно матерился.

С наблюдательного пункта смутно угадывалась котловина, в которой лежал город, и сопки вокруг него. На склонах сопок груды камней, какие-то юрты, полоска выжженной солнцем лебеды.

Но нам-то известно от разведчиков: юрты - это толстенные железобетонные доты и дзоты, из черных амбразур высовываются стволы орудий и пулеметов, а рыжая полоска - это не лебеда, это проволочные заграждения. Груды камней препятствия для танков и самоходок.

- А за камнями, как докладывает разведка, противотанковый ров, управляемое минное поле, - говорит комбриг и, выматерившись, добавляет: Разведка докладывает также: в промежутках между дотами и дзотами траншеи полного профиля и ходы сообщения...

- Единая система обороны, товарпщ полковник, - говорит наш комбат.

- Хорош узелок, капитан?

- Мы на Западе, товарищ полковник, и не такие развязывали!

- Добре ответил! Этот узелок будем вместе развязывать: моя бригада и твой батальон...

- Так точно, товарищ полковник! Пехота не подкачает...

Я думаю: комбат уверен, не подкачаем. Не можем подкачать. Не имеем права.

Федя Трушин вразумил меня, естественно:

- Это хоть и не укрепрайоп, но оборона сильная... А всего в Маньчжурии японцы построили семнадцать укрепрайонов...

(Это я знал.)

- Ни средств, ни времени не жалели. Ни люден.

(Об этом я догадывался.)

- Строили между тем не сами японцы, а китайцы и монголы, которых после завершения строительства японское командование расстреляло. Чтоб сохранить военную тайну...

(Этого я не знал.)

- Проведу беседу в батальоне. Перед наступлением полезно. Пусть личный состав знает страшную правду о японских укрепрайонах. И мстит! Поскольку, если враг не сдается, его уничтожают! Так ведь, ротный?

- Точно так!

- Дополнение, ротный... Японцы, что перед памп, будут, очевидно, драться зло. Почему? Пленные показывают, что гарнизон рассчитывает на подкрепления...

- Реальные?

- Будто бы главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада лично обещал...

- Допускаю.

- А вообще-то командование Кваптунской армии старательно скрывает от солдат и младших офицеров истинное положение на фронтах и в стране, пленные это подтверждают. Кваитунская армия активно нам сопротивляется...

- Что ж, и мы будем активны!

- Идейно рассуждаешь, Петро!

(Это выражение - "Идейно рассуждаешь" - в большом ходу у замполита, парторгов, комсоргов да и во всем батальоне.)

Но беседа о японских зверствах при возведении укрепрайонов не состоялась. Потому что началось наступление. Дождь хлещет, как и утром, тепловато-мутный, размывающий очертания предметов. Рябятся лужи. Никпут стебли ковыля. От мокрых шинелей, плащ-палаток и гимнастерок идет пар, разгоряченные лица мокры от дождя и пота. Люди тяжко дышат. Они бегут, подстегнутые криком Трушина: "Коммунисты, комсомольцы, вперед!" Неугомонный замполит, сам поднял в атаку, не утерпела комиссарская душа. Но пашей артподготовкой не были подавлены многие огневые точки противника, и теперь по роте ударило несколько пулеметов. Цепи автоматчиков скатились с вершины к

кустарнику, где был я.

- Вперед, по-пластунскп! - приказал я, и солдаты кто пополз, а кто и побежал по ковылю, по лужам, по грязи. К дотам. Я было за ними, однако гляжу: ординарец Драчев не встает, лежит в кустиках. Я к нему: - Ранен?

Мнется, бубнит:

- Никак нет...

- А чего ж разлегся?

- Так ить стреляет-то как? Головы не поднять...

- А другие?

- Неохота помирать под конец войны, - бурчит Драчев, поднимаясь.

- А другим охота?

- Насчет других не ручаюсь, а свою башку обязан поберечь, товарищ лейтенант...

- Трусишь?

- Осторожность проявляю...

Пока я мило беседую с ординарцем, цепь продвигается. И внезапный гнев, как удушье, охватывает меня. Вцепляюсь в ворот драчевской гимнастерки - аж пуговицы сыплются - и ору, выкатывая белки:

- Твою... так... За чужие спины прячешься? Своего командира бросаешь?!

Вид у меня, наверное, выразительный: Драчев, втянув голову, догонят цепь. Ах ты, сукин сын, решил поберечься! Жить ему хочется. Как будто остальным не хочется. Ну, погоди, после боя поговорю с тобой, бывший ординарец Драчев!

Из амбразур вырываются бледные вспышки: стреляют пушки и пулеметы, и среди наступающих вздымаются ярко-огненные разрывы, просвистывают очереди. Люди падают, приникают к земле, настороженно ждут следующего разрыва или очереди. Огонь плотный - попробуй подними голову. Выходит, Драчев прав? Нет и нет! Трусить и осторожничать нельзя, иначе не видать победы.

Каким бы ни был огонь, надо продвигаться. И кто-то должен показать пример. Командир должен.

- За мной! - кричу и, обдирая локти и коленки, ползу к вершине.

Боковым зрением вижу: рядом ползут парторг Симоненко, сержант Черкасов, Толя Кулагин. Значит, ползут и остальные.

Ползет ли Драчев? Если что, отдам под суд военного трибунала.

Осматриваюсь: перед дотами траншеи, противотанковый ров и, видимо, минное поле - вон подозрительные бугорки. Да и сами

доты и дзоты не в линию расположены, оборона глубоко эшелонирована. Кричу:

- Рота, слушай мою команду! Броском к тем камням - за мной!

Низко пригибаясь, бежим к ближайшей груде камней и падаем с разбега, залегаем за ней. Пули цокают о камни, высекают искры, откалывают кусочки, отскакивают рикошетом. Артиллерийские разрывы возле камней - то здесь, то там. Через залегшую роту со свистом пролетают наши снаряды, рвутся на вражеских позициях. Перед моим лицом качается на ветру полевой цветок у камня, обрызганный каплями дождя. Разрыв снаряда. Осколок отсекает головку цветка. Покачивается уже не от ветра, а от удара обезглавленный стебель. Щадить себя в бою не положено, тут уж отдайся на волю случая. Семи смертям не бывать, а одной не миновать? Как бы там ни было, лучше умирать храбрецом, чем трусом. Трус умирает сто раз, а герой - один? Именно так! А еще лучше остаться в живых, но чтобы совесть была чиста...

Вижу: выкатив пушку на прямую наводку, наши артиллеристы бьют по доту, однако вражеский снаряд накрывает пушку. Сержант Черкасов с противотанковой гранатой подползает к амбразуре, швыряет гранату. Взрыв. Пелена дыма закрывает дот. Умолкает хлеставший оттуда пулемет. Мои бойцы поднимаются и броском преодолевают пространство перед дотом. Спрыгивают в траншею. Я не отстаю от них, тоже спрыгиваю, больно стукнувшись подбородком о стенку.

В рукопашной каждый сам себе хозяин, и ротному тут командовать трудно. Тут дерись как солдат. Я бегу по траншее. На пулеметной площадке лежащий ничком японец-пулеметчик. Посчитав его мертвецом, бегу дальше. И вдруг что-то (инстинкт или фронтовой опыт) заставляет меня почувствовать опасность. Оборачиваюсь: самурай, притворявшийся мертвым, поворачивает пулемет, приникает к прицелу. Я вскидываю автомат. Очередь - и пулеметчик теперь в самом деле мертв.

На сержанта Черкасова нападают два японца - оскаленные зубы, словно в какой-то улыбке, на одном из них сверкают очки.

Сержант отбивается прикладом автомата, они норовят ударить его тесаками карабинов. Я бросаюсь на помощь Черкасову, но меня опережает выскочивший из-за моей спины Мишка Драчев:

бьет затыльником автомата очкастого в висок, роняя очки, тот надает; второй японец убегает, Драчев дает вдогонку очередь, и он тоже падает. Бледный, в испарине, Черкасов отдувается:

- Фу... Спасибо, Миша! Загнали меня в угол эти двое. Думал,

крышка. Патроны в магазине кончились, а они, стервецы, с тесаками...

- А, что за благодарности! Это фронтовая азбука, ты помог мне, я тебе, - говорит Драчев и смотрит на меня: дескать, товарищ лейтенант, оцените мой поступок. Оценю. Нормально действовал. Как положено. А хвалить не буду. Стружку же после боя сниму - за трусость.

Командую:

- Вперед, ребята!

Но вперед не очень-то пробьешься: подкрепления японцам прибывают, в траншее и ходе сообщения тесно, не разберешь толком, кто где, и поэтому траншейный бой хаотичен, неуправляем, распадается на отдельные стычки. Из захваченной траншеи батальон не выбит, однако и дальше нас не пропустили. Не продвинулись за траншею и "БТ": один танк подбили, второй подорвался на мине; остальные ушли в укрытие. Кажется, впервые наши дела идут не как по писаному. Впервые японцы столь яростно сопротивляются!

Опять сильная артиллерийско-минометная перестрелка. Ведут огонь и крупнокалиберные пулеметы. Накоротке раздергало тучи, в небе - японские бомбардировщики: сбрасывают на наши позиции бомбы, обстреливают из пулеметов. Ухают взрывы, фукают осколки, посвистывают пули. Почему-то мерещится: очереди с воздуха опаснее очередей из "гочкисов", хотя все пули равно опасны. А где же краснозвездные "ястребки"? Их нет как нет.

Нелетная погода? Но японские же бомбардировщики прилетели.

Впрочем, "ястребки" появляются, когда японские самолеты, отбомбившись и отстрелявшись, ушли. Где же вы были раньше, золотые? Они кружатся над нами, ободряюще покачивают крыльями - так сказать, моральная поддержка - и растворяются в облаках.

А японская артиллерия еще больше уплотняет огонь. Траншея кое-где порушена прямым попаданием бомб, снарядов и мин. Курятся дымом свежие воронки. Японская контратака! Цепь за цепью идут самураи. До траншеи не доходят: наш огонь заставляет их залечь. Они залегают на равнине - за каменьями, за бугорками, за телами своих павших товарищей, ведут сильнейший, какой-то шалый огонь; кое-где перебежками пытаются приблизиться. Не прекращается гром артиллерийско-минометной стрельбы.

Мы с Драчевым за пирамидой из камня замечаем ползущего к нам японца.

- Товарищ лейтенант, самурай! - визжит ординарец и снизу вверх, по-собачьи, заглядывает мне в глаза.

- Не ори. Вижу.

Ползет от дзота. В амбразуре бледноватые вспышки стрельбы, очереди проносятся над ползущим, он прижимается к камням.

Стреляют как будто не по нему, а вообще в нашу сторону. Что он замышляет? Смертник? Бамбукового шеста с миной нет, мины нет и на спине. Похоже, он безоружен. Что же ему нужно? Лежит, сторожа паузы в пулеметной стрельбе. Вскакивает, стремглав бежит. Очередь - он на земле. Убит? Ранен? Но снова пауза в пулеметном треске, и японец вновь вскакивает, бежит, и вот он уже за каменной пирамидой.

- Стой! Руки вверх! - визжит Драчев, как будто японец понимает по-русски. Но тот, оказывается, кумекает в русском.

- Моя Моримура... Моя ходи... уходи...

Он подбегает к нам, плюхается наземь за пирамиду. Смугловатый, раскосый, желтозубый, с усиками - японец как японец. Порывается встать, я знаком показываю: лежи, мол, лежи. Он лопочет:

- Моя Моримура... Моя плен ходи... Война плохо...

- Ты не части, - веско рекомендует Драчев, но промокший до нитки, сотрясаемый дрожью японец его не понимает.

Зато я понимаю: перебежчик. Спрашиваю: откуда знает русский? Отвечает: когда-то жил на Сахалине. Что с ним делать?

Отсылаю его с Драчевым на КП к комбату. Вскоре Драчев возвращается, подсюсюкивая, докладывает: так и так, товарищ лейтенант, ваше задание выполнил, пленный доставлен к товарищу капитану, тот допросил его прямо при мне, Моримура готов указать на проходы в минном поле и надежный путь, чтоб обойти дот с тыла; какие будут новые задания, товарищ лейтенант?

- Новых заданий покамест нет, - говорю я. Хотя Драчев мне неприятен, новости он сообщил обнадеживающие. Только бы не обманул этот Моримура.

А Драчев не унимается:

- Товарищ лейтенант, промежду прочим, данного Моримуру на КП сразу же накормили, голоден, как собака. Разулыбался, наворачивает, аж за ушами трещит!

- Сам ты трещишь, - говорю грубовато, и Драчев умолкает, пытаясь все-таки заглянуть мне в глаза.

Может быть, полковник Карзанов поторопился с наступлением, недооценил противника? Может быть. Но задача была и есть - - быстрей и быстрей, вперед и вперед. К счастью, в разгар наших неудачных атак подошли гвардейские минометы и

стрелковый полк, стало веселее.

Проливной дождь. Артиллерийский и минометный обстрел.

Пригнувшись, хлюпая по лужам, Моримура ведет нас по низинке, в проходах в минном поле, в обход дотов. Все напряжены, не спускают глаз с проводника. Не обманет? Не заведет в западню? Моримура шаркает, и мы невольно шаркаем. Я держу палец на спусковом крючке. Ежели что - стегану очередью, перья полетят. Но почему-то верится: японец искренне хочет нам помочь. От Трушина я успел узнать, что Моримура не выдержал издевательств офицеров, в кровь избивавших солдат.

Наконец наша группа в тылу двух головных дотов. Атакуем их: забрасываем гранатами, дымовыми шашками; выскочивших из дотов японцев срезают пулеметные очереди, поднявших руки - в плен. Моримура стоит рядом, не отворачиваясь, глядит на мертвых японцев и на живых - на тех, кто поднял руки.

27

Разговор с Драчевым получился неожиданно тяжелым. Для меня, во всяком случае.

- Как же это ты, Драчев? Струсил, выходит?

- Состорожничал я, товарищ лейтенант...

- Струсил!

- Ну, пускай струсил. Вам видней...

- И не стыдно?

- Стыдно малость...

- Малость?

- А что? За всю фронтовую жисть я всего-то раз и состорожничал. А допрежь как воевал? Кто хулить возьмется?

Хулить не за что, воевал нормально, хотя геройского не совершал. А сейчас, под конец войны, надумал отсиживаться в атаке.

Не осторожность это - трусость. И сразу перечеркнул свое боевое прошлое. В моих глазах по крайней мере. Я максималист, сразу возвожу в степень? Подумаешь, отстал в атаке, подзадержался. Нет, не подзадержался отсиживался в кустах, хоронился за спины товарищей. И как же тягостно винить кого-то в чем-то!

Это беда, что я не научился быть максималистом прежде всего по отношению к себе. Других судить легче. Да нет, нелегко мне обвинять Мишку Драчева в трусости. И нелегко гнать его из ординарцев - будто унижаю и себя одновременно. Но меры-то принимать надо. Но тут Мишка вдруг заплакал натуральными, с горошину, слезами:

- Товарищ лейтенант! В Монголии, на занятиях, я взаправду сачковал. А вот в Маньчжурии не трусил, ей-бо! Не прогоняйте от

себя!

И я подумал: прав ли я? И стало муторно. А еще муторнее от того, что сказал:

- Драчев, ты струсил. Оправдаешься в боях. А такой ординарец мне не нужен...

Мпшка отвернулся, плечи у него вздрагивали. Не переношу детских и женских слез. Мужских - тоже. Но я прав...

Драчев сачканул в бою, а старший сержант Базыков Геннадий, артиллерист, вновь отличился. Из фронтовой газеты я узнал, что расчет Базыкова, выкатив пушку на прямую паводку, подавил дот и два дзота, расчистил путь пехоте. Значит, где-то достойно воюет наша Оршанская дивизия! А Базыков Геннадий орел:

указ о присвоении звания Героя Советского Союза за штурм Кеингсберга настиг пушкаря в Монголии, а где настигнет награда за подвиги в Маньчжурии? И что интересно: как должен воевать человек, который официально носит звание Героя? Заднего хода тут не дашь - только геройски. Базыков Геннадий так и воюет.

Держа в руках газету, вчитываясь в корреспонденцию с фамилией старшего сержанта Базыкова, я словно побывал в родной дивизии. Потянуло туда - не передать. Все ж таки оторвались мы от своих, танковая бригада - славный народ, но однополчане, с коими сроднился еще на Западе, незаменимы. Когда увидимся?

Наверное, будет что рассказать друг другу. Хорошо, когда рассказываешь о хорошем. О плохом, вроде эпизода с Драчевым, распространяться не резон. Будто, рассказывая о чем-то недостойном, и сам мараешься. Пусть и невольно. А упомянутый Драчев тем не менее не сложил с себя высоких полномочий. К вечеру, перед ужином, оп крадучись приблизился ко мне:

- Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?

- Чего тебе?

- Разрешите испросить: кому передавать ваш котелок и прочий инвентарь?

Вопрос застал меня врасплох: я еще не искал преемника Драчеву, - надо, чтоб был заботливый, с хозяйственной сметкой, к тому же не каждый пойдет на обслуживающую должность.

Тут следует осмотреться, а после уж выбрать. Я сказал:

- Покуда некому. Давай котелок мне...

- Ни в коем разе! - твердо выговорил Драчев. - Без догляда вы пропадете. Будете на голодный желудок, алп пища будет холодной... Пока я буду обихаживать, а там, глядишь, найдете кандидатуру.

Я поразился - то ли преданность, то ли нахальство - и вдруг

махнул рукой: валяй обихаживай, а там точно кого-нибудь подберу. Драчев с мрачным достоинством молвил:

- Чай брать покрепче, товарищ лейтенант?

- Покрепче, - ответил я и сконфуженный, отвернулся. Что сказать по этому поводу? Лучше недоговорить, чем переговорить.

Сконфузился - и все.

Хочу верить в людей, в их светлые души. Верю, что легче совершить добрый поступок, нежели дурной. Хотя бывает и наоборот, видимо.

Город, как здесь принято, обнесен глинобитной стеной. Мы вошли через деревянные, топорно сколоченные ворота. Деревянные домики-бараки впритык друг к другу, теснота, скученность, на незамещенных улицах пыль и лужи, стоки нечистот; в воздухе густая вонь; зеленые жирные мухи роятся над бесчисленными харчевнями, садятся на еду. Даже на беглый взгляд: город живет и прежней жизнью, и новой, вызванной нашим приходом. Пока мы занимали здания комендатуры, полиции, почты, радиостанции, город затаился, будто выжидая. А когда танки остановились на перекрестках, когда по улицам прогнали колонну пленных японцев, горожане высыпали наружу, забурлили. Откуда ни возьмись - запестрели китайские фонарики, флажки, бумажки с русскими буквами и с иероглифами, нетрудно догадаться: нас приветствовали. И кричали приветственно по-китайски и по-русски, коверкая слова до неузнаваемости, И совали кто помидор, кто земляной орех, кто пучок травы. Одеты в матерчатые рваные или в бумажные (буквально из бумаги) куртки и штаны, которые расползаются под дождем, на головах шляпы из рисовой соломы.

Бедные и голодные, а нас угощали! Дороже угощений для нас их улыбки, смех, песни. На городской площади - митинг: китайские ораторы выкрикивают приветствия и ставят торчком большой палец.

С ответным словом выступил замполит Трушин. Выбрасывая перед собой руку, как бы подчеркивая фразы, он говорил: советские воины благодарят за теплый прием, мы пришли сюда не как захватчики, а как освободители китайского народа от японского ига, да здравствует наша вечная и нерушимая дружба. За ним повторял толмач, узкогрудый, чахоточный китаец, и по его неуверенности нетрудно было определить: переводит весьма приблизительно. Да главное, чтоб смысл дошел. А смысл доходил, потому что сгрудившиеся вокруг дощатого помоста тысячи людей радостно улыбались, хлопали в ладоши, кричали: "Шапго!" А в адрес японцев - "Пушанго!" [Плохо (кит.)]

Множество бездомных, нищих - и взрослых и детей, - и

полевые кухни, как бывало на Западе, начали раздавать горячую еду кому во что - в миску, чашку, консервную банку; хвост к кухням вытянулся на два-три квартала: усатый повар-хохол в белых нарукавниках взмахивал черпаком и балагурил:

- А ну налетай на украинский борщ! А ну, кому борща, граждане китайцы? - и мне подмигнул по-свойски.

Я вглядывался в исхудалых, изможденных, больных людей и поражался: кости да кожа, как будто из концлагеря, а что, они и впрямь освобождены из огромного концентрационного лагеря, в который японцы преврати;]и Китай. А хвостатые очереди к походным кухням росли и росли...

В городе мы подзадержались: горючее кончилось, рассчитывали на местные склады - японны взорвали емкости, рассчитывали на подвоз автобатом бензовозы запаздывали. Остатки горючего слили в баки нескольких танков и автомашин, они выдвинулись за город, оседлали шоссе на Вапемяо. а мы заняли позиции за городом и в городе. Пауза - можно накоротке пройтись по городу, тем более что попутно можно выловить еще не сдавшихся японцев. Точнее было бы сказать наоборот: выловить японцев и попутно осмотреть город.

В самом городе ничего примечательного, кроме бедности: запущенный, ветхий. Хотя в центре дома каменные, добротные, Б садах, здесь живут богачи - торговцы, лавочники, ресторанщпки, мелкие фабриканты, чиновники. И публика одета получше, понарядней, и упитанных, а то и жирных - в достатке. Даже крыши цинковые, даже тротуары асфальтовые, даже мостовые булыжные! Другое дело, что с крыш краска облезла, асфальт разбит, а булыжники выворочены.

Забрели на рынок, окруженный харчевнями, похоронными магазинами и бардаками. Словно в соединении этих трех начал был некий городской символ. На рынке толчея, все продают всё, .межпокупателями и продавцами шныряют чумазые, диковатые беспризорники: если что плохо лежит - не посетуй: стибрят с прилавка, залезут в сумку, в карман. Пара полицейских - в мундирчиках, но в тапочках, одежонка линялая, в заплатах - бдит: едва пацан схватил с прилавка лепешку, как полицейские под общий гвалт, сверкая стертыми подошвами, кинулись за ним, нагнали, скрутили руки, повели. Полиция, существовавшая при японцах, действует и сейчас: какой-никакой порядок надо поддерживать, воровать не резон, хотя, понимаю, есть хочется. Но уж лучше встать в очередь к нашей полевой кухне. Со временем полицию, наверное, как-то реорганизуют, под стать новым порядкам. Вряд ли останется так, как было при японцах.

Из харчевен - в окнах вместо стекла бумага - вкусно пахнет

вареной требухой; клиенты, сидя на корточках, уминают эту требуху прямо на воле, перед заведением; едят и горстки риса, ловко орудуя деревянными палочками. Хозяева зазывают нас к себе, тараторя: совсем мало-мало юаней заплатишь. В зеленых рядах - изогнутые, метровой длины огурцы, помидоры, лук, красный и зеленый перец, взвешивают допотопным безменом с метками ва деревянном рычаге, тоже наперебой предлагают купить.

У магазинчика - выставленные гробы: от грубо сколоченных из неотесанных досок до шикарных, обитых шелком, с кисточками. Перехватив мой взгляд, хозяин - тучный, в расписном халате - сложил руки на груди, закатил заплывшие жиром глазки, тоненько пропел:

- Пропадила!

Это он мне любезно пояснял, для чего и для кого служат гробы: пропадет человек, то есть врежет дубаря, - выбирайте на свой вкус и достаток. Ну, слава богу, гроб мне пока не нужен. Киваю толстому, иду дальше. Вижу: японский поручик, сильно во хмелю.

Он стоит, покачиваясь, бессмысленно таращится. Затем подходит ко мне, козыряет, снимает портупею, отдает маузер и палаш, знаками показывает: хочу в винный подвальчик - и щелкает, щелкает себя указательным пальцем по горлу. Пусть добирает, возиться с ним не будем, оружие заберем. Сам приковыляет к пункту сбора военнопленных, не связываться же с пьяненьким. Я разрешающе машу рукой, и поручик, держась за поручни, оступаясь, спускается по лестнице в винный погребок.

А у борделей, у дверей под красным фонарем, поигрывают глазами и бедрами проститутки. Брови подведены, щеки нарумянены, губы ярко-алые, юбки по колено, но девки задирают их еще выше, и становится очевидно, что трусиков нет и в помине. Как ни чудовищно, клиенты и в такой день уводят то одну, то другую в отдаленные комнаты. Заприметив нас, девки заголились, делая непристойные движения. Было неловко, однако я глянул на них: симпатичные, даже красивые, хотя, конечно, подержанные - от двенадцати-тринадцатилетних до тридцатилетних, тридцать - черта, потом сказывается профессиональная, что ли, устарелость, посетитель за свои деньги требует живой товар посвежее.

Бандерша - раскормленная старуха в роскошном халате, в украшениях, сквозь редкие седые волосы просвечивает череп - курит трубку, семенит маленькими изуродованными ножками. На полурусском, полукитайском бандерша зазывает нас, обещая по случаю освобождения наполовину снизить цену. Бандерше я даже

не кивнул, прошел мимо с каменным выражением. И вдруг она запричитала: вансуй, десять тысяч лет жизни! - и напуганно посмотрела на меня. Мерен за пожелание, десять тысяч лет мне многовато, я соглашаюсь и на меньшее...

За моей спиной - голос сержанта Симоненко:

- Братцы, по-хорошему предупреждаю: кто сунется в бардак - парткомиссия обеспечена.

- Ас беспартийными как? - спрашивает Логачеев.

- Беспартийных командование прищучит, - за Симоненко отвечает сержант Черкасов.

Я не вмешиваюсь в разговор: все идет как надо.

А город шумел, гомонил, китайцы приветливо махали нам руками и шляпами, кричали "Шанго!" и "Вапсуй!".

И вдруг я обратил внимание: клены-то в сквере - с темной листвой. Микола Симоненко объяснил мне: черный клен, есть такая порода. Будто закоптило клены дымом, волочившимся над городом от взорванных хранилищ с горючим. Черные свиньп, черные березы, которых я прежде не видал. И теперь вот черные клены, тоже до того незнакомые. И это тревожит неясными и недобрыми предчувствиями. У нас цвет траура - черный, у китайцев - белый. Да при чем тут траур? А черный клен под дуновением жаркого, пыльного ветра шевелил ветвями, загадочно шелестел листьями в набрякших прожилках...

Покинули город и вновь втянулись в каменистые ущелья. Горы были все ниже и ниже. Мы спускались! Вот-вот выйдем на Центральную равнину. Мы шли на острие удара, но кое-где нас опережали подвижные отряды Шестой гвардейской танковой армии:

за лавиной этих прославленных тридцатьчетверок было трудно угнаться, и мы, бывало, приходили на место уже после прихода туда танкистов генерал-полковника Кравченко. А ведь думали:

будем первыми! Но кое-куда мы действительно приходили первыми.

В эту казачью станицу мы вошли под вечер, на ночлег.

Беленые хаты под камышовыми крышами - чистенькие, уютненькие - утопали в яблоневых, вишневых, сливовых садах. Станицу полукругом охватывала речка, полноводная, видать, рыбная, с заливными лугами по пологим берегам. Взбитая копытами, золотилась в закатных лучах - наконец-то узрели живое солнышко! - пыль, смешивалась с наползавшим от речной поймы надлуговым туманом. Мычали коровы, блеяли овцы, ржали лошади - мирные эти звуки настраивали на благодушие. Но мы вступали в станицу с чувством настороженности.

Рассчитывали на враждебность: стапица русская - бывшие белогвардейцы, семеновцы, люто боровшиеся против Советской власти, ушедшие за кордон, несмирившиеся.

Политотдельцы нас предупредили: будьте с жителями корректны. Трушин при этом заметил:

- Будем корректны, коль приказано. Но какие они, эти станичники? Белоэмигранты ведь!

- Это точно, - сказал я. - Как встретят? Может, и не цветами...

Но произошло неожиданное. На унавоженной "яблоками" площади возле церквушки с золотой луковицей нас встретила хлебомсолью станичная верхушка: атаман, писарь, священник, еще ктото. Атаман, седоглавый и чернобровый, в черкеске с газырями, громоподобно приветствовал освободителей от басурман, славных русских (говорил: русских, а не советских) воинов, принесших долгожданную свободу; он произносил: "слобода", "ослобонители", и эти просторечные неправильности были милы нашему сердцу. Потом столь же громоподобно возопил многие лета кривоглазый, с козлиной бородкой поп в парче, в ризе, и хор подтянул. Мы слушали недоверчиво: дескать, что за старорежимные штучки?

После речей и хоругвей все мы с разрешения комбрига были приглашены за длиннющие, накрытые белоснежными скатертями столы: водка, самогон, огурцы, вареные куры, мясо, яйца. Под перекрестные, плохо слушаемые в гвалте тосты и гости и хозяева выпивали помаленьку, закусывали чем бог послал. Но внутри что-то подтачивало: бывшие враги, какие они нынче? То, что тепло встретили, - факт. Л куда им теперь от пас деться? Принимай, хочешь - не хочешь. И принимают... Но посты полковник Карданов выставил все-таки усиленные. Правильно, охрана не помешает.

По правую от меня руку за уже залитым ханжой столом сидел казак, натуральный казак - чуб из-под лакированного козырька, фуражка с желтым околышем, генеральские лампасы на штанах, только не красные, а тоже желтые, серьга в ухе. На мгновение показалось: этот и другие за столом казаки-донцы, дело будто происходит в станице Кочетовской, на Дону, куда меня однажды взяла с собой в командировку мама. Но казак был не донской, а скорее забайкальский либо амурский. Я и спросил его об этом. Казак широко улыбнулся, потрогал серьгу, чокнулся со мной: "За русское оружие!" - и сказал:

- Забайкальский я. Из Нерзавода, с Аргуни... А в станице нашей осели выходцы и из забайкальского казачества, и из амурского, перемешались...

Гляжу: полковник Карзанов, начальник штаба, начальник политотдела, наш комбат поднимаются и, сопровождаемые

почтительно согнувшимся станичным атаманом, уходят по улице.

- Атаман повел до себя, - сказал казак с серьгой. - А я вас, товарищ лейтенант, приглашаю до себя. Поужинаем, у меня и заночуете.

- Спасибо, - ответил я. - Не стесню?

- Что вы, что вы! Ваш приход в станицу - как солнечный луч в тучах! Жинка будет рада... Заодно и побалакаем... Пошли, товарищ лейтенант?

- Пошли, - сказал я, отметив: товарищем называет, не господином. - Я бы хотел захватить с собой друга. Драчев! Кликни замполита Трушина. Одна нога здесь, другая там!

Отиравшийся около меня ординарец рванулся выполнять приказание, в конце стола мелькнула фигура замполита. Воротились они вместе, Трушин щербато усмехался:

- Товарищ лейтенант! Гвардии старший лейтенант Трушин по вашему приказанию явился!

- Являются привидения, - ответствовал я дежурной армейской остротой и обнял Федю.

- Гвардии старший лейтенант Трушин по вашему приказанию прибыл!

- Прибывают поезда. - Это тоже была армейская острота. - Знакомься. Нас приглашают на ужин и ночлег...

- На ужин и ночлег? - переспросил Трушин с некоторым, как мне показалось, недоверием и неохотой.

- Так точно! - И казак, робея, протянул Трушину руку.

Все неспешно зашагали по обсаженной черными кленами улочке. Шагов через сорок казак сказал:

- Вот и мои хоромы... Заходьте!

- Ваши координаты засек, - сказал Трушин. - Зайду чуток позже. Надо проверить, как народ устраивается на ночлег.

Мы с хозяином вошли во двор, старательно прибранный. На пороге хаты нам поклонилась молодая дородная женщина в блузке и юбке, с монистом на шее. Казак сказал:

- Моя хозяйка... Даша... Вздуй-ка, Даша, огонь в избе, собери нам повечерять... Гости дорогие, желанные!

"Вздуй огонь", "повечерять" - русские, вкусные слова. Не отвыкли, стало быть, от них на чужбине. Нет, не отвыкли - и в укладе жизни, и в одежде, и в поведении наше, русское. В горнице мы с Драчевым сели на лавку у стола, хозяин принялся звенеть замком на шкафчике, потом зазвенел бутылками. Хозяйка зажгла керосиновую лампу, поставила на краешек, и я увидел: да, молода, да, дородна, волосы собраны валиком, под жгучими бровями - жгучие глаза. Видать, бедовая. Так ведь - казачка!

После нашего походного быта горница показалась мне

славной, уютной: на окнах тюлевые занавесочки и герань в обернутых цветной бумагой горшочках, на земляном полу дерюжные узорные дорожки, никелированная кровать: пуховая перина, накрахмаленное покрывало, водруженные углом атласные подушки, уставленный яствами стол, и венчала это женщина, пышногрудая и крутобедрая, на которую даже Христос с иконы в красном углу взирал не без интереса. Но вдруг тут же во мне что-то сместилось, без всякой видимой причины. Я подумал, что обывательский (то есть нормальный, человеческий) уют не по мне, я отвык от него, и дороже пуховой перины танковая броня, и ближе соблазнительной женщины мои фронтовые друзья, живые и мертвые. Хотя, конечно, глупо противопоставлять мужиков бабе, у каждого свое. Баба - для красного словца, хозяйка именно женщина, красивая, приветливая и лет двадцати пяти всего, не больше. А хозяину, Иннокентию Порфирьевичу, как мне сдается, под пятьдесят, кудри сединятся. Такая разница? Ну и что? Бывает.

Мне неведомо, каково обитать в этом домашнем раю Иннокентию Порфирьевичу. На стенке, над обитым жестяными полосками сундуком, дробовик-кремневка, охотничья натруска с порохом и дробью, шашка в поистертых ножнах. Это, если и не напоминает о прошлом, все-таки свидетельствует: хозяин не потерял вкуса к оружию, хотя бы охотничьему. А прошлое-то такое, что лучше б его вовсе не было. Но оно было, не зачеркнешь.

А что мне, собственно, до Иннокентия Порфирьевича и его Даши? Пришел и ушел. Но на их судьбе отразится моя судьба, иначе говоря, то обстоятельство, что я и маршал Василевский освобождаем Маньчжурию. Как сложится жизнь этих казаков и вообще эмигрантов? Мне это не безразлично, как-никак русские, бывшие соотечественники. Хотя наверняка и очень разные. Гражданская война вышвырнула их всех из России, когда я только появился на свет божий. Как жили на чужбине? Как вели себя?

Надеюсь, с Иннокентием Порфнрьевичем побалакаем на эту тему.

Объявился Федя Трушин, оглядел стол, суетящегося в подручных у Даши моего Драчева, усмехнулся, прикрыл глаза ладонью:

- Ого, придется поработать!

- Разве мы с тобой не бойцы, Федя? - сказал я. - Как с ночлегом у батальона?

- Нормально разместились.

Ну и хорошо, что нормально. Я на сей раз не проверял, как взводы устроились, поручил это взводным командирам, они

доложили, что все в порядке. Ну и ладно, коль в порядке, хоть когдато не буду опекать своих орлов-сержантов.

Даша с перекинутым через белую полную руку полотенцем позвала нас во двор, к шелковице с прибитым медным умывальником. Стуча соском, фыркая, мы с Т.рушиным с удовольствием поплескались, утерлись полотенцем, которое пахло глаженьем.

Потом расселись в горнице, и Федя Трушин закатал рукава, как перед серьезной работой. Да нам и предстояло основательно потрудиться, учитывая количество бутылок и тарелок с закуской.

Однако не зарывайся, Глушков, блюди меру, переступишь - худо будет, подобные явления в истории уже отмечались. Я предполагал, что хозяин провозгласит: за русское оружие, но он слегка видоизменил тост:

- За Россию, за ее народ, за победу в войнах!

Чокнулись. Включая ординарца Драчева и хозяйку Дашу, оживленную, разрумянившуюся, то и дело вскакивающую к плите. В комнате было жарко, хотя окна открыты, и ветер лениво колыхал тюлевые занавески. И будто внутри меня лениво колыхалось: приятно передохнуть в такой горенке перед утренним маршем, а еще приятней, что рядом мой друг Федор, и вообще жить здорово.

- Вы, дорогие гости, не представляете, - говорил хозяин. - Не представляете!

- Представляем! - еще не зная, о чем речь, отвечал Драчев.

Я глянул на него выразительно, он умолк, налегая на домашнюю, щедро начесноченную колбасу.

- Не представляете, как мы вас ждали! Ить за вами Россия, Родина, вы ее сыны...

Мы с Трушиным помалкивали, Иннокентий Порфирьевич говорил:

- Дорогие гости, вы счастливые люди! Вы не испытали, что значит остаться без отечества... И близко оно - через Аргунь либо Амур, а заказано тебе... Я ить из зажиточных, отец и старшие братья, поднялись против Советов. И меня поволокли туда же, из гимназии, в Чите учился, записался в семеновцы... Бог хранил:

в зверствах не был замешан, а ить что -творилось! Не приведи господь, как каратели чинили расправы в Забайкалье... По молодости лет, по неразумению или еще как ушел с семеновскими войсками за кордон, верней, вышибли нас... У Мациевской как шарахнуло, аж в Маньчжурии опомнились... И вот маюсь без родной земли, считай, четверть века. Нету покою, тоска сосет...

Он повертел в вытянутых пальцах граненый стаканчик, будто

не сознавая, что делает, механически выпил водку, взял крутое яйцо, посыпал солью, с горечью сказал:

- Тут даже соль не солкая. Не такая, как там, на родине, без подмесу...

Сейчас прекрасные народные слова "сосет", "солкая" меня не задели. Я жевал, напряженно размышляя, что правда и что неправда в сказанном Иннокентием Порфирьевичем.

- Считаете, все казаки, все эмигранты рады вашему приходу?

Как бы не так! - продолжал он. - Далеко не все рады! Потому как у некоторых рыльце в пушку!

- Это мы знаем, - сказал Трушин. - Очень даже в пушку.

- С этим разберутся кому положено, - сказал я.

- Пущай, пущай разберутся! Потому к старым, семеновским грехам иные-прочие добавили и новые, уже в эмиграции!

- Не надо, Кеша! - сказала жена. - Ихняя совесть пусть и ответит, мы им не судьи...

- Не судьи, это так. Судьи - это вот они. - Он мотнул лобастой головой в нашу с Трушиным сторону. - Но мы и не замаранные, как некоторые... А замараться было проще пареной репы.

Посудите: как вышибли нас в Маньчжурию, мы, семеновцы то есть, вглубь не пошли, обосновались станицами вдоль границы, так называемое Трехречье...

- Трехречье? - переспросил я.

- Это пограничный с советским Забайкальем район. Три реки там: Хаул, Дербул и Ган, это правые притоки Аргуни...

- Ясно, - сказал я.

- Поднабилось нашего брата! Шутковали мы: хорошая страна Китай, только китайцев много, и чего больше в той шутке - смеха либо слез? Ну, а сам господин Семенов, атаман, получивший незаконно генерал-лейтенанта, умотал в Харбин. Разъезжал на фаэтонах с девками срамными, кутил в ресторанах, проматывал нахапанное... А рядовые семеновцы, я к примеру? До старшего урядника всего-то и дослужился, три лычки на погоне... Да что это я о себе да о себе? - спохватился он. - Простите, разболтался... Вам же есть что рассказать, Европу всю прошли!

Действительно, мы прошли Европу и рассказать нам было о чем. Но отчего-то ни Трушину, ни мне не хотелось распространяться о боевом прошлом. Может, и потому, что перед нами сидел все-таки бывший белогвардеец, вольный или невольный, сознательный или заблудший и тем не менее враг, хотя и бывший, - отсюда и настороженность к нему. Был враг, теперь друг? Надеемся.

- В жизни белых казаков за рубежом не враз разберешься, - сказал Трушин. - На это время надо. И проверка...

- Невиноватых Россия примет, - сказал я.

- Я вам доложу, дорогие гости: в Маньчжурии житуха у пас была паскудная. У большинства то есть. Да посудите: генералы ц старшее офицерье погрели лапы в Забайкалье, в эмиграцию ушли не с пустым карманом. А младшие офицер-ы, а рядовые?

Вещмешок за спиной, кукиш в кармане... Спервоначалу я осел вблизи города Маньчжурия, большущая сташща там разрослась...

(Я мгновенно припомнил: на этом участке фронта наступала Тридцать шестая армия генерал-лейтенанта Лучипского, наш сосед слева, - наступала отлично, продвигается ходко.)

- Большущая станица, народу густо... Взялся я за сельское хозяйство, оно шло ни шатко ни валко... А тут еще атаманы, лихоманка их забери, отрывают от хозяйства на воинские сборы да учения, вербуют, заманивают в свои сети и многих уже заманили за хорошую плату: ходить за Аргунь-реку с диверсиями, со шпионажем, и до убийств докатывалось. Эге, смекаю, угодишь.

как толстолобик в сети, у красных пограничников и чекистов пули меткие. Уматывай подобру-поздорову - и подальше. Признаюсь честно: во-первых, жалко собственную башку. А во-вторых, этой самой башкой допер до истины; негоже бороться против Родины, какие б порядки там ни установились. Нравятся тебе либо не нравятся, но народ-то их принимает! И почему, спрашивается, не принимать?

Пригнувшись, чтоб не стукнуться о низкую притолоку, вошел старшина Колбаковский, извинился перед обществом, доложил мне, что в роте все нормально. Хозяин широким жестом пригласил его к застолью. Кондрат Петрович с солидностью поклонился, сел на рыпнувшую под ним лавку. Хозяйка поставила ему чистый прибор.

Хозяин оглядел нас, подлил кому надобно, но чарку не поднял - он хотел говорить:

- А белоэмигрантские газэтки в Харбине врали про вас, каждый божий день вопили: в поход на Совдепию, освободим Россиюматушку от большевиков... С кем освобождать, то есть захватывать? Да с японцами, будь они прокляты! Пособлять японцам в их разбое! Наши эмигранты, а среди них были и фашисты, подлаживались к япошкам, шли к ним в разведку, в шпионы и диверсанты, в отряды их шли... Не все, конечно, но находились такие.

находились... Я подальше от них, подальше от границы, в Харбин.

там в пай вступил с одним штабс-капитаном, Ивановым-седьмым, однорукий инвалид, недотепа вроде меня, - прогорели на своей рюмочной: их в Харбине пруд пруди... Подался в

таксисты - прогорел... Нету во мне коммерческой жилки, ухватки, простоват больно... И тогда сызнова поворотил к сельскому хозяйству, так оно верней... Приехал в эту станицу, женился на Даше. С большим запозданием и на молодухе, зато счастье свое сыскал... Вот оно Дарья Михайловна... Жалко, детьми бог обидел...

- За Дарью Михайловну! За женщину, которая украшает наше застолье! - Из меня поперло гусарство.

- За хозяев пьют в конце, - наставительно заметил Кондрат Петрович.

- За хозяев, за благополучие семьи выпьем обязательно, - сказал Федя Трушин с видом третейского судьи. - Но за Дарью Михайловну не грех выпить и вне очереди!

Посмеялись. Иннокентий Порфирьевич снова заговорил:

- Ить какие были гады промеж нас же! На Октябрь либо на Первомай выходили на демонстрацию против Советской России, плакатики несли своп гнусные... Да что толковать! Когда началась война ваша с Германией, демонстрации тоже устроили, предрекали победу Германии, гибель... кому? России! Ах, сволочи! - Хозяин грохнул кулачищем по столу, прислушался, как задребезжала посуда, и продолжил: - Атаман Семенов от дел отошел, уединился на виллу в Дайрене... Дальний по-русски...

- Думаю, атамана Семенова судить надо как палача, столько зверств сотворившего в гражданскую войну, - сказал Трушин. - Преступления против своего народа не должны забываться.

- Да, изобильно русской крови на Семенове, - сказал Иннокентий Порфирьевич. - Так вот, теперь-то все, кто заправлял, хвосты поподжимали... А тогда! Восемнадцатого июля в Хайларе был войсковой праздник забайкальских казаков, который проводил начальник главного бюро русских эмигрантов генерал Кислицын...

- А что это за бюро? - спросил Трушин.

- Полностью оно называлось так: главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Го... Сокращенно: ГБРЭМ...

- ГБРЭМ? Язык сломаешь, - проворчал Колбаковский.

- Ни для кого не секрет: бюро вылупила на свет божий в сороковом году японская разведка, оно впрямую подчинялось японской военной миссии и по ее указке вело подрывную работу супротив Советского Союза. Во главе, как я сказал, генерал Кислицын... Так вот, этот генерал Кислицын на войсковом празднике похвалялся, что Германия не сегодня завтра разобьет Россию на Западе, а Япония не сегодня завтра выступит на Востоке. А после войскового праздника было совещание пятнадцати белогвардейцев из верховодов, и они были назначены

начальниками белогвардейских отрядов для войны против СССР…Скажу далее: и японское командование и русская верхушка издали приказы: русские и китайцы в возрасте от двадцати до сорока пяти лет обязаны третьего-четвертого августа явиться в Драгоценку. Стало быть, подпадал и я, да уклонился, сказался хворым… Русские, служившие у генерал-лейтенанта Семенова, опять же я подпадал, обязаны явкой независимо от возраста… Населению Трехречья приказывалось доставить в Драгоценку по одной повозке с лошадью от каждого хозяйства… Зажиточные обязаны доставить по одной-две верховые лошади с седлом… Лошади и повозки направлялись потом в Хайлар, их хозяевами стали японцы… Готовились напасть на Россию, а сами трубили во всех станицах и поселках Трехречья, что Россия готовит нападение на Маньчжоу-Го…

- Сволочи! - сказал Колбаковский.

- Сволочи, точно! Но доложу вам, дорогие гости, не все, далеко не все казаки были так настроены. Те, кто помоложе, кто был ребенком вывезен сюда либо уже родился здесь, они в большинстве к России не питали ничего плохого, только хорошее, тосковали по отечеству… Да и из стариков, вроде меня, многие прозревать стали. Гордиться стали, когда немцы были разгромлены под Москвой и Сталинградом! Русская кровь заговорила! И, знаете, японцы это почувствовали… Оружие перестали доверять, коекого с вострыми языками позабирали. Вообще притеснения пошли…

- Расколошматим самураев, освободим и китайцев и вас, куда повернете, кого держаться будете? - спросил Колбаковский.

- Наш путь - к отечеству, - сказал Иннокентий Порфнрьевич дрогнувшим голосом. - Иного пути нету, пусть мы и виноваты старой виной... У нас уже есть группы... называются - группы друзей Советской России, мечтаем стать ее гражданами. То есть принять советское подданство...

- Правильно, - сказал Трушин. - На Западе бывшие эмигранты, прежде всего молодые поколения, подают просьбы насчет советского гражданства... Хотя это надо заслужить...

- На Родину бы попасть. - И голос у хозяина опять дрогнул.

А я подумал: какое же это счастье - иметь Родину, которая, как вечная, бессмертная мать, склоняется над тобой неизменно, даже в смертную минуту, которая никогда тебя не предаст, поддержит всегда, какие бы трудности, разочарования и боли ни подстерегали тебя.

- Дородно сидим! - сказал Колбаковскпй и окинул стол старшпнским, хозяйственным взглядом.

- Дородно, - согласился Иннокентий Порфирьевич, скромно потупившись.

Колбаковский пояснил нам с Трушиным:

- Дородно - значит хорошо, по-забайкальски.

- Ясно, - сказал я и вновь возрадовался: прекрасное диалектное словцо, свежее, не затасканное.

Даша, Дарья Михайловна, почти моя ровесница, принесла гитару с розовым бантиком на грифе - чем-то мещанским повеяло от этого бантика. Но когда запела - враз забыл о бантике. Низким, грудным голосом, тихонько пощипывая струны, она пела:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые...
Вспомнишь и лица, давно позабытые...

Я знал и любил этот романс на стихи Ивана Сергеевича Тургенева. Был постыдно равнодушен к прозе великого писателя, а вот романс этот благодаря, конечно, и музыке - волновал. Защипало веки...

Вспомнишь обильные страстные речи.
Взгляды, так жадно, так робко ловимые.
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые,
Тихого голоса звуки любимые...
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное, далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое,

Глядя задумчиво в небо широкое...

Нет, в этом романсе что-то есть. Веки защипало еще сильней.

Я отвернулся, хотя и у остальных-прочих глазки заблестели. А зачем отворачиваться, зачем стыдиться слез, которые облагораживают и возвышают? Хочу жить и любить! Хочу, чтобы любовь у меня была - если не убьют верная, чистая. Не хочу, чтобы житейская грязь замарала меня, уцелевшего в войнах.

И тут - невероятное: сквозь табачный дым и кухонный чад передо мной проступили слова:

Женщины, которых я любил!

Женщины, которые меня любили!

Я вас вправду не забыл,

А меня вы не забыли?

Оглушенный, понял: сам сочинил, сию секунду, без отрыва от застолья. Родилась строфа мгновенно и неизвестно почему. Мои строки, мои стихи! Хорошие или плохие? И какие там женщины, - можно подумать, что их у меня было навалом. Две женщины и было, одна из них Эрна, которую люблю и сейчас. Да, я ее люблю, немку... Стало так грустно, что слезы покатились. Я поморгал, перебарывая их. Переборол. Прислушался, как Иннокентий Порфирьевич, похохатывая, рассказывал:

- В город Маньчжурию вскорости, как началась Великая Отечественная война, прибыли немецкие офицеры-инструкторы. Чтоб, значит, учить уму-разуму японцев, передавать опыт... Ну-с, был устроен банкет, союзнички здорово перебрали. Немцы взялись бахвалиться: разобьем Россию, завоюем весь мир. Японцы подхватились: а как же мы, как Великая Азия, мы хотим до Байкала или до Урала! И здесь-ка под хмелем забродил былой патриотизм у белоказачьих офицеров: "Брешете, суки, никогда вам Россию не одолеть!" Шум, скандал, драка, стрельба... Комендантский патруль утихомиривал... Ну-с, поутру немцы и японцы, протрезвев, договорились, извинялись друг перед другом, а белоэмигрантских офицеров судили в трибунале и разжаловали... В чужом пиру похмелье!

Трушин, Колбаковский и Драчев тоже посмеивались, а мне было грустно. Женщины, которых я любил...

Ночью мне приснилась Гагра, море и девочка, с которой я, пацаненок, там дружил и которая потом утонула. И я плакал во сне. А пробуждаясь, думал, что не надо, не надо стыдиться слез.

28

Мы шли по Маньчжурской равнине! Позади остались скалы и пропасти, труднейшие версты. О Хингане можно было бы сказать:

неприступный, если б мы не преодолели его. Сопки еще серели по сторонам, но их линии были плавные, спокойные, не

схожие с резкими изломами горных круч. И были уже не узкие пади-щели, а широкие долины, речные поймы: поля чумизы, гаоляна, проса, риса, огороды, огороды все с теми же метровыми, изогнутыми, как сабля, огурцами.

Дожди, на краткий срок прекратившиеся, опять полили как из ведра. Волочились черные лохматые тучи, сея с неба сумрак.

Приходилось даже днем - не впервой - включать фары танков и автомобилей. До чего ж осточертели эти дожди! Мало того, что на нас сухой нитки нет, - вконец развезло дороги. Распутица страшенная, техника вязнет, тапки выволакиваются тягачами, автомашины и пушки выволакиваем мы, пехота: посаженные временно на броню и в кузова, мы не перестаем чувствовать себя пехотой.

Уверенно ступая по привычной земной тверди, хоть и прикрытой грязевой жижей, мы толкаем плечами "студебеккеры" и полуторки, кричим "Раз-два, взяли, еще раз взяли!" - вытираем пот, дождь и грязь - ее ошметки, как пулеметные очереди, вылетают из-под буксующих колес. Вадик Нестеров острит: "Ничего, это чистая грязь" - в смысле: без машинного масла, без бензиновых пятен, натуральная грязь, правильно - чистая. Острота не высшего разряда, но я рад ей: если солдаты шутят, значит, они бодры и трудности не страшны. Хинган форсировали, через бои прошли. Что еще предстоит форсировать, через какие бои пройти?

С боевым, неунывающим настроем - вперед, конечный пункт - Победа. Но на этом пути еще возможны потери, и тогда будет не до шуток.

С ходу проскочили Ванемяо - сравнительно большой город. До нас тут уже побывали танкисты Кравченко, но тоже, как и мы.

прошли насквозь: японцы отступили за город. И здесь-то мы снова уточнили: это пока не собственно Маньчжурия, это еще Внутренняя Монголия, а Ванемяо - административный центр Барги, одного из аймаков Внутренней Монголии. Тысячи китайцев и монголов высыпали на улицы. Ливень лупит, а они, вымокшие, разве что под гусеницы не кидаются, машут флагами, выкрикивают приветствия. Одно, на ломаном русском, особо запало мне в душу:

дескать, да здравствует дружба русского, китайца и монгола. Золотые слова! Мы ведь сюда прибыли действительно как друзья, как братья, как освободители. Когда народы дружат - мир, ссорятся - война. Или не сами ссорятся, их натравливают друг на друга.

Население запрудило улочки, машины пробирались с трудом.

Но никто не посетовал, что теряем темп. В данном случае не

грех потерять его. За городом наверстаем. Если японцы не собьют нам скорости. Ходит слух - то ли данные разведки, то ли догадки, - что японцы концентрируются неподалеку. Не для того чтобы сдаться, а чтобы дать бой. Очень может быть. Не все нас так горячо приветствуют. Но в Вапемяо хорошо. Мы тоже, конечно, кричим с брони и из кузовов приветствия, точнее - некоторые кричат. Например, парторг Микола Спмоненко:

- Ура свободному Китаю!

Пли ефрейтор Свиридов:

- Здорово, здорово, ребята!

Пли Толя Кулагин:

- Шанго, хлопцы, шанго! - И ставит на попа большой палец.

Вот этот жест и "шанго" понимают лучше, толпа исторгает могуче, ответно: "Шанго! Шанго! Шанго!" - и сотни больших пальцев ставятся торчком.

Ну, и мы машем пилотками, касками, шлемами - жители еще сильней начинают махать флагами и флажками. Много детворы, пацаны снуют под ногами у взрослых. Одеты в невообразимое тряпье, кости да кожа, но шустры. Невольно вспомнились русские да белорусские пацаны, когда освобождали, такие же заморыши.

Так ведь и понятно: там немецкая оккупация, тут - японская.

А при оккупантах, известно, не жизнь - могила.

В центре есть каменные дома, но большинство деревянных барачного типа, потемневших от старости и от дождя. Как водится, много харчевен и еще больше публичных домов - с красными фонарями. Мелькнули, как в калейдоскопе, лица, а запомнилось немногое. Вереница молоденьких, плохо одетых женщин с плетеными корзинами на голове, наполненными бельем. Старик в долгополом черном халате поднимает ребристую цинковую штору, прикрывающую окна магазина. Китайская семья плетется по обочине на выходе из города, китаянка в продранных длинных штанах из мешковины, в ветхой, изношенной кофточке, едва прикрывающей плоскую грудь, на ногах неизменные матерчатые тапочки, пальцы торчат. За спиной китаянки в мешке грудной ребенок. Позади матери, цепляясь за ее штанины, - совершенно голые два мальчика и девочка. Замыкает глава семейства - исхудалый, изможденный китаец в шляпе из рисовой соломы, босиком, согнувшийся под тяжестью узла с домашним скарбом; можно поклясться: в этом узле - все имущество семьи. Что ни говори, оккупация - это, помимо прочего, и лютая нищета. И так бедная страна, а японцы из нее выкачали что могли.

Эта семья скрылась за пеленой дождя, скрылись и городские окраины, а нам дальше, дальше. Полковник Карзанов сказал

походя: в Ванемяо из Тамцак-Булака должен передислоцироваться штаб Забайкальского фронта, а в дальнейшем - в Чанчунь, столицу Маньчжоу-Го, где сейчас штаб Квантунской армии. Ну, до Чанчуня надо еще допилять, как допилялн до Ванемяо.

Ливни и вышедшие из берегов речные протоки затопили поля.

Для риса это, наверное, неплохо, - на рисовых делянках копошатся полусогнутые фигуры крестьян. Шоссе размыто. Танки Шестой гвардейской прошли по земляной дамбе, затем прямо по железнодорожному полотну, по шпалам, вдоль рельсовой колеи, выбора не было. И мы - по следам тридцатьчетверок. Трясет и швыряет - не приведи господь.

Через сколько-то километров уперлись в широко разлившуюся, бурную реку. Мост взорзан ли, снесен ли. Гвардейцы генералполковника Кравченко, видимо, благополучно успели перебраться на тот берег, и уж потом мост был взорван диверсантами или снесен течением. Оно такое ярое, водоворотистое, что опасно подходить к берегу: куски его, подмываемые, обрушиваются в желтую в смутных воронках воду, но которой плывут доски, бревна, бочки, трупы буйволов и лошадей. Вот всплыла и опять утонула соломенная кровля, вот всплыло и опять утонуло что-то - бревно ли, коровья ли туша, человеческое ли тело. А то понесло "амфибию", ударило о каменистый выступ. Как всегда, на выручку приходят саперы: быстренько, без раскачки стягивают сваи, закрепляют их скобами. Но саперов не так-то много. Когда закончат?

А время не терпит, приказ командования: вперед и вперед. На берегу появляется полковник Карзанов - в панаме (от жары - но жары-то нет!), в комбинезоне, в заляпанных грязюкой брезентовых сапогах. Говорит:

- Все-таки омутов мало, больше гладководье, - значит, река преимущественно неглубокая и дно ее ровное. Хотя вода и прибывает...

Ему говорят:

- Но твердое ли оно?

- В этом и загвоздка! Пустим для пробы парочку машин.

- Риск, товарищ полковник!

- Конечно, риск. Но какая ж война без риска?

В этот момент на противоположный берег у переправы, у деревни, высыпала толпа китайцев с канатами. Пять человек, держась за руки, потащили концы каната на берег, где были советские подразделения. Смельчаки! Вода подступает им к горлу, пытается сбить с ног, однако китайцы держатся крепко, дружно - где идут, где плывут, барахтаясь, - и в конце концов,

мокрые и веселые, выбираются на берег. Мы подаем им руки, вытаскиваем.

- Выдержит ли? - спрашивает комбриг и глазами показывает на канат.

Китайцы понимают, бойко тараторят:

- Веревка... шибыко хорошо...

- Будем буксировать машины! - решает комбриг.

Китайцы всё разумеют, кивают:

- Шибыко... порядок...

Выдубленные солнцем и ветром, в глубоких морщинах лица, сутулые рабочие плечи, загорелые жилистые руки, характерный разрез глаз, широчайшие улыбки, - спасибо за помощь, братьякитайцы! Шанго! Вансуй! На канатах перетаскивается техника, а с ней и люди. Когда все было переброшено (обоз остался ждать окончания ремонта моста), те пятеро китайцев, которые перенесли канаты через реку, сели рядом с нашими солдатами на танк лейтенанта Макухина и, гордые, счастливые, доехали до деревни.

- Ну как, на такой машинке можно дойти до Порт-Артура? - спросил Макухин прижавшегося к башне китайца в конусообразной соломенной шляпе.

- О, можно ходи! Далеко-далеко можно ходи! - И китаец тычет рукой вперед.

Наступил вечер. Ливень шумел не переставая. Вспышки молний, раскаты грома - гроза не утихала всю ночь. Вода, вода. Промозглый ветер, хотя на равнине, конечно, теплей, чем на хребте.

Невылазная грязь. Делаем привычное: толкаем плечами буксующие машины, бросаем под колеса доски, палки, ветки, плащ-палатки. Натужно ревут моторы, из-под колес пуляют ошметки грязи. Молнии освещают черное небо и то, что творится на земле.

Врубаются во мрак и лучи фар. Удары грома раскалываются над головой, хотя эхо на равнине не такое многоголосое и грозное, как в горах.

Двигались и в ночном мороке, пока было горючее. Потом - ночлег. Спали где придется, кто как устроился. Шипели ручьи и ручейки, поэтому мы выбирали место повыше, посуше - суше, разумеется, относительно, ибо все, пропиталось водой. Ординарец Драчев наломал веток, нарвал травы, расстелил плащ-палатку под "студебеккером" - ложе готово. Я уснул. Пробудился под утро по малой нужде, услыхал, как капли с кузова долбили дятлом в пашу плащ-палатку. А самого дождя не было! Аж не верится, что дождя может не быть.

Окончательно проснулся посветлу, под крики: "Подъем! Подъем!" Продрал глаза, сбросил сонливость и первое, что услыхал после воплей о подъеме, это пение, ефрейтор Егор Свиридов мурлыкал:

Подари мне забвенье,
Подари мне любовь!
Так зачем же сомненья,
Ту-ди-там, ту-ди-там...

Очередное, новое танго. Рифмуется с "шанго". Если ефрейтор Свиридов великий певун, то лейтенант Глушков не менее великий рифмоплет, в белоэмигрантской станице целый стишок сочинил, накатило вдохновенье вместе с охмелепьем, - опять рифма напрашивается. Но ценитель танго Филипп Головастиков погиб, а я не очень большой поклонник подобного жанра. Я кашлянул, Свиридов оборвал пение, произнес хрипло - со сна и от курева:

- Доброе утро, товарищ лейтенант!

- Доброе утро, Егор.

- Как спочивали, товарищ лейтенант?

- По-походному.

- А я неважнецки... Снился Филиппок Головастиков, все звал меня куда-сь с собой...

Спился погибший товарищ, а поет из своего репертуара.

Жизнь продолжается?

Жизнь продолжается - череда бытовых по сути эпизодов и мыслей.

Комбат, глядя на мои мятые погоны, делает замечание:

- Глушков, мне не нравятся твои погоны.

Отвечаю:

- Мне тоже не нравятся, товарищ капитан. Вот уж сколько времени не нравятся...

- Так смени!

- Не хватает на них одной звездочки. Получу старшего лейтенанта - и сменю.

- Шутник! Сменить немедленно!

А чего шутить? Аттестация на присвоение очередного воинского звания "старший лейтенант" вроде бы ушла по инстанциям.

Шуршат где-то бумаги. Пора бы, пора и присвоить.

Толя Кулагин, щуря разномастные глаза, говорит:

- По такой погодке, забодай ее корова, положено сто грамм наркомовских выдавать...

А я вспоминаю Польшу, уютный городок с костелом в центре, славного парня Казимежа, партизана, бойца Армии Людовой. Онто со смехом и рассказывал, как с напарником ходил на

разведзадание. На явочной квартире дочь хозяина поднесла им на подносе две рюмки польской выборовой. Напарник отказался от водки - в отряде сухой закон, а Казимек выпил обе рюмки. Командир отряда потом песочил: "Ты нарушил закон, тебя надо сурово наказать". Казимеж ответил: "Пан командир, когда такая девушка подносит, то выпьешь не только водку, но и яд!" Посмеялись, простили, потому что Казимеж был разведчик что надо. А водка - кровь сатаны, тебе это известно, Толя Кулагин?

Комроты-2 своих подчиненных знает только по фамилии, имен не помнит. Я же имена помню, ио зато в ыночасье забываю фамилии. Может, с контузии?

Вспомнил середину октября где-то в Литве, на границе с Восточной Пруссией. Желтые и багряные листья срывались с деревьев, ложились на свеженакиданный бруствер траншеи. И маскировать не надо!

Утром и днем мысли не такие мрачные, как ночью. Посветлу и делается что-то лучше. Может, потому и наступления бывают по утрам? Хотя мысль о том. что нужно поднимать людей в атаку, легкой и светлой не назовешь.

Наши солдаты прозвали немецкий шестиствольный миномет "ишаком" - орет вроде как по-ишачьи. Но штука зловредная, положит шесть мин враз - не возрадуешься. У японцев такого оружия нет, техника у них победнее. И слава богу!

Да нет, это не бытовые эпизоды, воспоминания и мысли. Впрочем, что такое быт? Это наша повседневная жизнь, и стыдиться его не резон. Военный быт - это сама война.

Чем дальше мы уходили от Ванемяо, тем сильней лили дожди. Беспрерывно, днем и ночью. Даже когда накоротке вырывается из туч теплое, ласковое солнце, дождь все-таки сечет. Будто пе терпится ему излить своп запасы. Что ж, думаю, лей, лей, тем поскорее израсходуешься. Вся надежда на это нельзя же без конца лить потоки? Поговаривают, что двннемся мы в район Таоани - немаленького города и крупного железнодорожного узла, одна ветка от которого ведет на северо-запад, на Ванемяо (он уже наш!), другая на северо-восток, на Цицикар (к нему подходит Тридцать шестая армия генерала Лучинского), третья на юго-восток, на Чанчунь, и четвертая на юг, на Мукден. Важный узел, что и говорить!

Когда в воздухе зарокотал мотор, мы задрали головы: кто в явно нелетную погоду, рискуя вмазать в гору, летит, наш или японец? Вероятней всего, наш. Так и оказалось: испытанный "У-2". Вынырнул из-за облаков и .сбросил точно в расположение тюк с газетами. Центральные: "Правда", "Известия", "Красная звезда" - сообщают, что начались операции по освобождению Северной

Кореи, Сахалина и Курильских островов. Значит, масштабы еще больше расширяются. Замечательно! А кровная, фронтовая печатает "Разъяснение Генерального штаба Красной Армии".

Парторги, комсорги, агитаторы под руководством Трушина немедля организовали коллективное чтение, а я, как обычно, углубился в, так сказать, сольное. Вот что я прочел:

"1. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан, и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться.

3. Ввиду изложенного Вооруженные Силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии..."

Трушин говорит:

- Ясно как божий день. Будем, Петро, дальше воевать!

- Да, не похоже пока, что японцы складывают оружие, мы это на себе чувствуем.

- Политотдельцы по радио поймали передачу! В ней говорилось, что в почь с девятого на десятое августа в Токио заседал Высший совет страны по руководству войной, есть таковой.

Премьер-министр Судзуки заявил: вступление сегодня утром в войну Советского Союза, дескать, ставит Японию в безвыходное положение, исключает дальнейшее продолжение войны. И далее Судзуки сказал: сегодня сброшена вторая атомная бомба, объект бомбардировки - Нагасаки, погибли многие десятки тысяч жителей города.

- ТАСС сообщало, бомбу необычайной мощности американцы сбросили шестого августа на Хиросиму. Тоже атомная?

- По-видимому, Петро! Если число жертв такое огромное.

- Это не простая бомба. И сбрасывают на мирные города...

- Судзуки говорил, что эти бомбардировки не затрагивают военного потенциала страны, и Япония готова была бы продолжать войну. Но теперь, сказал Судзуки, когда Советский Союз выступил на стороне Америки и Англии, выхода нет...

- Интересно...

- Высший военный совет заседал всю ночь, на нем присутствовал сам император Хирохито. К утру Судзуки подвел результаты обсуждения: с согласия императора правительство решает принять условия Потсдамской декларации и капитулировать.

С непременным сохранением суверенных прав императора. А Хирохито сказал, что поддерживает капитуляцию и выступит по радио. И действительно выступил.

- Но приказ Квантунской армии не отдал?

- В том-то и закавыка!

- Слушай, Федор, - сказал я. - А что, ежели японское правительство капитулирует безоговорочно и безотлагательно перед англо-американцами, а против Красной Армии будет сражаться?

- Это возможно.

- Помнишь, как на Западе гитлеровцы сдавались союзникам, даже пытались подписать что-то вроде сепаратного мирного договора, а против нас продолжали держать фронт?

- Это была попытка сшибить лбами Советский Союз и союзников. Не вышло! Не выйдет и сейчас.

- Будем надеяться. Необходимо как можно скорее разгромить Квантунскую армию...

- Идейно рассуждаешь, Петро. Молодец!

- Рад стараться!

На этом мы и закончили разговор.

Федя Трушин поведал мне еще об одной радиопередаче, услышанной политотдельцами бригады. Она как бы дополняла первую передачу. В Токио группа, именующая себя "Молодыми офицерами", во главе с подполковником Хатанака ворвалась в штаб императорской дивизии, охранявшей дворец Хирохито. Они окружили командира дивизии генерала Мори и потребовали, чтобы тот помог найти во дворце граммофонную запись речи императора о капитуляции и уничтожить ее. Генерал Мори заколебался. Тогда "Молодые офицеры" убили его и вломились во дворец. Перерыли все что можно. Тщетно! Не найдя записи речи во дворце, Хатанака приказал заговорщикам захватить Токийскую радиостанцию, взять в осаду официальную резиденцию премьера Судзуки и его частную квартиру. Но токийский гарнизон не поддержал мятежа, его участники были кто арестован, кто покончил с собой. Подполковник Хатанака, по непроверенным данным, совершил харакири.

- У японцев чуть что - харакири, - сказал я. - Удобный способ выходить из трудного положения.

- Не столько удобный, сколько кровавый, - сказал Трушин. -

Дикий фанатизм...

- Дикий, - согласился я, подумав: и здесь, на Хпнгане, и там, за тридевять земель, на Японских островах, вспарывают себе животы.

Зачем? Понятно, когда министры и генералы совершают харакири: им деваться некуда, они военные преступники. Но простому солдату, рядовому человеку зачем это? Война вот-вот кончится, наступит мир, и можно начать новую жизнь! Или японцам так забили мозги всякой трухой, что они не в состоянии уразуметь лежащую на ладони истину? Мы помогаем пм прозреть, учим уму-разуму. Разумеется, специфическими, военными средствами.

Жестокая наука, но иной тут быть не может!

Кстати, о министрах и генералах. Судя по газетам, пал кабинет Судзуки. И в тот же день покончили с собой военный министр Анами, маршал Сугияма, член Высшего военного совета генерал Иосидо Синодзука, министры Кондзуми и Хасида, генералы Танака, Тейицы Хасимото и другие деятели империи. Не смогли вынести позора? Боялись держать ответ? Видимо, и то и то. Ведь и некоторые из гитлеровской камарильи тоже покончили с собой и ускользнули от ответственности по суду. Ах, как по многим злодеям плачет веревка! Таких надо публично вздергивать - в назидание прочим.

Именно на советско-германском фронте был предопределен исход второй мировой. Здесь, на Дальнем Востоке, на Тихом океане, лишь последняя, финальная точка. После Победы на Западе Победа на Востоке вряд ли у кого вызывала сомнение. Сейчас это тем более очевидно. Не умаляя того, что происходит на Дальнем Востоке (а происходит грандиозное), честно, однако, надо признать: четыре года западной войны никак не сравнишь с несколькими днями войны восточной. Да и нужно ли сравнивать, коль нынешняя война не закончена? И когда будет закончена? Вот тогда и можно сравнить. Но и здесь, как на Западе, будет полная наша победа, это несомненно. Верой в победу жили, верой в победу живем.

Позади Ванемяо, идем дальше. Думаю о том, что в быту у китайцев много для нас непривычного. Ведра и корзины с овощами носят на коромыслах. Кланяются часто-часто и низко, до земли.

Чай пьют из пиал, рис едят палочками, в еду употребляют змей, червей и прочее, от которого европейца мутит. Пожилые мужчины бреют головы, молодые коротко стригутся. Пожилые женщины с косами, очень жидкими, череп просвечивает, видел и совершенно лысых старух. Девушки - с короткой прической, как

наши комсомолки двадцатых годов. Женщины курят трубку, сигареты, говорят, с опиумом. Еще я видел, как работают китайцы - таскали землю: закидывает за спину руки, ему набрасывают в ладони землю, как в некое корыто, человек бежит, все бегом, бегом, механизация - одна лопата, которой забрасывают грунт в руки. Да, кое-что подметил. Для себя. Не так уж много. Подмечать некогда, все вперед и вперед.

Полковник Карзанов, наш боевой и неутомимый комбриг, предупредил: японцы могут начать контрнаступление. Я подумал:

"Зачем зря класть людей, неужто японцы не понимают, ведь капитуляция уже становится фактом", - и вспомнил юнца-фаустнпка в Кенигсберге, в подвале, в апреле. Тогда я сказал этому желторотому фольксштурмовцу-фанатику: зачем сопротивление, не было же никакой надежды, крови сколько лишней пролито!

Доходит ли ныне до японцев истина, что война ими проиграна?

До кого-то, видимо, доходит, до кого-то нет. Эти-то фанатики будут и после официальной капитуляции драться. Ну, и мы будем драться, если что. До победоносного финиша.

Предупреждение комбрига было обоснованным: возле тянувшихся цепочкой холмов, пересеченных такой же цепочкой болот в черных камышах, наш подвижный отряд был атакован, по-видимому, усиленным полком. Мог бы получиться встречный бой, но японцы остались на заранее подготовленных позициях, обрушив интенсивный артиллерийский огонь: боеприпасов у них, в отличие от нас, было предостаточно. Подвижный отряд прекратил продвижение, мы залегли, стали окапываться, машины увели за бугры, в укрытия. Открыли огонь наши пушки и самоходки, но жиденько-жиденько, больше для острастки. Иногда так выходило:

горючее подвезли - боеприпасы, увы, нет, или, наоборот, боеприпасы подвезли - горючее, увы, нет, и то и другое прескверно, сейчас было первое. Пушкарям и самоходчикам приходилось экономить снаряды, по этой причине и танки пока помалкивали.

Снаряды рвались на буграх, в кустарнике, на болотах, в черных камышах, выворачивая вонявшую сероводородом жижу. Черные камыши, черные клены, черные березы. Почему они тут черные? Вот дым от разрывов везде черный правда, с огнистой подпалиной. Заслышав свист летящего снаряда, мы втягивали головы, прижимались к земле. Ведь какая странность: четыре года войны за плечами, прекрасно знаешь, что, если свистит, значит, не страшно, значит, снаряд уже пролетел над тобой, страшен тот.

которого не услышишь, он в тебя и вмажет. А все равно инстинкт срабатывает, прячешься при свисте снаряда или пули. Пули тоже посвистывали: и одиночные - били снайперы, и очереди - били пулеметчики. О, эти чертовы "гочкисы" на вершинах холмов, их много, они сыплют скороговоркой: та-та-та, та-та-та! Разрывы снарядов ухающие, протяжные и как будто дрожащие, звук как будто вибрирует.

Снаряды ложатся густо, и возникает нелепая мысль: японцы торопятся израсходовать боезапас, прежде чем придется капитулировать, так сказать, чтоб добро зря не пропадало. Как бы там ни было, нам жарковато от такого обстрела. Будет лп нас атаковать потом пехота? Пока мы окапываемся, надо признаться, лениво. Я громогласно приказываю взводным командирам ускорить окапывание. Они еще более громогласно передают это приказание отделенным командирам, те ползут от бойца к бойцу и где поуставному, где не по-уставному требуют не филопыть. а окапываться как следует. Психологию солдат можно понять: к чему окапываться, если непременно пойдем вперед? Ясно, пойдем вперед, однако до этого могут положить нашего брата немало. Я и сам ползу во взводы контролировать окапывание. Мое появление действует благотворно: лопатки замелькали шустрей.

Вблизи рвется снаряд. Я вжимаюсь в землю. Сердце колотится, руки, ноги дрожат, тело облепляет испарина. Пронесло, живздоров? Слава, господи, только камешки и кусочки грунта пролетели, да горячая воздушная волна дохнула в лицо. Испугался?

Разумеется. Японцы гвоздили снарядами минут двадцать пять - тридцать, и за это время солдатики кое-как отрыли окопы "лежа".

Уже неплохо, уже как-то оберегает от осколков и пуль. Ординарец Драчев успел отрыть два окопчика - себе и мне. Выслуживается Миша, доказывает, исправляюсь, товарищ - лейтенант. Ну, пошуруй, пошуруй лопаткой, Мишель, тебе это полезно. Мишель - по французски, по-румынскп - Михай. Шуруй, шуруй, Михай!

Мишель, он же Михай, кричит мне:

- Товарищ лейтенант! Хоронитесь! Что ж вы все на виду?

Бережитесь!

"Бережитесь"... Я берегусь. Но, вероятно, делаю это умело, незаметно, без суеты, научился не выдавать страха, по мне ничего не определишь. Владеть собой - это и есть смелость, Миша. Мишель, Михай! А так я берегусь, неохота погибать, когда японская капитуляция и наша победа - в повестке дня.

Кричу и я:

- Драчев, не высовывайся!

Он действительно, крича мне, по-глупому выставляет башку.

Она хоть и дурья, да ведь одна. Драчев отвечает, как и положено:

- Слушаюсь!

И больше не высовывается.

Промокшая, клейкая почва, и на дне окопов - жижица, солдаты извозюкались, ругаются. Но ежели рядышком плюхнется снаряд, то ты и сам плюхаешься, не разбирая, где грязь, где нет.

Грохали орудия, словно бы дребезжал сырой, отяжеленный воздух, шмякались куски земли, темные дымы сносились ветром вдоль цепи холмов, на гнилые, смрадные болота. Дождь присмирел, утих, но небо нависало низкое, готовое вновь пролиться потоками. Я тщетно силился разобрать что-либо в бинокль. Дымы, дымы, за ними - холм за холмом, трава, кустарник, рощица. Не видно, но догадываюсь: холмы опоясаны траншеями и ходами сообщения, дзотами и, возможно, дотами. Если что, если сойдемся, наша задача - прежде всего беречь танки, не дать смертникам приблизиться к ним.

Батальон расположили впереди танков и артиллерии уступом назад: две роты развернуты по фронту, а моя - за ними, в резерве коморпга. Слабое, но утешение: в бой первую роту введут не сразу, а по мере необходимости, хоть маленькая, да оттяжка. Как сложится этот бой, пойдут ли японцы в атаку и когда, какими силами, и будут ли новые бои, и как они сложатся? Или же настанут наконец капитуляция и мир? Сколько ж можно убивать и калечить? Перестаньте стрелять! Но японцы не вняли моему призыву...

В нашем тылу изредка и гулко хлопали пушечные выстрелы, урчали танки и самоходки. Снарядов у них в обрез, а все одно как-то уверенней себя держишь: техника за спиной! Она поддержит, но и ты поддержи ее.

Миша Драчев вырыл мне, собственно, не окоп "лежа", а нечто вроде ровика, где я и стоял, полусогнувшись. Связисты успели - молодцы, черти с катушкой на груди! - протянуть провод, и теперь есть связь с комбатом и комбригом, могу получать указания, а точнее, приказания. Могу и сам докладывать и просить. Покамест телефон молчит. Не перебит ли провод? При подобном артобстреле не исключено.

Я сжимал бинокль, вглядывался в холмы, слушал, как рвутся снаряды, хлопают орудийные выстрелы, гудят моторы, и гнетущее ожидание боя, предчувствие потерь зазнобили меня. А может, все и прозаичней: сапоги промокли, портянки сырые, одежда тоже вся промокла, холодно. Очень холодно. Зазуммерил телефон - даже

удивительно, что в грохоте я уловил комариный писк зуммера. Приложил трубку к уху. Рваный голос комбата:

- Глушков, как дела? Потери есть?

- К счастью, покуда нет, товарищ капитан!

- Добро! Стереги атаку пехоты. Если прижмет, бросим твою роту на угрожаемый участок.

- Слушаюсь!

- Ну, бывай... Держись!

И тут комвзвода-3, один из старших сержантов, усачей-близнецов, докладывает:

- Товарищ лейтенант, рядового Погосяыа контузило.

- Погосяна? Сильно?

- Да не так уж чтобы... Заикается шибко, говорить ему трудно... А в общем-то, в строю!

Ладно, что в строю. С контузией как-нибудь обойдется. Конечно, это вещь коварная, через сколько-то лет может аукнуться Старший сержант-усач ухмыляется:

Не переживайте, товарищ лейтенант, за Погосяна! Со временем разговорится, хотя он в принципе неразговорчивый мужчина...

Это так. Геворк Погосян из молчунов, подчас слова лишнего клещами не вытащишь. Контузия не ранение, тем паче контузия нетяжелая, будем считать: удачно отделался. По крайней мере жив.

А переживать мне, между прочим, еще пришлось. Но не из-за Погосяна.

29

После артиллерийской подготовки, когда японцы интенсивно, но бесприцельно обработали наши позиции, они пошли в атаку.

В бинокль увиделось: со склонов холмов сбегают цепь за цепью фигурки. Вражеские пушки прекратили стрельбу, зато "гочкисы" усилили огонь, будто их стало больше. Они били и с неподвижных точек на вершинах, и из атакующих цепей. Пехотинцы стреляли на ходу из карабинов, доносило не такое уж далекое:

"Банзай!" Ну, банзай так банзай, подходите ближе - мы вас угостим своим "ура", посмотрим, кто кого. До первой роты дело еще не дошло, а к позициям двух других рот японцы приближаются.

Наши сорокапятки и выдвинувшиеся самоходки бьют по пехоте и по пулеметным точкам на холмах.

Японцы ближе, ближе, хотя снаряды и очереди "максимов" их здорово выкашивают. Японцы, а кажется: немцы. Почему? Может,

потому, что за четыре года столько было отбито немецких атак? Теперь враг другой - японцы, самураи. В бинокль уже разглядываешь кепи с кургузыми козырьками, мундирчики и штаны хаки, обмотки, прорезиненные тапочки и желтые сапоги, карабины наперевес, разверстые в крике рты. Бегут, спотыкаются, падают, встают (кое-кто и не встает), снова бегут. Стреляют истошно кричат. Пугают? Да разве этим нас всерьез испугаешь?

А чем? Да ничем не испугаешь: если надо стоять - выстоим, надо вперед встанем и пойдем вперед. Зажми все страхи - и конец.

Правильно! Только жаль проливать кровь, когда все, в сущности, решено. Или капитуляция - пустой звук? Или к их словесным декларациям нужно присовокупить наши новые удары по Квантунской армии? Может быть.

Дадут ли японцам приблизиться к нашим позициям вплотную, будет ли рукопашная? У японских карабинов примкнуты ножевые штыки - для штыкового боя. У нас винтовок мало, в основном автоматы, сгодятся еще как и для ближнего боя: самурая можно к себе не подпустить, прошив очередью. Начинает ныть под ложечкой: куда повернет бой, введут ли мою роту? Не хотелось бы этого, но если надо, так надо. Если не миновать, тогда скорей бы уж. Где-то - интуиция подсказывает, вне моей роты - пронзительно кричит раненый:

- А-а-а-а...

Его крик долго - или так кажется - колотится меж буграми, видимо, не сразу оказали помощь. Потом крик угас. А тот, чужой крик "банзай" нарастал, близясь. Скребет по сердцу, царапает:

"аи... аи..."

Под ложечкой ноет, но и ладони начинают чесаться. Сжать бы сейчас рукоятки "максима" и чесануть веерной очередью по японской цепи. Самому! Не положено самому. На это есть стапкачи.

а в твоей роте ручные пулеметчики. Ты ротный командир, ты командуй. Каждому свое. Но рядовой солдат во мне, видимо, живет неистребимо.

А что было дальше? А дальше было: японцы достигли наших позиций, завязалась рукопашная, вторая рота дрогнула, отошла, комбат приказал мне ударить японцам во фланг, восстановить положение, я ударил, восстановил, в общем - японцы отступили, а батальон и вышедшие из укрытия танки преследовали противника, загнали его в болота.

И здесь, у кромки болот, пуля сгубила Егоршу Свиридова.

У меня на глазах: ои как будто оступился, стал заваливаться и упал навзничь. Я подбежал: белокурая голова в крови, в крови и

лицо - пуля вошла в переносицу. Снайпер. Наповал. Убил, наверное, перед собственной смертью. Успел убить.

В других ротах тоже были убитые, и выросла братская могила.

Все отработано: фанерная пирамида с фамилиями захороненных, жестяная звезда, жиденький залп над могилой - и прощайте, нам надо спешить. А я не мог поспешать, я стоял в изголовье и думал о Егорше Свиридове: еще один из фронтовиков-западников сложил голову на Востоке. Егорша, славный хлопец, который так любил петь танго, подыгрывая себе на аккордеоне. А Филипп Головастиков так любил его слушать. Ни того, ни другого уже нет в живых. Как листья с дерева, обрывает война людские жизни.

Медленно, по одному, от боя к бою редеет моя рота. И все-таки она выживет, всех не убьешь.

У могилы я не заплакал. А когда доложили: есть трофейный аккордеон, кому передать, - в глазах защипало. Егору бы Свиридову передать, да где он, Егор? В китайскую землю зарыт. И я сказал:

- Отдайте кому-нибудь...

- Да никто в нашей роте ие умеет добре играть!

- Отдайте во вторую роту, в третью. Куда-нибудь...

Старшина Колбаковскпй сказал:

- Товарищ лейтенант! Дозвольте мне в собственность взять.

Моя "Поема" скончалась под колесами, так возмещу убыток...

- Возьмите, Кондрат Петрович. Только прошу: не надо пока на ней никому играть.

- Будет сполнено, товарищ лейтенант!

А глаза здорово щипало. Парадокс войны: мы стали суровее, но и чувствительнее. Пахпет горько, тревожпо разрытой землей, полынью, чебрецом или чем-то иным. И я почти физически ощущаю, как во мне ожили, задвигались, забегали слова. В голове, в сердце, что ли? И я уже шепчу про себя:

Вот живешь - хорошо или плохо,
И вдруг гибельный чей-то конец...
Пусть от горя душа как оглохла,
Но ты чувствуешь: пахнет чебрец.

С недоумением, с испугом понял: опять сочинил стишки. Не отстает от меня, не отвязывается сочинительство. В такие-то минуты! А может, именно такие-то минуты и рождают поэзию?

Какую поэзию? Рифмоплетство - и больше ничего! Что за наказание в конце-то концов! До сочинения ли стихов командиру стрелковой роты лейтенанту Глушкову? Но, похоже, лейтенант Глушков их вроде бы и не сочиняет, они вроде бы сами

рождаются. А ну их к бисовой матери! Хотя вообще-то надо бы стишата не забыть. На всякий случай записать. Показать бы кому, посоветоваться. Кому же, как не Феде Трушину? Боязно. Засмеет...

А Егорша Свиридов исполнял свое новое - и последнее, предсмертное танго без музыкального сопровождения. Как там было?

"Подари мне забвенье, подари мне любовь..." И чем это хуже моих стишков? А я морщился... Ах, Егор, Егор, зачем ты погиб...

Сочинить бы стихотворение про тебя, про Филиппа Головастикова...

А жизнь, конечно, продолжалась. Продолжалась война. Мы продолжали продвигаться на юг. В небе солнышко, но реки вздутые, и с ними беда: мосты взорваны или снесены, а там, где разрушены дамбы, поля залиты водой, туда и не суйся, засядешь: пехота - по шею, танки - по башню. Дышится тяжело: испарения, воздух волглый. Зеркальным блеском слепит разлившаяся вода:

под ней, невидимые, рис и просо, а торчат там и сям головы подсолнухов и кукурузные початки, стебли тоже под водой. Все это - по обе стороны насыпи, она ведет прямо куда нам нужно, но вдруг обрывается провалом: дамба взорвана. Ситуация: пути назад нет и вперед не можем двигаться. Выход один: ремонтировать дамбу, чтоб ей ни дна ни покрышки!

Опять выручают местные жители. Из сумерек появляются мужчины, женщины, старики, дети. Невероятный гвалт, восклицания: "Шанго! Хао! [Хорошо (кит.)]". Хорошо, что нас так встречают, плохо - что дамба взорвана. Китайцы растолковывают нам отчасти словами, но больше жестами: они помогут. Помогут? Вот это хао!

Китайцы разбежались и вернулись из деревни с тачками, лопатами, корзинами на коромыслах, некоторые прихватили с собой арбузы, дыни, огурцы, помидоры и теперь совали всю эту вкуснятину нам. Сами нищие, полуголодные, а попробуй откажись. Ну, спасибо! Шапго! Хао! Пока командир саперной роты расставлял людей, мы расправились с арбузами и дынями.

Вместе с саперами и выделенными от стрелковых рот взводами китайцы принялись таскать камни, гравий и землю, гатить насыпь. Вытянувшись в цепочку, перебрасывали камни из рук в руки; гравий возили на тачках, землю носили в корзинах, подвешенных на веревках и коромыслах. И все бегом, бегом. Вздымая желтые брызги, в воду плюхались большие и малые камни. И кругом шутки, смех. Веселый труд, пусть пот заливает глаза, поясница ноет, колени дрожат. Э, как работается, когда знаешь, ради чего!

Дамбу залатали, и машины осторожненько пошли по

опасному месту. Нет, все в порядке, латка выдержала и дополнительные нагрузки: танки были облеплены китайцами, которых мы довезли до деревни. Признаться, я тревожился: как бы не раздавить кого в этаком столпотворении. Микола Симопенко, распрощавшись с пассажирами, сказал:

- Товарищ лейтенант! Симпатяги эти китайцы. Трудолюбивые, як те муравьи... Дай свободу такому народу - он горы своротит!

- Да, Микола, да, - сказал я. - Главная забота - чтоб к власти пришел именно пород, а не те, кто привык сидеть у него на шее и помыкать, как вздумается...

- Дюже правильно рассуждаете, товарищ лейтенант!

- Стараюсь, парторг, стараюсь...

Мотор взревел, заглушая наш разговор и плеск речной волны. Мы буравили тьму и, казалось, не ехали по узкой дамбе, а плыли по реке: окрест вода, вода. Деревня осталась в стороне, фанза к фанзе, без огонька, с надрывным собачьим воем. Будто растворилась в темноте.

Вскоре дамба кончилась, мы свернули на щебенку и наткнулись еще на одну деревню. Она лежала у подножия холма, затаившись за земляным валом, даже собаки не брехали. Федя Трушин сказал:

- Как вымерла! Что это значит?

- Может быть, жители ушли в горы пересидеть тревожную пору? Так ведь бывало...

Да, такое нам встречалось: крестьяне, опасаясь жестокости отступающих японцев и местных хунхузов, забирали с собой семьи и пожитки и прятались в горах до подхода советских войск. По тут что-то иное. Земляной забор в нескольких местах порушен, есть полусгоревшие фанзы, а вон и трупы: седой китаец, соломенная шляпа откинута за голую спину и вся в крови, рядом ребенок с размозженной головой. Я сказал замполиту:

- Слушай, Федор, в деревне случилась какая-то трагедия...

- Разберемся. Остановимся на ночлег, разберемся...

Мы разбили бивак километрах в двух от деревни, на холме повыше, посуше. Выставили охранение. Поужинали. Солдаты улеглись спать, а мы - Трушин, уполномоченный Смерша, я и отделение из взвода Славы Черкасова отправились в безымянную деревеньку, каких в Маньчжурии тысячи. Было тепло, сыро, ветрено: ветры тут муссонные, дуют полгода с берега, полгода с Желтого моря - на Ляодунский полуостров и далее через всю Маньчжурию до Главного Хинганского хребта, он-то и не дает этим влажным и теплым ветрам дойти до Внешней Монголии, до Забайкалья. Под подошвами у нас чавкала напитавшаяся водой

земля, по плащ-палаткам стегали кустарниковые ветки, стегалиподстегивали: шире, мол, шаг. Мы убыстряли движение, ноги скользили, разъезжались. Молчали, лишь затрудненное дыхание.

У меня ныло сердце в предчувствии: что-то ужасное стряслось с этой безымянной деревней.

Так оно и оказалось. Мы зашли в первую с краю фанзу и замерли: на кане, на полу валялись мертвые тела. Мужчина лежал на боку, подвернув руку, глаза выколоты, нос отрезан, женщина распластана, как распята, оголенные ноги разведены, груди отрезаны, старик, старуха и дети вповалку, и под всеми кровавые лужи, и у всех ножевые раны. От пресного запаха крови у меня закружилась голова, я вышел во двор и увидел в бурьяне убитую собаку. Убивали и людей и собак, все живое убивали.

В фанзе я наступал на кровавые лужи, вероятно, сапоги испачкал. Нарвал пучок травы, обтер. Показалось: теперь руки пспачкал, вытер их о траву.

Мы переходили из фанзы в фанзу, и всюду трупы, трупы, следы ужасающей жестокости и насилия. Выродки убивали и насиловали хладнокровно, деловито, грабили, если здесь было что грабить. После убийства, видимо, поджигали фанзы - задымленные, подкопченные, но дождь не позволил пламени разгореться, фанзы не сгорели. Японцы, хунхузы? И те и другие на это способны.

У пленных самураев находили фотокарточки - запечатлено, что вытворяли над китайцами: стреляют в затылок крестьянам, растлевают девочек, ребенка насаживают на штык, режут, отрубают головы, руки, ноги. Совсем как гитлеровцы, которые тоже обожали фотографировать свои зверства. На память. Как сувенир. Люди хуже зверей. На мне нет чужой невинной крови, но, может быть, приди наши части сюда пораньше, не было бы трагедии в этой безвестной деревушке? Вот чем иногда оборачивается прозаическое, канцелярское: темпы продвижения.

В предпоследней фанзе мы отыскали единственного уцелевшего - старик, избитый, изрезанный, в какой-то овечьей ли, собачьей ли шкуре, который и рассказал нам: деревня стала жертвой одновременного нападения солнечных людей (так японцы требовали себя называть) и хунхузов, они не мешали друг другу, делали общее кровавое дело. Совершив расправу, японцы ушли на юг, а хунхузы - в горы. Старик был как святые мощи, полуслеп и полуглух. Его перевязали, накормили. Замполит и смершевец наспех составили акт о злодеянии. Мы все подписали его, уверенные: когда-нибудь состоится международный суд над военными преступниками, тогда и наша бумажка сгодится.

Уходили уже во тьме-тьмущей, посвечивая фонариками. Солдаты подавленно перебрасывались фразами;

- Нагляделся я: от душегубцы!

- Самураи не лучше фашистов...

- А хунхузы? Разбойники, свои режут своих!

- Что японцы, что энти... хунхузы стоят друг дружки!

- Захоронить бы погибших, да, может, еще расследование какое будет. Прокуратура...

- С нами Смерш был, чего еще надо?

- Подумать только: целую деревню нужно похоронить, один старикан и остался...

А утром, пройдя десяток-другой километров на юго-восток, мы наткнулись на следы боя: трупы японцев и маньчжуров в военной форме, разбитые "гочкисы", "арисаки", увязшая в грязи пушка, россыпь покрытых прозеленью патронов. Решили, что кто-то до нас - кравченковцы либо стрелковая дивизия - потрепал противника. Но было другое.

Из-под камней, из глубокой, волчьей ямы выполз моложавый черноусый маньчжур: работал локтями, ноги волочились, перебитые, весь в кровище, стонет. Нам кое-как объяснил: укрывался тут, после боя, солдаты-маньчжуры хотели арестовать японских инструкторов и сдаться в плен, по те опередили их, открыли пулеметный огонь.

- Еще раненые есть? - спросил комбриг.

- Есть. Лежат в укрытиях...

Комбриг приказал поискать раненых, всех перевязать и отправить в ближайший поселок в сопровождении нашего санинструктора. Раненые маньчжуры истекали кровью, и я с опаской подумал, что до поселка они могут и не доехать. Было повсеместно:

маньчжурские части сдавались или хотели сдаться, а японцы подавляли их железом и кровью. Логика: сам погибаю и других тащу за собой.

Едва отправили раненых маньчжуров, из ивняковых зарослей вынырнули два полуголых китайца в соломенных шляпах за спинами и, жестикулируя, так затараторили, что комбриг покачал своей массивной головой:

- По одному. И не скороговоркой...

Китайцы, по-видпмому, его не поняли, заговорили еще быстрей, забивая друг друга. Позвали лейтенанта-переводчика, он навел порядок, и выяснилось: крестьяне из соседней деревни, южнее нее, у дамбы, японцы устроили засаду! Сообщение было серьезное, и полковник Карзанов, нахмурившись, увел крестьян в штабной автобус для более обстоятельного разговора. Потом

собрали офицеров, полковник объявил нам:

- Самураи организовали довольно сильную засаду - противотанковые пушки, смертники с минами, снайперы, все обращено на север... Я принял решение: имитировать лобовое, на юг, движение к дамбе, обойти засаду с тыла, внезапно ударить и разгромить. Подразделениям выполнять следующие задачи...

Пока он растолковывал, что делать танкам, артиллерии, стрелковым ротам, пулеметчикам, саперам, я напряженно гадал: удастся ли избежать потерь? Совершенно избежать - это вряд ли, но потери минимальные - это-то возможно? Надо, чтоб немного повезло. Умение воевать - это одно, везение другое. Случай слеп, а на войне их полно, случайностей. Фаталист не фаталист, но приходится верить в счастливую звезду, без такой веры трудно воевать.

Крестьяне уверяли, что засада находится отсюда в двенадцати ли. Совсем близко! Значит, танковый гул уже слышен японцам.

Надо гудеть-шуметь погромче, вот почему полковник Карзанов приказал танкам и самоходкам еще продвинуться на юг, но не настолько, чтоб их могла достать японская артиллерия. А стрелковые роты с приданными орудиями и "максимами" скрытно, тихонько обойдут засаду, охватят ее намертво.

Разведчиками и личной рекогносцировкой командира передового отряда полковника Карзаиова было установлено: пушки японцы расположили в ивняке, по обоим бокам грунтовки, смертники с минами и смертники-снайперы выдвинуты перед дорогой, в целом японские позиции имеют форму подковы: как бы заманивают отряд в мешок. Расчет дерзкий, если не сказать авантюристический, ведь при нашем подавляющем превосходстве в живой силе и технике на что они могут рассчитывать, даже если б мы и поддались на уловку? Но не поддались. В мешок попадут они сами.

Моя и вторая роты под общим командованием комбата пошли в обход вправо. Мы шлепали по лужам, по грязи. Вытягивали вязнувшие пушки, временами выносили их буквально на руках.

Солдаты хрипло, надсадно дышали, стараясь не проронить ни звука. Артиллерийские коняги, к сожалению, ржали. Но главный шум был в центре, преднамеренный: вовсю гудели двигатели, сигналили автомашины. Я шагал впереди колонны, рядом с капитаном. Он прихрамывал, но был уже без палочки, к которой, видимо, привыкли и он и его подчиненные. Стало быть, заполученная еще под Кенигсбергом рана окончательно зарубцевалась. Это хорошо, когда раны на теле и на душе

рубцуются. А что иногда к ненастью будут ныть, так это ничего, это ничего.

Солнечно - солнце после многодневных на небе туч ослепительное, щедрое, волгло, душно. Капельки пота стекают со лба, по щекам, за ушами. Вынимаю носовой платок, утираюсь. Но пот щекотно стекает и по спине, спину не вытрешь, только передернешь лопатками. От этого не легче. Признаться, мы малость отвыкли от пешего хождения, все на тапочках да "студерах".

В сапогах хлюпает, портянки съезжают, сбиваются. Будут потертости, если не перемотать. А перематывать некогда, нельзя останавливаться, капитан поторапливает, идем ускоренным шагом. Это позор - потертости ног у командира роты. Но, может, еще и обойдется. Автомат привычно колотит по горбу, чуть что, если надо, перекину на грудь, и нажимай на спуск, протарахтит очередь.

Опять увязла пушка. Комбат дергает подбородком, это значит - надо помочь. Я говорю:

- Сержант Симоненко! Логачеев! Кулагин! Нестеров! К пушке!

Знаю, кого называть: Логачеев и Симоненко - силачи, Кулагин и Нестеров - заводные, им дай побыть на виду, жилы порвут, а сделают, чтоб народ видел, какие они. У Вадика Нестерова это по молодости, у Толи Кулагина - в крови. Чавкает грязь, булькает вода, в ивняке звенькают птицы. Их не смущают ни наше появление, ни гул танков и автомашин невдалеке. А как ребята, что пошли в обход слева? Пока, кажется, нормальпо:

стрельбы не слыхать. И у нас нормально: японцы нас не обнаружили. Дай-то бог и впредь.

Распогодилось - начнет действовать краснозвездная авиация.

Будет штурмовать, бомбить. Чтоб квантунцы поскорей образумились, поскорей приняли капитуляцию. И не на словах, а на деле.

Светит солнышко - символ Японской империи, Страны восходящего солнца, эти желтые круги на флагах, на самолетах, и где еще я их видел? Теперь самурайское солнце закатится.

Роты растягиваются. Мы с капитаном останавливаемся, поджидаем, пока подтянутся. Идем снова. Доходим до какой-то развалюхи, захлестнутой бурьяном. Берем левей, еще левей, потом правей, потом опять прямо. Комбат говорит:

- Японские позиции неподалеку. Соблюдать звукомаскировку и бдительность! Ждать сигнала! Втемяшилось?

- Так точно, втемяшилось!

- Пойдем в атаку, Глушков, не суйся поперед батьки в пекло... Не лезь в цепь, у тебя такой грешок есть...

- Исправлюсь, товарищ капитан!

- Торопись исправляться, а то войне конец. - Комбат, знаю же, улыбается, однако его стянутое ожогами лицо неподвижно.

Кошусь на него и думаю: сколько бы я ни жил, кем бы ни стал после Победы, главным в моей жизни была и останется война, и нет и не будет важнее того, что я иду в этом воинском строю, среди друзей-фронтовиков. Не скажу, что они очень уж святые, эти люди в пропотелых, просоленных гимнастерках, в стоптанных, облепленных кое-где подсыхающей желтой грязью сапогах, в выцветших пилотках набекрень, лихо надвинутых на запавшие, усталые глаза. Но я счастлив, что принадлежу к их ратному родуплемени.

Левей нас над леском взмыла зеленая ракета, донеслись крики и автоматная стрельба. Наши! Комбат крикнул, чтобы мы разворачивались в цепь и бегом, охватывая ивняк, - на соединение с соседом. Разворачиваясь на бегу, роты ломили кустарником.

Я трусил с прихрамывающим комбатом. Ветки хлестали по рукам, по лицам, под сапогами взасос хлюпала грязь. Где-то серия гранатных взрывов, пулеметные очереди. Скорей, скорей к японским позициям! Выбегаем на опушку: огневые позиции, окопы.

С криком "ура", нажимая на спусковые крючки автоматов, швыряя гранаты, накатываем на японцев. Они - кто отстреливается, кто поднимает руки, кто дает деру в кустарник, в чащобу.

Мы развернулись и теперь правым флангом смыкаемся с нашими, образуя что-то вроде кольца вокруг японских позиций. Раза два-три рявкнула вражья пушка и умолкла, будто поперхнулась собственным снарядом. Наша стрельба нарастает. Крики "ура" то никнут, то вздымаются. По центру гудят танки и самоходные установки, изредка стреляют. Снарядов мало, зато гусеницами могут давить - комбриг и поставил им в основном эту задачу.

Бой выдался даже более коротким, чем я предполагал. Раздвигая ветки, круша, размолачивая стволы деревьев, из чащи навстречу нам выполз танк сто двадцать седьмой, макухннскпй! - и я уразумел: бою конец! Стрельба утихала, японцы в перепачканной, изорванной одежде - некоторые были ранены - складывали оружие. Горка его росла, и росла моя радость: никто в моей роте не пострадал.

Будни войны разматывались, как телефонный провод с катушки связиста, неостановимо, беспрерывно. Изо дня в день .марши и бои, но и в их напряженном чередовании нам не хватало новостей - как действует Забайкальский фронт, как

Дальневосточные фронты, Тихоокеанский флот, Амурская флотилия, не хватало масштабных новостей. Из-за нелетной погоды самолеты давненько не доставляли нам газет. Из-за этого же ненастья и главным образом из-за гор походные радиостанции еле-еле поддерживали связь со штабом армии, штабом корпуса, чуть лучше - с идущими по соседству стрелковой дивизией и артиллерийским полком. Выручил трофейный радиоприемник. Крутили ручку настройки, сдвигая стрелку волноискателя, светофором горел зеленый глазок, в утробе приемника потрескивали разряды. Сквозь шорох и треск прорезалась чужая речь, чужая музыка, а сквозь это, чужое, прорезалось вдруг свое, русское. Москва? Хабаровск? Чита?

Похоже, передавали сводку Совинформбгоро, из которой явствовало, что нынешний день на Дальнем Востоке прошел под знаком контратак японских войск против позиций советских войск.

Получается: то, что происходит с нашим передовым отрядом, типично. Японцы по-прежнему огрызаются.

Из той же радиопередачи мы узнали, что войска Забайкальского и Первого Дальневосточного фронтов успешно продвигаются навстречу друг другу, как клешами охватывают Кватпупскую армию, и между передовыми отрядами фронтов не более двухсот километров. Ловушка захлопнется, "котел" будет отменный. Новость что надо.

На привале солдатушки гаркнули:

Эх, махорочка-махорка.

Породнились мы с тобой!

Вдаль глядят дозоры зорко,

Мы готовы в бой,

Мы готовы в бой!

Вот это стишки - лучше не придумаешь: и про махорку верно, и про дозоры, и про боеготовность. А то развез мерихлюпдию:

душа глохла, гибельный конец, пахнет чебрец! Под "Махорочку" и строевым можно рубать. А кто будет маршировать под твои сочинения, Глушков?

30

ВОЗДУШНЫЕ ДЕСАНТЫ

События под Муданьцзяном - первым крупным городом на пути ударной группировки 1-го Дальневосточного фронта - огорчали маршала Мерецкова: наступление замедлилось, сказались и мощь неприятельских укреплений, и наводнение, и переброска в мудапытзянскую группировку фронтовых резервов. Поэтому командующий фронтом повернул основные силы 5-й армии генерал-полковпика Крылова в обход Мудапьцзяна на

Гирин, а на 1-ю Краснознаменную армию генерал-полковника Белобородова возложил захват города с последующим продвижением на Харбин.

События же на левом крыле фронта развивались, радуя Кирилла Афанасьевича: 25-я армия генерал-полковника Чистякова, усиленная 10-м механизированным корпусом генерал-лейтенанта танковых войск Васильева, успешно наступала в сторону Гирина.

А еще одиннадцатого августа моряки-тихоокеанцы высадили десант разведчиков в северокорейском порту Юки. Началась также высадка морских десантов в портах Расин и Сейсин. Па соединение с десантами устремились по побережью войска 25-й армии.

Таким образом блокировалось возможное отступление Квантунской армии в метрополию.

У начальника инженерных войск 1-го Дальневосточного фронта Аркадия Федоровича Хренова весть о тех десантах вызвала в памяти давние события: Крым, Феодосия, торпедные катера, врывающиеся в занятый гитлеровцами порт, высаживающиеся на причал батальоны. Дерзкий, внезапный десант! А почему бы идею десантирования не использовать для взятия Харбина и Гирпна - главных объектов наступления фронта? Хотя моря тут нет. и корабли не нужны. Другое нужно...

Взвесив все и продумав, генерал-полковник инженерных войск Хренов рискнул доложить о своей идее Мерецкову. Тот принял незамедлительно, любезно предложил:

- Майку попьешь?

- Не до чаю, Кирилл Афанасьевич! Есть предложение по скорейшему захвату Харбина и Гирина.

- По скорейшему? Интересно! - Мерецков оживился, отодвинул стакан с чаем, - Докладывай.

- Предложение такое: срочно готовить воздушные десанты и высаживать там!

Мерецков поглядел на Хренова исподлобья:

- Инженер, ты разве не знаешь, что у нас нет парашютных полков?

- У пас достаточно транспортной авиации. Десанты можно высадить прямо на аэродромах. Сыграем на полной внезапности.

- Ну что ты, что ты! - быстро, в своей манере как бы открещиваться проговорил Мерецков. - И не говори, это авантюра чистой Г.ОДЫ.

- Почему же авантюра? Я тут кое-что рассчитал...

- Пет, нет! Не будем об этом...

Сутулый, располневший Мерецков и маленький, удивительно

статный Хренов заговорили об инженерных нуждах фронта. Но каждый думал о своем, проистекавшем из только что оборваппого разговора. Аркадии Федорович знал, что командующий ценит его и доверяет ему, однако знал и другое командующий осторожен.

Мерецков позвонил Главкому, Василевский идею десантов одобрил, позвонил и другим командующим фроптами, довел до их сведения инициативу 1-го Дальневосточного и дал каждому комфронта право подписывать с японцами конкретные документы о капитуляции.

Два дня спустя, когда главная группировка продвинулась уже на полтораста километров, Мерецков вызвал Хренова и как ни в чем не бывало спросил:

- Ну, Аркадий Федорович, готовы твои десанты?

- Готовятся, товарищ командующий. Под непосредственным руководством подполковника Забелина Ивана Николаевича.

- Десанты формируются из саперов?

- Да, из штурмовых подразделений преимущественно. Народ отборный.

- Вот и хорошо. На днях десанты могут пригодиться. Если японцы взорвут в Харбине и Гирине мосты через Сунгари, нашим войскам придется там долго топтаться. Стало быть, одпа из задач десантов - захватить мосты, не допустить их разрушения. И, разумеется, захват ключевых объектов в городе... Готовь людей и жди команды...

- Слушаюсь, товарищ командующий!

- А операцию назовем - "Мост"...

Восемнадцатое августа. Десанты, сформированные из личного состава 20-й штурмовой бригады - в каждом по сто пятьдесят человек, - расселись по самолетам. Саперы-штурмовики вооружены автоматами, пулеметами, огнеметами, гранатами, взрывчаткой, ножами. Каждому бойцу вручен план города, где помечены объекты для захвата и пути подхода к ним. Отлажена и радиосвязь: отряды снабдили радиостанциями "Север".

Наконец взлет! Его ожидали долго, мучительно. Дело в том, что молчал главнокомандующий Кваптуиской армией генерал Ямада. В семнадцать часов маршал Мерецков позвонил гепералмайору Шелахову, особоуполномоченному Военного совета фронта, вылетавшему с первым эшелоном десанта на Харбин:

- Ответа от командующего Квантупской армией на радиограмму нашего Главкома о вылете вашей группы пет. Ждать больше не будем. Приступайте к выполнению поставленной задачи.

Желаю успеха.

Предельно загруженные людьми, вооружением, боеприпасами транспортники в сопровождении истребителей и бомбардировщиков прикрытия поплыли над сопками, над деревнями. Бойцы прильнули к иллюминаторам: разливы речек, тайга, поля, ленты дорог, догорающие пожары - японцы сжигали за собой что можно, это напоминало тактику выжженной земли, которой гитлеровцы придерживались на советско-германском фронте.

Первый отряд летел курсом на Харбин, второй - на Гирин.

Пересекли линию фронта, где еще шли бои, и через два часа, преодолев двести пятьдесят километров, отряд под командованием подполковника Забелина был лад Харбином. Забелин доложил Шелахову:

- Товарищ генерал, мы у цели!

Шелахов кивнул, прижался к иллюминатору. Город на правом берегу Сунгари просматривался в вечерней дымке, позолоченной закатом, отражая солнце. слепо поблескивали бесчисленные окна. Город Харбин ни о чем не ведал...

Развернувшись над городскими кварталами, транспортные самолеты пошли на посадку. Шелахову видно в иллюминатор: к посадочной полосе бегут японские солдаты. Главное - ошеломить внезапностью и решительностью, чтоб поняли сразу: сопротивление бесполезно. Колеса коснулись посадочного поля, самолеты пробежали и остановились. Дверцы открыты, десантники спрыгивают наземь. Генерал Шелахов торопит:

- К объектам! Живо!

Винтовочные выстрелы и отлетные автоматные очереди. Неужто будет бой? По стрельба на этом прекратилась, и Шелахов вздохнул облегченно. Аэродромная охрана разбежалась, а спешившие к аэродрому солдаты-пехотинцы были схвачены и отконвоированы в казарму. Автоматчики заняли ангары, мастерские, прилегающие к взлетно-посадочным полосам каменные здания.

Когда весь аэродром оказался в руках десантников, Шелахов вторично вздохнул с облегчением. На все про все ушло полчаса, и в 19.30 он уже радировал маршалу Мерецкову: "В 19.00 авиадесант приземлился на аэродроме Харбин и приступил к выполнению задачи".

Еще через полчаса Забелин доложил Шелахову: в служебном помещении аэродрома обнаружена группа японских генералов, Шелахов приказал:

- Ведите ко мне!

Это была крупная удача! Среди задержанных оказался начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант

Хикосабуро Хата с сопровождающими лицами. Хата и его генералы до странности однообразны: желтые вытянутые физиономии, очкастые, сутулые, в сапогах-бутылках, коричневых мундирах с орденскими ленточками и маленьких фуражках с кургузыми козырьками, ненатурально улыбаются, прячут растерянные, унылые взгляды.

Хата встал, представился и представил свою свиту Шелахову. Тот задал пяток вопросов, и стало ясно, что Квантупский штаб практически не управляет войсками, нет даже попыток как-то связаться со своими соединениями и частями, где отступающими, где еще сопротивляющимися.

- Выход у вас один - безоговорочная капитуляция! - жестко сказал Шелахов.

- Но почему же капитуляция? Мы можем вести переговоры о перемирии.

- Только капитуляция! Иначе аэродром и места дислокации японских войск будут подвергнуты уничтожающей бомбардировке.

Хата и его генералы бледнеют, краснеют, переминаются. Шелахов тем же, по терпящим возражений топом говорит:

- Я предлагаю, господин генерал-лейтенант, следующие условия капитуляции японских войск. Первое. Во избежание бесцельного кровопролития командование советских войск предлагает немедленно прекратить сопротивление и приступить к организованной сдаче в плен, для чего через два часа представить данные о боевом и численном составе войск Харбинской зоны.

Второе. При добровольной капитуляции генералам и офицерам Кваптунскон армии до особого распоряжения советского командования разрешается иметь при себе холодное оружие и оставаться на своих квартирах. Третье. Ответственность за сохранение и порядок сдачи вооружения, боеприпасов, складов, баз и другого военного имущества до подхода советских войск полностью песет японское командование. Четвертое. До подхода советских войск поддержание надлежащего порядка в городе Харбине и его окрестностях возлагается на японские части, для чего разрешается иметь часть вооруженных подразделений во главе с японскими офицерами. Пятое. Важнейшие объекты в Харбине и окрестностях, как-то: аэродромы, мосты на реке Сунгари, железнодорожный узел, телефон, почтовые учреждения, банки и другие важнейшие объекты - подлежат занятию подразделениями десанта немедленно. Шестое. Для согласования вопросов, связанных с капитуляцией и разоружением всей Кваитунской армии на территории

Маньчжурии, начальнику штаба Кваптуыской армии генераллейтенанту Хата, японскому консулу в Харбине Миякава и другим лицам по усмотрению японского командования предлагаю в семь ноль-ноль девятнадцатого августа на самолете нашего десанта отправиться на КП командующего 1-м Дальневосточным фронтом...

Шелахов умолк. Молчали и японцы. Пауза, как шаровая молния, покружила по комнате и вылетела в форточку. Японские генералы заговорили между собой - громко, сбивчиво. Шелахов терпеливо ждал. Наконец Хата пристукнул костяшками пальцев по столу, генералы примолкли. Хата скрипуче, будто слова терлись друг о друга, сказал, что на подготовку ответа надо три часа.

- Согласен, пусть будет трп часа, - ответил Шелахов. - Меня найдете в советском консульстве.

В сопровождении части десантников генерал Шелахов и консул Павлычев отбыли в консульство, а другая часть десантников заняла в городе здания японской миссии, жандармерии и полицейского управления. Была выставлена паша охрана у важнейших объектов - мостов, электростанций, вокзала, радиостанции, телеграфа, главпочтамта, банков. Шелахов принимал донесения по телефону, поглядывая в окна консульского особняка: за железной оградой японские солдаты плотной цепочкой, а с внутренней стороны, со двора здание охраняется вооруженными сотрудниками консульства вместе с десантниками.

Консул успел рассказать генералу Шелахову:

- В первый день войны все сотрудники консульства с семьями были арестованы, водворены в товарные вагоны и по железной дороге направлены в Дальний, чтобы в последующем переправить их в Японию. Но стремительное наступление наших войск сорвало замыслы японцев, и они срочно, под усиленной охраной, возвратили сотрудников консульства в Харбин и вот ныне, как видите, усердно нас оберегают.

- Скоро их самих, Георгий Иванович, придется оберегать, - сказал Шелахов, быть может впервые за этот день улыбнувшись.

За окнами затаился объявленный японцами на осадном положении Харбин: бульвары завалены спиленными деревьями, мостовые перерыты траншеями, булыжник разобран, в подвалах пулеметные точки, на улицах - дзоты, проволочные заграждения, на перекрестках - тапки и пушки. Все предназначено для длительной борьбы, по ее-то, по-видимому, не будет. Да, не будет, ибо к двадцати трем часам, как и было обусловлено, в консульство прибыли командующий и начальник штаба 4-й

армии. Они выложили на стол Шелахову бумаги: ответ на условия капитулянт!, приказ главнокомандующего Квантунской армией о прекращении боевых действий и разоружении, именной список генералов и сведения о личном составе частей Харбинского гарнизона численностью свыше сорока трех тысяч человек.

Ночь на девятнадцатое в Харбине прошла относительно спокойно. Лишь изредка на улицах взрывалась граната, тарахтела автоматная очередь, кое-где вспыхивали пожары. Как докладывали Шелахову, это не японцы, а местные хунхузы, пытавшиеся грабить магазины и склады. К утру стрельба стихла. В 7.00 генерал-лейтенант Хата, консул Миякава и группа генералов самолетом были отправлены на КП маршала Мерецкова.

А в Харбин вошла по Сунгари Краснознаменная Амурская флотилия с десантом от 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Стало веселее, ждали подхода полевых войск, которые из-за проливных дождей задерживались.

Генерал-майора Шелахова, пазпачеппого комендантом семисоттысячиого города, одолевали посетители. Среди них и довольно экзотические: бывший полковник царской армии при всех орденах и регалиях и священник в соответствующем сапу облачении, их просьба - разрешить молебен в честь доблестной Красной Армии.

- У нас свобода религии, - сказал Шелахов. - Зачем вам специальное разрешение?

- С разрешением лучше будет!

- Ну, пожалуйста...

И в полдень девятнадцатого, в воскресенье, даже ливень не помешал тысячам харбшщев заполнить Кафедральный собор и прилегающие к нему площади. А в Коммерческом собрании заседали представители русской общественности, предложившие горожанам привести Харбин в надлежащий вид, дабы достойно встретить доблестные части Красной Армии. Это было очень кстати: надо было превращать город из осадного в мирный. Радовало, что открылись магазины, харчевни, парикмахерские. Должны возобновить работу заводы и фабрики, фирмы и компании.

Харбин - во многом русский город, русская речь слышна не реже, чем китайская пли японская: эмигранты, эмигранты. Много домов выстроено русскими купцами, торговцами, железнодорожниками, чиновниками. В центре огромные вывески: магазин "Иркутск", "Томское торговое товарищество", "Красноярский скупочный магазин", "Галантерея. Иван Зудов и

Ко", с непременным твердым знаком. Едет комендант по Харбину - японцы отдают честь - мимо отеля "Ямато", по Вокзальному проспекту, по Коммерческой улице, и будто из далекого детства выплывают чиновники, студенты, гимназисты в форменных куртках и картузах, дворники в фартуках и с бляхами, попы в рясах, ломовые извозчики в поддевках, легкачи-дутики в атласных рубашках, но все это русское, старорежимное словно втиснуто в азиатчину, какоето оно инородное в ней. И ее в себе не растворили, и сами в ней не растворились.

Девятнадцатого августа 1-й Дальневосточный фронт успешно высадил воздушный десант и в Гирине. Гарнизон капитулировал, а назавтра в город вошел передовой отряд 10-го мехкорпуса.

В агентурных донесениях, поступавших в штаб Забайкальского фронта, говорилось: Чанчунь, столица Маньчжоу-Го, ужо несколько дней объят паникой, на юг, в сторону Мукдена, непрерывным потоком идут автомашины, с железнодорожных станций ежечасно отходят поезда, переполненные японцами: чиновники, коммерсанты, владельцы предприятий. В этой ситуации Военный совет фронта решил высадить в Чанчуне и Мукдене воздушные десанты и вместе с ними своих уполномоченных для переговоров с японским командованием о безоговорочной капитуляции Кваптупской армии. К главнокомандующему Квантунской армией генералу Ямада, находившемуся в своей резиденции в Чанчуне, направлялся полковник Артемепко. Ему был вручен мандат-удостоверение за подписью маршала Малиновского и текст ультиматума. Родион Яковлевич сам приехал на аэродром проводить парламентерскую группу и пожелать ей, как он выразился, ни пуха ни пера.

В восемь утра восемнадцатого августа группа полковника Артеменко вылетела с монгольского аэродрома и взяла курс на юговосток. Самолет прошел над Большим Хинганом в грозовых тучах и приземлился на маньчжурской территории, у города Туиляо, на окраине которого еще были бои. Здесь парламентеров встретил командующий 6-й гвардейской танковой армией генералполковник танковых войск Кравченко, выделявший личный состав для десанта. Кравченко и его штабисты совместно с прибывшей группой проработали все, что относилось к приземлению десанта в Чанчуне и выполнению боевых задач после посадки. Утром девятнадцатого транспортный самолет с парламентерской группой, сопровождаемый девяткой "ЯКов", вылетел из Туиляо, курс - на Чанчунь. А генералу Отодзо Ямада радировали:

"Сегодня, 19 августа в 8.00, парламентерская группа в составе пяти офицеров и шести рядовых, возглавляемая уполномоченным

командующего Забайкальским фронтом полковником Артемепко П. Т., самолетом "СП-47", в сопровождении девяти истребителей отправлена в штаб Квантунской армии с ультиматумом о безоговорочной капитуляции и прекращении сопротивления. В последний раз требую обеспечить и подтвердить гарантию на перелет. В случае нарушения международных правил вся ответственность ляжет на вас лично. Р. Я. Малиновский, командующий Забайкальским фронтом, Маршал Советского Союза.

В полдень над военным аэродромом Чанчуня появилась советская эскадрилья, сопровождавшая транспортный самолет.

Маньчжурская столица была придавлена туманом и пеленой дождя-ситничка. Звено "ЯКов", прикрываемое с воздуха другими истребителями, приземлилось в центре расположения японских самолетов, стоявших несколькими рядами и не успевших даже взлететь.

Лишь трем самолетам это удалось, но они были отогнаны из зоны аэродрома. Сел и транспортный самолет. Парламентерская группа вышла, выкатили легковой автомобиль. Парламентеры направились в комендатуру аэродрома.

Войдя в комнату, полковник Артемепко по-хозяйски оглядывается, приказывает:

- Свяжите меня со штабом Кваптуиской армии.

Капитан-переводчик переводит. Японцы из-за столов с разложенными бумагами и бутылками пива, растерявшиеся, угодливо кивают.

- Господа, - говорит Артеменко. - занимайтесь, пожалуйста, своими делами. Пива выпейте, полдень очень жаркий...

Видимо, от великой растерянности некоторые японцы и точно пьют пиво. Артеменко говорит:

- Ну, вот и порядок. Генерал Ямада ждет нас. Мы поехали.

Извпнпте, что побеспокоили. Всего вам приятного!

Парламентеры садятся в свою машину и едут вслед за японской машиной. Туман приподнимается, но дождь сеет. Жарко, душно. Из пышной зелени предместий выступают лачуги: фанера, жесть, ящичные досочки. Ближе к центру здания каменные, красивые. Улицы широкие, длинные, прямые настоящие проспекты. Много цветов, особенно хризантем. Дребезжат трамваи, покрикивают рикши, толпы прохожих, как в водовороте, перемещаются с места на место. Фронт еще далеко, и город живет своей обычной жизнью, шумной и крикливой. Хотя въезды в него перекрыты заграждениями, на перекрестках доты и дзоты, артиллерия. Капитан-переводчик говорит:

- Товарищ полковник, в Чанчуне проживает шестьсот

восемьдесят тысяч китайцев, сто пятьдесят тысяч японцев и тридцать тысяч корейцев.

- Итого восемьсот шестьдесят тысяч. Солидно, Титареыко?

- Так точно, солидно!

В просторном кабинете главнокомандующего Кваптунской армией полковник Артемеико представляется и говорит:

- Перейдем без задержки к делу?

Генерал Ямада кивает.

- Титаренко, давай переводи поточней... Требования командующего Забайкальским фронтом следующие: немедленно прекратить огонь и сопротивление на всех участках фронта, сложить оружие, вывести все войска из столицы и прилегающих к ней районов в пункты, которые я укажу, и, наконец, подписать акт о безоговорочной капитуляции.

- Это все? - спрашивает Ямада.

- Нет, господин генерал, не все! Мы настоятельно предлагаем вам выступить по радио с приказом своим войскам о немедленном прекращении огня и капитуляции перед Советской Армией. А премьер-министру Чжану Цзипхуэю мы столь же настоятельно предлагаем обратиться по радио к народу Маньчжурии и объявить, что японские войска капитулировали и сложили оружие, что война прекращена и Красная Армия вступает в страну как освободительница народа от японских оккупантов.

Ямада пожевывает губы. Цокает языком:

- Безоговорочтгая капитуляция?

- Совершенно верно, господин генерал!

- И это предлагаете мне, командующему миллионной армией?

- Но армии-то как таковой уже пет, она разваливается.

- Она еще существует, она еще на многое способна! Это боевая сила! И, опираясь на нее, я могу вести переговоры о перемирии, а не о капитуляции.

- Именно о капитуляции, господин генерал. И пи о чем больше! - сказал Артеменко и подумал: "Для чего тянет волынку? На что надеется?"

- Только о перемирии!

- Господин геттера л, вы же противоречите себе! Вы дали нашему Главкому радиограмму о капптуляцни, а теперь куда клоните? Как это понять?

Ямада молчит, с деланным спокойствием постукивает подушечками сухих, костистых пальцев по кожаной папке с бумагами.

В кабинет, запыхавшись, входит дежурный офицер,

докладывает кома; г дующему:

- Ваше превосходительство! К столице приближается армада русских тяжелых самолетов под прикрытием истребителей. Наши самолеты подняться не могут. Аэродром блокирован русскими истребителями.

- Господин парламентер! - Ялгада встревожен. - Смею вас спросить как военачальник своих войск и территории, на которой вы находитесь: что это значит? Надеюсь, вы сможете объяснить?

- Смогу. Это самолеты, вызванные мною, мне в помощь для успешных: переговоров. - Артемепко непринужденно приглаживает жесткий ежик, без намека на улыбку говорит: - Смею вас также заверить как военачальник этих войск, что независимо от вашего поведения и обращения со мной, если я в условленное время не сообщу своему командованию положительных результатов, то город Чанчунь и его окрестности, которые вы превратили в военную крепость, будут подвергнуты разрушительной бомбардировке.

- Господин полковник, - обращается в упор Ямада, - есть ли еще время предотвратить бомбардировку города? Если это в вашей власти, я прошу вас сделать это.

- Это в моей власти, - отвечает парламентер. - Но и вы должны решиться...

- Я решился. - И Ямада замолкает на несколько секунд. Затем, очнувшись от оцепенения, резко вынимает свой самурайский "меч духа", несколько раз целует его, подает через стол, склонпв голову. - Теперь я ваш пленник. Диктуйте свою волю.

И все присутствующие в кабинете генералы вытаскивают свои самурайские мечи, целуют их, подают с низким поклоном. А вскоре прибывает Чжан Цзпнхуэп, как и положено марионеточному премьеру, личность тусклая, невзрачная. Он без излишних раздумий соглашается выступить по радио. Тут же в 14.30 Ямада подписывает акт о безоговорочной капитуляции. Выступил он и по радио. Началось разоружение Чанчупьского гарнизона. До подхода к городу наземных войск разоружение японцев и охрану электростанции, банков, радиостанции и других важнейших объектов взяли на себя десантники.

Девятнадцатого августа авиадесант был высажен и в Мукдене.

В десант были отобраны двести двадцать пять гвардейцев из Шестой танковой армии. Это были испытанные ребята, за их спиной война с Германией, бои на Большом Хппгане и в Гоби. Возглавил десант генерал-майор Нритула, уполномоченный Военного совета Забайкальского фронта.

Утром на аэродроме раздалась команда: "По самолетам!" - и

отряд погрузился в транспортники. Самолеты шли в облаках, а внизу, то видимое, то невидимое, кипело сражение: войска Шестой гвардейской танковой армпн выходили на дальипе подступы к городу.

Под крылом окраина Мукдена! Аэродромное поле б ангарами, с рядами японских самолетов - где целые, где одни остовы, поработала на днях наша авиация, вон и воронки. Советские истребители пронеслись над аэродромом на бреющем, от японских самолетов врассыпную бросились люди. Транспортники, сделав круг, присмотревшись, зашли на посадку. Истребители надежно прикрывали, их...

В небе появляются четыре японских истребителя. Они снижаются, чтобы сесть, и вдруг, разобрав, видимо, опознавательные знаки советских самолетов, взмывают, затем пикируют и врезаются в землю. Взрывы. Столбы пламени и дыма, обломки истребителей. Десантники у посадочной площадки переговариваются:

- Не пожелали сдаваться.

- Воздушным харакири покончили с собой.

- Может, это камикадзе, смертники?

- Шут их теперь разберет, после взрыва-то...

К помещению, которое занял штаб авиадесантников, подкатил в открытой машине щеголеватый японский офицер. Он докладывает:

- Командующий 3-м японским фронтом генерал Успроку Дзюн приглашает к себе представителей советского командования.

Ему отвечают:

- Посидите, пока мы не закончим дела...

Щеголь вскидывает брови:

- Но господин генерал ждет!

- Ничего, подождет. Нам надо организовать охрану важных объектов, наметить районы разоружения войск мукдеиского гарнизона и отвести место для сбора военнопленных, организовать отправку плененного на аэродроме марионеточного императора Мапьчжоу-Го Генриха Ну И...

- Генриха Ну И должны были доставить на самолете в Японию. А он. в ваших руках!

- Вот именно. И мы отправим его в Советский Союз...

Действительно, этому марионеточному императору не повезло.

После начала советско-японской войны генерал Ямада и советник Пу И японский генерал Иосыока настояли, чтобы Пу И перебрался в Корею, откуда его переправят в Японию.

Двенадцатого августа со всей своей свитой он поездом выехал из Чанчуня и на другой день прибыл в Корею. Но в основных портах Северной Кореи были уже наши войска, а у берегов курсировали наши корабли.

Самолетов, могущих переправить Пу И в Японию, на корейских аэродромах не нашлось. Рано утром девятнадцатого император и его свита на трех самолетах были переправлены в Мукден для посадки на большой самолет, способный долететь до метрополии.

И тут - советский воздушный десант! Надо было видеть, какое плаксивое выражение застыло на лице у этого Генриха, в штатском костюме, в белой рубашке с отложиым воротничком, в очках, похожего на студента-неудачника.

В штабе 3-го японского фронта часовые берут "на караул". Генерал-майора Притулу проводят в кабинет командующего. Из-за стола встает низкорослый старик, одетый в белую рубашку апаш, называется:

- Генерал Успроку Дзюп.

Рубашка апаш несколько озадачивает строгого, даже сурового Притулу. Что за маскарад? Или Успроку Дзюн в знак поражения снял мундир, или ему просто жарко, или в японской армии столь вольно относятся к форме? Так это пли не так, но советский представитель не подал вида и тоже назвался:

- Генерал Притула.

- Прошу вас садиться. Устраивайтесь поудобнее. Устали после перелета? Я, знаете ли, неважно переношу самолет... Не хотите ли взбодриться рюмочкой? Сакэ, водка, коньяк? Воин может позволить себе расслабиться, отдохнуть от забот...

- Спасибо, я ничего не хочу. Давайте ближе к сутп. И поконкретней. Нас интересуют данные о численности японских войск, дислокация частей, наличие оружия, боеприпасов и так далее...

Развязную гостеприимность Усироку Дзюн как рукой снимает.

Он хмурится, мнется, бубнит: мол, ввиду плохой связи с армиями он может руководить капитуляцией лишь по группе войск, расположенной вокруг Мукдена. Притула предлагает: поскольку командующий этой армией находится здесь же и он располагает более точными данными, пусть докладывает он. Командарм называет номера дивизий, бригад, число орудий и пулеметов.

Но, поймав сердитый взгляд начальника, начинает преуменьшать данные. Его поправляют. Он снова темп и т, поддерживаемый командующим фронтом. Генерал-майор

Притула знает, что Усироку Дзюн изворотлив и хитер, не зря его в армии прозвали лисом, чем старик втайне гордился, усматривая в этом сходство с германским генерал-фельдмаршалом Роммелем, которого окрестили лис пустыни. Да, японцы явно хитрят. Видимо, и в эту минуту они на что-то надеются. На что? На чудо, которое спасет Квантунскую армию от капитуляции? Такого чуда на свете нет и не будет...

Зато есть и будет реальность, и она заключается в том, что всем японским частям предложено к 19.00 сложить оружие. Генерал Притула рассылает своих офицеров в районы дислокации японских частей и соединений для контроля над ходом разоружения.

Все нормально: квантунцы сдают оружие, в том числе и в мукденском арсенале. А наутро колонна за колонной приходят в пункты сбора пленных.

Кроме арсенала, Мукден знаменит и лагерем союзных военнопленных. В первый же день пребывания в Мукдене представители Забайкальского фронта поехали в этот лагерь возле города. За колючей проволокой во дворе выстроились пленные: пожилые и молодые, американцы, англичане, австралийцы, французы, голландцы, генералы и рядовые. Наши офицеры вошли во внутренний двор, и что тут началось! Строй рассыпался, сотни, тысячи людей побежали навстречу им. Крики, слезы, улыбки. Генерал Притула с импровизированной трибуны сказал:

- Сегодня утром нашими частями занят город Мукден.

Я уполномочен сообщить вам. что с этого часа все американские, английские и другие союзные военнопленные, находящиеся в этом лагере, свободны.

Поднимаются в приветствиях руки освобожденных. Взлетают пплоткн, носовые платки, люди целуются, обнимаются, плачут.

Слово "свобода" повторяется на все лады, на всех языках. Бывшие пленники кричат и на русском языке:

- Свобода, свобода, свобода!

- От имени советского командования, - продолжает Притула, - поздравляю вас с победой союзных войск над японским империализмом!

Опять клики восторга. Советских офицеров качают с гиком, свистом и шутками. Каждый норовит хоть дотронуться до них. На крыльцо, служащее трибуной, взбегает человек в пилотке и ыайке, горячо, сбивчиво говорит по-английски:

- Я американский солдат, меяя зовут Александр Байон. Нам русские войска принесли свободу. Три с половиной года мы томились в японской тюрьме. Тысячи умирали от голода и пыток.

За все время только четырем удалось бежать из этого лагеря, но и они были схвачены и заморены до смерти. Нет слов, чтобы рассказать здесь об издевательствах японских властей над нами. Наши русские боевые друзья, к вам обращаюсь я, простой американец, со словами горячей благодарности и любви. Никто из нас не забудет этого дня. На всю жизнь мы ваши самые верные друзья, и эту дружбу с Россией мы завещаем своим детям!

Когда Александр Байон и переводивший его речь для советских офицеров лейтенант умолкают, генерал Притула произносит:

- Спасибо. Но это каш долг... Теперь прошу внимания: японская военная охрана лагеря разоружается, а виновные в пытках и издевательствах над военнопленными будут арестованы. Временно, до подхода советских частей, управление лагерем возлагается на американских и английских генералов. Он пожимает руку высокому, худому старику в американской военной форме, с двумя звездами на отложном воротнике, - нос у старика горбинкой, седая бородка, пергаментное лицо с синими прожилками. - Генерал Паркер, вы самый старший по чипу и по возрасту в Мукденском лагере. Я прошу вас стать временно начальником лагеря.

Паркер растроган, лейтенант переводит:

- Он благодарит за доверие, обещает оправдать. Он счастлив видеть русских. Он восхищен стремительным наступлением Красной Армии.

Генерал Паркер представляет стоящих рядом:

- Маршал авиации Великобритании Молтби. Генералы Джонс, Шарп и Чеиовет - командиры американских корпусов. Генералы Пиэрс, Фонк, Лаф - командиры дивизии...

Десантников никак не отпускают из лагеря: жмут руки, трогают за локти, просят автограф и сувенир - звездочку или пуговицу, расспрашивают о боях с Квантунской армией. Говорят: русские умеют воевать, мы восхищаемся вамп, мы расскажем о вас на родине.

Десантники поражены свидетельствами пленных: чем-либо провинившихся японцы подвешивали на крюках к степс, и они висели вниз головой, пока не умирали; или такое: человека распинали на какой-то машине, выкручивавшей руки и ноги; или такое: вырезали и съедали печень - ритуальное в японской армии людоедство. А что отрубали головы - так это уж хоть без мучений...

31

ВАСИЛЕВСКИЙ

Александр Михайлович подумал, что сейчас произойдет

событие, ставящее в Маньчжурской стратегической операции точку, если не восклицательный знак. Хотя и после этого десятка дней, за которые - вместо запланированных двадцати - двадцати трех - была одержана решающая победа над Квантунской армией, конечно, еще возможны отдельные бои и столкновения, - неделя либо две, а то и подольше. Но капитуляция противника, вот она - в лице японских генералов и дипломатов, доставленных советским военным самолетом из Харбина сюда, на КП командующего 1-м Дальневосточным фронтом: через минуту их введут в помещение.

Еще десяток дней - и Япония будет поставлена на колени!

А ведь докладывали: всего за четыре месяца до вступления Советского Союза в войну с Японией комитет начальников штабов американской армии утверждал, что рассчитывать на победу можно лишь в конце 1946 года, а по оценке военного министра США Стимсона, за эти предстоящие полтора года боев потери одной только американской армии должны были составить более миллиона человек. Цифра тем более впечатляет, если учесть, что до сих пор общие потери американцев на всех фронтах второй мировой составили, по нашим данным, примерно сто пятьдесят - сто шестьдесят тысяч человек. Сокрушительный удар Советской. Армии спас жизнь стольких людей, включая и американцев! История не забудет этого. Слава об этих днях не померкнет...

Василевский оглядел сидящих за столом маршала Мерецкова, члена Военного совета фронта генерал-полковника Штыкова, главного маршала авиации Новикова - серьезны, понимают значимость момента - и вдруг уловил, как пахнет растревоженной сосной. Домик свежесрубленный, лесочек у подножия сопки возле советско-маньчжурской границы, - красивое и удобное место для своего командного пункта выбрал Кирилл Афанасьевич. Удобное...

В дверях возник полковник-гвардеец:

- Товарищ Главнокомандующий! Разрешите заводить?

Александр Михайлович опять втянул в себя смолистый дух и сказал:

- не надо их заводить, пусть сами заходят...

И о пи вошли - сутулые, в высоких желтых сапогах, коричневых мундирах, на мундирах орденские ленточки. Василевский взглянул бегло - на ленточки, пристально - на лица: былого высокомерия и следов нет, растеряны, угнетены и даже не могут скрыть этого. Снимают фуражки, низко кланяются. Василевский говорит:

- Садитесь.

Садятся смирные, почтительные. С сопки слышен баян,

накатывает песня: "И на Тихом океане свой закончили поход..." Мерецков косится на главкома, легонько пожимает плечами: дескать, конечно, песни на КП не положены, по с другой стороны - действительно заканчиваем войну на Тихом океане. Василевский именно так понял командующего фронтом и чуть улыбнулся. Однако тут же строго сжал губы и властным тоном произнес:

- Я предупреждаю штаб Квантунской армии: японские части, еще продолжающие сопротивление, должны немедленно сложить оружие! Ямада полтора часа назад подписал в Чанчуне документ о капитуляции!

Тон, к которому Александр Михайлович прибегает редко, действует на японцев. Они переглядываются, краснеют от напряжения. Хата суетливо оправдывается:

- Мы примем меры... Но командование Квантунской армии оказалось в затруднительном положении... Нам не удалось сразу довести приказ о капитуляции до всех войск потому, что уже на второй день вашего наступления Квантунский штаб утерял управление своими войсками... Советские танки и пехота наступали неудержимо... Начался хаос...

- Сегодня в некотором роде знаменательный день, - с той же суровостью говорит Василевский. - Можно подводить итоги Маньчжурской кампании... Но мы будем это делать не в торжественной, а в деловой форме... - После паузы обращается непосредственно к генералу Хата: - Подойдите к столу, к карте... Я вам укажу время и пункты, назову номера японских дивизий и отдельных частей - кому куда надлежит явиться, чтобы сдаться в плен...

Записывайте!

Хата нервно теребит перчатки, однако слушает Василевского внимательно. Главком говорит:

- Учтите: японские войска должны сдаваться организованным порядком, вместе со своими офицерами. Учтите также, что в первые дни забота о питании ваших солдат ложится на японских офицеров. Части должны иметь свои кухни и запасы продовольствия.

Хата одобрительно кивает, зачем-то принимается протирать очки.

- Японские генералы, - продолжает Василевский, - должны являться со своими адъютантами и необходимыми для себя вещами. Я гарантирую хорошее отношение со стороны Красной Армии не только к высшим офицерам, по и к солдатам.

- Покорно благодарю. - Хата склоняет голову. - У меня еще просьба...

- Да?

- Я прошу разрешить до прихода Красной Армии в отдельных районах Маньчжурии и Кореи оставить у японских солдат оружие. Население там ненадежное, будут мстить... Па юг Маньчжурии бежало много японцев, они там на положении беженцев, Я прошу советское командование учесть это...

- Можете, не беспокоиться. Мы обеспечим полный порядок и законность на территории, запятой войсками Красной Армии...

- Покорно благодарю.

Василевский поворачивается к Мерецкову:

- Кирилл Афанасьевич, наметьте кандидатуры своих офицеров для встречи с японским командованием.

- Предварительно уже намечены. Остается уточнить...

- Хорошо. - И снова генералу Хата: - Кто из Кванту некого штаба прибудет в эти пункты?

Хата называет фамилии своих заместителей и других чинов штаба. Василевский веско предупреждает:

- Позаботьтесь, чтобы они имели необходимые документы и средства связи.

- Я прошу, - говорит Хата, - вашего разрешения оставить нам транспорт и средства связи. Так мы сможем быстрее передать японским войскам: указания советского командования.

- Согласен. Поможем в этом...

Когда все вопросы были обсуждены и назначены сроки и когда Василевский разрешил генералу Хата с его свитой отбыть восвояси, Александр Михайлович почувствовал сильную усталость, похожую на недомогание. Но он скорым, бодрым шагом подошел к окну, вгляделся: Хикосабуро Хата грузно топал к машине по узкой, посыпанной песком аллейке и пытался высоко держать голову, однако она сама собой клонилась книзу; позади так же грузно топали высокими желтыми сапогами члены свиты, последним почему-то плелся консул Миякава. Как будто дипломатия прикрывала отступление военных. Нет, не прикроешь! А голова клонится книзу от позора: позор поражения - тяжкая ноша, не всякий выдержит такое бремя, иные японские министры и генералы не выдержали, сделали харакири, вспоров животы по всем правилам самурайской чести...

Ну, а мы честь понимаем по-своему. Паша честь - это точно и в срок выполненная задача. Он с самого начала был уверен в успехе Маньчжурской кампании, впрочем, как и все, кто имел к ней касательство. Но чтобы реализовать задуманное, пришлось много потрудиться, помотаться по войскам, недоспать. Теперь напряженнейшая работа окупается. Василевский вернулся к столу, к разложенной карте, еще раз уточнил с командованием 1-

го Дальневосточного фронта детали предстоящей капитуляции и отпустил всех. Оставшись одни, заложил руки за спину, прошелся по компате.

"Вот и все! - Александр Михайлович ощутил, как усталость по-прежнему давит на плечи, и сразу же - несмотря на усталость, наперекор ей - опять мысленно сказал себе, однако уже совсем обратное: - Нет, не все, далеко не все!" И снова захотелось работать. Он пошел на узел связи, позвонил по ВЧ Сталину, сдержанно доложил о переговорах с генералом Хата, заключив, что, по его мнению, Маньчжурская стратегическая операция подходит к завершепшо. Верховный, обычно с вниманием выслушивающий доклады, на сей раз в конце прервал с несвойственным ему нетерпеливы:,! добродушием:

- Товарищ Василевский! Поздравляю вас и ваши войска с успешным окончанием последнего и, пожалуй, крупнейшего сражения второй мировой войны!

Александр Михайлович подумал, что сражение все-таки пока не завершено, хотя и близко к завершению, и молча выждал, не добавит ли Сталин еще что-нибудь. Сталин не добавил ничего, и Александр Михайлович сказал:

- Благодарю вас, товарищ Сталин! Вверенные мне войска доказали нею глубину ваших замыслов.

Верховный сказал:

- Товарищ Василевский, у меня идет совещание. Закончим, тогда мы снова поговорим.

Положив трубку, Александр Михайлович возвратился мыслями к событиям, последних трех дней. Семнадцатого августа в 15.00 по радио было передано заявление штаба Квантунской армии: "Для того чтобы достичь быстрейшей реализации приказа о прекращении военных действий, мы, командование Квантунской армии, сегодня утром издали приказ, чтобы самолеты с нашими представителями были направлены 17 августа между 10 и 14 часами по токийскому времени в следующие города: Муданьцзян, Мишань, Мулин для установления контакта с командованием Красной Армии. Штаб Квантунской армии желает, чтобы эта мера не вызвала каких-либо недоразумений..." В 17 часов была перехвачена радиограмма главнокомандующего Квантунской армией о том, что он отдал японским; войскам приказ немедленно прекратить военные действия и сдать оружие советским войскам, а в 19 часов в расположение войск 1-го Дальневосточного фронта с японского самолета были сброшены два вымпела с обращением штаба 1-го фронта Квантунской армии о прекращении военных действий.

Когда Василевскому доложили, он сказал:

- Это обнадеживает. Однако на большинстве участков японские войска в течение семнадцатого августа продолжали оказывать сопротивление, а местами переходили в контратаки. В связи с этим я вынужден послать генералу Ямада такую, допустим, радиограмму... Диктую: "Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причем ни слова не сказано о капитуляции японских вооруженных сил в Маньчжурии. В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского фронта. Предлагаю командующему войсками Квантупской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всех фронтах, сложить оружие и сдаться в плен. Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия..." Далее. Следует направить воздушные десанты в Харбин, Гирии, Мукден, Чанчунь и другие крупные города, уполномочив офицеров штаба сообщить представителям штаба Квантупской армии следующее. Военные действия советских войск будут прекращены лишь тогда, когда японские войска начнут сдаваться в плен. Такая мера вызвана тем, что многие японские воинские части и гарнизоны либо не получили из-за потери связи приказа генерала Ямада, либо отказались выполнять его...

Полуодетый Василевский задремал на походной койке, когда генерал-штабист тронул его за плечо. Александр Михайлович открыл глаза, сел на кровати.

- Товарищ главнокомандующий! Только что Ямада по радио ответил советскому Главнокомандованию о готовности выполнить все условия капитуляции.

- Так-то лучше, - сказал Василевский, надевая и застегивая китель. - К сожалению, войну сразу не притормозишь. Ее легче запустить, чем остановить.

События развивались стремительно. О радиограммах генерала Ямада, о воздушных десантах, о подписании Ямада капитуляции в Чанчуне Василевский незамедлительно докладывал в Москву.

Сталин выслушивал его спокойно, холодновато и только сегодня, во время доклада о встрече с генералом Хата, Верховный помягчел. Редко это с ним бывает.

Да, Маньчжурская стратегическая операция завершается, подумал Василевский. Тут, на Востоке, на твои плечи, Александр

Михайлович, легла тяжесть небывалая. Она и в том, что на Западе Ставка занималась фронтами через своих представителей, а Берлинской операцией при всем ее огромном размахе Верховное Главнокомандование непосредственно руководило из Москвы, взяв управление фронтами целиком на себя, здесь же, учитывая большую удаленность Дальневосточного театра, его колоссальную территорию, сложные природные условия, а также необходимость наиболее целесообразно и своевременно использовать Тихоокеанский флот в интересах трех фронтов, Государственный Комитет Обороны создал для стратегического руководства военными действиями Главное Командование советских войск на Дальнем Востоке. Возглавить поручили ему, Василевскому. Разумеется, Ставка не оставалась в стороне, но главком получал немалую свободу действий. И вот можно подводить некоторые, пожалуй, и не предварительные итоги.

Александр Михайлович посмотрел на часы. Время тянулось томительно. Но отлучаться никуда нельзя, надо ждать. Кстати, связь с Москвой, как и с фронтами, безотказная.

Он прилег на диван, расстегнул крючки, ослабил ворот кителя.

Хронический недосып, и недурно бы, пока позвонит Верховный, урвать полчасика-часик на сон. Но сна не было. День и ночь давно перемешались работа такая, служба такая.

Да, близок финал исторической битвы на Востоке. Сокрушается основная сила японского империализма - Квантунская армия, освобождаются Северо-Восточный Китай, Северная Корея до 38-й параллели - на юг от нее высадятся американские войска, - Южный Сахалин и Курилы. Трудно переоценить значение этого для укрепления безопасности наших дальневосточных границ и для подъема народно-освободительной борьбы в странах Юго-Восточной Азии. Самым непосредственным образом это, конечно, коснется Китая. Мало того, что мы сокрушаем японцев, освобождаем Китай, все трофейное оружие, всю трофейную технику передадим войскам, руководимым компартией Китая: им еще придется противостоять гоминьдановским войскам. Так война теснейше переплетается с политикой. Да ведь война - та же политика, только иными средствами.

А десанты в корейские порты Расин и Сейспн Тихоокеанский флот под командованием адмирала Юмашева - вкупе с армейскими частями - провел блестяще. Как, впрочем, и десанты на Южный Сахалин и Курильские острова, где тяжелые бои продолжаются. Моряки не подкачали, солдаты не подкачали. Вот главный герой войны - рядовой боец, ему мы должны поклониться в ноги!

Сколько их - тысячи тысяч - сложили головы ради Победы! Он, Василевский, везде и всегда старался беречь солдатскую жизнь, а на войне это непросто. Иные генералы попрекали его расчетливостью, осторожностью. Что ж, в разумных пределах он был и расчетлив, и осторожен, коль скоро речь шла о том, чтобы избежать потерь или хотя бы сократить их.

Гибли, разумеется, и полководцы - те же Черняховский и Ватутин. Мог погибнуть и он сам. Ну хотя бы поздней осенью сорок второго под Сталинградом. Нужно было срочно перелететь от Ватутина, с Юго-Западного фронта, к Голикову, на Воронежский фронт. Василевский обещал Верховному, дай бог памяти, двадцать четвертого ноября работать уже в войсках Голикова. Погода была нелетная, но Александр Михайлович настоял на вылете. Взлетели.

Сплошной туман, никакой видимости. Самолеты потеряли зрительную связь. К тому же, как и предупреждали летчики, началось обледенение. Машина, на которой летел Василевский,

совершила вынужденную посадку прямо в поле, километрах в тридцатп юго-восточпее Калача (Воронежского)-на-Подгорноп. Как не сломали шею, до с их пор непонятно. Пришлось добираться по целине до ближайшего колхоза, затем на санях до шоссе, ведшего в Калач, и наконец - на первом подвернувшемся военном грузовике - к районной телефонной станции. Все, г, том числе и Москва, были встревожены "судьбой Василевского", а он болое всего тревожглся о судьбе "У-2", на котором летел состоявший при нем для поручений генерал Ручкшт: у того находились секретные документы Ставки, предназначенные для командования Воронежского фронта. И надо же: из семи самолетов лишь один, на котором летел Ручкин, благополучно добрался до Бутурлпповкп. Извинился Александр Михайлович перед летчиками за свой неосторожный приказ, да нужно было лететь, не задерживаясь, что поделаешь...

А под Севастополем, в мае сорок четвертого? Очень хотелось посмотреть Севастополь в первый же день его освобождения. Переезжая через одну из немецких траншеи в районе Мекензиевых гор, "эмка" наскочила на мину. Каким образом там уцелела мина, если за двое суток по этой дороге прошла не одна сотня машин?

Мотор и передние колеса взрывной волной оторвало от кузова и отбросило на несколько метров, шоферу лейтенанту Смирнову поранило левую ногу. Александр Михайлович сидел рядом с ним в кабине и весьма ощутимо ушиб голову, а мелкие осколки стекла поранили лицо. Сопровождающие же генерал Кияпицкнй и адъютанты Грппенко и Копылов, которые сидели сзади, не пострадали.

После перевязки Василевского отправили в тыловой эшелон штаба армии, затем в штаб фронта. Оттуда он по настоянию медиков был эвакуирован самолетом в Москву. Некоторое время врачи удерживали в постели, и появилась возможность еще раз вникнуть в детали подготовляемой Генштабом на лето Белорусской операции.

Простоя в работе, таким образом, не было...

А в Прибалтике осенью того же сорок четвертого? В разгар боев ехал как-то Александр Михайлович с КП командующею 2-м Прибалтийским фронтом Еременко к командующему 1-м Прибалтийским Баграмяну. Произошло дорожное ЧП, и какое! Из вечерних сумерек навстречу машине Василевского вымчал "виллис", за рулем сидел офицер. Шофер Василевского не успел ни отвернуть, ни остановиться, как "виллис" врезался в машину маршала, Все, включая и маршала, вылетели на дорогу. Александр Михайлович, оглушенный, с трудом встал, сильно

болела голова и бок.

Петляющей, неверной походкой полетел бледный, трясущийся старший лейтенант, протянул свой пистолет и срывающимся голосом проговорил: "Товарищ маршал, расстреляйте меня, я это заслужил". Он был пьян или казался таковым от потрясения.

Александр Михайлович приказал ему убрать оружие, отправиться в часть и доложить там о случившемся. Десять дней провалялся Василевский у себя в управлении группы. Пришлось-таки заступиться за виновника аварии, ибо его намеревались отдать под суд военного трибунала. Этот старший лейтенант фамилия, к сожалению, забылась - был командиром фронтовой роты разведки, потом блестяще выполнил ответственное задание и, как доложили Александру Михайловичу, был удостоен звания Героя Советского Союза. Так что лучше человека не засуживать, а дать возможность выправиться, проявить себя в деле. Ну, а он, Александр Михайлович Василевский, слава богу, жив, хотя, когда примерно через месяц прибыл в Москву и пошел на рентген, врачи установили следы перелома двух ребер. Жив - и потому руководит войсками на Дальнем Востоке, ведет их к финалу советско-японской войны.

Которая все-таки, сколь бы грандиозной ни была, не может заслонить Великой Отечественной.

Да-а, человека следует поддерживать, веруя, что он способен приподняться над самим собой. Частенько доводилось Александру Михайловичу выдвигать людей пли защищать их от несправедливости. Но и наказывал, если считал нужным, не дрогнув.

Вот сегодня пришлось отстранить от должности одною прыткого интенданта: прислал в подарок мебельный гарнитур. Василевский незамедлительно прореагировал на подношение: отстранил от должности и передал дело на парткомиссшо, а гарнитур приказал оприходовать трофейному управлению. Аналогичное было и под Кенигсбергом: принесли хрусталь. Хрусталь был отправлен в трофейное управление, а те, кто спутал трофеи с личной собственностью, - строго наказаны. А как же иначе? Государственное имущество!

Сегодня же был и случай, вероятно позабавивший иных, а Василевского как-то кольнувший. На штабном совещании генерал инженерных войск развернул карту, чтобы докладывать Василевскому, и молчит, растерявшись. Пропал голос от волнения. Василевский сказал: "Сделаем, товарищи, перерыв". Все вышли на свежий воздух, закурили. Александр Михайлович подошел к генералу-инженеру, спросил, где тот служил прежде, -

завязалась беседа. Потом зашли в штаб, и у приободрившегося инженера прорезался голос! После совещания он поделился с адъютантом Гриненко: "Тебе хорошо, ты постоянно общаешься с маршалом, а мне каково - впервые?"

Ну, а те, подхалимствующие интенданты, между прочим, к подношениям присовокупляли: "Для семьи, для Екатерины Васильевны". Стервецы, и как зовут супругу, пронюхали. Екатерина Васильевна таких даров не примет, не тот характер. Он-то знает, двенадцать лет вместе. Александр Михайлович достал из портфеля конверт, раскрыл письмо. От жены. Перечитал, спрятал. И вечным пером, аккуратным, четким почерком неторопливо написал ответное. Это вошло в привычку: на каких бы фронтах ни находился, если удавалось, звонил домой по телефону, а чаще - обязательные, хотя и краткие, письмишки. Примерный муж и семьянин, он и в этой мелочи был неизменен.

Из конверта он извлек и несколько фотографии. Жена писала:

"Перелистывала семейный альбом и нашла фото, где ты молодой.

Мне кажется, за эти годы ты не изменился, все тот же..." Женщпны, разумеется, любят преувеличивать. Изменился! Александр Михайлович вгляделся в фотографии: выпускник Костромской духовной семинарии - 1914 год, командир роты, поручик - 1917 год, командир стрелкового полка - 1928 год... Действительно молодой. А вот эту фотографию, свеженькую, ему вручил сегодня утром Кирилл Афанасьевич Мерецков: вместе снялись вчера в 5-й армии Крылова, - Александр Михайлович в комбинезоне, одна рука засунута за пояс, как у Льва Толстого. Но он, упаси боже, не толстовец. Он просто мирный, не воинственный человек. Хотел выбрать наимпрнепшую профессию агронома или учителя, однако первая мировая война и Октябрьская революция сделали его профессиональным военным. И теперь бывший прапорщик царской армии - Маршал Советского Союза. А в поля и леса кннешемского детства нет-нет да потянет...

Заложив руки за спину, Александр Михайлович походил из угла в угол, разгоняя тяжелую усталость. Поскрипывали сапоги, поскрипывали половицы. Ветер колыхал занавески на окнах; за стеной, во дворике, уже не пели, но скипидарный запах растревоженной сосны не унимался, лез в ноздри. Ах, какие тут сосны, иа Дальнем Востоке, - корабельные, высоченные!..

И вдруг резкая смена мыслей. Василевский подумал о том, что наряду с повседневными проблемами Маньчжурской операции тревожило, угнетало, всплывая в памяти. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки! Данные, которыми он

располагал, свидетельствовали: качественно новое, небывалой мощи оружие, оружие будущего. Сбрасывать атомные бомбы на эти японские города с военной точки зрения было бессмысленно, по отношению же к населению - бесчеловечно, жертвы колоссальные. Американцы запугивают. Но кого? Японию? Или Россию? Не своего ли рода атомный шантаж? Предупреждают о своем превосходстве и требуют от нас быть сговорчивее, согласиться на такое послевоенное устройство мира, каким захочет его видеть Америка? Не выйдет! Мы тоже примем меры, будет и у нас атомное оружие. Вооруженные Силы страны должны совершенствоваться, набирать мощь, чтоб не были опасны чьи бы то ни было происки. И он, маршал Василевский Александр Михайлович, еще послужит своему народу!

Позвонив, Сталин попросил его снова доложить о порядке капитуляции японских войск. Василевский доложил. Сталин сказал:

- Вы хорошо воюете, товарищ Василевский.

Он ответил:

- Готовы выполнить любое ваше задание.

Верховный сказал:

- Товарищ Василевский, подготовьте материалы для награждения отличившихся генералов, офицеров, сержантов и солдат и для присвоения соединениям почетных наименований "Хинганских", "Амурских", "Уссурийских", "Сахалинских", "Курильских"...

- Хорошо, товарищ Сталин!

- Подготовьте также материалы для присвоения отличившимся соединениям наименовании "Харбинских", "Мукдеиских", "Порт-Артурских" и для награждения орденами...

- Хорошо, товарищ Сталин! - сказал Василевский и подумал, что Порт-Артур еще не наш, по будет наш не сегодня завтра.

Двадцать второго августа воздушные десанты высадились в Дальнем и Порт-Артуре.

32

Мы делали свое дело - воевали. С перевала мы в бинокль рассматривали лежащую внизу местность: кустарник, ухабистая, рябая от луж дорога, поля гаоляна и чумизы, храм, за ним - кварталы поселка, слева крепостная степа, за ней - два храма. Полковник Карзаыов сказал офицерам:

- Японцы в городишко нас не ждут, считают, что мы еще далеко. Следовательно, если будем стремительно атаковать, можно посеять панику, а это уже предпосылка нашего успеха. Что? - Но мы молчим, и Карзанов продолжает: - Атакуем одновременно с двух направлений. Чтобы сохранить внезапность,

откажемся от артподготовки. Артиллерия будет наступать в боевых порядках и уничтожать очаги сопротивления. Часть наших сил должна обойти поселок и отрезать пути отхода противника...

Рассвет. Дождь стихает. Мы движемся вперед. По сгорбленным фигурам, по землистым лицам я сужу, как утомлены люди. Несколько танков с десантом въезжают на утопающую в жидкой грязи поселковую окраину. Встречные китайцы изумлены: откуда взялись советские тапки? Улыбаются радостно, машут нам шляпами, а японские солдаты убегают задами: пригнулись, испуганно оглядываются. Мы подсаживаемся на танки, едем какое-то время иа броне, затем соскакиваем, ибо они останавливаются, - к машинам подбегает разведчик в развевающейся плащ-палатке, докладывает Карзапову:

- Товарищ полковник, японские части сосредоточены в крепости!

- На северо-восточной окраине?

- Так точно! А штаб японский в центре, в районе казарм.

Наша разведка установила: штаб пехотной дивизии...

- Спасибо, разведчик, за сведения. Они пригодятся.

- Служу Советскому Союзу! - Разведчик харкает так, что стоящие рядом вздрагивают.

Карзапов одобрительно смотрит на него; - Иди к своим. Продолжайте выполнять задачу. - И ужо как бы для себя произносит: - Ладно, будем действовать решительно.

Коль забрались в берлогу... Может, и удастся склонить пх к капитуляции? Двинем в штаб дивизии и предъявим ультиматум!

- А не встретят лп пас очередями? - спрашивает комбат.

- Рискнем, капитан... Посадите на тапк двух-трех местных жителей, пусть покажут дорогу к штабу. Они наверняка ее знают...

Через переводчика спрашиваем, кто из толпы знает, где японский штаб. Дружно отвечают: "Знаем!" Отобрав трех наиболее расторопных китайцев, подсаживаем пх на броню, трогаемся. Петляем по кривым, грязным и узким улочкам. Возникает досадная заминка: один проводник говорит - надо ехать туда, второй - не туда, а сюда, третий - аж в противоположном направлении, спорят до хрипоты, машут кулаками и готовы передраться. Мы сперва огорчились: никто в точности не знает, куда ехать? Но оказалось: каждый предлагает кратчайший путь. Известно, однако:

если знатоки берутся спорить между собой, кратчайший путь обернется длиннейшим, запутанпейтпим. Поэтому комбат сказал спорщикам:

- Тихо! Кончайте базарить! - И, выбрав на свой взгляд самого

толкового и внушающего доверие, ткнул в него пальцем: - Веди ты!

И капитан оказался прав: китаец повел танки и автомашины уверенно, точно. Вскоре мы подъехали к забору, опоясывавшему расположение дивизионного штаба: несколько зданий под черепичными крышами. У ворот часовые - мордастые, плохо побритые парни - в смятении: то ли оставаться, то ли убегать. Танки и автомашины притормаживают, десантники спрыгивают, подбегают к часовым, вырывают у них карабины. Полковник Карзанов, комбат и я, окруженные автоматчиками, проходим мимо поднявших руки часовых, пересекаем посыпанный желтым песком двор. В здании поднимаемся на второй этаж, отыскиваем кабинет командира дивизии. При виде нас из-за письменного стола поднимается полковник: несоразмерно длинное, бочкообразное туловище, на которое насажена - почти без шеи - пшшкастая остриженная голова.

Подрагивая ниточкой черных усиков, растерянно помаргивая, полковник уставился на нас. Карзанов сказал:

- Переводите: я командир передового советского отряда, мои войска блокировали части вверенной вам дивизии и ваш штаб, сопротивление бесполезно, предлагаю безоговорочно капитулировать!

- Блокировали? - переспросил комдив и сел-упал в кресло с ножкамп-дракопамп.

- Да. Взгляните в окно!

Комдив подошел к растворенному окну, посмотрел на забор, на наши танки с расчехленными стволами. Лицевые мускулы его дернулись, фигура обмякла, и я понял: что-то сломалось в японском полковнике. Блуждая взглядом, он сказал тускло:

- Мне известно о рескрипте императора, о приказе главнокомандующего Квантунской армией. И я не вижу другого выхода, кроме сдачп в плен. Это покроет мое имя позором, но я подчиняюсь обстоятельствам...

Болезненно морщась, он вызвал начальника штаба дивизии, тоже полковника, приказал подготовить части к разоружению через трп часа. Начштаба кивнул, а комдив сказал Карзапову:

- Я ваше требование выполнил. По жить после этого не могу.

Я должен покончить с собой сейчас же...

Мне подумалось: не приведи господь, на наших глазах будет вспарывать себе живот. По японец ловким, молниеносным движением схватпл маленький, как будто дамский, браунинг и выстрелил в висок: мы и пошевелиться не успели. Шишкастая, остриженная голова стукнулась о полированную гладь стола, заливая его кровью. Надо же, все-таки на наших глазах покончил

с жизнью. Правда, на европейский манер...

Дивизия была не полного состава, однако крепкая, боеспособная. Мы ее разоружили за четыре часа. Все было нормально, но под конец драматический, трагический эпизод. Какой-то унтер.

не пожелавший капитулировать, с миной в руках кинулся под днище ближнего танка, грохнул взрыв. Танк оказался сто двадцать седьмым, нашим, кровным, лейтенант Макухин был тяжело ранен, остальные члены экипажа не пострадали.

Ах, как горько! Славный хлопец, весельчак с белозубой улыбкой и русыми колечками из-под шлема - и лишился правой руки:

оторвало. Выживет - будет инвалидом. А каково без правой руки?

В двадцать четыре года! И все-таки живи, Витя. Эх ты, Витя, Витя! "Витя в тигровой шкуре..." Кажется, вчера познакомились, был этот смешной разговор с участием Мишки Драчева, а сегодня уже всерьез прощаемся, Витя Макухин...

И вновь поселок, где дислоцировалась японская часть. Уже потом мы узнали, что перед нашим приходом среди солдат возникли ожесточенные споры прямо на улицах. Одни кричали: смерть в бою за императора ведет в райский благоухающий сад богини Аматерасу; другие: надо сложить оружие и капитулировать. Сторонники капитуляции ушли из поселка, чтобы сложить оружие в районах, определенных условиями капитуляции. Фанатики запили оборону. Поселок был опоясан траншеями, изрыт ходами сообщения, на окраинных холмах - дзоты, пулеметные площадки. Когда на дороге появилась наша разведка, ее из поселка обстреляли.

Полковник Карзанов приказал:

- Рассредоточиться и окружить населенный пункт!

Роты выполнили его приказание, цепями залегли вокруг поселка. Карзанов, его штаб, командование батальона стали совещаться, что предпринять. Решили: атаковать, но предварительно попробовать склонить японцев к сдаче, послав парламентера - грамотного, толкового. Комбат сказал:

- Кого-нибудь из ротных.

Карзанов возразил:

- У тебя что, избыток офицеров? Не дай бог, что случится!

Давай лучше сержанта.

- Слушаюсь. Пошлем кого-нибудь пз первой роты. Эй, Глушков!

Я подошел ближе, выслушал комбата. Кпвпул. Хотя полагалось отчеканить: "Слушаюсь!" или: "Так точно!" Вернулся в

роту, вызвал сержантов и объявил: нужен парламентер-доброволец.

- Я пойду, - сказал Слана Черкасов.

- И я...

- Я готов!

Черкасов оглядел холодновато взводных и отделенных и сказал:

- Иду я. Потому что первый вызвался...

Это так. Ну что ж, пускай идет он. Кандидатура подходящая.

Черкасс" передаст записку и сам, хоть жестами и мимикой, ноагптирует за сдачу. По поднимая глаз, я сказал:

- Топай, Слава, к полковнику...

От наших позиции медленно идет к поселку Слава Черкасов, высокий, стройный, безоружный, размахивая над собой палкой: с белым полотенцем. Солнце, духота. Кругом тихо-тихо. И японцы и мы молча смотрим на сержанта с белым флагом. Думаю: "Только бы не выстрелили в него..." Японцы, однако, не стреляют, и Черкасов приближается к их позициям. Подходит к траншее, спрыгивает. Мелькает и скрывается полотенце, которое он нес, - солдатское вафельное полотенце.

Тишина непереносима. Но и звука страшусь, потому что звуком этим может быть выстрел. От жары и волнения пот стекает с меня в три ручья. Я не утираюсь, прильнув к окулярам бинокля.

И без пего видно: в траншее одни японцы; Черкасова, вероятно, куда-то увели? Куда-то? К начальству, коему он и вручит записку полковника Карзанова. Подействует ли опа? Ведь остались держать оборону ярые фанатики. Которые трезвеют лишь после наших ударов. Откажутся принять ультиматум? Жаль, да ничего не поделаешь, в таком случае будем гвоздить. Главное, чтоб Черкасов благополучно воротился.

Смотрю на часы. Стрелки будто приклеились к циферблату.

Двигаются, конечно, по время тянется томительно. Минуты и секунды, и в каждую из них со Славой может приключиться беда.

Уж лучше б я сам пошел в волчье логово! Отправился сержант, теперь вот переживай: рискует головой - не меньше. Риск, риск.

Какая ж без него война? Так война уже кончается! На бумаге даже кончилась...

И вдруг в траншее Черкасов с тем же флагом! Перелезает через бруствер, отряхивается, так же медленно, как и давеча, идет от японских позиций к нашим. С чем идет? Согласились японцы на капитуляцию либо отвергли? По жив, жив! Сердце у меня радостно застучало и следом тревожно сдвоило: нейтральная полоса - опасное место, пока не у нас, радоваться рано. Впиваюсь

в него глазами. Ну, быстрей, быстрей, Славик!

Когда Черкасов отходит метров на сорок, из траншеи раздается короткая пулеметная очередь, и он, выронив палку с полотенцем, падает в траву. На миг закрываю лицо руками. Отнимаю их в слепой надежде увидеть Черкасова ползущим. Нет... Полковник Карзанов кричит:

- Огонь! В атаку, вперед!

И комбат что-то кричит, и я что-то кричу.

Толя Кулагин и Вадик Нестеров, мерно взмахивая лопатами, засыпают землей могильную яму. Стоим вокруг, понурившись, у Рахматуллаева перевязана рука: только что был ранен в атаке.

Шуршат, сыплются комки, растет могильный холм. Небо плачет скупым и слепым дождичком, посвечивает солнце, радуга встает, как райские врата.

Кулагин вытирает пот со лба, опершись на лопату, говорит:

- Ну, Вадюха, закончили мы свою веселую работку: закопали сержанта.

Нестеров, тоже опираясь на лопату, отворачивается: на глазах у него слезы. Я говорю:

- А в Красноярске у Черкасова осталась Ирина. Такая, хлопцы, славная дивчина... Невеста, так и не стала женой, сразу во вдову превратилась.

- И мама у него осталась в Красноярске, - говорит Трушин.

Комбат морщится, как от боли:

- Давайте, товарищи, дадим прощальный салют над могилой сержанта Черкасова.

И Трушин морщится:

- Как же подло убили - в спину...

Вскидываем вверх автоматы и пистолеты. Нестройный залп, Кулагин говорит мне:

- А помните, товарищ лейтенант, как в Германии девятого мая, в День Победы, вы стреляли пз своего пистолета?

- Помню, Толя...

- И как говорили: "Чтоб это был мой последний выстрел, чтоб не пришлось больше стрелять..." Помните?

- Помню, - повторяю глухо. - Но, может быть, хоть эти паши выстрелы будут последними. Над могилами наших товарищей...

А Кулагин продолжает:

- А не забыли, товарищ лейтенант, как мы зашли в Германии на братское кладбище, выпили вина за погибших товарищей?

Чтоб им спокойно спалось в немецкой земле...

- Горькое то было вино... Пусть и Черкасову, Свиридову, Головастпкову и всем, кто пал тут в августе, спокойно лежится в китайской земле! И пусть будет проклят тот, кто посмеет забыть о

наших жертвах во имя свободы!

- Рассчитаемся с самураями, рассчитаемся со второй мировой, - говорит Трушин. - За мирный труд возьмемся! Мирная жизнь наступает!

- Дай бог, чтобы она была и взаправду мирная, - говорнг Логачеев со вздохом.

Мирная жизнь, за которую погиб и Слава Черкасов, какой же все-таки ты будешь? В наших мечтах - прекрасной. А на самом деле? Мы нескончаемым путем шли к тебе. Каждая смерть приближала к миру, где будет царить жизнь. Да здравствует жизнь!

И вот мы, день за днем рвавшиеся вперед, вперед, прекратили свое неуклонное продвижение и вторые сутки никуда не спешим.

Странно, невероятно, но мы прохлаждаемся! Будто судьба захотела нам дать возможность перевести дух, оглядеться и поразмыслить. Состояние непривычное, ненормальное: надо бы торопиться, не сбавлять темпа, а вместо этого - размеренность, покой. Приводим себя в порядок: сушимся, штопаем одежку, ваксим сапоги, подшиваем чистые подворотнички, меняем белье, бреемся, моемся и конечно же драим оружие, - тут старшина Колбаковский беспощаден. Объявилась полевая почта, солдаты усердно пишут письма домой.

У меня ощущение: нас бросили в глубоком тылу. Впрочем, так оно и было: передовые отряды час от часу уходили дальше на юг, а мы - на месте, как пригвожденные. Правда, тыл - понятие относительное, вокруг бродят японские подразделения, еще не сдавшиеся в плен, и неизвестно, сдадутся ли вообще без принуждения. Лучше бы добровольно! Война как будто кончилась, а мир не наступил. К от этого, видимо, не ликование на душе, а тихая радость пополам с тихой печалью. И больше всего думается о цене Победы. Она измеряется по-разному. Взятыми городами. Или отданными жизнями. Но почему "или"? Победа измеряется взятыми городами, форсированными горами и реками и отданными жизнями. Такая вот диалектика.

На досуге я записал в свой блокнотик две мысли-вопроса: "Каким же я должен быть, чтобы оказаться достойным тех, кто погиб вместо меня?" и "Будут ли после войны чинодралы, рвачи, подхалимы?" Кто ответит на эти вопросы? На первый я отвечу.

А на второй? Не знаю. Записал и романс-стихотворение Ивана Сергеевича Тургенева, кажется, оно называется "В дороге". Как там? "Утро туманное, утро седое..." Здорово! И тут во мне забилась в судорогах, рождаясь, строфа. Слова являлись и пропадали, я пытался чиркать на бумаге - они совершенно не поддавались, с рифмовкой не выклевывалось. Но внезапно в

мозгу как отпечаталось четверостишие, готовенькое, целенькое:

Слепые мы были котята
И резвые были щенки.
В любовь мы поверили свято,
Изменам чужим вопреки.

Даешь, лейтенант Глушков! Гладко и понятно. Хотя не совсем понятно? Что хочешь сказать? Что любви нет? Я этого не хотел сказать. А получилось. Сочинять-то надо думаючи. Но это первая строфа, мысль еще может развиться. Она, однако, не развивалась, я иссяк. Грыз карандаш, мусолил, рвал графитом бумагу. Ни черта не выходило! А не чьи-то чужие строки я вспомнил, выдал за свои?

За этим-то занятием меня застал Федя Трушин. Я покраснел, будто застукали за каким-то непотребством, проворно спрятал в планшет блокнот и карандаш. Трушин сказал:

- Здорово, ротный!

- Здорово, замполит!

- Чем занимаемая?

- Да так, ничем...

- Ничем?

- Кое-чем...

И внезапно возникло желание выложить Трушину о своем сочинительстве. Я сказал:

- Знаешь ли, Федя, я пишу... это самое... стихи!

- Стихи? - Федор спросил спокойно, без удивления.

- Так точно...

- Прочти, если можно...

От робости впадая в отчаянную лихость, я выпалил:

- Отчего же нельзя? Можно! Слушай!

Отбарабанил свои строфы и умолк, ожидая чего угодно - пренебрежения, насмешки, ругани. Но Федор так же спокойно сказал:

- Стпхи пишут в трех случаях. В период полового созревания, от нечего делать и по вдохновению. У тебя, видать, последнее...

- Видать, - растерянно подтвердил я.

- Что-то в твоих стихах есть, искорка поэтическая... Но смысла мало! Точнее, смысл наличествует, однако смутный, а то и неправильный... Ты не обижайся!

- Я не обижаюсь, я слушаю.

- Вот ты пишешь насчет любви, будто веришь в нее, как слепой щенок...

- У меня котята слепые, а щенки резвые...

- Пусть так! Значит, слепо веришь в любовь, хотя жизнь тебя другому учит. Так получается?

- Да вроде...

- А разве ты слепо любил Эрну? Слепо любишь друзей, природу?

- Нет, не слепо!

- Не о том пишешь, Петро! Путаные душевные переживания... А ты сочиняй о нашей Победе, о павших товарищах, славь их!

"Это справедливо", - подумал я.

- Слушай, Петро. - Федя понизил голос. - Я тебе не говорил, ты не слышал... Условились? Никому не открывал своей тайны, тебе - первому... Я ведь тоже слагаю стихи, точнее, поэмы.

О Родине, о Сталине...

- Прочти, Федор!

- Не проси, читать не буду... Это сугубо личное, для себя...

Куда мне, доморощенному?

- Оба мы доморощенные, - сказал я и улыбнулся.

И Трушин улыбнулся, обнаружив мальчишечью щербинку, Мне почему-то хотелось поскорей закончить этот разговор. Было неловко вслух рассуждать о таком деле, как сочинение стихов.

Есть более подходящие занятия на фроше, нежели слагапие строф.

Стихи стихами, а нам предстояло два нелегких дела: распрощаться с танковой бригадой, которую по железной дороге перебрасывают аж в Порт-Артур, и двигаться на своих двоих назад, к Вапемяо, на охрану штаба Забайкальского фронта, - штаб совершил пятпсоткпломстровый прыжок туда из Тамцак-Булака. Дивизия паша уже была в районе Вапемяо, и батальону нужно было воссоединиться с ней, кровной. Распрощаться и двинуться!

Сперва мы проводили танкистов. Расставаться с ними было непросто. Как-никак вместе прошли Хпнгап, вместе прошли бои, и Витю Макухипа я буду помнить так же, как помню Филиппа Головастпкова, Егоршу Свиридова пли Славу Черкасова. Как их всех не помнить, когда им вечная слава, героям! Многие пали.

Макухин, слава богу, остался живым...

Полковник Карзанов устроил прощальный ужин для офицеров. Он, Батя, и наш комбат держали речи. Мы чокались, а сердце ныло, ныло, когда глядел на танкистов, непривычных без шлемов. Перецеловались и переобппмались всласть!

Утречком тапки были погружены на платформы, и эшелон тронулся с железнодорожной станции. Мы помахали вслед ему руками и пилотками, а через час и сами выступили в дорогу.

Вспомнилось: когда-то и наш батальон садился в эшелон, в Инстербурге было, в Восточной Пруссии. Ну, а пёхом топать нам не привыкать, на то мы и пехота. Шире шаг! "Эх, махорочка-махорка, подружились мы с тобой! Вдаль глядят дозоры зорко!

Мы готовы в бой, мы готовы в бой!" Эх! Лишь бы не "ох"!

Шагается без охоты и не без труда. То ль отвыкли от пешего хождения, то ль не с ноги идти вспять. Досадно, досадно: немного не дошли до Чаичупя, а теперь как бы пятимся. Обратно, на север. Стимул, как говорится, не тот. Но высшее командование знает, что к чему. И мы выполняем его приказ. Хотя куда с большим энтузиазмом мы выполняли бы приказ о движении на Чанчунь, Мукден, Порт-Артур! Да, прошли этим путем на юг, нынче идем назад, к северу. Надо... Эх, махорочка-махорка...

Топаешь и как будто узнаешь места, хотя, конечно, прошли мы несколько деньков назад не здесь. Но и тут сосенки, ивняк, можжевельник, эдельвейс, кровохлебка, солянка - жесткая, как саксаул, трава, деревенские и одинокие, на отшибе, фанзы и поля, поля, залитые водой. Проселок еще не просох, глина налипает на сапоги, как наросты. Ноги скользят, разъезжаются, грязь грубо, издевательски чавкает. На тапках раскатывать вольготней, хотя синяки от общения с броней остаются добрые. Предпочтительней валяться на диване или сидеть в кресле. В мирной жизни когданибудь посидим и поваляемся на досуге. Мирная жизнь - она настанет не сегодня завтра. Но лучше бы сегодня, чем завтра.

Наверное, мы идем к ней. Во всяком случае, охрана штаба Забайкальского фронта - это не боевые действия передовых отрядов. Ну, будет гарнизонная служба, караульная. Что еще? Занятия по боевой и политической подготовке. Будут, хотя маловероятно, стычки с несдавшимися японцами, с хунхузами, которых в Китае пруд пруди. Смотры могут быть всякие. В Восточной Пруссии, после штурма Кенигсберга, смотрами увлекались: батальонные, полковые, дивизионные, медь оркестров позвучала.

И собраниями, совещаниями, семинарами увлекались: солдатские, сержантские, офицерские, партийные, комсомольские, пропагандистов и агитаторов, редакторов "боевых листков", позвучала медь речей. Потому время было свободное от войны. Видимо, и теперь будет.

Солдатские колонны плетутся ровно бы через силу, нехотя.

Мы даже не выдерживаем графика движения, хотя комбат подстегивает нас, ротных. Неинтересно, скучно уходить от решающих событий. Пусть там и постреливают, а значит, могут и убить ненароком, но там делается настоящее. А охранная служба в тылу - простите, не совсем то, что соответствует боевому опыту Краснознаменной ордена Суворова Оршанской дивизии. Казалось бы, люди должны радоваться уходу с войны, но никто не радуется: все мрачны, недовольны. Я и сам, признаться,

недоволен: уж закончить войну, так закончить с шиком-блеском, на высокой ноте, где-нибудь в Порт-Артуре! А тут уводят в тыл. Да к тому же, как просветил замполит Трушин, охранять предстоит вторые эшелоны фронтового штаба, а первые уже нацелились на последующий прыжок аж в Чанчунь. Я приветствую эти прыжки, по зачем именно пашу дивизию загонять на охрану в Вапемяо?

Замполит Трушин в силу своей осведомленности и по долгу службы внушает агитаторам, а те - всем грешным: нам поручено ответственное задание, нам выпала, если хотите, честь охранять мозг и сердце Забайкальского фронта; Федя очень нажимал на это - мозг и сердце, - и в конце концов мы не то что смирились со своей участью, по поняли: от нее не уйти, а коли так, надо получше выполнить положенное. Раз положено, делай, хочется или не хочется. Как сказал каспийский рыбак Логачеев, не хочется - захочется перехочется. Он же удивил меня и другим - спел на привале:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою,
Счастъя-долн мне нет...

Песня была жалостная, популярная у блатных. Я вспомнил про бесстыжие татуировки у каспийского рыбака и как солдаты выспрашивали его, не блатняк ли он. Логачеев отнекивался вполне, кажется, искренне. Я верил, что наколки эти - по дурости.

Логачеев допел жалостно:

И умру я, умру я,
Похоронют меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя...

Когда был жив и исполнял свои танго Егорша Свиридов, Логачеев никогда не нел. Может, в этом была некая тактичность: не хотел мешать Свиридову, перебегать дорогу признанному исполнителю. Мои солдаты, точно, не лишены такта. Не раз, например, вспоминаю, как молчаливо, без расспросов встретили они Филиппа Головастикова, догнавшего эшелон после вояжа в Новосибирск, к неверной жене. Выслушали лишь то, что пожелал он сам высказать. И никаких комментариев. Нет, мои солдаты - славные хлопцы, я их недаром люблю.

Вчера на закате солнце осветило ротный строй сзади, и мне почудилось, что фигуры черные и четкие, как мишени. Чушь и бред - мишени, в них стреляют, а это же фигуры живых людей, правда, в живых тоже стреляют, по ведь мы удаляемся от войны.

Все знакомо по прежним, бессчетным маршам: течет пот,

чавкает грязь, автомат колотит по горбу, ноет поясница, дрожат коленки, точит .мысль: не отстал лп кто? И тем не менее это какой-то особенный марш. Победный. Вроде мы с победой возвращаемся с войны. Вокруг говорят и пишут о капитуляции Квантунской армии, и ясно, что через несколько дней, через педелю, пусть через две японцы окончательно сложат оружие, и наступит День Победы над Японией. Вот тогда можно крикнуть "ура", пальнуть вверх ц ахнуть стаканчик! И за порогом того дня будет лежать уже бесповоротно мприая жизнь!

Во мне в такт шагам клокочут слова-рифмы, на привалах тянет записать их в блокнотик, по я гоню это желание. Тьфу, тьфу!

Сгинь, наваждение! Чтобы писать стихи - не про слепых котят и резвых щенят, а про Победу, павших героев и товарища Сталина, - нужен талант. Где он у меня? Как-то я прочитал остроту:

талант - как деньги: или он есть, или его нет. У меня нет, а одного вдохновения мало. Не такой уж я глупый, зеленый и самонадеянный, чтобы не видеть: дурачок я для стихов. Не дурак - не надо грубостей, - а именно дурачок. Лучше записать в блокнотик некоторые свои мысли и наблюдения.

На дежурстве в траншее, зимней, заметенной, под Оршей. солдаты натирали снегом уши, чтобы не уснуть.

Я случайно не погиб под Оршей в нашем зимнем наступленнп сорок четвертого: такая была мясорубка. В нормальной жизни говорят по-другому: случайно погиб, - так редка смерть.

А здесь - случайно не погиб...

На войне как бывает? Сдаст солдат свое письмо-треугольник старшине, а через час убьют, и получается: послание как бы с того света.

В боях я не боюсь смерти, вернее, понимаю, что она может быть неизбежной, одного желаешь: чтоб без мучений, раз - и готово.

Какое же оно все-таки вкусное, просторечье! Вот, например, видальщина обыкновенное событие, которое можно часто наблюдать. Или: огребки остатки сена после укладки стогов. Или:

погон - то же, что и погоня. Или: до новых веников, то есть нескоро.

В Китае и куры с петухами черные! А кора на черных березах лохматая как лохмотья у нищих, которых здесь много.

"Чего пялишься?" - "Я визуально наблюдаю".

Я за исполнительность. Но при утрате меры она может перейти в угодничество.

Некоторые из мыслей и наблюдений, записанных в мой блокнотик, кажутся мне удачными. Нескромно? Несамокритично? Показать, что ли, Федору Трушину? Зачем? Это для себя. Для души.

33

ЯМАДА

Он вгляделся в свое отражение в большом, с потемневпшм от времени углом, зеркале: зарос седоватой щетиной. Не брился, события не давали. Теперь пора привести себя в порядок. Тем более что ему, Отодзо Ямада, главнокомандующему Кваптунской армией, и его начальнику штаба Хикосабуро Хата надо ехать на доклад к командованию русской 6-й танковой армии. Ее штаб разместился неподалеку: танкисты не стали занимать здания штаба Квантунской армии. Что ж, понятно: его, видимо, займет штаб Забайкальского фронта.

Из-под припухлых век Ямада смотрел в свои глаза под припухлыми веками, взгляд был беспокойный. Крупные уши оттопыривались сильно и как-то обреченно. В курсантские годы товарищи исподтишка потешались над этими ушами, хотя и тогда Отодзо Ямада не терпел над собой шуток. А уж впоследствии, особенно когда стал главнокомандующим Квантунской армией, повелителем Маньчжоу-Го, его окружали уважение, почтительность и подобострастие, сам император Пу И трепетал перед ним, хотя он числился лишь послом Японии. Где вы, давние шутники? Никто из вас не поднялся по служебной лестннце выше, чем Отодзо Ямада.

Орденские ленточки на мундире сливались в зеркале в какоето пестрое пятно: глаза заслезились, да и зеркало старое, потускневшее, а в темпом его углу, казалось, гнездится что-то угрожающее, опасное, как смерть. А он не хотел умирать. Это в молодые, бесшабашные годы можно играть жизнью, в зрелые, тем более такие, как сейчас, - ею дорожишь. И с каждым прожитым днем она становится дороже! Сейчас некоторые генералы, маршалы, министры покончили с собой: кто совершил традиционное харакири, кто на европейский лад застрелился, кто принял яд кураре.

А разумно ли это - уходить в иной мир, когда и в этом многое недоделано! Ведь если смотреть вперед, а не назад, то есть надежда: для будущего возрождения Великой Японии еще пригодятся и генералы и министры. Мы повержены, но истечет исторически короткий срок - и все вернется: войны, победы и Великая Япония. Кадры, кадры для будущей воссозданной армии нужно сохранять. Поэтому и генерал Отодзо Ямада сохранит себе жизнь.

За сегодняшним позором встает будущая борьба. И никакой обреченности быть не может. Но как же тяжело дается эта вера в грядущее, когда все смято, раздавлено, растоптано, кажется, танками той самой 6-й армии генерала Кравченко, к которому нужно ехать.

Из темного угла зеркала будто выдвинулся на миг некто в белой одежде и с белой, седой головой и тут же исчез. И подумалось:

"Не я ли это через десяток-другой лет?" Исчезнет когда-нибудь Отодзо Ямада, переселится в загробный мир, по до этого он еще послужит здесь, на земле, "венценосному журавлю" - императору Хирохито и Великой Японии. Нет, харакири он не совершит, стреляться не будет и яда не примет. Но видение, возникшее пз затуманенного угла зеркала, томило и тревожило, слишком уж оно было явственным. Узреть его лишний раз не хотелось.

Ямада отошел от зеркала, сухотелый, сутуловатый, кривоногий. Глаза у него сделались почти что добрыми, и, если б на нем вместо военной была гражданская одежда, его вполне можно было бы принять за тихого, смирного старичка. А это был главнокомандующий! Правда, армия его перестала существовать, испускала последние вздохи, билась в агонии, имя которой капитуляция. Да, так повернулась судьба: главнокомандующему приходится готовить свою армию к разоружению и сдаче в плен.

Заплетающимся, неверным шагом Ямада подошел к зарешеченному окну, за которым во внутреннем дворике орденскими пятнами пестрели цветы, походил возле письменного стола и возле круглого стола, за которым он и принимал советских парламентеров в тот памятный ему день - девятнадцатого августа. Столы и стены кабинета были полированные, блескучпе, смутно отражали тщедушную фигуру генерала. Некстати Ямада подумал: над его ростом курсанты не потешались, японцы - нация малорослая.

А вот начальник штаба Хата - высокий, грузный. Скоро в этом кабинете будет восседать маршал Малиновский. Интересно, переделает ли Малиновский кабинет по своему вкусу? А-а, не то должно волновать Отодзо Ямада. А что? Хотя бы то, что война Японией окончательно и бесповоротно проиграна.

А ведь были иные времена! Времена, когда внезапный, сокрушительный удар должны были нанести они, японцы. Прекрасные планы рождались в генеральном штабе, надо отдать должное - там были незаурядные умы. Например, план "Особые маневры Кваптупской армии": вторжение японских войск в советское Приморье и Забайкалье с последующим захватом

Дальнего Востока и Сибири. Кто из пас не повторял крылатой фразы: "Когда солнце над Токио, лучи его должны освещать всю великую Японскую империю до Урала"? Конечно, русские были начеку. Еще до нападения Германии на Советы они преобразовали Дальневосточный военный округ, а в сорок первом Забайкальский - во фронты с вполне определенными оборонительными задачами. Мы знали, что нам противостоит около сорока дивизий, которые русские, несмотря на всю тяжесть войны с Германией, держали на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Это-то и тормозило наше выступление, да и печальный опыт Хасана и Халхип-Гола предупреждал:

Красная Армия - сильный противник. Вероятно, эти два обстоятельства не дали политическому и военному руководству Японии рискнуть ни в сорок первом году, когда вермахт был под Москвой, ни в сорок втором, когда вермахт был под Сталинградом. Ждали как сигналов для выступления падения Москвы, затем Сталинграда, но так и не дождались. С начала сорок пятого года главное командование заговорило об оборонительном варианте для Кванту некой армии: подействовали громкие победы русских на советско-германском фронте. Оборонительные планы возникали один за другим, последний - в июне: сосредоточить основные силы Квантунской армии на Маньчжурской равнине, оставив в приграничной полосе войска прикрытия - приблизительно треть сил ц средств армии. Решающее сражение предполагалось дать на липни Чанчунь Сышгагай - Мукден, нанести поражение советским войскам в районе Чанчуня и Мукдена, в последующем преследовать противника вдоль КВЖД до станции Карымская, другие войска должны были повести наступление на Хабаровск, Никольск-Уссурийский, Владивосток. Ах эти светлые умы в генштабе, - все развивалось не по их планам! Ах эта самурайская уверенность - она обернулась провалом! Ведь даже его начальник штаба Хпкосабуро Хата, бывший в свое время атташе в Москве и знавший русских, поверил в этот блеф. Да, блеф, иначе это не назовешь!

С неожиданной для своего сухопарого тела грузностью Ямада опустился в кресло за круглым столом. О, именно в этом кресле сидел он тогда, девятнадцатого августа, принимая советских парламентеров! А как было их не принять, когда советский воздушный десант приземлился в Чанчуне, а танки генерала Кравченко, этого неудержимого дьявола, выходили на подступы к маньчжурской столице? Горький, черный день - девятнадцатое августа: он, Ямада, подписал приказ о капитуляции. А вечером того же дня на здании штаба главного командования Квантунской

армии спустили японский флаг и подняли советский...

Как он дожил до этого, как это могло случиться? Силы же у пего были немалые: 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная армия, 2-я воздушная армия, Сунгарийская военно-речная флотилия, с началом боевых действий в Маньчжурии в Квантунскую армию были включены 17-й фронт и 5-я воздушная армия - вот что такое Квантунская армия! А вместе с армией Маньчжоу-Го, войсками правителя Внутренней Монголии князя Дэ Вана и Суйюаньской армейской группой - это более миллиона человек.

Или же один человек, стоявший над этим миллионом, генерал Ямада, оказался неспособным военачальником? Нет и нет! Во-первых, противник был мощнее, оснащен новейшей техникой, вовторых, поступил рескрипт императора о капитуляции, сбивший боевой дух войск. И потом, конечно, у Василевского, Малиновского, Мерецкова, Пуркаева и других советских маршалов и генералов колоссальный опыт, которого у Отодзо Ямада, видимо, не было. Или полководческого таланта не было? Нет и пет, талант был, по обстоятельства, обстоятельства, мощнейший удар Красной Армии, взломавший японскую оборону, - дезорганизованная, опа затрещала по всем швам. И тридцать одна пехотная дивизия, девять пехотных и две танковые бригады, две воздушные армии Ямада не выдержали, дрогнули, сломались. Не помогли бригада смертников и тонны бактерий чумы, сибирской язвы, брюшного тифа и холеры для ведения бактериологической войны. А ведь в опытах над военнопленными китайцами бактериологическое оружие проявило себя с наилучшей стороны. Все рухнуло...

А может, стоит вспороть живот? Или застрелиться? Или принять кураре? Из высшего руководства с собой покончили немногие. Из его окружения квантунских штабистов, командующих фронтами, армиями, командиров дивизий мало кто прибег к самоубийству. Наверное, еще меньше таких среди низовых офицеров и уж конечно среди солдат. Рассчитывают выйти сухими из воды пережить капитуляцию и плен, вернуться на родину?

А почему же и нет? Подержат в плену - и отпустят. Правда, англосаксы, союзники русских, в печати и по радио пугали судом над военными преступниками, относя к ним руководящих военных и политических деятелей Японии. И его, Ямада, будут судить? Но его к той, высшей категории не причислишь: так сказать, не заслужил. Хоть пост и высокий. Был высокий. Теперь он никто.

Сдавшийся на милость победителя главнокомандующий. Его пока не арестовали, он пользуется свободой. Относительной, под

присмотром советских генералов.

Ямада поерзал в кресле и будто увидел перед собой непреклонные лица советских парламентеров, их широченные плечи, обтянутые кителями и гимнастерками. Ведя переговоры, он словно надеялся на чудо, которое не могло произойти: капитуляция была неотвратимой. И сыграли здесь роль не столько рескрипт императора, тем более не атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сколько ошеломляющий удар Красной Армии, приведший к разгрому Квантунской армии, - приходится это признать, как бы ни было больно. Ямада сморщил и без того сморщенный лоб и зримо представил себе: парламентеры повернулись к нему спиной, и он увидел их крутые, столь же непреклонные затылки, и это почему-то окончательно убедило в том, что чуда не будет, спасения ждать неоткуда, русские крепыши не выпустят его из своих рук тоже достаточно массивных, сильных и цепких...

Помешкав, вызвал адъютанта, а тот вызвал денщика - он же парикмахер, повар и прочих дел мастер. Брадобрей священнодействовал, адъютант, преданно изогнувшись, давал указания, как лучше брить. Ямада разглядывал себя намыленного и себя, освеженного одеколоном и кремом, и думал, что после бритья он стал как будто еще старше, а уши торчали еще сиротливей и обреченней. Что ты заладил, как выживший из ума попугай, об ушах да об ушах, сказал он себе, что бы с тобой ни стало, ты остался крупной личностью, которую японская история не забудет. Как капитулировавшего перед русской армией? Нет, как одержавшего олестящие победы над китайской армией. Лишь бы его не судили советским трибуналом, а если будут судить лишь бы оставили жизнь.

Он глянул на часы. До отъезда в штаб Кравченко оставалось полчаса. Ямада встал и, сопровождаемый, как собственной тенью, адъютантом, засеменил по коридорам и кабинетам, которым не было числа в здании Квантунского штаба, крупнейшем в городе.

Встречавшиеся в протяженных, как чанчуньские проспекты, коридорах японские офицеры почтительно козыряли, советские - их было меньше провожали взглядами, не выражавшими ничего, даже любопытства; в большинстве кабинетов уже хозяйничали русские, там, где были японцы, они вскакивали, становились навытяжку. Ямада хмуро кивал, шел дальше. Шел, испытывая чувства капитана, покидающего последним тонущий корабль.

Горько поправил себя: корабль не идет ко дну, просто на нем меняют команду во главе с капитаном.

Прощание со зданием штаба - а это было, Ямада понимал именно прощанием - необычайно утомило, и когда он опустился

на кожаное сиденье автомобиля, то устало расслабился, откинулся на спинку, отдыхая, как после непосильного труда. В ветровое стекло увидел: разворачиваются два "виллиса" - будут сопровождать. Ямада усмехнулся: под присмотром. Позади него водрузился генерал-лейтенант Хата - ворочался, сопел, пружины скрипели.

Вот так же они скрипели в кресле, на котором восседал Хикосабуро Хата в тот жаркий пюньскпй день сорок пятого, когда они принимали в штабе Кваитупской армии генерала Йосидзпро Умэдзу. Это был но то что друг, но близкий приятель Ямада с давних лет. Посидзиро Умэдзу был в японских вооруженных силах видной, влиятельной фигурой. Сорок лет назад ои принимал участие в осаде русских войск в Порт-Артуре. Памятный, славный, победный девятьсот пятый! Но еще громче прославился Умэдзу на посту главнокомандующего Квантунской армией: разбил китайцев, покорил Северо-Восточный Китай, создал Маньчжоу-Го. В узких, по влиятельных кругах знали: генерал Умэдзу подготовил в Маньчжурии плацдарм для нападения на Советский Союз, разработал план "Особые маневры Кванту некой армии", утвержденный императорской ставкой. Затем оп пошел вверх:

стал начальником генерального штаба Японии, и командовать Кваитупской армией доверил Отодзо Ямада: как бы двигался по стопам Умэдзу.

Да, день был жаркий: июньское солнце ломилось сквозь жалюзи, нагнетало жару. Генералы потели, вытирались платками, пили прохладительные напитки, а потом перешли к сакэ, русской водке и виски: все равно томительно душно. Говорили о военнополитическом положении Японии. И довольно откровенно: Умэдзу и Ямада - приятели, а Хата был известен как человек прямой и не способный доносить. Хотя кто знает в точности, кто доносит и кто не доносит?

Все трое сходились на том, что Япония в состоянии вести столетнюю войну. Американцы воюют вяло, а военно-экономический потенциал Страны восходящего солнца ие поколеблен. Лишь бы не выступила Россия, это может усложнить ситуацию; но может и прояснить, если советские войска будут быстро и решительно уничтожены. Кстати, цель инспекционной поездки Умэдзу в Маньчжурию - проверить, в какой степени Квантунская армия готова к войне с Россией. Выяснилось, что готова полностью. Собеседников волновало другое: в императорском окружении нарастают настроения искать договоренности с американцами и англичанами о почетном мире, считают, что продолжение войны сыграет на руку коммунистам, а

коммунизма в Токио боятся больше, чем американской оккупации. Собеседники были единодушны в стремлении продолжать войну до победы, не поддаваться мирным иллюзиям, пресекать распространение этих иллюзий, как заразы.

Умэдзу и Ямада высказывались тихо, корректно, а Хата горячился, повышал топ, размахивал руками. Весомей всех звучал, конечно, голос Йоспдзиро Умэдзу. Еще бы! Начальник генштаба, член Высшего совета по руководству войной. Он и возможное выступление России оценивал спокойно и трезво, называя даже срок этого возможного выступления - сентябрь пли октябрь, сухой, без дождей сезон.

- Но скорее всего Советский Союз не выступит, - сказал Умэдзу. - Оп слишком истощен войной с Германией. Более того; оп не выдержит, если мы решим ударить по нему...

Тогда-то подсчитали, что под командованием Ямада в случае необходимости будет около миллиона штыков, плюс силы 5-го фронта на Южном Сахалине и Курильских островах, подчиненного непосредственно императорской ставке. Мощь, с которой Советам ко справиться!

(Кто из находившихся в тот июньский полдень в кабинете командующего Кваитупской армией мог предположить, что пробьет час - и генералу Умэдзу придется подписывать на линкоре "Миссури" акт о капитуляции Японии, а поз;ке предстать в качестве одного из двадцати восьми главных военных преступников на Токийском судебном процессе, генералам же Ямада и Хата давать показания на Хабаровском процессе?)

Ямада ехал по Чапчупю и будто прощался с маньчжурской столицей. Прощался, понимая: дальнейшее его существование туманно: как-никак оп военнопленный. Кое-где на перекрестках стояли краснозвездные, отмытые от походной пыли танки с зачехленными стволами, возле гусениц весело топтались экипажи в комбинезонах и кожаных куртках, - Ямада отворачивался. Под конвоем протопала колонна обезоруженных японцев, - Ямада всмотрелся в их покорные, равнодушные лица. Что они испытывают, шагая с конвоирами? Бывшие солдаты, нынешние военнопленные. .. Что думают о нем, главнокомандующем? Что думают о своем будущем, о будущем Японии? Надо жить, солдаты, надо пережить смутную пору, а потом снова взяться за оружие, ибо призвание истинного японца - воевать во славу императора. Плохо, что я уже стар, а у вас, солдаты, большой запас лет. Надо только не падать духом, надеяться и верить. Будьте верны императору и Японии, солдаты, - это говорю вам я, ваш командующий.

Колоппа понурых пленных скрылась за поворотом, и вдруг

Ямада ощутил страх, аж под ложечкой засосало. Оп подумал, что стар, сердце сдает, скоро умрет, а потом подумал: когда увидит маршала Малиновского? Страшно было умирать, и страшно было увидеть глаза в глаза полководца, сокрушившего твои войска.

И в то же время хотелось его увидеть вблизи, во плоти и крови, острое, болезненное желание. Но когда, бренча шпорами на сапогах-бутылках, Ямада и Хата вошли в кабинет генерала Кравченко, Ямада вздохнул с облегчением: Малиновского там, естественно, не было, встреча оттягивалась. В кабинете были уже знакомые Ямада генералы: член Военного совета Забайкальского фронта Тевчепков, командующий 6-й танковой армией Кравченко, член Военного совета армии Туманян, начальник штаба Штромберг и другие. Ямада выдавил из себя улыбку.

Он и Хата докладывали о ходе разоружения японских частей непосредственно в районе Чанчуня, советские генералы слушали, не перебивая. И тут Ямада вдруг спросил генерала Тевченкова:

- А когда я увижу маршала Малиновского?

- Родион Яковлевич прилетит на днях, - сказал Тевченков.

34

Теперь Ванемяо можно было разглядеть и повнимательнее, как говорится, распознать. Впрочем, разглядывать особенно нечего.

Город с той поры, как мы прошли его насквозь с севера на юг, не мог измениться, вернее, изменился самую малость: закопаны траншеи и окопы, разобраны завалы, дзоты, убраны проволочные заграждения. Ничто уже не напоминало о попытках японцев подготовиться к боям в Ванемяо. И жизнь бурлила по-прежнему, многоголосая, крикливая. Создавалось впечатление: жители не говорили нормально, а старались перекричать толпу. Чем громче, тем лучше! Улицы забиты людьми, тротуаров не хватает, идут по мостовой, мешая автомашинам и рикшам. Город утопает в зелени, в кронах булгачит воронье, но перекричать людей не может. Китайцы нас приветствуют столь же шумно, как и тогда. Но фонариков, матерчатых драконов, букетов и угощения уже нет. Да это и понятно: первая радость освобождения позади, все стало проще, будничней. Улыбаются, однако, так же широко. При этом во рту замечаешь гнилые, темные зубы - даже у молодых. В толпе много помеченных оспой, много слепых, хромых. Жальчей всех рахитичные детишки со вздутыми животами. Рождается детишек в Китае видимо-невидимо. Дашь кусок сахара одному - налетят десятки. Раздашь что есть, а к тебе тянутся уже сотни исхудалых, грязных, в болячках рук. Не знаешь, куда себя девать. Нам рассказывали: китайцам было запрещено есть рис, за нарушение - удары бамбуковыми палками, случалось, и забивали.

А как китаец может обойтись без риса? И еще нам рассказывали: при японцах была работорговля, особенно процветала торговля девушками и детьми.

Как и все маньчжурские города, Ванемяо разбросан: центр незаметно переходит в окраины, а окраины смыкаются с окрестными деревнями. Поэтому вперемешку с горожанами - крестьяне, в основном на рынках: таскают на коромыслах корзины с огурцами, помидорами, связками перца и лука, капустой, баклажанами, торгуют всякой зеленью, крохотные пучки ее разложены прямо на земле. На рынках особый ор: торгуются до седьмого пота, а предварительно в голос зазывают. Да еще трещат трещотки и звонят звонки - этим также зазывают покупателей. Немало всяких товаров - от фотоаппарата до кимоно, разворованных из японских коттеджей и складов до прихода Красной Армии. Попадешь на базар, и тебя сразу хвать за руки: "Капитана, покуппла!"

Буквально не дают пройти.

Мы ходили и ездили по Ванемяо. а в мыслях посещали ПортАртур. Да это и понятно. Кто не мечтал добраться до Ляодунского полуострова, до легендарного города русской славы! Нам персонально не повезло. О Порт-Артуре в батальоне говорят много - с сожалением и досадой, что отсекли нас от бригады полковника Карзанова, и замполит Трушни, слушая эти разговоры, сердится:

- Не всем быть в Порт-Артуре! Кому-то надо нести службу в Ванемяо!

Я тоже сержусь, слыша сетования насчет Порт-Артура. Понимаю: оба мы сердимся оттого, что в душе и нам обидно не попасть в Порт-Артур. А былп довольно близко! До Чанчуня было километров двести, до Мукдена, соответственно, - километров четыреста пятьдесят, до Порт-Артура восемьсот пятьдесят. Не так уж и близко? Все равно дошли бы, доехали бы! Да вот не повезло...

Особист рассказывал: в Дальнем на роскошной вилле органы госбезопасности взяли генерала-атамана Семенова, палача рабочих и крестьян Забайкалья. Он, видимо, был готов к этому: грузный, отяжелевший, вышел навстречу чекистам на парадную лестницу в белоснежном кителе, с нафабренными седыми усами, смиренно сказал, что виноват перед Россией и будет отвечать на все вопросы как на духу. В Дальнем также были арестованы генерал Нечаев - начальник белоэмигрантского бюро, генерал Токмаков бывший комендант Читы, на совести которого тысячи убитых и замученных, дядя атамана Семенова генерал Семенов, генерал Шулькевич, генерал Ханжин бывший командующий 5-й

армией у Колчака. Родина пришла и спросила с них, и нечем было оправдаться этим жалким, по и страшным людям.

В родной дивизии нас встретили тепло, ласково, по с некоторой шутливостью: дескать, вернулись блудные сыны. Это зерно:

поблуждали в отрыве от кровной Краснознаменной Оршанской, пора и честь знать. И вообще, в гостях хорошо, а дома лучше.

В данный, как говорится, момент базой для домашнего бытия служит город Ванемяо. Наш полк дислоцируется на его северо-восточной окраине. Другие полки размещены по другим окраинам, в центре города - службы фронтового штаба. Живем в бараках - японские казармы. Постель в казарме после кочевой житухи - к этому еще надо привыкать, ибо отвыкли основательно. В эшелоне набаловались на нарах, потом же спали где и как придется:

на земле, под кустиком, под колесом "студебеккера", у гусеницы танка. А тут - тюфяк, набитый травой, прикрытый простынею, подушка, одеяло! Добыта вся эта роскошь не без стараний старшины Колбаковского Кондрата Петровича.

- Казарменное положение - это что? - вещает Кондрат Петрович. - Это покой и отдых. И уставной порядок! Чтоб заправка постелей была образцовая!

Ветераиы-подпачпики вроде Логачеева мутят воду:

- Да мы, товарищ старшина, развыкли от постелей-то. Черт их знает, как убирать... Пущай женский персонал ухаживает!

- 0-отставить! - рявкает Колбаковский, - Шуточки прибереги для своей благоверной...

Логачеев ощеряется:

- Благоверная ли она - вот в чем штуковина!

- Это касаемо тебя, а не меня! А что касаемо всех нас - так это еще и образцовый внешний вид! Службу несем заметную, в городе! Чтоб внешний вид был - как положено воину-победителю! Вопросы есть?

- Есть вопросик. Когда нас демобилизуют?

- 0-отставить! Какие могут быть демобилизационные настроения, ежели война еще не кончилась?

- Да для нас она уже навроде кончилась...

- Не кончилась! И запомните: за плохую заправку койки, за плохой внешний вид буду налагать взыскания!

Требования старшины я, конечно, поддерживаю, но ретивости у меня меньше: все-таки далеко от войны, благодушие, умиротворенность, тихая радость и ожидание полного мира. А Кондрат Петрович в своем старшинском рвении, безусловно,

прав: в казарме положен порядок, и то, что в боях-походах было извинительно - небритые щеки, грязный подворотничок, мятая гимнастерка, нечищеные сапоги, - сейчас исключалось. Надраен, наглажен, выбрит и поодеколонен! Не забывай на улицах приветствовать старших по званию, не кури в общественных местах, уступай дорогу женщинам и старикам! "Дивизионка" даже статьи печатает на эту тему.

В мягкой, уютной постели - над головой крыша! - снились походно-боевые сны: то будто я на марше, шатаюсь, на последнем дыхании, то будто припечатывает ребрами к танковой башне. Но снилось и полагающееся, что ли, сниться молодому мужику: Эрна рядом, прильнула, ее рыжие завитки щекочут мне нос, потом вдруг водянистые, выцветшие глаза моей первой любви Варвары, сестры старшины Вознюка, в городе Лиде, перед войной.

А иногда, странное дело, одолевала бессонница, и я маялся-ворочался на своем прекрасном ложе. Тогда я начинал думать о погибших на Востоке: Головастикове, Свиридове, Черкасове и других... Сколько их добавилось к тем, кто погиб на Западе?

Конечные августовские денечки были солнечными, теплыми, даже жаркими. По утрам над городом и окрестными сопками стоял плотный, подолгу не истаивающий туман. В такое раннее утро нас по тревоге выбросили на машинах оцеплять сопку, на которой раздался сильнейший взрыв. Мы уже почти знали, что случилось. Над окраиной Ванемяо, над сопками до этого блуждал самолетный гул: надрывно, туда-сюда, будто машина заплутала.

Так впоследствии и оказалось: "Дуглас" потерял ориентировку в тумане и врезался в сопку. Экипаж и пассажиры погибли, среди пассажиров, говорят, был какой-то майор, известный ученый-востоковед. Мы оцепили место катастрофы. Подъехало начальство, подъехали санитарные машины, пожарные. До полудня мы никого не подпускали, после охранение было снято. Тяжелый, горестный осадок: война не виновата, а люди мертвы.

Вообще-то этот эпизод не характерен для нашей службы в Ванемяо. Обычно мы патрулировали - иногда пешим порядком, иногда на мотоциклах - кварталы, проверяли документы, следили за общественным порядком, стояли на посту у штабных зданий, узлов связи, складов, на железной дороге. Служба нудная, мне не по нраву. Но виду я не показывал. Наоборот, подчеркивал, какая это важная служба и как бдительно следует нести ее.

- А чего бдеть, товарищ лейтенант? - Логачеев в последнее время стал говорлив и вольнодумен. - Войне амбец, мы - на север, нах хауз, по домам. Вторая мировая спеклась, а мы все шаркаем по мостовой, документики проверяем.

- Надо проверять, - говорю внушительно. - Могут попасться переодетые японцы. А хунхузов сколько? Ушами хлопать не приходится!

- Мы прямо как милиционеры, - говорит Вадик Нестеров.

И юнец туда же!

Новых аргументов у меня нет, и я прибегаю к испытанному методу:

- Отставить разговорчики!

В солдатах, да и во мне бродит некое фронтовое фанфаронство: мол, после боев и рейдов в пороховом дыму ходить по улицам с красными повязками патрулей скучно. Молодость, наивность, глупость? Так точно! Но учтите: у нас грудь полна орденов и медалей. И еще добавят: за Маньчжурский поход ушли наградные, вот-вот будут награды. Меня представили к Красной Звезде, будет еще одна Звездочка. А у Феди Трушина будет еще одно Красное Знамя.

Куда пойдешь после войны, что будешь делать? Опять встают эти вопросы, как и в мае сорок пятого. Учиться надо, ведь недоучка. Сызнова в Бауманский институт, стать плохим инженером?

Наверное, я гуманитарий. В поэты податься? Не смеши людей, Глушков. Верно, смешно. А почему бы не выучиться на учителя?

Преподавать, скажем, литературу и русский язык. Или же историю. Давай двигай в учителя! Подумаю. Не-ет, гражданка - проблема непростая. Мало уцелеть на войне, надо еще найти свое место в послевоенном мире. Федя Трушин, друг ситный, как-то предложил: дома у тебя нету, поедем ко мне на родину в Оренбуржье, женим тебя, а там видно будет. Не-ет, сперва учиться, потом жениться. Да и на ком? Чтобы жениться, нужно любить.

А люблю я покуда Эрну. Не разлюбил ее покуда. И разве можно так скоропалительно разлюбить? Что я, мотылек какой, порхающий от цветка к цветку? Ладно, отодвинем гражданские заботы в сторонку, война еще не кончилась, и нас не демобилизовали.

А Эрну я не разлюблю. Ведь она была мне как жена. Тогда, в Пруссии, боялся, что забеременеет, теперь же - был бы рад, если б это тогда случилось. Пусть бы у нее родился мой ребенок. Мне так хочется иметь дочку или сына! А что, если Эрна действительно забеременела? Она хотела ребенка, хотела...

Мы несем свою службу, повседневную, тягучую, но иногда и беспокойную. Однажды ночью нас подняли по тревоге в ружье.

В желтушном свете электрических лампочек в казарме

солдаты одевались, натягивали сапоги, брали оружие из пирамиды, строились во дворе, и уже голубоватый свет луны ложился на лпца.

Знобящий ветерок залезал в ворот гимнастерки. Вершины сопок были з тумане. Туда, на сопки, и предстояло идти, прочесывать местность: обнаружена база японских смертников, так и не пожелавших разоружиться и нападавших на жителей и советские войска. Остро вспомнилось: в Восточной Пруссии под Кенигсбергом, после победы над Германией, поднимают по тревоге искать "вернольфов" - оборотней; там "вервольфы" - здесь смертники, одни черт.

Мы вышли за ворота, затопали по булыжнику. Город спал, облепленный магазинными вывесками из иероглифов (иероглифы и на запертых воротах заклинания от злых духов), лишь собаки брехали, как бы передавая нас своим лаем от двора к двору. За окраинами потянулись черные стены гаоляна, - в таких зарослях неплохо прятаться смертникам. Темнели фанзы, возле них надрывались псы, еще более горластые, чем городские. Луна и собачий брех под луной - картина. Солдаты зевали, поеживались со сна, кашляли. Меня маленько познабливало - не от волнения, его не было, а потому, что из теплой постели. Да, доспать бы не худо, принесла нелегкая этих смертников из спецотряда. Сами не спят и другим не дают. Чего доброго, пострелять придется. И в нас постреляют.

Постепенно собачий брех отвязался, затих за спиной, и чем дальше колонна втягивалась в сопки, тем тише и тревожней становилось кругом. Дышится трудно, поднимаемся в гору. На дороге поблескивают мокрые камни. Луна над сопками - как круглый лик молодой китаянки. Повыше в горы - тропа каменистей, круче, по бокам кусты и лесочек. Вот уж где привольно смертникам да хунхузам! Вскрикивает ночная птица, и я вздрагиваю. Волнение мало-помалу становится очевидным: найдем ли японцев, что будет - бой или сдадутся? На последнее не много надежд.

По данным разведки, японская база где-то поблизости. Но проходит час и два, прежде чем обнаруживаем эту самую базу. На отшибе, на поляне - наспех вырытые землянки без окон, окопы и щели, ящики из-под гранат, гильзы, пустые бутылки, тряпье.

Японцев нет, но в воздухе будто их запах. Дымит небрежно затоптанный костер. Значит, ушли отсюда совсем недавно. Я испытываю противоречивое чувство. С одной стороны, досада: ускользнули. С другой - облегчение, бой отодвинулся. Хотя рано или поздно он состоится. Так, может, лучше рано, чем поздно?

Комбат и полковые офицеры в сердцах ругаются;

прикидывают, по какой тропе отошли японцы, и решают: марш-бросок, будем преследовать противника по горячим следам. Ох, и дался нам этот марш-бросок! Не заботясь уже ни о какой звукомаскировке, бухая сапожищами, бренча оружием и котелками, мы побежали на юго-запад от базы. Бежали по одному, по двое. Страхуясь, помогая друг другу, добрались до просеки и по ней рванули вовсю. Я бежал, стараясь все-таки быть во главе роты, и сердце у меня бабахало, пот заливал глаза, и почему-то екала селезенка.

Ничего, вперед! А что впереди? Бой! Тяготились проверкой увольнительных и стоянием на посту, так получите бой, достойный фронтовиков!

Мы нагнали японцев километра три спустя. Они встретили нас ружейно-пулеметпым огнем. Ведя фронтальный огонь, батальон развернулся и окружил лощину. Деваться японцам было некуда.

Или плен, или смерть. Кто предпочел первое, кто второе, но поперву все дрались отчаянно. На каждую нашу попытку сблизиться отвечали пулеметными очередями - пулеметов у японцев было больше, чем винтовок, и на очереди они не скупились. Пули вжикали у виска, стригли ветки, откалывали кусочки гранпта, с визгом рикошетили. Наше командование думало было послать парламентера, но не рискнуло. Покричали в рупор, чтоб сдавались.

По-русски и на смеси японского с китайским. Ответом былн хлесткие очереди. Да это попятно: смертники есть смертники.

Подъехала полковая артиллерия, и комбат решил: обработаем лощину сорокапятками. Ударили пушки. Выстрелы чередовались с разрывами, а затем сплошной гул затопил лощину. Вздымались куски землп и деревьев, загорелся подрост, дымом заволокло кусты. Пороховая гарь и вонь шибали в ноздри.

Ракета взмыла, рассыпалась зеленоватыми брызгами. Я заверещал в свой свисток на шнурке и крикнул:

- Первая рота, встать! Вперед!

Засвистели и закричали и другие ротные, и стрелковые цепи начали перебежками передвигаться к лощине, впритирку к огневому валу. Пушкари перенесли огонь в центр лощины, а потом и вовсе прекратили стрельбу, чтобы не попасть в своих. Пули над нами посвистывали, но гораздо реже, чем в начале боя: артиллерия потрудилась не зря. Еще одна зеленая ракета комбата повисла над лесом, и я крикнул:

- Первая рота, в атаку! Ура!

Взводные и отделенные, а там и вся рота подхватили этот клич. "Ура" вскипало и на других участках - вскипало, крепло, не

опадало. Я бежал за цепью, приволакивая ушибленную о валун ногу - в атаках часто вот так стукаюсь обо что-нибудь, - хрипло дышал, хрипло выкрикивал:

- Бегом, бегом! Правей, правей! Ура!

Вряд ли меня слышали, по командовал и чувствовал некоторое успокоение: все правильно, коль командую. И еще испытал иезабытый азарт атаки, когда уже не обращаешь внимания на пули, поддаешь ходу и ненароком опережаешь своих солдат. А казалось, откуда силы? До этого же был какой марш-бросок! Ничего, силы нашлись.

- Ура, ребята! Ура! Бей их. круши! - кричал я больше для себя, чем для подчиненных. В подобных командах опи вряд лп нуждались.

Где-то вскрикнули, кто-то упал. Чей-то мат, чей-то стоп. Пулеметные и автоматные очереди. Разрывы гранат. При вспышках осветительных ракет вижу, как, сеутулясь, бегут паши солдаты, как стреляют, мечут гранаты, схватываются в рукопашной: короткая очередь, удар прикладом. Я и сам всаживаю очередь в подвернувшегося японца со вскинутым ножом и, не успев даже подумать о нем, бегу дальше, в гущу схватки. В клубах дыма мелькают Логачеев, Кулагин, Нестеров. Погосяп, Симопепко, Рахматуллаев. Успеваю пх узнать. Живые! И еще кто-то бежит, которого не могу узнать, и еще кто-то. Дым заволакивает. Уже попадаются японцы с поднятыми руками, оружие отброшено. Валяются убитые, корчатся вспоровшие себе животы, мы перепрыгиваем через них, бежим дальше. Глотка пересохла. Ноги подгибаются. Бреду по поляне, собираю бойцов, сбиваю в кучу сдавшихся японцев. Раненым - нашим и японцам - оказывают первую помощь. Наших убитых, слава богу, не видно. Комбат приказывает раненых на носилках и плащ-палатках выносить на дорогу, а остальным - и нашим и японцам - тушить пожар. Помоему, комбат поступил соответственно. Пожар может разойтись и погубить изрядно леса, а лес - богатство. Китаю пригодится. И мы лопатками, шинелями, плащ-палатками, гимнастерками сшибаем пламя, закидываем его землей, затаптываем сапогами.

Была и еще рискованная операция - брали переодетых в красноармейскую форму бандитов. Ночью хунхузы - уж неведомо, как они раздобыли нашу новехонькую одежду, может, с воинского склада уперли, - взяли дом купца-галантерейщика. Проникли туда под видом патруля, от имени военного коменданта, якобы проверить, не находятся ли там подозрительные лица. Проникли, закрыли двери на запоры и учинили дикое: женщин и девочек изнасиловали и зарезали, мужчин тоже исполосовали ножами,

ограбили жилье и лавку и скрылись. Но купец остался жив, истекая кровью, он проковылял за бандитами и увидел, в какой дом они зашли с добычей. Добрался до военной комендатуры - и дежурному коменданту: "Я цестпый купеза, а васа солдата..." Ему не поверили, но купец твердил: в советской военной форме, были не только черноволосые, но и светлые.

Моя рота оцепила дом, где засели бандиты. На предложение выйти и сдаться долго молчали, потом начали стрелять через окна и двери. Мы тоже стреляли в окна и двери, по это не было выходом из положения. Не сдаются нужно штурмовать. Дожили:

подставляем башку под пулп какой-то бапдитни. Но надо. И, размыслив, я вызвал добровольцев, отобрал из них пяток человек во главе с парторгом Миколой Симопепко. Пока мы отвлекали хунхузов огнем, эти пятеро залезли на крышу, по крыше пробрались к задней степе, разбили глухое окно и ворвались в дом, в воровской притон. Едва там затрещали наши автоматы, рота пошла на приступ, и мы также ворвались внутрь. Хунхузов ликвидировали:

китайцы, маньчжуры и двое русских парней, дети белоэмигрантов.

Проверяя на улицах Ванемяо своих патрульных, я встретился со старшим сержантом Геннадием Базыковым, командиром орудийного расчета, Героем Советского Союза. Обнялись, расцеловались. Он спросил, как воевалось в составе передового отряда.

Я ответил:

- Нормально.

И спросил его, как воевалось пушкарям в составе нашей дивизии. Он ответил:

- Нормально...

Мы посмеялись, выкурили по сигарете, Гена сообщил мне, что, по непроверенным данным, дивизия представлена к почетному наименованию "Хинганская". Порадовались. Гена сказал:

- Если присвоение состоится, будет звучать так: ОршапскоХингапская. Красиво?

- Красиво, - сказал я, и мы разошлись.

Здорово, если дивизия получит наименование Хинганской!

А что присвоят танковой бригаде полковника Карзапова? Может быть, и она будет Хинганской?

Затащили к себе офицеры дивизионной многотиражки "Советский патриот". Угощали ханжой, расспрашивали о действиях в передовом отряде, чиркали в блокнотиках, обещали написать.

Я сказал:

- Делюсь не для того, чтобы обязательно описывать. Просто вспомнилось...

Редакционная холостежь зашумела:

- Узнаем скромника Глушкова! Накажем! Распишем по первое число! В герои произведем!

Полный, солидный майор-редактор принялся их утихомиривать:

- Перестаньте, юноши! Что лейтенант о вас подумает?

Тогда пустились критиковать постановку гарнизонной и караульной службы: дескать, много формализма. Пожилой редактор оборвал:

- Перестаньте вольтерьянствовать!

Ему ответили:

- Не будем вольтерьянствовать - будем пьянствовать!

Но редактор сказал: "Не остроумно" - и завинтил баклагу с ханжой.

35

Война еще формально не окончилась, но живых людей можно понять: мы считаем, что фактически уже кончилась. Шесть лет бушевала вторая мировая, как раз первого сентября тридцать девятого гитлеровская Германия напала на Польшу, и пошлопоехало. Ныне на Дальнем Востоке мы подводим ее итоги, плачевные для агрессоров: Германия разбита, Япония разбита, так-то играть с огнем, самим можно сгореть. Мы в чужом огне не сгорели, мы выжили, и нам надо думать о послевоенной жизни. Все мечтают разъехаться по домам, одни старшина Колбаковский не рвется: его дом - армия, он и дальше будет сверхерочшгчать. Он так прямо и говорит:

- Покеда не выгонят по старости, буду тянуть армейскую лямку. Не представляю себе другого-то существования...

А солдаты вполне представляют. У всех твердые, продуманные планы, о которых говорится во всеуслышание. Чаще прочих на эту тему распространяются Толя Кулагин, Логачеев, Погосян и Вадик Нестеров. Кулагин заявляет:

- Робя. кто куда, а я в сберкассу... Кто куда, а я обратно в сельское хозяйство, в полеводство. Хлеб выращивать - что благородней, а? И буду я уже не звеньевой, а бригадир. Растп надо. Может, и предколхоза стану. Учитывая мои фронтовые заслуги.

- В плену побывал, Толяп. Не повредит? - спрашивает Драчей.

- В плен угодил не по собственной воле, ничем себя не обмарал. А на фронте завсегда дрался на совесть. Награды что, зазря дадепы?

Рыбак Логачеев говорит:

- На Каспий возвериусь, в город Дербент. Потому как я рыбарь потомственный. И детей пущу по рыболовству. Ах, Каспий, Каспий, половлю я в тебе красшока, половлю! В начальство мне, как Кулагину, не светит. Мне бы только рыбацкую робу сызнова надеть, в бахилах побухать...

Геворк Погосян распространяется о красотах Араратской долины и о своем винограде, Вадик Нестеров - о Ярославле и как он там будет работать на заводе и учиться заочно, - не забывает, конечно, и пропеть хвалу Волге-матушке. Людей тянет в родные места. А куда мне ехать? В Ростов, в Москву? Попасть бы в Россию, а там разберемся, в какой город кому подаваться!

Как некогда в Пруссии, вовсю заработало агентство ОБС - "одна баба сказала". Бабы тут ни при чем, а мужики все время сообщают друг другу новости. Слухи плодятся ежечасно, рождаются, умирают, снова рождаются. Будто не сегодня завтра погрузимся в эшелоны, какие-то части уже покидают якобы Маньчжурию. Будто выводят дивизию в Читу, или в Хабаровск, или в Иркутск, а может, и в Омск. Будто там ее расформируют, а нас - по домам. Старшина Колбаковский хмуро слушает эти экстренные сообщения, хмуро изрекает:

- По Забайкалью, по Восточному Сибиру уже заморозки гуляют ночами-то. Въедем в мороз...

А в Маньчжурии, на стыке августа и сентября, еще теплынь, разве что густы ночные и утренние туманы. И росы обильные.

В ночь на первое сентября туман и роса особенно были обильны, и капельки влаги блестели в солнечных лучах на бесчисленных паутинках, развешанных пауками на кустах и изгородях. Эта паутина появилась за одну ночь, словно пауки торопились наткать свои сети к календарному приходу осени. Куда ни гляпь - везде паутина. И звезды стали срываться по ночам, скатываться за горизонт. Почему-то падучая звезда вызывает у меня грусть и сожаление. Как будто обрывается чья-то надежда, кому-то перестает светить его счастливая звезда. А в звездопад гаснет много звезд...

Дивизию могут вывести в Читу? А почему бы нет? Чита отсюда ближе остальных советских городов. Ее мы проезжали, от нее свернули с Транссибирской магистрали к Монголии. Обратный путь: минуем Монголию, попадем в Читу. Где живет милая Нина с сынишкой Гошкой. Которых лейтенант Глушков подвез в эшелоне. И которые, вероятно, и забыли о нем. А вот он о них помнит. Адрес Нины, правда, потерял, но дом на Бутинской улице узнает. Женщина, с которой у пего ничего не было. Но может быть, если встретятся? Все у него было с Эрной, с немкой,

ее он любит, ей верен. Однако между ними война: свела их и развела.

Навечно? И есть ли вечная любовь? Кто же все-таки станет его женой? Где искать эту женщину? Где искать свое счастье и как?

Или счастье само найдет его? Что сейчас делает Эрпа? Уверен:

она вспоминает его так же, как он ее. Любя и желая.

Солдаты немало говорят о своих невестах, о будущих женах.

У кого-то, как у Логачеева, жена есть, по у большинства - лишь в проекте. Некоторые еще до ухода в армию дружили с девчонками, некоторые познакомились по переписке, почти у всех фотокарточки. Их рассматривают, комментируют.

А как чисто, как нежно говорят солдаты о своих матерях!

У меня нет мамы. Как я ценил бы ее теперь, пройдя войны! При жизни не ценил, так хоть после смерти... Мне кажется, я вообще не умею оценить человека вовремя. Только когда потеряешь его, начинаешь понимать, что он для тебя значил. Так у меня было с фронтовыми друзьями, так было и с Эрной: лишь расставшись, на расстоянии, понял, что люблю по-настоящему. Казалось бы, война должна была научить меня и этому - не упускать момента, распознавать в человеке то, что тебе дорого сегодня, а не только станет дорого завтра, тем более послезавтра.

В то утро я проснулся в преотличном расположении духа.

В окно ломился солнечный луч, и от него на лицо легла ласковая, теплая полоса. Я крепко, без сновидений поспал - это залог доброго настроя. И ожидание конца войны, начала мира. И ощущение своей молодости. И надежда на счастье и удачу в будущей жизни. Нет, это здорово - в двадцать четыре года завершить все воины и, увенчанным наградами, шагнуть за порог, вперед, в неизведанное, но, верю, прекрасное.

Я вскочил с койки, выбежал во двор в трусах и майке. Попгрывая мышцами, спроворил зарядку, побаловался гирей. В казарме еще спали, подъема не было, и мой верный ординарец Миша Драчев пускал пузыри на подушку. Давай, Миша, давай, может, это последние твои военные сны. В гражданке будешь дрыхнуть, не ведая сурового: "Подъем!" Будешь вставать по своей воле, сам себе хозяин. Ни отделенного над тобой, ни взводного, ни ротного, разве что жена станет командовать. Но ей, надо полагать, ты охотно подчинишься. Да все..мы будем подчиняться своим женам. Заодно и тещам.

Решив облиться по пояс, я набрал из-под крапа ведро воды, снял майку, и в этот решающий момент из помещения выплыл в трусах и сапогах ординарец Драчев - прямиком к уборной. Легок

на помине! Увидев меня, круто изменил курс, подбежал ко мне, ухватил котелок, зачерпнул из ведра.

- Дозвольте, товарищ лейтенант.

В тоне Драчсва я уловил некий налет снисходительности. Так он со мной заговорил впервые, пожалуй. Предстоящая демобилизация действует? Ослабляет субординацию, как бы уравнивает перед лицом замаячившей гражданки? Не скажу, что мне этот тон нравится, по делаю вид, будто не замечаю его. Ординарец - что? Ординарца приструню, не дам распуститься. Да и других буду держать в узде, послабления - минимальные. А возможно, и безо всяких послаблений надо, пусть и замаячил мир? Армия для того и существует, чтоб быть наготове. А это значит - порядок и дисциплина. Вот отпустят нас по домам, мы перестанем быть армией, тогда пей-гуляй и вспоминай про воинскую дисциплину в прошедшем времени. Нет, не так: пей-гуляй и не забывай про воинскую дисциплину никогда, она из тебя человека сделала.

Растеревшись до красноты махровым полотенцем, я оделся, побрился, поодеколонился и к подъему был в казарме. Понаблюдал, как солдаты строятся на зарядку, умываются, заправляют постели. Завидев меня, начали действовать шустрее. На утреннем осмотре вместе со старшиной Колбаковским обошел строй, кой-кому сделал внушение: подворотничок сменить, пуговицы почистить, побриться, сапоги наваксить. Кондрат Петрович дышал у меня над ухом, переживал:

- А шо я этим бисовым детям вбивал? Образцовый внешний вид воина-победителя... Мало им старшинского указу, дождались замечания от командира роты! Ну. я вам покажу, бисовы дети...

Завтракал я с ротой. Слава богу, об офицерских, строго по этикету столах, какие были в Восточной Пруссии (во главе стола командир полка, по бокам замы и помы, далее комбаты, далее ротные, в конце взводные), здесь не вспоминали. Я рубал то же, что и мои солдаты. В данном случае на завтрак перловая каша, кусок хлеба с маслом, кружка чаю - испытанное армейское меню.

Аппетит у солдат завидный. Как и должно. Аппетит имеется, следовательно, боец здоров. А для командира это высшая радость.

Жив, здоров, что еще надо? Многое, конечно, надо, но не об этом сейчас речь.

После завтрака перекурил с солдатами, а затем присутствовал на занятиях по политподготовке, которые проводил Федя Трушин.

Он пафоспо рассказывал о восстановлении народного хозяйства в нашей стране. Его слушали не без любопытства. Но перешли к занятиям по матчастн стрелкового оружия, которые

проводил я, и солдатиков словно подменили: ворочались, кряхтели, зевали, в задних рядах откровенно подремывали. На сей раз за ветеранами потянулась и молодежь - так ведь она тоже теперь знакома с данными и материальной частью винтовки или автомата не в теории, а на практике. Скучно изучать трижды ученое-переученое, но куда ж денешься? Армия есть армия. Занятия есть занятия. И я из последних сил пытаюсь вдохнуть интерес в своих слушателей.

Увы, слушатели кемарят, стоит мне отпустить вожжи. Не отпускаю, поднимаю то одного, то другого, требую ответить на такойто вопрос.

Потом мы с комбатом проверяли порядок в караульном помещении и как несут караульную службу солдаты моей роты. В караулке нормально: на нарах чисто, опрятно, пол подметен, для бодрствующей смены на столе радиоприемнпчек, шахматы, газеты. И с постовыми нормально: службу несут бдительно, по уставу.

Комбат сказал:

- Хвалю, Глушков!

Одобрение комбата подняло мое и без того отменное настроение еще на несколько градусов. Я зарумянился от удовольствия.

Конечно, суета сует, но, когда тебя хвалят, - приятно. Проверил комбат и как с патрульной службой у моих солдатиков. В военной комендатуре порылся в отчетах начальников патрулей: фамилии задержанных нарушителей и номера их воинских частей точно зафиксированы плюс записано личное мнение начальника патруля о том, почему военнослужащий нарушил дисциплину. Причины разные: и случайно, и плохо знает уставы, и первый раз в городском увольнении.

Наши же батальонные патрули и подцепили к вечеру на крючок Мишку Драчева. Умотал в самовольную отлучку, напился, полез с кулаками на какого-то старшего лейтенанта, который сделал ему замечание. Познав о похождениях ординарца, старшина Колбаковский крепко рассерчал:

- Лихоманка его забери, этого Мишку!

А я подумал, что лихоманка, уважаемый Кондрат Петрович, должна меня забрать. Распустил своего ординарца, гнилой либерализм до добра не доводит, надо было приструнить Драчева раньше - не спорол бы с самоволкой, не напился бы и не полез на офицера. Тут больше я виноват, чем он. Но он получил по заслугам: военный комендант засадил на гауптвахту. А я ограничился замечанием от комбата. Отделался легким испугом. А помни я золотое армейское правило: проступок легче

предупреждать, чем после оказываться перед фактом... Пусть война и закончилась, но мы-то еще не сняли военной формы, мы армейские, а это обязывает пас, от генерала до бойца, блюсти себя во всем. Генералы-то блюдут, что же касается бойцов увы, на иных наступивший, точнее, наступающий мир действует расслабляюще. Да и на иных офицеров тоже. Видимо, и на меня.

Подумал: не будь, лейтенант Глушков, наивным, каким ты был после Дня Победы над Германией, когда мнилось, что люди немедля, вдруг станут распрекрасными и безукоризненными, как на плакате. Ты жив, живы твои товарищи, а это главное, мы все еще можем стать лучше, чем были. А мертвые этого не могут, пусть они останутся в пашей памяти вечно молодыми и незапятнанными.

Я живу! После ужина в части крутили довоенный фильм о трактористах, показавшийся мне, повзрослевшему и кое-что познавшему, поначалу упрощенным, примитивным, а когда-то, в юности, фильм нравился! Но я подумал: я живу! - и картина предстала не столь уж плохой.

Живу и вспоминаю. Вспоминаю всякую фронтовую и госпитальную всячину, потому что это тоже жизнь и одновременно пролог к новой, мирной жизни.

Утром или днем перед атакой мысли у меня бывали не такие мрачные, как ночью. Ночью кажется: атака провалится, поляжем костьми. А по свету: выкурим фрнцев из траншей, возьмем высотку, и потери будут минимальные. Совсем без потерь в атаке не бывает.

Я - еще старший сержант, номкомвзвода, взводный кричит:

"Глушков, бегом сюда". "Бегом сюда" - любимые его слова. Яне бегу, но трушу к младшему лейтенанту. Только оттруснл от березки, где стоял, туда вмазали мины шестиствольного миномета, прозванного нашими солдатами ишаком. Точно, ишак: и-ы, и-ы.

А влепит минами - держись, славяне! А своей излюбленной командой командир взвода спас меня где-то на Немане. Или на Березине? Что-то сдает память...

А вот это было точно в верховьях Днепра, у Сычевкп. Бой разворачивался ни шатко ни валко, мы почти не продвигались, прижимаемые плотнейшпм ружейно-пулеметным и минометным огнем. Увлекая за собой цепь, я встал - и перебежками к высотке. Пилотка слетела, я нагнулся, поднял ее. надел, не глядя, подосадовал, что сбил сучком. А сбило-то пулей. Уже после атаки случайно обнаружил: сбоку насквозь продырявило пплоточку. Сантиметром бы ниже...

Взрыватель гранаты-лимонки срабатывает через шесть

секунд.

Времени предостаточно, чтобы выдернуть кольцо и швырнуть гранату, только не мешкай. А мой боец - фамилии не упомню, прозвище было: Вася-блатпяк, из бывших уголовников - замешкался, и лимонка взорвалась у него в руках. Бойца изрешетило осколками, а того, что находился рядом, помиловало. Рядом был я...

В госпитале моим соседом по палате был пожилой, лет сорока, лейтенант-оружейник, а дочка, как выяснилось, у него была маленькая, четырехлетняя, что ли. Так вот лейтенант-оружейник, его звали Пал Палыч, с умилением рассказывал: "Моя Аленка говорит о дворовой собаке: "У нее две ноги и две лапы, на ногах она ходит, а лапку подает, если попросишь;. Помню, он втолковывал мне: "Истинность мужчины не в том, чтобы выпить больше, а в том, чтобы вовремя остановиться!" Справедливо поучал... Оба мы были с тяжелыми ранениями, но я-то молодой, я выкарабкивался, а он? Выкарабкался ли он после того, как я выписался?

А еще в одном госпитале я уже почти умер. Потом мне лечащий врач говорил, что пульса у меня не было, зеркальце не затуманивалось от дыхания, зрачки закатились, вроде бы каюк.

Живу и буду жить!

Смертники никак не угомонятся и разнообразят наши размеренные, отчасти скучноватые будни. Вот в очередной раз подняли мою роту по тревоге. И не ночью, а днем. В добрый дождь с ветром. И ветер был добрый, он рвал, разбрызгивал дождевые капли, и они были схожи со снежными хлопьями. Снега здесь, в Маньчжурии, пока еще нету, но на севере, в Забайкалье, в Хабаровском крае, наверное, уже метут поземки. Хорошо бы очутиться там, и чтоб о твои ноги терлась, как собачонка, поскуливающая метелица.

Солдаты отворачивались от ветра, кутались в плащ-палатки, тяжелили шаг, расплескивая лужи. Сразу за городом дорога пошла круто в гору, и дыхание затруднилось. Ноги скользили, солдаты поминали черта и дьявола, а Логачеев присовокупил:

- Мы-то маемся, а Драчеву лафа на "губе"!

Его поддержал Геворк Погосян:

- Кто честно вкалывает, тот и под пулю самурайскую подставляется. А разгильдяй Мишка Драчев отлеживается в тепле и сухости, и никаких тебе смертников!

Что я мог возразить на это? Они правы. Нашкодивший ординарец, коего я, видать, плохо воспитывал, попал в привилегированное положение. И я промолчал, будто не слышал Логачеева и Погосяна. Но хорошее настроение и теперь не

испортилось: оно у меня устойчивое в последние дни. Ну и хорошо, что хорошее!

По разведданным, смертники укрывались в глухом урочище, за чередой горбатых, кремнистых сопок, которые мы и преодолевали одну за другой. Дождь не тишал, было сыро, промозгло. И жарко от ходьбы. Но едва остановишься - прохватывает ветерочком до костей. По-армейски: просифоннвает. Никаких следов смертников покуда ие обнаруживалось. Не ложная ли тревога?

Нет, не ложная. Мы перевалили сопочку, и пас обстреляли.

Весьма неприятно просвистели пули над головой, я подумал: "Чем ближе к миру, тем неприятней их слушать". Рота развернулась в цепь, начали спускаться в поросший елью и кедром распадок, откуда нас обстреляли. И я вдруг ощутил: мне надоело. Командовать, чтоб развернулись в цепь, чтоб перебежками вперед, и самому перебегать, падать, снова перебегать надоело все это. Будет ли копец этой жизни? Хочется другой, где не стреляют. И где нет караульной и патрульной службы, где носят не гимнастерки, а рубашки и пиджаки. На Родину хочется!

Надоело не надоело - воюй. Японцы жиденько стреляли наугад, и мы густо - стреляли наугад, охватывая распадок. Замкнули кольцо, взялись сжимать его. Забросали гранатами, прострочили из пулеметов и автоматов. В итоге трех японцев убили, четырех ранили и захватили в плен. У нас потерь нет. Удивительно, но это так. Не удивительно, а превосходно! Я смотрел на оборванных, в щетине, одичавших смертников, жавшихся тесной кучкой, с поднятыми, давно не мытыми руками. Ну фанатики! Сами мучаетесь и нас гоняете. Зачем? Кончать надо эти игрушки! Исход войны ясен, как дважды два! Кванту некая армия разбита в пух и прах, паши войска аж в Порт-Артуре! Сдавайтесь, следуйте примеру здравомыслящих японцев - и сохраните свою жизнь.

Или вам не хочется жить?

36

Свершилось!

Когда мы к вечеру под непрекращающимся дождем пришли в Ванемяо, в военный городок, нас ошарашили слухом: сегодня, второго сентября, то ли подписан, то ли будет подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии наподобие того, какой был подписан с Германией в мае, а третье сентября будет объявлено Днем Победы над Японией. Не все слухи подтверждались, но практика научила меня: иные подтверждаются.

Этот подтвердился! Но о том мы узнали лишь на следующий

день, а второго гадали: будет митинг, будет парад? Все кинулись - без всяких приказаний подшивать свежие подворотнички, гладить гимнастерки, ваксить сапоги, тереть зубным порошком пуговицы, пряжки, ордена и медали. По примеру Миколы Симоненко к гимнастеркам привинчивали и нагрудные знаки отличников: пулеметчиков, стрелков, минометчиков, связистов, саперов, которые раньше не очень-то жаловали - что они в сравнении с правительственными наградами, с орденами да медалями? Сейчас, в преддверии торжеств, и цена нагрудных знаков поднялась. А на лицах - словно некий отсвет будущего праздничного салюта, который озарит Москву. Нас осветят и собственные салюты разноцветные ракеты, грассирующие очереди из автоматов и пулеметов. Как освещали они под Кенигсбергом.

Вечером же второго сентября писаря сообщили о присвоении воинских звании: Феде Трушину - гвардии капитана, мне - старшого лейтенанта. И второй приказ: большая группа офицеров, сержантов и солдат батальона награждена орденами и медалями Советского Союза. Трушину - орден Красного Знамени, мне - Красной Звезды. Не скрою, я обрадовался и тому и другому. Немедля пришпандорил третью звездочку на погоны, долгожданную.

А Федя Трушин сменил старые погоны на новенькие, с четырьмя звездочками, он их заготовил впрок, дальновидный и предусмотрительный. И на поверку все звездочки у него непорочно серебристые, у меня же две потускневшие, а одна свеженькая, сразу видно: только что прикручена. Да ладно, сойдет.

А ордена и медали, как поговаривают, завтра вручит лично комдив. Штабные писаря гадают: может, на митинге, может, до или после парада, во всяком случае, будет построение. Даешь построение! Конечно, лучше б присвоили старшего пораньше, в свое время, а не перед демобилизацией. Впрочем, и в запас предпочтительней уйти старшим лейтенантом. И лишний орденок офицеру запаса не помешает. Своими наградами горжусь! Хотя, может быть, и не так, как прежде. В общем, все это приятно - со званием и награждением. Более того, мое маленькое личное торжество как бы упреждает всенародное торжество, связанное с победой над Японией, завершением второй мировой войны и воцарением мира на земле. Надеюсь великой надеждой, что мир будет бесконечным, а люди прекрасны. И еще - ощущение бесконечности моего бытия, будто после двух войн буду вечен.

Лег я спать в расчудесном расположении духа, а во сне отчего-то жалобно стонал, хотя мне ничего не снилось. Проснулся от этих стонов среди ночи, приподнял голову и услышал, как

старшина Колбаковский сказал:

- Товарищ старший лейтенант! Болит чего-нибудь?

- Не болит, Кондрат Петрович, - ответил я, позевывая.

- А стонете-то как жалостно... Не рапы ль беспокоят?

- Да как будто нет...

- Ну и добре. Сыпанем дальше...

Однако уснули мы не сразу. Я ждал, что Колбаковский сию секунду выдаст свой знаменитый храп, но он просипел шепотом:

- Не спите, товарищ старший лейтенант?

- Покуда ие сплю...

- И мне чего-то не спится... Все думаю-загадываю: как складется послевоенное житье? А?

- Вы имеете в виду страну, народ? Все будет нормально.

- Не-е, я про каждого из нас, в отдельности... Ведь разведет житуха по разным стежкам-дорожкам... Встретимся ли когда?

И какими станем по прошествии годов? Не позабудем фронтового братства?

- Не позабудем, Кондрат Петрович, - ответил я и подумал, что подобные мысли возникают не у одного лейтенанта Глутпкова... виноват, старшего лейтенанта Глушкова. Не враз привыкнешь к новому званию, а вот старшина Колбаковскнй не путает, служака. И Трушина уже называет как надо: товарищ гвардии капитан. Мне, к счастью, не дослужиться до капитана. К счастью потому, что войнам конец, и да здравствует демобилизация!

- Чтоб только новый Гитлер где-нигде не объявился! Чтоб акулы империализма сызнова не затеяли бойню! Как считаете, Петр Васильевич?

Уверенно отвечаю, что новых гитлеров теперь уже никогда не будет, что империалисты и фашисты получили предметный урок, и слегка удивляюсь тому, как назвал меня служака Колбаковский - впервые по имени-отчеству. В этом тоже, вероятно, признак близящейся гражданки.

Старшина всхрапнул внезапно, с ямщицкой мощью, и этот привычный храп, к которому я давненько приспособился, как бы подтвердил: все нормально, все будет нормально. Приятных сновидений, Кондрат Петрович! И не стоните во сне, как старший лейтенант Глушков, а храпите себе на здоровье. Но с чего стонет старший лейтенант Глушков, попросту Петр Васильевич, если он счастлив, если его бытие бесконечно и великие надежды переполняют его? Это же надо понимать: одну войну прошел, вторую - и уцелел, рукн-ногп при нем! И голова при нем!

Утром я пробудился в предчувствии необычайного, радостного.

С наслаждением растирал скрученным полотенцем голое

туловище - каждая клеточка играла. Во время моего туалета Драчев, которого выпустили с "губы" по случаю празднеств, порывался поухаживать за мной, однако я с вежливой твердостью отмел эти поползновения. Не скажу, что ординарец так уж этим огорчился.

Да шут с ним! Нынче незабываемый, торжественнейший день, и не будем ничем его омрачать. Дождя не было и в помине, тучи откочевали за сопки плавно и мягко, будто тушью очерченные.

Небо синело по-летнему, и солнышко было не осеннее, ласковое.

Теплый ветерок шевелил паши чубы и метелки гаоляна.

После завтрака полк был построен на плацу, и командир дивизии в парадном мундире со всеми регалиями поздравил нас с победой над империалистической Японией, с присвоением дивизии почетного наименования "Хинганская", вручил награжденным ордена и медали. Я не без трепета принял из крепких стариковских рук коробочку с Красной Звездой: как-никак вручал сам генерал-майор. Осевшим от волнения голосом я рубанул: "Служу Советскому Союзу!" - и подумал, что это последняя моя боевая награда.

Был митинг. Было зачитано обращение Сталина к народу. На слух я воспринимаю плохо, поэтому перед обедом прочитал это обращение в "дпвизшшке", сотрудники которой оперативно записали передачу из Москвы. Я читал:

"Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие. Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия на Западе и Япония - на Востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на Западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на Востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны..."

Я читал дивизионную газету и словно видел Иосифа

Виссарионовича таким, каким его показывали в кинохронике, когда он выступал по радио 3 июля 1941 года: суровый, медлительный, говорит как бы через силу, наливает из графина в стакан воду, делает глоток. Тогда, в начале толя сорок первого, одни были речи, ныне иные. Победные!

"Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы.

Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для пародов мира. Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!"

Ура! Свершилось! И мир уже не наступает, а наступил! Для этого мы не жалели сил. труда и самой жизни. С великой Победой, с миром во всем мире. Ура!

Ближе к вечеру, перед ужином, офицеры батальона, как водится, обмывали награды. Чтоб не заржавели! Их опустили в котелок с водкой, затем вынули, обтерли и надели, а водку эту разлили по стаканам. Я был радостен, счастлив, уверен в будущем - безоблачном и бесконечном. Бесконечном! хотя я и разумел, что на смену нам в обусловленный срок придут новые поколения. Но ведь это будет не кто иной, как наши дети и внуки. Пусть же они окажутся лучше, чем мы!

Принялись петь хором фронтовые песни: "Землянку", "Темную ночь", "Офицерский вальс", "В лесу прифронтовом", а затем сольно, по кругу, каждый пропевал первый куплет того, что желалось, и как бы передавал эстафету соседу. Дошла очередь и до меня, я вполголоса затянул: "Утро туманное, утро седое..." - л так далее. Спел - и слезы выступили. Не у слушателей, а у меня.

Такой чувствительный стал Глушков, старший лейтенант...

И уходило в сгущающуюся за окопным стеклом темноту и в историю третье сентября одна тысяча девятьсот сорок пятого года, День Победы над империалистической Японией, провозглашенный первым днем мира на земле. И будто куда-то уходили - в вечернюю ли темень, в историю ли офицеры-однополчане, от взводного до комбата, сидящие за одним со мной столом, молодые, полные жизненных сил. Нет, конечно, никуда они по уходили ни на миг - были близко от меня, пели, перебрасывались шутками и улыбками. Никогда не уходите, дорогие мои, и будьте со мной вечно! Как я без вас?

Ах, как я любил тех, кто находился со мной рядом в этот незабываемый вечер! Эти ребята - кто постарше меня, кто моложе

- прошли две войны, вынесли такое, что и представить невозможно. Как и солдаты, которые тоже празднуют сейчас победу.

Так будьте же счастливы навеки, боевые друзья! Захотелось вдруг поцеловать Федю Трушина, друга ситного, коего люблю более всех и неизвестно за что! Но я, слава богу, не полез слюнявиться.

Только поглядел на Федора, надо полагать, выразительно.

А затем поглядел в оконце и увидел: белые, зеленые, красные ракеты, очереди словно раскаленных трассирующих пуль полосуют небо. Я перекричал застольный шум:

- Товарищ комбат! Наши уже салютуют!

Комбат, получивший майора, повернулся ко мне всем туловищем и сказал спокойненько:

- Не суетись, Глушков. Дай допить чарку... Втемяшилось?

- Втемяшилось, товарищ майор!

Комбат улыбнулся - глазами.

Мы высыпали во двор. Крики, шум-гам, песнп, хлопкп ракетниц и пистолетов, треск автоматных и пулеметных очередей, - китайское небо этакого не видывало! Я расстегнул кобуру, вытащил ТТ, и мой слабый пистолетный хлопок утонул в общей пальбе.

Разрядил пистолет и подумал: "Вот теперь-то это последние выстрелы на земле". Я проверил магазин, капал ствола - пусто, чепе исключается, спрятал пистолет в кобуру, для чего-то похлопал по ней и глубоко-глубоко вдохнул. Какой же чудесный был воздух! То ли медвяный, то ли полынный, да, наверное, в нем было больше полыни, по нынче ее запах не тревожил. Так легко на сердце бывает редко...

Ракеты в темнеющем небе отгорали, рассыпая брызги, а трассирующие пули прочерчивали свой след, будто падучие звезды.

Да и то сказать: пора звездопада, и, когда на какое-то время пальба прекращалась, с неба и впрямь срывались звезды. Или это всетаки были припозднившиеся, шальпые пули? Звездопад, звездопад - что может быть грустнее? Но мне не было грустно. Совсем наоборот!

Вернулись в комнату, за стол. Комбат приказал:

- Наполнить посуду!

Приказание немедля выполнили. Майор возвысился над нами своей точеной фигурой-рюмочкой, пламенея обожженным, стянутым рубцами лицом, повертел стакан так и эдак и сказал:

- Предлагаю выпить за пас с вами!

Я опять подумал: я живой! И тут ко мне подсел Федя Трупшн,

вновь испеченный капитан с заранее припасенными погонами, чокпулся:

- Будь здоров, Петюня!

- Будь здоров и ты, Федюня!

Мы подмигнули друг дружке, посмеялись.

А назавтра мы читали в "дивизионке", слушали по радио о том, как происходило подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии, разглядывали фотоснимки в центральных газетах.

И я живо представил себе всю эту церемонию - недаром комбат попрекал меня богатым воображением. Еще бы, как сочинять стишки без воображения? Поэт я липовый, а насчет воображения... вообразил себя стихотворцем. Смешно!

Вот что примерно вырисовывалось в моем представлении. Второе сентября. Токийская бухта. Американский линкор "Миссури", за которым когда-то безуспешно охотились камикадзе, стоит на якоре. На его борту представители военного командования союзников, гости, корреспонденты. На катере доставляют японскую делегацию - одиннадцать человек, дипломаты и военные. Сопровождаемый своей свитой, к столу приближается, хромая, грузно опираясь на палку, министр иностранных дел Сигэмицу и с ним - генерал Умэдзу, начальник генштаба Японии. Пять минут всеобщего молчания - минуты символического позора. Японские дипломаты в черных костюмах и цилиндрах, военные с орденскими планками стараются держаться прямо, но эти м и нуты позора будто сутулят их, давят к палубе. Генерал Макартур произносит речь: "Мы собрались здесь - представители главных воюющих держав, чтобы заключить торжественное соглашение, при помощи которого мир может быть восстановлен. Проблемы, влекущие за собой противоположные идеалы и идеологии, были решены на полях сражений всего мира и поэтому не являются предметом наших обсуждений и дебатов..." Какие уж тут дебаты! Безоговорочная капитуляция - вот и весь сказ. Генерал Макартур говорит сурово. Суровое лицо было и у маршала Жукова, когда подписывался акт о безоговорочной капитуляции Германии. А как же иначе? Жестом Макартур показывает японцам: подойдите к столу.

Хромая, словно волоча себя, медленно-медленно подходит Сигэмицу; пелегко ему дается это - поставить свою подпись. Расписавшись, блеснув стеклами очков и потупившись, министр пятится.

. Какое-то мгновение генерал Умэдзу мешкает, оттягивает процедуру, затем со странной осторожностью расписывается. К разложенным папкам подходит Макартур. Акт подписывают

другие, и среди них - советский представитель генерал-лейтенант Деревянно, - на фотографии видно, с каким достоинством он это проделывает.

Церемония завершена. Союзные делегации удаляются, японские делегаты остаются одни, покинутые, никому не нужные. Конец!

Конец второй мировой!

А спустя несколько дней мы читали в газетах и рассматривали фотографии: советские военачальники шестого сентября посетили Порт-Артур: Маршалы Советского Союза Василевский, Малиновский, Мерецков, главный маршал авиации Новиков, маршал авиации Худяков, маршал артиллерии Чистяков. Онп осмотрели военно-морскую базу и крепость, исторические места, связанные с героической обороной Порт-Артура в русско-японскую войну 1904 - 1905 годов. Возложили венки на братскую могилу русских воинов. Как бы от всего нашего народа поклонились павшим смертью храбрых в те далекие времена. Разве же это не здорово - маршалы возлагают венки на могилу солдат? Хотя бы и через сорок лет...

И еще читаем в газетах: второго сентября на полумиллионном митинге в Ханое Хо Ши Мин провозгласил образование Демократической Республики Вьетнам. Еще раньше, семнадцатого августа, было объявлено о создании Индонезийской республики. Национально-освободительная борьба захлестнула Китай, Бирму, Малайю, Филиппины, Индию, - над всей Азией зашумели очистительные ветры свободы, ветры, рожденные стремительным маршем советских воинских колонн в Маньчжурии, полным разгромом миллионной и отборной Квантунской армии!

Гвардии капитан Трушин по этому поводу сказал:

- Разгром Германии и Японии кладет начало новой эпохе на всей земле. Согласен, что это так, Петро?

Я ответил: согласен целиком и полностью. И сразу же Федор сказал о другом:

- Петро, я считаю: что остались в живых, будем ценить чем дальше, тем больше.

Я ответил, что и сейчас ценю. Федор неопределенно мотнул головой.

- Ну-ну...

Мне бросилось в глаза: шея у Федп окольцована морщинами, как у пожилого. Никогда я этого не замечал, вот щербатинку во рту замечал. И морщины вокруг рта у Феди резкие. А ведь он ненамного старше меня. И на моей физиономии морщины? Только я не присматривался? Я хотел спросить Трушина, может

ли оп представить себя стариком, и постеснялся. Ибо знал почти наверняка, что получу отрицательный ответ. А вот я могу представить себя старым, более того, иногда чувствую: непоправимо постарел.

Это в двадцать четыре-то года!

Я спросил Федю совершенно об ином:

- Когда нас, как считаешь, выведут домой?

- Соскучился? По Москве, по Ростову?

- Вообще по Роднне... Хочу домой, к себе. Пусть и не Москва, не Ростов, пусть Сибирь, Урал, Приморье, лишь бы на родную землю!

И не хуже солдат мы, замполит батальона и командир роты, принялись гадать на кофейной гуще, куда нашу дивизию могут вывести для расформирования, - в Читу, Благовещенск, Хабаровск, Улан-Удэ, Красноярск или Новосибирск? А может, на запад повезут, в Центральную Россию? А может, на юг, на Украину или Северный Кавказ? Трушин сказал:

- Как бы там ни было, а некоторые части в районе Ванемяо уже грузятся в эшелоны. Хотя основная эвакуация, как поговаривают, будет в октябре, а то и позже...

Пусть грузятся! И эшелоны эти пойдут куда-то - на север, запад пли восток. - по только не на новую войну. Хватит! Отвоевались!

В середине сентября мы провожали на Родину отдельный саперный батальон, где у Федп Трушина был дружок-земляк.

Вагоны были украшены красными флажками, плакатами, еловыми ветками совсем как те эшелоны, что шли в мае - июне через всю страну на Восток. Теперь пойдут на Запад, окончательно до дому, до хаты. Скорей бы и нам!

Мы выкурили с трушинским землячком не по одной сигарете, переобиимались и перецеловались с саперами, а состав все не отправлялся. Вечерело. Взошел ясный месяц, осветил станционные здания, погрузочно-разгрузочные площадки, приземистые склады вдоль путей. На ближнем пруду засеребрилась лунная поляна, а когда месяц стремительно опустился, на воду легла лунная дорожка. Наконец эшелон тронулся под медный грохот оркестра и приветственные выкрики провожающих. Федор и я кричали не тише прочих...

Но что примечательно - эшелон провожали и китайцы: на рукавах красные повязки, в руках красные флажки. И среди этой толпы, поближе ко мне и Трушину - двое, старый и молодой. Молодой сказал:

- Освободили нас и уходят домой.

Старый сказал:

- Первый раз за свою жизнь впжу такое... Чтобы пришедшие с оружием добровольно уходили...

Китайцы говорили на сносном русском и громко, чтоб мы их услышали. Федя и я их услышали.

Мои солдаты - мальчишки, непоседы, и заводила у них Вадик Нестеров раздобыли футбольный мяч, принялись усердно пинать его. в итоге высадили стекло в казарме. Старшина Колбаковский, вне себя от гнева, грозил им всяческими карами, но это не могло заменить стекла. И чтобы как-то, временно, заделать дыру в окне, он принес свернутый в трубочку плотный лист бумаги. Объяснил мне:

- Нашел в каптерке. От прежних хозяев осталось, заховалп за шкафом...

Развернули трубочку. Это был цветной портрет - и, как нам перевели, с надписью: "Император Ну И, главнокомандующий морскими, воздушными и сухопутными войсками Мапьчжоу-Го".

Хоть и засижено мухами, по золотые эполеты, золотой пояс, атласная лепта наискось, через плечо, весь мундир, до самого живота, - в орденах, а сбоку - сабля, император как бы опирается на нее. Хилый, тщедушный очкарик, загримированный под военачальника. Соплей можно перешибить. У этой марионетки было двухсоттысячпое войско, которым бсзраздельпо командовали японцы. Впрочем, как и самим императором.

Старшина Колбаковский сказал:

- Товарищ старший лейтенант, мы данного мужичка на портрете замажем чернилами, чтоб не было позора!

- Правильно! Но о стекле побеспокойтесь.

- Будет сполпепо, товарищ старший лейтенант! Не извольте сомневаться.

Что такое смертники, которых в Квантунской армии были тысячи? Я считаю: отчасти это фанатизм, отчасти следствие отсталости военной техники. Ведь японская крепко уступала и советской и американской. Потому-то и залезал обреченный японец в морскую торпеду, чтобы взорваться у борта неприятельского корабля, или в самолет и танкетку, начиненные взрывчаткой, пли кидался с магнитной миной под танк, или его приковывали цепью к пулемету. Между прочим, японские смертники до своей гибели получали повышенное денежное содержание и лучшее питание.

Спрашивается: так не погашение ли издержек при жизни эта его будущая смерть? За кровь платят иенами.

С каждым днем смертники все реже беспокоят пас: кого выловили, кто сам сдался. А вот хунхузы пошаливают: все чаще роты нашего батальона поднимаются по тревоге, вызванной

нападением этих бандитствующих китайцев то на банк, то на деревню, то на склады, охраняемые советскими часовыми. Наглеют хунхузы...

Мою роту подняли в ружье утром, едва мы позавтракали. Завтракавший с нами замполит Трушин досадливо сплюнул, а я улыбнулся: настроение было безоблачное, радостное, и никакая тревога не могла испортить его. Пока разбирали оружие, боеприпасы, пока рассаживались в подъехавшие машины автобата, выяснилось: на той станции, откуда мы с Федей Трушиным провожали вчера вечером саперный батальон, совершено нападение на вещевой склад, часовой тяжело ранен ножом, хунхузы с награбленным уходят на автомашине в горы.

- Я с тобой, Петро, - сказал Трушнн.

- Нужно ли?

- Присутствие комиссара не помешает...

- И то верно.

Три "студера", урча моторамп и разбрызгивая грязюку, выползли за ограду и помчали по разбитой, в колдобинах, шоссейке.

Утро было бестучевое, солнышко всходило из-за горбатой лысой сопки. В кабине было тепло, покачивало, убаюкивало, по я напряженно глядел вперед. У чумизового поля, на развилке, к нам подсел оперативник, и мы двинули прямиком к станции. Вон и пруд, где вчера была лунная поляна. Сейчас вода морщинилась от ветерка, розовела в первых солнечных лучах. "На часового напали на рассвете, - подумал я. - Нагоним! Выживет ли часовой? Горько, если погпбпет уже после подписания мира".

Мы проскочили станцию и повернули в горы и вскоре увидели впереди на дороге старый, потрепанный пикап, жавший на всю железку, - по нашим данным, он смахпвал на машину с хунхузами. Взревели "студебеккеры", рванулись, как с привязи. На пикапе поняли, что не уйти; оп затормозил, и несколько человек бросились пз него в заросли гаоляна, к заброшенным фанзам.

"Студебеккеры" остановились, солдаты попрыгали наземь. Я приказал разворачиваться в цепь, окружать фанзы.

Мы с Трушиным шлп плечом к плечу, и я увидел: за порушенной, без крыши, фанзой - человек. В кепке, в куртке и шароварах хаки, в тапочках. То показывается из-за стены фанзы, то скрывается. А чего топтаться? Выходи, сдавайся, деваться тебе некуда.

Человек опять высунулся из-за фанзы и вдруг вскинул карабпп, и, прежде чем услышался выстрел, меня ударило, как пулей или осколком, предчувствием нелепости и непоправимости этого выстрела. Рядом упал Трушин, я уловил винтовочный

хлопок и кинулся к Федору. И тут меня словно рубанули чем-то по горлу.

В мозгу успело огненно вспыхнуть: "Пацаны в драке били ребром ладони в кадык, но было не так смертельно больно", и, падая на Трушина, я ощутил ту же непоправимую нелепость и второго выстрела пз гаоляна. Кто-то голосом старшины Колбаковского закричал:

- Окружай фанзу! Бей гранатами! Ни одного не оставляй в живых!

Оп почувствовал, как до пего дотронулись: до головы - приподняв ее, до руки - сжав запястье, ища пульс. Он слышал глохнущие, как в вязком тумане, голоса:

- Замполит мертв.

- Наповал... Вот песчастье-то! А ротный?

- Не разберешь...

Он хотел сказать, что слышит их, что еще жив - пока не убит, и не мог вытолкать слов из простреленного горла, - слова тонули в бульканье и хлипе крови.

1976 - 1981